

УДК 82-4

ББК 84

С 65

**Сорокин В.В.**

**С 65** Первая леди. – М.: Алгоритм, 2007. – 560 с.

**ISBN 978-5-9265-0292-0**

Знаете ли вы, что Лохнесе — это колдующая тетка члена Политбюро Александра Николаевича Яковлева? Что останкинский телецентр давно превращен в антирусское сексостойбище, смердящее по областям и республикам России? Что если ты при власти, да не воруюешь, ты — ненадежный человек, не поддерживаешь, значит, демократию!.. Книга прозы и публицистики поэта Валентина Сорокина — пронзительный документ времени трагических 90-х годов XX века, когда наша родина стараниями прорабов перестройки была подведена к бездне небытия. Россию спасли верные и бесстрашные. В их числе — автор этой горькой и остроумной книги.

**УДК 82-4**

**ББК 84**

**ISBN 978-5-9265-0292-0**

**© Сорокин В.В., 2007**

**© ООО «Алгоритм-Книга», 2007**



**С ПЯТНОМ НА ЛБУ**

*Когда ваучеры выползают ночью из ближних лесов, не токмо пятаются люди — собаки начинают визжать и разумом тренькаться, куры слепнут, а коты заскакивают на телеграфные столбы и, крепко зажмурясь, бросаются оттуда вниз головою...*

## *Митька-Ручей*

Не был рябым Митька, а был сильно веснушчатым и конопатым. До рыжести. А звали Митьку — Ручей. Ручьи любил, значит. В детстве я так дружил с Митькой, что врозь мы никуда и не ходили — только вместе. Рыбачить, летом, вместе. На лыжах, зимой, вместе. И в школе учились вместе.

Дожди на Урале шумные, настоящие — с горячими железными грозами, затяжные. Две недели — вода. Две недели — солнце. Струи большие, ласковые. Ручей прибежит под окошко, махнет рукой — и мы на размытой дороге строим запруды, окапываем омута, соединяем их в сказочные каналы и плотины. Газетные кораблики пускаем по руслам пузыристых речушек и озер, рожденных широким июльским ливнем.

С хлебом в деревне плохо, а газет навалом. У председателя — пачка. У бригадира — пачка. Даже у колхозной доярки Фроси — газета, приклеенная к стене чулана, а на газете — Сталин. Ест Фрося в чулане, пьет чай — смотрит на вождя. Так ей, писала в Москве о Фросе «Правда», не только доить коров уютнее, но и жить легче. Пусть коровы не читали Сталина, но уж наверняка животные слышали о нем...

А Митька-Ручей странностями отличается. Заовет меня в лес, далеко, далеко, и давай показывать тайные родники: под скалой — родник, под дубом — родник, под холмом — родник. Пробует Митька-Ручей на собственный вкус каждый родник, удивляется: «В этом вода медная, в этом вода серебряная, в этом вода золотая!» Митька читает разные мудрые книжки о суше, о морях, о недрах, скрытых от человека.

Сильнее других Митька любил серебряный родник. Серебряный родник, тонкий и сверкающий, прятался в скале. В



ней он набирал силы, удали и, пробуравливая серый гранит, звенел: «Ребята, я с вами!..»

Это — Митька фантазировал, угощая меня пригоршнями холодной воды из серебряного родника. Чуть закружится голова иль заболит живот от щавеля или желудей — к роднику. Митька вылечит. Хлеб у деревни забирали, мясо забирали, масло забирали, шерсть забирали, яйца забирали, картошку забирали, а родники забрать не могли. Пей и лечись, сколько угодно!..

Вместо куриных яиц мы с Митькой-Ручьем ели сарычьи, иногда — утиные. Вместо хлеба — репейные оладьи. Тяжело, правда, ешь их, а все равно есть хочешь. Зато газеты Сталина печатали. Высокий, военный. Суровый и вдаль глядит... В грядущее, объяснял Митька. Ну, вымерла наполовину наша деревня. В основном — инвалиды войны. Возмутились: «Гитлер не добил, а Сталин голодом доканчивает!..»

Теперь мы деревню жалеем. Даже вчера по телевидению о кулаках вспомнили — хвалили, слушать больно: честные, здоровые, опрятные, уничтожены в Сибири и на Колыме! А я размышлял: если жива еще Фрося, доярка, не менее честная, чем кулаки, что она о себе и о нас думает?..

Но тогда нам было не до Фроси и не до кулаков. Деревня вымирала, а строительство развивалось. Вся страна, как восклицала «Правда», сплошная стройка. Нахлынули строители и в нашу деревню. По вечерам патефон играл вальсы, неприлично модно одетые девушки и парни, в туфлях и ботинках, танцевали у школы на траве. Звенело счастье:

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек,  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек.

И припев:

Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек!..



Голос — могучий, не как у Кобзона, заезженно-гостевой и круглый. Да, натошак счастье усваивалось надежнее. Слушаешь — и есть хочется. Слушаешь — и гроб с очередным покойником втаскиваешь на гору, на кладбище, помогаешь нести старшим, измученным войною, едва затихшей, и щами из крапивы с щавелем. Но никто не смел сказать об этой нужде никому. Никто. Петь, пожалуйста, пой, но говорить — нет: страна строится, из военной разрухи выбираемся!..

Митька-Ручей был мечтательным человеком. Летом, в июле, мы убегали с ним на припеки, на солнечные склоны гор, и ели крупную красную клубнику. В траве огненные ягоды зовуще горели, похожие на круглые тяжелые яшмовые шарики, насаженные на стебли и приподнятые кем-то над зеленою малахитовой травой.

Митька рассуждал: «Все в земле есть, все. Алмазы и золото, яшма и хрусталь, медь и серебро, гранит и железо. А в морях — киты и акулы, в реках — осетры и крокодилы, а в наших горных омутках — форели и налимчики: ты его за хвост, а он под плиту нырь!..»

Митька-Ручей торопился расти и опытом запастись. Мечтал выучиться на конструктора и соорудить огромный крылатый корабль с большущими трюмами и водить его. Летят, глядь — холмы, холмы или, глядь — болота мазутные, нефтяные, бензином воняют. Митька подруливает, включает насосы: мусор заглатывает один трюм, а горюечную жижу заглатывает другой трюм. Митька приборами уравнивает на обе стороны корабля груз, нажимает кнопку, и, взбодренная электрической скоростью, машина, санитар природы, царит и музыкально бибикает в небе.

За краем земли, рассказывал Митька-Ручей, имеется бездна, на дне обитают черти со сломанными рогами и отрубленными хвостами. Бабушка втолковала Митьке: черти, существа наглые и вредные, мутят воду, пожирают цветы, убивают морозом всходы пшеницы по весне, напускают на людей голод и вьюгу, вздувают на базаре и в магазинах цены на картошку и кефир. Бог и ломает, время от времени, им рога и укорачивает хвосты, дабы не зазнавались и не забывали про кару за гадости.



Я же сообщал Ручью свою тайну: желание начитаться книг и потом сочинять новые.

Митька слушал меня и удивлялся:

— Зачем тебе новые книги, когда и старых не прочитать — накопилось? Земля круглая, и голова у человека круглая, пояснял он мне, значит, луна и солнце под них сработаны — тоже круглые. И море — круглое. Вода, молекулы, круглые, атомы круглые, иначе бы ручей не катился по камешкам.

— И клубника круглая, точно? Иная продолговатая, но круглая!..

— Ну, ну! — восклицал Митька-Ручей.

Горизонт окружный, небосвод окружный, а сердце какое круглое, сложи две ладони, получишь сердце! И Митька-Ручей довольно зажмурился на обогретой скале, где мы надолго располагались, вытянувшись на спинах и шевеля босыми ступнями.

Лучи солнца гладили наши лица, облупляли носы и уши, щекотали ноздри и пытались разомкнуть сжатые плотно ресницы. Митька-Ручей дорисовывал воображением свой огромный летающий корабль. Зубы у Митьки-Ручья редкие, а между двумя, передними, верхними, — щелка, и Ручей шепелявит потому: «Шижу я в капитанской каюте и шитаю рашштояние, ужлы, до Штамбула, жабегаает помошник: «Товарищ командир, шудно на якорь не вштает!»

И Митька-Ручей показывал мне, как он пришвартовывает летающий корабль в порту Штамбула и запрашивает по рации: «Где у ваш мусор, мешающий расти цветам и дышать ребятишкам?..»

Митька убеждал меня:

— Бабушка шнает место в тайге, далеко, далеко, где древние родники шивы и шдоровы, зимою заворачиваются в снешное одеяло, а вешною за шолнышком текут и шветы за собою приводят!

Рыжий, конопатый, прочный и картавый, он улыбался доверчиво и неотразимо: сразу понятно — лесной, щедрый, сельский философ и будущий труженик на земле. Когда Митька шагал спокойно по улице, собаки из дворов направ-



лялись за ним, коты, поодаль от них, уважительно сопровождали Митьку-Ручья. Настоящий хозяин.

Беда у Митьки-Ручья, конечно, известная: отец пьет водку, а, захмелев, бьет посуду и на мать кидается с кулаками. Мать плачет, а Митька-Ручей мечтает соорудить реюющий корабль с пузатыми трюмами — чистить землю и пьяниц купать в порту, а сушить на пляже, дабы на палубе, мокрые, не простывали...

Маленький конопатый конструктор, где ты ныне? Живи ли ты и здоров ли? Отрезвел отец твой? Или и ты, измученный русским горем и нищетою, лечишь кручину хмелем? Отцам нашим и дедам нашим не дали свободы и покоя, а нам разве дадут? Бог не успевает ломать рога и хвосты укорачивать чертям столичным.

В молодости надеждами и радостью живешь: не замечаешь, кто за тобою наблюдает злобно, зачем наблюдает и собирается ли он помешать или ранить душу твою. Это — в молодости. Но помнет тебя судьба, бока заболят, а сердце заноеет, наскорбится, натоскуется по доброте человеческой, отравленное людским ядом и неблагодарностью — иначе ты согласишься и на себя, и на товарищество.

Посмотреть-то согласишься, да решишь ли извечный вопрос: ну, зачем в нас ревность к дарованию, ненависть к чужой славе, зависть к соседнему богатству накапливается? Разве все даровитые — неправедники? А разве все известные — подхалимы? И богатые, конечно, не все, не все — жулики, хотя богатство у нас нормальным трудом не приумножить. Генерал, может быть, член Политбюро, допустим, роскошью забаву канные, о лихом народе иззаботятся?

Вряд ли. Скинут с поста — заскулили, завияли, заканючили и от инфаркта, ретивые, угасли.

Но есть, много их, замкнувшихся на себе, притаившихся на собственном задании — за тобою, за тобою, да прошмыгнуть, обогнав, на пороге тебя объегорив, тенью твоею просльв, а в рай или же в креслице более удобное прыгнуть и засесть в нем, похваливая тебя, дурака неутомимого, разве мало подобных?





Горлом берут. Круто расшвыривают, продвигаясь в чины. Робко кивая и еще робче подсюсюкивая, вылупляются из розовой скорлупы не сарычами, а беркутами, тарантулами кусачими — под свечками вытянешься, а тебе мерещилось: ты опытный и ты застрахованный достоинством и сдержанностью от настигнувшего тебя жала. Чалдон.

Но и мечтательные храбрецы не увядают. Не все под каблуками у аферистов оказываются: русский Сикорский Америку лайнерами воздушными снабдил, а русский Шалыпин волжским рокошущим басом Европу завораживал, а Покрышкин кровавых стервятников над русской землей с неба обрушивал. Среди мечтательных и отважных хитрецам неуютно.

Но Митька-Ручей лишь о России терзается. Расти торопится. А созреет и защитить ее не постесняется, намертво встанет и прикажет: «Прекратите заражать озера и реки русские! Прекратите уничтожать русский народ болезнями и склокою!..» Митька-Ручей спасет Россию.

Митька отчаянным был и мечтательным парнем. Прибегает и кричит:

— Пашли, пашли! Там строители родник убивают! Наш, серебряный, убивают! Скорей пашли!..

Босоногие, мы промчались километров пять за деревню, взъерошенные и ожесточенные, обомлели: где гордо мерцала скала, а под ней серебрился и посверкивал родник, бетонные глыбы нагромождены. Грязные и щербатые, они наполнили и наполнили, висят на тросах кранов, образуя цех № 1, так нам объяснил плакат, пригвожденный к стволу молоденькой зеленой сосенки...

Загрохотало. Но грохот — чужой, мертвый. Взрывники. Округу варварам под завод подарили. Вот и гудит динамит. Митька-Ручей почесывает ободранные ступни и колени. Почесывает и, потрясенный, жалуется: «Знаешь, выучусь и разгромлю завод. Разгромлю! Ну, медный убили. Ну, золотой убили. А зачем же они серебряный убивают? Он врачевательный был, понял?»

Вскоре родители Митьки-Ручья переехали в город и Митьку увезли. На прощание мы с ним попытались отыс-



кать хотя бы след какого-нибудь знакомого родника, но ничего не нашли.

Пыль седая клубилась.

Уже тогда мы наткнулись на сплошную бетонную стену. Зона. И предупреждение: «Вход строго запрещен!» Возвращаясь, мы в знакомом овражке обнаружили сочащийся из камня родничок. Митька просиял и наклонился. Он жадно пил, а потом вытер губы и произнес: «Нет, горький. Слезами пахнет. Земля плачет...»

Годы не бегут, как мы в детстве, и не летят, как Митькин корабль над землей, годы мигают: мигнут, мигнут, мигнут — и ты седой. Седее уральского куста сирени, белее сугроба уральского. И рыжий Митька, поди, в житейских метелях заизморозил — белый сделался.

А тут еще и чернобыльская трагедия нас принакрыла. Одно черное крыло десятки лет над Кыштымом, проклятое, трепещет, а другое ее черное крыло над Припятью расплосталось. Какому сарычу или беркуту с ней сравняться? Дохнет — пепел черный по великой славянской равнине стелется. Черная смерть реет!..

И в Киеве мне легенду поведали — негромко и очень грустно.

В котле ядерном, реакторе, нейтронам тесно. Паника. Ахнет или не ахнет повторная смерть? И мимо рабочих, мимо инженеров, мимо академиков седой человек, в очках, в халате белом, в шапочке белой и в белых перчатках, люк отпер. Включил — и опустился. В ад направился. Один. Что-то быстро, быстро заглушил в аду. Заглушил и на лифте поднялся на волю.

А за воротами атомной станции запнулся. Успел и умолк. Ядерный смерч в реакторе пронзил его. В Киеве мне и поведали: крупный ученый погиб, Ручей... Красивое имя, да?

## *Три круга*

Иван Сергеевич когда-то был военным — полковник. Но это было давно, и вспоминать о том времени он не любит с тех пор, как, изрешеченный под Берлином, еле-еле добрался до дому на костылях. Постепенно разучивал ходьбу, заново начал двигать руками, с годами дело улучшилось. Держит пчел, огородик и вдвоем с женою коротают жизнь.

Домик Ивана Сергеевича присел посередине хутора. Хутор — девять дворов, истерзанных нуждою, запустением, дождями и морозами России, бездетный: вдовы, старухи, забытые богом и брошенные властью. Старухи дружно держатся за Ивана Сергеича — у него у одного имеется настоящее ружье и острый топор, хотя на хутор ни воры, ни бандиты не заглядывают, украсть нечего, отобрать тоже. Обычная бедность.

Каждый раз 9 Мая, в День Победы, старухи надевают дешевые ситцевые кофты, повязывают белыми платочками головы и, в запонах и трогательных носочках, приходят поздравлять Ивана Сергеича под окна его домика. Домик, белый и острокрыший, похожий на зайца со вскинутыми ушами и вылупленными глазами-окошками, принимает старух радужно, поит чаем, подносит по чарочке вина.

Но все, что требуется для гостей, соображала и вела жена Ивана Сергеича, Наташа, так ее нежно называли хуторяне и не меняли ни отношения к ней, ни ее светлого имени: Наташа, поскольку уважали ее не меньше, чем уважали ее хозяина, Ивана Сергеича. Наташа ругала бригадира за равнодушие и незаботу о старухах, солдатских матерях и вдовах, Наташа писала скромные просьбы за них в райисполком и так далее.



По специальности Наташа — медсестра, а по сердечности — сестра родная, воспитанная и надежная. Но Иван Сергеич быстро утомлялся от женских разговоров и суждений, доканчивал винцо и выбирался на холмик, маячивший за огородом над рекою. Река получила очень редкое имя — Сестра. Жена у Ивана Сергеича — медсестра, старухи зовут ее просто — сестра, река Сестра, пропал, думал Иван Сергеич, с нерадивым окружением: одни сестры, ни покурить, ни поразмышлять...

Пчелы пролетали мимо уха Ивана Сергеича, и он, если напрячься и улавливать, мог угадать — своя или чужая летит. Но его успокаивало то, что если чужая в его улей летит — беды не предвидится... А мед, доставленный своею пчелой, чужою ли, совпадает вкусом, да и берут его пчелы рядом, на приречном лугу в цветах и травах, на липах, когда липы цветут, завешивая густыми зелеными ветвями болото, где жили журавли.

Садится Иван Сергеич на самую макушку холмика. Редкое счастье — на четыре стороны, оглянься, зеленый круг леса, зеленый круг полей, а в центре — золотой каравай солнца. Красиво, аж слезы подкатываются к горлу. Так — в июле, в августе, а в сентябре иная картина: золотозвонные дали, золотозвонные и с грустным русским ветром, словно скифы в курганах поют или плачут, словно погибшие отцы и братья наши стонут в земле, глубоко-глубоко...

На часок, на два Иван Сергеич поднимался к вершине холмика и, сидя, вспоминал не историю, не сказки, не личные приключения, а близкое и живое, теплое — вчерашнее. Вот журавли жили на болоте. Тонконогие, элегантные птицы. Попусту не гоношили, не кричали. Растили журавлят, и тоже тонконогих и элегантных с детства. Порода, утверждался в мысли Иван Сергеич, дается свыше. И чувствуется порода — в крохе, в ребеночке еще. А нет ее, породы, свисти сусликом, чирикай воробьем.

А перезванивались журавли внезапно. Тихо. Спокойно. Сонное замирание лугов. И вдруг — звон. За ним — еще звон. А им — третий отвечает звон. И удивительная древность повеет в сердце! А они перезваниваются, переклика-



ются и, смыкаясь голосами на общей грустной мелодии, звенят, звенят, приглушая и надрывая мелодию, и кажется, подталкивают ее, подталкивают кругами, кругами по видимому с холма простору. А осенью улетают.

Разве нет в том тайны и великого смысла, если века текут, а журавли на сестринских болотах, тысячи лет в туман утекло, а журавли на сестринских болотах? Войны отгрохотали, села и города в пожар швырнули, могильные курганы по всей России взошли, а журавли на сестринских болотах.

Иван Сергеич — не просто полковник в отставке, нет: через его память и его судьбу вся Россия на колесах тележных да на тачанках гривастых проехала и промчалась, немецкими коваными танками зацепила и воющими бомбами успела приструнить.

Еще бабушка рассказывала Ване, маленькому и смышленному, как дедушку его белые коммунисты вывели на крыльцо, а морозы в ноябре с просинью, а он, муж бабушкин, дедок Ванин, в кальсониках и невиноватый, трясется, внезапной жестокостью охваченный.

— Коммунист?...

— Да, да, коммунист!.. Ругаю белых коммунистов за разбой над красными коммунистами, а красных коммунистов ругаю за разбой над белыми коммунистами!..

Попробовал улыбнуться, но не сумел: пуля задымилась у него во рту и уронила его на заиндевелое крылечко. И в ту же минуту журавли в снежных облаках проплакали, последнее, опоздавшие. Так и пропадет русский народ под журавлиным рыданием, за журавлиной молитвой потянется и растает. Мы, русские, — исчезающие журавли!..

Отца же своего Иван Сергеич, парнишка сам, с матерью и остальными домочадцами, проводили на фронт. И тоже — в предзимье, когда журавли по резным ставням деревень русских припорошенными крыльями веяли, а немецкие танки и немецкие бомбы к Московскому Кремлю устремились.

Проводили отца. А весной вдруг возвращение журавлей слышали: выбегли за околицу — летят, знакомые, усталые, верные и завораживающие совесть и душу. Летят, а отца



с ними нет. Канул в метелях военных, и правнуки не отыщут. О, журавли, журавли, птицы храмовые, предсказители поднебесные!.. И Ваня надолго войне пригодился.

Ну, зачем бежать за журавлями? Медленные и умные, пронзают и пронзают они голосами томительное пространство русское, летят и летят, а под ними тают и тают древние селения русские и народ русский рдеет и рдеет, словно он давно обиделся на мир: затаился и скоро, скоро взмахнет исполинскими крыльями в журавлиную высь и на третьем кругу безвозвратно мелькнет у горизонта...

Но и стая журавлей не прибавляется. Примерно одна и та же по числу держится. О чем тут можно догадаться? Значит, определенное число пар сестринская стая выделяет на свободу — Сибирь, Урал, Дальний Восток; лети, размножайся по стране: если бы, если бы!..

Сидит Иван Сергеич. Волосы белые — от седины. Глаза синие, синие. Большие. И когда на речке Сестре медленная синева заколышется, и когда в звонком небе медленная синева всколыхнется — журавли зазвенят, и почудится, звон их, синий и теплый, по долинам плывет, на холмы втекает и за морями в народах истаивает. Уж когда очень сильно звенят журавли — Наташа со старухами взбирается на холмик. Старухи крестятся, а Иван Сергеич молчит. Молчит — лишь сердце у него суровее колокола: бах, бах, разорваться желает! А журавли дадут круг — и до свидания.

Но коли пчел своих от чужих, при напряжении слуха и психологического ассоциативного деза, отличает Иван Сергеич, то журавлей, выделенных родителями на свободу, отличить ему — нет сложностей. Выделенные на свободу журавли, возвращаясь из Египта или же Индии, ярогосые и стройные, равняясь по косяку, по вожаку, обязательно дают, чуть снизясь, круг над сестринским плесом, возбужденно ударив звоном по родимым лугам и болотцам. Приветствуя хуторян и лично его, Ивана Сергеича, сообщают: «Мы живы, спасибо, хуторяне!..»

Угадывает Иван Сергеич выделенных журавлей и тогда, когда они держат путь из Сибири и Урала в Египет и в Ин-



дию: три круга дают свободные журавли, три круга и звенят, звенят, так звенят, что Наташа и старухи машут им ладонями и ревут, будто снова детей собственных провожают на проклятую войну, на черную бойню. А журавли звенят: то ли чувствуют боль человеческую, то ли сотворены так же, как мы, и родимая даль, которую они покидают, под крыльями у них колеблется, а остановить их не может. И они не могут ни отстать, ни прижаться на миг к этим нищим болотцам, к этим седым русским туманам, где на седом холмике машет, машет и кричит им седой Иван Сергеич.

Грустно. Да как не грустно, если грустнее и беды придумать нельзя? Приехал начальник-мелиоратор по ранней весне в хутор. За ним приползли бульдозеры. За бульдозерами — тягачи с трубами, самосвалы с песком. Начальник — широкомордый, лобастый. Бульдозеры — широкомордые, лобастые. Тягачи — широкомордые, лобастые. Самосвалы — широкомордые, лобастые. Ну кто удержится перед ними?

Иван Сергеич хватался за ружье. Наташа со старухами — за топор, но широкомордая лобастая банда проложила здоровенные трубы по болоту, навалила горы песка, а потом сравняла песок, утрамбовала, теперь — асфальтный тракт, спроектированный турецким инженером Халифом Бибулатом, а по краям тракта — совместные предприятия химической компании США и мыловаренной фабрики Тайваня. Пропали. Русский лес продали. Русские избенки сжигают. А в Россию кавказцы камень везут. На века везут...

Наши совсем исчезли журавли, ближние, а свободные, выделенные журавли для Урала и Сибири, дадут три круга, дадут три круга и улетят. Это они — когда в Египет и в Индию летят, от нас летят. А когда к нам — не дают приветственного круга, не здороваются. Да и эти-то, прощальные-то, круги, молча дают, молча дают. Трудно звенеть им над мертвым болотом и мертвыми лугами. А может, и вообще не в силах зазвенеть, голос у них, осиротелых, треснул?

Спросите у Ивана Сергеича — он знает, почему журавли онемели. Вот недавно поднялся он на холмик, оглянулся вокруг и читает. Читает стихи Есенина. Старый, седой, стоит на холме:



---

Отговорила роща золотая  
Березовым веселым языком,  
И журавли, печально пролетая,  
Уж не жалеют больше ни о ком.

Один остался Иван Сергеич на хуторе. Наташа его умерла. Старухи раньше ее вымерли. Под крыши их въехали чужие темные люди. Сжигают русские нищие избенки и возводят на зеленых берегах древней русской реки Сестры виллы. О ком жалеть-то?

1990



## *Сторублевая курица*

Татьяна Мокевна сорок лет стояла с наганом у ворот фабрики, где разводят летающие бактерии, которые, при случае, могут с ходу атаковать вражеский самолет. Наган у нее был старинный, с деревянной круглой рукояткой, похожей на ручку мясорубки. Но выдергивать наган из-за пояса удобно: ручка охватистая и шершавая.

Татьяна Мокевна смотрит на любого человека пристально и с прищуром — профессиональная мода. Смотрит Татьяна Мокевна с прищуром, а шагает широко, четко и прямо, в такт взмахивая подсогнутыми в локте руками. Как старшина в отставке.

Юбка на Татьяне Мокевне синяя, шерстяная, без синтетики, в охране синтетика не в чести, гимнастерка зеленая, тоже без синтетики, и синяя, как юбка, шапка-берет. Ну, конечно, зеленые, под гимнастерку, носки и черные ботинки.

В чем ушла Татьяна Мокевна на пенсию, в том и по деревне ходит, для строгости традиций: не менять же психику перед новой одеждой. Все в человеке должно быть привычно, известно, понятно и надолго. Так ее за сорок лет натренировали в штабе охраны. И стояла Татьяна Мокевна у фабрики с бактериями сорок лет и сорок лет по-советски щурилась... Р-раз — и прищурится! Р-раз — и прищурится!

Но и странности случались при исполнении военных обязанностей на посту с Татьяной Мокевной. Вдруг она отпадает на минутку от бдительности и, как в обмороке, держась за будку, вращает головою от плеча до плеча. Не часто с ней затевалась такая химера, но за смену, за восемь часов, три или четыре приступа, примерно — через час и десять минут каждый.



После химеры Татьяна Мокевна дичала, и когда перед ней раскрывали пропуск, впивалась оком в предъявителя и пугала: «Вот я в тебя выстрелю!» Но кто верил? Татьяну Мокевну уважали и берегли. Лишь Гришка Малахай, фамилия такая азиатская у него, что-то интересное знал о химере Татьяны Мокевны, и если достигал ее за крутением головы, хватал двумя пальцами за нос мгновенно. Сдавливал, пошатывая нос туда, сюда и обратно, туда, сюда и обратно, отпускал и успокаивал: «Сиди, Таня, и все поперхнется!» Таня садилась на табуреточку возле будки, веселела, позже, улыбаясь, подпрыгивала, срывала с затылка шапку-берет и принималась чихать.

А из противоположной будки ей в ответ принимался чихать Малахай, и он охранял фабрику с бактериями, и на нем форма, только вместо юбки синие брюки. Григорий Малахай чихал заразительно, с тонким затяжным недоумением. Вслушиваясь, благодарная Татьяна Мокевна посылала Малахаю мысленный поцелуй. Так они и чихали всю смену: от забора до забора, от будки до будки.

Некоторые рабочие говорят: у них, у Татьяны Мокевны и у Григория Малахая, что-то в молодости было, а потом расстроилось, некоторые наоборот считают — ничего у них не было, а спаяла их накрепко суровая служба и готовность к взаимной выручке. Малахай выручал Таню в минуты химеры, а Таня выручала Малахая: ее, женщину, не проверяли, и она прятала за груди плоскую баклажечку спирту, а за проходной возвращала горючее Малахаю. Но есть и те, кто считает: у Мокевны и Малахая — повесть только начинается...

Сорок лет они дружили и сорок лет находились в одиночестве. Татьяна Мокевна любила дома, свернувшись калачиком на кушетке, лузгать жареные семечки, а Григорий Малахай дома, дернув чарку, другую неразведенного спирта, любил жареную курицу. Оба они освобождались от оружия при смене караула и не спеша прощались за проходной.

Но перестройка внесла и в их наезженную колею корrekтивы. В подобном контексте и поползли разговоры по фабрике. Директор, кандидат биологических наук, избранный без альтернативы на месткоме при дальнейшей профсо-



юзной демократизации и гласности, Федор Потапыч, вертлявый бабник. Обожает говорить и собирать митинги. Приляжет маненько бочком на трибуну и лизнет губой губу, как сом, высунувшись из воды, и: «Активизация, конкретизация, герметизация, приватизация и дезорганизация!..» Умрешь.

Утром, перед работой, бреет башку, вдоль и поперек, японской машинкой, массирует немецким моторчиком, трет русской мочалкой, моет испанским порошком и овеивает китайским полотенцем. До бразильского кофе — читает журнал «Наука и жизнь». Там статья его напечатана. Печататься он мастер. В своей фабричной многотиражке «Кузнечик» печатается в основном один. А для «Науки и жизни» ему пишут умные, почти как он сам, помощники и консультант-естествовед Винивитская Лаура Аркадьевна. Вместе с Федором Потапычем Лаура Аркадьевна, след в след, а то и рядом, находится в командировках по стране и за ее рубежами — конверсия.

На днях Федор Потапыч собрал трудящихся фабрики, даже охрану снял и пригласил в зал, где ясно обозначил контуры перестройки на биологической фабрике адекватно принципам процессов обновления, происходящего в регионе. Прерогатива — разводить белых-белых бабочек, ловить и продавать за валюту Эфиопии. Смуглокожее население братской страны предпочитает белый цвет. Что касается валюты — пока будет с нами рассчитываться кокосовыми сливками, а там и — золотом...

Международная комиссия, состоящая из крупных ученых, выяснила: на биологической фабрике, расположенной в районе РСФСР — 5, разводят не боевые бактерии, а кузнечиков, стрекозущих на сенокосе в зеленых лугах: «Тр-ри-тиль! Тр-ри-тиль!» И конец. Остальное — домыслы, происки врагов, мещанские сплетни, лишённые научного анализа. И справедливо в каждом номере многотиражки «Кузнечик» директор утверждал гуманную суть вверенного ему предприятия.

Федор Потапыч объявил тотальное сокращение кадров перед вступлением в Европейский рынок, назначил главным экспертом по приему продукции Лауру Аркадьевну Вини-



витскую, женился на ней, поскольку общечеловеческие ценности выше прежней супруги и идеи, и уволил дюжину охранников на пенсию. У ворот фабрики вместо «Вход строго запрещен!» привинтили «Добро пожаловать!». Начался бескрайний революционный эксперимент.

В связи с завершением большого биографического этапа в судьбе охранников, Татьяны Мокевны и Григория Малахая, они и решили отметить солидный итог пройденного совместно сурового пути. Татьяна Мокевна пригласила к себе на ужин Григория Малахая, не откладывая — в субботу. В пятницу, перед сном, она впала в краткую химеру. Григория Малахая рядом не оказалось, поймать ее за нос было некому, и ей привиделось. А привидевалось ей лишь только тогда, когда ее не брали за нос и не пошатывали туда, сюда и обратно. Когда же пошатывали, как Малахай у будки, ничего в перспективе не ощущалось.

Да и дома ей никогда в настигнувшей ее химере ничего не виделось, она как бы делала позу, что ее держит за нос Малахай, и кошмары исчезали, не появляясь на горизонте чудесного воображения Мокевны. Но в пятницу... В пятницу произошло то, чему у них в охране название — ЧП.

Спустилась мгновенная химера к Татьяне Мокевне, и Мокевна обмерла... С небес будто на фабрику легонько отделился от огненного облака белый треугольник, и в кабине у него сидят четверо. Первый — Черненко. Второй — Брежнев. Третий — Андропов. Рулит — Горбачев. Брежнев сидит — ордена на пиджаке считает. Черненко — количество в блокнот вписывает. А Юрий Владимирович Андропов — с прищуром, как Таня, за Горбачевым присматривает. Так и летят в треугольнике на биологическую фабрику. Не к безобразию ли такая химера?

Тебе, читатель, наверное, смешно, а Татьяне Мокевне не до смеха и не до фантазии. Летят, а у ворот фабрики — Федор Потапыч с Лаурой Аркадьевной. Она, Лаура Аркадьевна, на полтуфельки впереди, и ладошечкой им, партаппаратчикам-гуманоидам, финтифуть, финтифуть. Слезли по трапу. Горбачев:

— Ну, Потапыч, как идет на фабрике перестройка?

И — началось...



Из карманов пиджака Потапыча и жакета Лауры Аркадьевны Винивитской выпорхнули стаи, сообща выпорхнули, белых бабочек и давай перелетать с Черненко на Брежнева, с Брежнева на Андропова, с Андропова на Горбачева, и виться, виться. Лаура Аркадьевна Винивитская вьется, и бабочки вьются... А Горбачев порылся у себя в карманах и смеется:

— А черные у вас есть?

И вспорхнули на инопланетян — черные.

И пошла у фабрики канитель. Белые мимо черных — на тех, а черные мимо белых — на этих. А одна, черная, черная, села на лоб Федору Потапычу и: «Жи-жи!..» К добру ли такая химера?

Утром Татьяна Мокевна, стараясь забыть о вчерашней химере, разделявала купленную в девятичасовой очереди курицу. Подпалали один бочок, потом другой бочок, подпалали крылышки. В магазине-то куры — кучерявые, бросят на прилавок — ешь... Да и кучерявых-то нет. А химера — ничего. В юности, бывало, Сталина увидит — снизят к 8 марта на 8 копеек цену на галоши. Сталин не подводил. А эти — улетят, прилетят, а кроме того, как надбавить на галоши во семьдесят рублей, ни на что не способны. Мокевна и Потапыча, и Лауру Аркадьевну причислила к ним. Причислила и: «Жи-жи!» — отодвинула химеру.

До щелчка вымытую курицу Татьяна Мокевна положила в большую чашку и вышла из кухни в огород нарвать петрушки. Рвет она петрушку и чувствует — махинацию. Входит на кухню — курицы нет. Большая чашка на столе, а курицы нет. И Мокевна понимает — не химера это. Чашка — без курицы. Хорошо: на улице август, тепло и низкая избенка у Мокевны, ступила — и на земле. Но курица приобретена за квартальную премию!

Выбегла за калитку. Прищурилась — до линии мушки вроде... Глядь, а белый кобель, не деревенский, ошейник на нем с шелковым плетеным шнурочком, — белый кобель виляет задницей, а курица, как трубка, у него в зубах. Несет курицу, как бы курит, гад. Вот и химера. Увидишь пустяк, а потеряешь деньги.



Нет, эти к добру не мерещатся... Бабочки белые. Собака белая. Ясно. А черные бабочки к чему? Белый кобелина уходил из прищура и уходил. Постоит — тронется, постоит — тронется, и она так: постоит — тронется, физкультура.

Мокевна решила перехитрить его, и через проулок, на поперек, сильно сокращая расстояние улицы, где уходил кобель, взяла опять же сильным креном на поперек и затаилась в конце деревни за кустами, которых кобелю не миновать, дальше — тракт. Привстала по-звериному, на четвереньки, ждет момента скакнуть и отобрать курицу. Ждет, а кобеля нет. Ждет, а кобеля нет.

И услышала Татьяна Мокевна некоторое дыхание. Подобралась и напружинилась. И вот дыхание — за кустом. И — вот... И Мокевна скакнула. Кобеля шарахнуло так, что он перелетел на другую сторону конца улицы и, пятясь, взмолился:

— Таня, укороти себя, это я, Гриша Малахай!..

Григорий Малахай чутко улавливал движения возбужденной Мокевны и, принимая меры безопасности, держа ее ласково подле куста, успокаивал:

— Мокевна, это я, Гриша Малахай! Мокевна, это я, Гриша Малахай!

Мокевна вздрогнула и обернулась женщиной:

— Ах, Гриша, а чиво ты так рано, я ведь и курицу тебе не успела приготовить!..

Малахай словно проник в разбитое сердце Мокевны. Он молча погладил ее по берету, и они молча двинулись в сторону низкой избы.

Внезапно за лесом заухало. Кинуло желтые осенние листья в ноги Тани и Малахая, и белые, белые снежины, шустрые, как бабочки, запорхали в мокром воздухе. А они — шли. Двое — шли. А один, этот дебилорылый ненасытный городской кобель, дожевывал вкусную сторублевую охранницу курицу под корнем здорового дуба, шумящего за околлицей, и обижался: «Миниатюрная, мог бы и потолще хапнуть, да у кого?» На дубу каркали от зависти черные вороны, сваливаясь и клубясь над белым огромным кобелем, как тяжелые черные бабочки: «Жи-жи!..»



---

Вот и — химера! А отпадать от бдительности Татьяна Мокевна научилась давно. Муж у нее был, друг Малахая, жестянщик. И по выходным дням он в сарае выстукивал на мисках и тазиках партийные мелодии. Чинит — и выстукивает, например, «Интернационал»:

Вставай, проклятьем заклеянный,  
Весь мир голодных и рабов!

Иногда к ним приходил Малахай, и они втроем под выстукивание пели. Мокевна увлекалась и высоко брала, вот и хватал ее, шутя, за нос ласковый жестянщик, муж ее. Но стряслась беда с ним. И на работе, и дома день и ночь начал выстукивать «Интернационал». Поймали его как-то и увезли куда-то лечить. Так и не вернули...

1990

## *Петя и Эмма*

Есть люди, которые до скончания так ни разу не услышат своего отчества, как наш Петя. Петя — и все. Омикро-скопчили и законсервировали. Рыжий мальчик — Петя. И рыжий старик — Петя. Почему — лишь Петя? Глупый? Нет. Смешной? Нет. Потому Петя, что — добрый. Мягкий, человечный, искренний. Это с любовью к нему, долгой и неизменной, на селе — Петя... Даже фамилию его забыли. Жену его не знают, как звать, а он — Петя. Детей его не знают, как звать, а он — Петя.

Недавно Пете справили в колхозе юбилей: Петя ровесник Великой Октябрьской революции, чем сильно гордится, и к 70-летию, ее и своему, готовился неторопливо, глубоко и достойно. Петя работает и сейчас, как более полувека назад, истопником в главной районной бане. Аккуратно накаливает печь, следит за равновесием парового давления и чистотой в котельной. Петя любит порядок и покой.

За хорошую работу имеет несколько юбилейных медалей, около ста похвальных грамот, правда, так или иначе, привязанных к разным юбилеям: то — юбилей обкома, то — горкома, то — милиции, то — пиццетреста, то — дикторши, Эммы Сысоевны, выбившейся в люди из низов города Гвардейска. Ее тридцатилетие отмечали громко, массово, как с трибуны сказал партийный секретарь Сергей Сергеевич Сергеев.

Секретарь посожалел, мол, если бы Эмма Сысоевна была бы еще и не Сысоевной, а Сергеевной, то партия относилась бы к ней более, так секретарь пошутил, родственно, как дочку обожала бы ее, хотя, мол, Эмма Сысоевна, капля от капли, плоть от плоти, советская, дикторша гвардейско-ленинской





школы, начнет говорить — доведет, мол, до конца честное идейное дело!..

Секретарь вручил на празднике очередную похвальную грамоту и яркий медный значок Пете за примерный труд. Поблагодарил. На похвальной грамоте изображена Эмма Сысоевна перед микрофоном, а дальше — Кремль, башни, звезды, самолеты-перехватчики и красное миролюбивое зарево беспощадной борьбы за мир.

Сколько ни вручал Сергей Сергеевич Сергеев почетных грамот Пете, ни разу Петю не поцеловал, суровый марксист. А вручил от имени трудящихся Гвардейска жемчужное ожерелье Эмме Сысоевне — впился в губы своими и затаился, азиат, будто где-то за углом комсомольским цапнул и мнет дикторшу или в личном кабинете, когда никого близко нет, телефоны молчат, а со стены мудро прищуривается единственный вождь, Владимир Ильич Ленин, кристальной нравственности человечнице и пролетарский наставник.

Петя не дурак, зачем ему жемчужное ожерелье, да еще и от имени трудящихся Гвардейска? Носи да оглядывайся... А похвальные грамоты кому нужны? И хулиганы их не возьмут, и трудящиеся за них не осудят. И Петя на банкете чмокнул в ладошечку Эмму Сысоевну, припомнил ей, как в детстве за ней бежал красный петух по проулку, с твердым намерением клюнуть ее: Эмма с ним не поделилась булочкой, но Петя отогнал задиру, а крохотная Эмма прижалась к Пете и залилась тогда еще непорочными слезами.

Петя не мог предположить: сколько красных петухов потом гонялось и теперь гоняется за Эммой, но Эмма Сысоевна давно не крохотная девочка — вертит высокими петушиными гребешками, как микрофоном на экране, и юбилей, лучший женский юбилей, справляет среди земляков. Хотя юбилей — холера, трясет ими нашу великую державу и окольные страны, но не Эмма Сысоевна и не Петя их придумали. Есть такие юбилей и такие юбиляры — золотой звон стоит в Кремле и спать Ленину в Мавзолее мешают.

Так впился-то Сергей Сергеевич Сергеев, горкомовский секретарь, впился, а вытянуться из губ Эммы Сысоевны никак не может. Не может или Эмма не готова его ослобонить,



или заклинился, а народ в зале живой, кто хихикать, кто сочувствовать, а тут дура, жена секретаря, между прочим, тоже секретарь, но не горкома, а хозплемпартбюро, и махни на сцену: «Хватит поздравляться, программа «Время» окончилась!..»

Но спас положение второй секретарь, обязанный присматривать за состоянием первого. У них там первый — за вторым, второй — за третьим, и обратно: третий — за вторым, второй — за первым, а за Эммой Сысоевной — строим: первый, второй, третий, это и выдернуло жену Сергея Сергеевича Сергеева на сцену, партийная принципиальность выдернула ее.

Дикторша ответила на вопросы. Разъяснила основную международную заботу — партнерство между СССР и США, военное корректное сношение между СССР и США, никаких соцсоревнований между СССР и США, никаких идейных битв между СССР и США, а им и нам велено верить в бога и посещать храмы в городе Гвардейске и продолжать уценять Ильича. На вопрос о летающих тарелках Эмма Сысоевна ответила так:

«Тарелки летают разные. Треугольники. Квадратики. Тюбики. Смотреть на них разрешается, а в гости приглашать не рекомендуется: свои тарелки на кухне не хуже американских у тех, кто предан Родине и партии!» — оглоушила она секретарей...

Кто-то в гоме оваций и благоухания сунул Пете в президиуме цветы и шепнул с угрозой: «Встань, балда, и поклонись дикторше от рабочего класса!..» Петя и выполнил. И уже ехал на банкет в машине, впереди, рядом с шофером, а сзади — Эмма Сысоевна, возбужденная успехом, и с ней Сергей Сергеевич Сергеев. За ними — черная «Волга» второго, за вторым — черная «Волга» третьего. А чины, на подхвате, пасут третьего, за третьим — черная «Волга» начальника милиции, за ним на черных «Волгах» директора, депутаты, контролеры и прочие кассиры и продавцы из КГБ, циркачи ненасытные...

За столом дикторша быстро захмелела и, боясь жены секретаря, партийной супруги Сергея Сергеевича Сергеева,



двуногой прялки, брюзжащей, хватала Петю за коленку и не-  
сла чепуху:

Я трудилась на заводе  
У дедушки Володи,  
А у дяди Пети  
Отдыхала в декрете!..

Петя не стерпел издевательства и покинул банкет. Гово-  
рят, дикторшу и ее свиту на «Икарусе» отправили в Москву,  
ей и ее товарищам сунули на дорогу по жареному цыпленку.  
А Петя с тех пор отказался получать грамоты и пить и заку-  
сывать на политических банкетах — как бы отошел от обще-  
ственной деятельности и зажил незаметно, по-человечески,  
без шума и помпы.

Петя интеллигентный человек и технически грамотный:  
топку раскочегарит, ежели вдосталь самосвал вывалит на  
снег, зимою, кемеровского угля ему. Кемеровский уголь не  
чета донецкому, черному и тающему, кемеровский уголь  
чист, яйцо к яйцу вроде, и заложил его Петя посуровее в топ-  
ку — Эмма Сысоевна разденется догола, как, Петя предпола-  
гает, на пляже в Сочи или в коктейльном Крыму.

Петя про себя вернулся к детству. И что петух? Ключнул  
ее — она же и выздоровела. А Петя припомнил иное: Эмма, в  
пионерках еще, с кумачовым галстучком на шее, курица лю-  
бопытная, в заречном лагере, лишь проиграет вечерний горн,  
внезапно врывалась в шалашики и в палатки к детям и до-  
тошно пыталась: «Э, что вы тут спрятались, как лежите, бу?»

Петин младший приятель, верзила Ефим, вожатый, по-  
колотил Эмму легонько за ее капризные штучки. Эмма при-  
ставала к ровесницам: «О чем тебя, Маша, просил Сема, б-бу?»  
Ее сторонились пионеры, вожатые и приятельницы. А она  
обороты набирала и кичилась: считала — робеют и заиски-  
вают перед нею, перед ее сметкостью и ее одаренностью,  
данною ей свыше на процветание человечества.

Петух знает, за что клевать, напрасно не полезет в скан-  
дал, разумная птица. Про Эмму Сысоевну в районе московс-  
кие слухи из конторы в контору червями переползали: яко-



бы Эмму на бронированном автомобиле к Леониду Ильичу Брежневу подавали, Ильичи-то, этот и тот, не отворачивались от обнаженных кенгуру. А Брежнев — подавно. Сластина.

И в самый расцвет семидесятилетия генсека подали, и опять — к юбилею, Эмму, а он помотал, якобы, помотал мордою важною да и брякнул опрометчиво: «А хде Эмма?» А та: «Я и есть Эмма!..» А он: «А я решил, вы Эммина мама, вы же Эмма Сысоевна, ну Эммина мама, вы хорошо сохранились. Привет Эмме!..»

Эмма расстроилась. Неделю глотала, через час и пятнадцать минут, таблетки от гипертонии, а на следующей неделе погостила на малой родине у секретаря горкома Сергея Сергеевича Сергеева и повеселела. Сергеев Сергей Сергеевич шепнул ей на матрасе: «Ты в Кремле первая леди и у нас в Гвардейске первая леди, но к генсеку я тебя не ревную: партия не дает мне подобного права!» Эмма и задрала нос.

Эмму Сысоевну выдвинули в верховные депутаты, а Петя, вспоминая про петуха, бежавшего с твердым намерением клюнуть девочку, иногда вслух сомневался: «А, может, пусть бы петух ее и клюнул?»

На экране же Эмму Сысоевну Петя видеть больше не мог. Только она начинала поскрипывать телевизионным капроновым языком и подергивать гордо микрофонным собачьим носом, Петя выключал гавкающую махину, если это случалось летом, и шел ко мне.

Рыжий, медленный, добрый, Петя садился на ветхое крыльцо и выплескивал обиду.

«Ну, поучился, ну, семилетку закончил. А куда ни ткнусь перед войною, кругом депутаты. Дикторов тогда еще не было на экране... Ну, воевать взяли. Куда ни ткнусь — кругом оккупанты. В Киеве — оккупанты. В Минске — оккупанты. У Москвы — оккупанты. На Волге — оккупанты. Эх!.. А с нами — Сталин. И — Ленин в Мавзолее лежит, эх!..»

И прежде чем укрыть в могиле  
Навеки от живых людей,  
В Колонном зале положили  
Его на пять ночей и дней...



И потекли людские толпы,  
Неся знамена впереди.  
Чтобы взглянуть на профиль желтый  
И красный орден на груди.

Текли. А стужа над землею  
Такая лютая была,  
Как будто он унес с собою  
Частицу нашего тепла.

И пять ночей в Москве не спали  
Из-за того, что он уснул.  
И был торжественно-печален  
Луны почетный караул.

Петя после чтения делает паузу: «Эх!»

— Инбер, — заключаю я, — Инбер!

— Кустарник? — уточняет Петя.

— Не кустарник, а стихи Веры Инбер, поэтесса, Вера Инбер!..

Петя мрачнеет:

— Дикторша, поэтесса, похвальная грамота, котельная, секретари, а я Петя... Дай чуток выпить!

Я наливал Пете стаканчик.

— А ты об Ильиче пишешь?

— Нет, писал...

— И-и-х! — Петя, хмелея и горюя, доверялся мне:

— Я бы разобрал Мавзолей. Перевез кубы гранита на лошадах или на машинах за Москву. Нашел бы холм и на нем бы собрал Мавзолей, в точности, каким он есть. Положил бы на прежнее место Владимира Ильича. И всех его соратников и родных, друзей и сослуживцев, продолжателей и корифеев: Троцкого, Сталина, Дзержинского, Свердлова, Менжинского, Ягоду, Калинина, Ежова, Берию, Кагановича, всех, сколько их там, Засуличу, Ворошилова, Микояна, Горбачева, там он или не там, Хрущева, Фурцеву и Клару Цеткин, Ельцина, там он или не там, — всех заселил бы возле Мавзолея, вблизи Ильича, как есть!



— Зачем?

— А зачем переиначивать? Хочешь знать свой наивный или свой мудрый народ и его настоящих лидеров — поезжай на трамвайчике к Савеловскому вокзалу, а там, на такси, до холма, гляди, радуйся, кайся, зеленой, бледней, как тебе удобнее, так и воспринимай, но Кремль — Кремль, Москва — Москва, не смей трогать и переиначивать. Эх!..

— Пожалуй.

— И не бранил бы я никого, не печатал бы об этом в газетах, запретил бы визжать об этом Инберу и дикторше, Эмме Сысоевне, и секретарям. Молча перехорони, молча. Жуть, опять похвальба: Ленин плохой, а я, секретарь, я, Инбер, я, дикторша, хорошая?

Я наливал Пете еще. И Петя, окончательно уважив меня, брал под локоть:

— Ну, разве все, кто Ленину верил, идиоты, преступники, а? Вот ты, идиот? Преступник? А я, учил в детстве о нем песни, идиот?

Петя углублялся в текущую ситуацию и хлопоты:

— Урожай на полях под Гвардейском гниет, кто виноват, царь? Ленин? Мы? Кто? Эх! А за расстрелянных один Сталин виноват? А за бедную Россию царь не виноват?.. Потому и на другом холме, напротив, я бы похоронил безвинных, погибших, оклеветанных и других, зря убитых. А над ними, над ними, над двумя холмами-то, я бы вознес черный-черный, грустный-грустный, аж страшный, мраморный крест! Понял?

— Крест всему?..

— Всему крест, довольно, кайтесь, братайтесь и работайте! И пусть стоит этот огромный черный крест, а над ним черный колокол, и пусть он, черный колокол-то, — гудит над Россией, пусть гудит. Эх!.. — Петя тряс кулаком. И у себя, затащив меня во двор, лихо распахивал туалет, дощатое громоздкое сооружение: — Во-о! — Петя работал в Гвардейске, а жил в деревне.

На щербатых, внутри, стенах горбыльной уборной державно горели золотые буквы похвальных грамот: «Похвальная грамота» Воробьеву Петру Григорьевичу и «Похвальная грамота», «Похвальная грамота», «Похвальная грамота»,



---

«Похвальная грамота», заклеены стены и пол, и потолок, и порожек. Нельзя их, похвальные грамоты, подсчитать: много, стыдно считать. Не сортир, а огромный научный центр, с лекциями выступай, но где аудитория?..

А Петя смотрит на меня с необыкновенным простодушием:

И пять ночей в Москве не спали  
Из-за того, что он уснул.

Спать нормально пора. Работать нормально пора. Да и жить нормально давно пора!

1990

## *Коршун*

Давно я живу в столице России — Москве. А каждый день вспоминаю свой маленький горный хутор — Ивашлу. Стоял он в горах, прилепясь на берегу норовистой речушки, бегущей по небольшой долине, а можно сказать — по ущелью, где подножия гор образовали как бы круглую чашу, полянку, вот на ней и стояла Ивашла.

На косогорах, на скалах весной собирал я дикий чеснок, а летом — ягоды. Ведь дикая вишня или дикая малина разве сравнимы с прирученной? Вкус — истомнее, пронзительнее, а уж полезнее-то во много раз!

А в Москве на рынках — смуглокожие, от кавказского дармового солнца загорелые торгошники, кричат в спину тебе, в спину, ножом и ножом пыряют:

- Яблоко, сорок руплей килограмм!..
- Слива, сто руплей килограмм!..
- Лук, семьдесят руплей килограмм!..

Парнишка брысьяво между прилавками блудит и покупатель заманивает концертом. Вихор торчит на макушке. И веснушки — медные капли на мордочке. Городским солнцем, скупым и необязательным, прижжен. Короткий чубчик замедовел. Хитрый парнишка. Стреляет — стащить выслеживает и стихи запузывает с выражением и мимикой, прищелкивая пальчиками:

А Борису бизнесмен  
Куртку дал, а тот взамен  
Снял пиджак ему с плеча,  
Не глотнувши первача...





А глотнет — тяните руки  
До фуражки и часов,  
Будет рад он скинуть брюки  
И остаться без трусов.

Ради славы и успеха  
Мы осилим горы дел, —  
Лишь бы голым не приехал,  
Босиком не прилетел!..

Лысый, толстый кавказец, отороченный лоснящимся мхом, высовывающимся из-под майки, пиджак опорожняет, карманы растопырил и парнишке:

— Пири пизжак!.. Груша пири!.. Пизнисмэн!.. Пири сервец!..

Торговые фанатики используют живую русскую рекламу. Портят ее. Нередко забавные номера у прилавков заканчиваются гибелью несмышленных артистов. Быстро освоив ложь и подлог, беспризорные ребята нахраписто кидаются в мошенничество и среди покровителей...

А честно распутаться — нет: барыга цепко стережет. Затраченное отбатрачь. А у него украдешь — на кинжал напорешься. Москва — преступная столица. Россия — страна великая. Кто заступится? Кто спасет? «Пири, сервец!.. Пири, зарэжу!..»

Ну кто мне кричал в Ивашле так? Бедно мы жили, а все — в радость да на здоровье. Заберешься на камень, выпятившийся из горы, у вершины ее, тысячу, а может, десять тысяч лет назад, может, и миллион? Камень весной, в начале мая — весна на Урале не торопится с летом слиться, — заберешься, а камень — теплый.

Отполированный, диван и диван, даже лунки в нем людьми высиженные за века и века, и ты теперь сидишь — мальчишка, будущий полководец или царь, поэт или летчик? Мечтаешь. А белоголовые орлы, беркуты, кругами — над Ивашлой, над Ивашлой, задевая крыльями седые скалы, чертя крыльями по многдумным лбам гор. А ты сидишь. Лучи достигают ног твоих, ступней босых, снега в оврагах не редющих, донесших тебя к вершине главной горы, к древнему камню.



Мать выскочит к обеду на крыльцо:

— Валька, домой, обедать! Валька, домой, обедать!

А Валька греется — подставляя честно, поочередно, бока солнышку. Волосы — давно заветрились и лицо — краснокожее. Бандит. А орлы, размахнув могучие крылья, роняют в долину гордые крики. Два, три, четыре, пять — взовьются и кружат, кружат. Потоки, водопады со скал прыгают и шумят в долине, мчатся и кувыркаясь в речушку, дополняя ее омота бешеной силой и белой, белой, пламенной пеной, выплескивающейся на огородики, притуленные за плетнями, отрезанными грядкою завалов и дубовых или лиственных свай: дабы речушка не куролесила по родящей земле, не разоряла добрые сально-жирные огороды.

Если спуститься чуток с горы, от древнего камня, в овраг, там — неохватные лиственницы, кедры, сосны, березы, липы, осины, клены, дубки и разные кустарники. Не пробиться. Но орлы поворачивали в синеве грудь, как бомбовозы, и пропадали в разлапистых силуэтах деревьев. Гнезда у них среди прочих сучьев, большие, прочные, с большими прочными детьми. Дети орлов или беркутов, у нас на Ивашле их не подразделяли, да и не стремились уточнять: орлы или беркуты белоголовые. Белоголовые, тяжелые и серьезные. Лежат в гнезде молча. Тугие, умные и агрессивные. Лежат — по несколько штук, но не очень массово: в основном, как близнецы — пара, редко — четыре... Ребятишки и ребятишки, только — не разговаривают.

И повадился я, с крошками хлеба, заглядывать на них. Выбрал дерево — лиственницу, огромную, высоченную, а наверху — гнездо. Лиственница спеленута ветвями, замурована хвоей, пока к ней доберешься, наглотаешься снегом, оцарапаешься и замерзнешь, но риск — благородное дело, особенно в детстве. Снег держится в оврагах — до сенокоса, а под снегом вода — зубы ломит... Повадился. Орлы кружат над Ивашлой, пищу выслеживают, а я вскарабкаюсь к гнезду, быстро, быстро посмотрю на белоголовых орлят и вниз, деру, да такого — свист в ушах. Игра продолжалась около недели. Орлы кружить над Ивашлой — я к их гнезду смотреть на ребятишек.



И однажды, то ли я припоздал, часов-то в деревне не было после войны, то ли орлы вернулись пораньше домой, и обнаружили на их лиственнице, у их гнезда, незнакомого человека. Боже, высь засверкала молниями, и тучи обрушились громом. Лиственница подо мной закачалась и принялась звенеть, дрожать и крениться, а орлы, самец и самка, взялись махать крыльями, нагоняя бурю на меня, и грозиться языческими голосами: «Уг-ру! Уг-ру!...»

Хозяин гнезда, муж орлицы, сложил крылья и упал на лиственницу, сломал несколько веток, закричал гневно и, разъяренный, взметнулся над гнездом снова, а меня опажнуло горьковатым порошком перьев и дремотной сыростью природы...

Спасли меня ветви — длинные, гнутся, а не ломаются, гнутся, а не ломаются, и орел, беркут настырный, не в состоянии через них удар по мне осуществить. Отсиделся я за деревьями. Орлы кружили, кружили, хлопали, хлопали крыльями, кричали, кричали но я отсиделся за лиственницами, рассчитав момент, исчез.

Мать, подробно перечислив мне царапины на ушах, на бровях, на лбу, на руках и ногах, поняла: «К орлам в гнезда лазил? Долазишься — орлы не шутят!..» К назиданиям матери присоединился отец: «Запомни, орел ошибается раз, второй — редко, а с третьего круга бьет в цель точно. Ружье тебе дать не могу, сам в лес ухожу!» Дверь хлопнула, отец отправился до вечера проверять деланки в тайге.

Читатель удивится: «Ружье тебе дать не могу, сам в лес ухожу!» Мы, дети лесников, с девяти лет стреляли, иногда метче отцов: тайга, война, голод, холод научат. Мать еще наказала: «Не беспокой орлят, орлы не прощают обиду их детей!..»

Но камень, диванообразный, с углублениями-сидениями, зовет к себе высотой и солнышком, ветром и мечтою: сиди, фантазируй, мечтай. И как не размечтаться? Вон в той пещере скрывался Пугачев от генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, а в той Салават Юлаев вместе с конем ночевал: от царской погони ускакал осенью... Да и Пушкин в унылой кибитке трясся по Куюк-горе...



На Урале даже ихтиозавры в пермских морях плавали. Ихтиозавры вымерли и превратились в холмы. А пескари, сколько хошь, лови — в жару, по калужинам и запрудам речушки. А в Москве: «Маркофке, сесьдесят руплей!» «Хылеп, булошка, по тивятнасть руплей!..»

Мальчик, мальчик, сирота городская. Папа твой спился или в Афганистане погиб за интернационализм. А маму твою лысый рыночник, отороченный лоснящимся мхом, к майке притискивает. А чем кормиться? Мама — лаборантка: химию на себе испытывает, а потом ею кроликов лечат... И ты — кролик.

И снова я очутился на лиственнице. И снова бросил орлятам крошки черного хлебца, как бросал им раньше, из ломтика скудно сбереженные. Орлята, слинявшие, почерневшие, заменившие пух на мягкие перышки, дремали, прижимаясь телами. Ели они мои хлебные крошки, не ели, я не знаю. Но бросил. Хотя, слышал я, орлы чужие продукты вышвыривают из гнезда беспощадно. Гордые. Слышал, мать сердилась: «Нет, теленка покормить, а он хищников кормит? Подрастут и последнюю курицу унесут. Старые беркуты одолевают, а он молодых кормит, глупый!..»

Склонился я над гнездом, дунул на орлят, а они ласково: «Гр-у!» «Г-ру!» — паразиты, уже почти выучили... Может, пробовали кружить над Ивашлой, а я проморгал? Нырнул привычно по ветвям вниз и — был таков.

Миновал древний камень, овражек, разные кустики и выскочил на песчано-каменистую пологость: открытая и пустая. И почему-то вернулся к прочитанной книжке американца. Он пишет, вспомнил я, что орлы в Америке нападают на детей, шагающих вдоль трасс, и воруют, в небо уносят, разбойники. Американскому ребенку на стеклянной трассе не скрыться от орла, а на нашей — в любую канаву на дороге ляжешь — медведь мимо проскочит, не только орел. Да и пионер я уже, Гайдара изучаю... Маршака и Михалкова зубрю...

Едва я подумал, как с головы моей со свистом свалился к ногам орел и, гремя крыльями, с разинутым клювом, тяжело взлетел. Я не успел испугаться, но чутко насторожился. А орел поспешно поднимался и поднимался в небо. Я стал следить за орлом.



И опять, едва я подумал об американском унесенном ровеснике, на меня ринулся орел, сшиб меня с ног. Сам опрокинулся, но, хрипя и роняя кровь из клюва, ринулся в мою сторону и круто, чуть ли не с хвоста, взлетел.

Тут я вспомнил и отца: «А с третьего круга бьет в цель точно!..» Из левой ладони у меня сильно текла кровь. Правое колено сильно болело. Левое — вздулось. Орел долбанул, сам ли ткнулся в острый камень?

А разъяренный орел превратился надо мною в точку, да в малую темную точку, в беркута. Из-за туч он и не виден. Он выше туч. Он дальше туч. Он прекратил бесполезную атаку и прощается с жертвой. Даже стихло в окрестности. Даже теленок наш, слышу с горы, мычит во дворе. Слава Богу.

И лишь потерял я точку в небе, как надо мною, почудилось мне, щелкнули и на мелкие каленые горошины стали дробиться камни, а дальний чащобник встрепенулся и побежал по косогору туда, к накренным лиственницам... Ветер.

Орел — повис надо мною, высовывая, как шасси, лапы, и пошевеливая когтями. Глаза его, красные, вращались и вспыхивали, красные и дурные. Навис — и снижается, снижается. Камни шевелятся, и трава, как суслик, свистит. Но грянувший выстрел отца освободил мою душу!..

Орел перевернулся в воздухе, подскочил и, вертя клювом, попытался взлететь под гору, но поскользнулся и замахал, замахал крыльями, слабея.

— Ну, нагяделся на орлят?! — в упор спросил отец, бледный и возбужденный. Он вынул нервными пальцами патрон из дымящегося ствола и, зарядив, опять вскинул ружье: «Б-бах!» — покатило по горам. Отец взял меня за голову, повернул к речке: «Глянь, орлица падает, от нее ты не увернулся бы!..»

Живу я в Москве на Ломоносовском проспекте, а он упирается в Черемушкинский рынок, престижный рынок воря, мафий и голодных. Голодные, заляпаные грязью мальчишки и девчонки снуют между прилавками, заваленными вкусными соленьями, копчеными колбасами, айвою, кишмишем и мороженым — по одиннадцать рублей!.. Дешевое, но где бедные ребяташки денег возьмут? И — крадут снедь разную и сладости.



---

Вчера гуляю я с ученым в окрестностях Черемушкинского рынка, про орла ему рассказываю, а он, орнитолог и морской акустик, рассказывает мне про рыбу «Аф-аф», выведенную в Америке скрещиванием икры сибирской щуки и семени калифорнийского сонного окуня: теперь новая рыба «Аф-аф» служит радиопеленгатором на военных кораблях у Европы, в НАТО.

Рассказываю ему про орлов уральских, а из толпы пулей вылетел мальчик, артист мой, чтец, со сверточком: крошка мяса ли в нем, яблочко ли, огурчик ли, но не мороженое, зачем его завертывать-то? А за мальчишкой — толстый мшистый кавказец, беркут, ножом блещет: «Тержи ява! Тержи ява!..»

И догнал, и ножом, ножом, под лопатки, до сердца всадил.

Упал воришка, а ручонки протягивает, протягивает, пальчиками шевелит, шевелит... Да отца с ружьем у мальчишки не оказалось: защитить некому подростка, некому было!

## Тяг

Теперь — Горбачева народ считает преступником, в магазинах, давясь в очередях за хлебом, женщины громко называют его шпионом, предателем, агентом ЦРУ... А писатель Акулов сразу разоблачил его: «Этот все продаст!..»

А что было вчера вокруг имени Горбачева? И вчера, почти с первых недель властвования, Горбачев не имел в народе глубокого укоренения, доверие народа к нему вспыхивало кратко, лишь во время азартных речей генсека, когда он, распахни-рубаха, спрашивал:

— Зная, шо я думаю?.. — И влез через форточку в президенты.

Теперь — на бетонных заборах, на стенах предприятий черными буквами написано: «Гитлер и Горбачев — ублюдки человечества!..» Или: «Горбачев — враг № 1»... Или: «Мужики, доколе терпеть измену Ельцина?»... Едешь — читаешь.

Бедные старушки, уборщицы и пенсионерки, пытаются тряпками, вениками и щетками затереть огромные черные буквы на заборах и стенах по Ярославской железной дороге, но черные буквы расплываются на бетонных плитах и делаются еще огромнее и грязнее...

Горбачев не удивил народ разложением и смутой. Не удивил народ и своей позорной отставкой. Частушками, анекдотами, присказками и ненавистью народ определил ему, в муках и страданиях, репутацию: «Иуда!..» Даже родовое пятно на лбу генсека народ не пощадил, хотя не в русских традициях — насмехаться, но народ сказал: «Меченый в Кремле, черт Русью правит!..»

Сухонькие старушки вымаливали в храмах спасение русским, а старики-ветераны, крикая, крыли суестьегося по



чужим и нашим трибунам президента отборной бранью. Иногда у них в глазах закипали грозы: «Ведь страну великую разваливает, могилы оскверняет, гад!.. Мертвых отпихивает «за рубеж», торгует памятниками и крестами солдатскими, ленинский высмерток!..»

А ленинский высмерток вольным взмахом передавал территории, разбалтывал секреты, устраивал уничтожение новейшего оружия, сработанного миллионами честных тружеников на честные рубли, для честной защиты Родины. «Территориальное образование...» — шамкал президент, бочком, по жаркой погоде, в широкой тяжелой шляпе и внушительном пальто, прижимаясь в Рейкьявике к плечу красивого руководителя США, одетого в блестящий костюм, прижимаясь лысой малодумной головою, доставая ею едва, едва до плеча Рейгана.

Рейган улыбался покровительственно, победительно и дружелюбно. А наш — быстро сдирая широкую шляпу с голлой головы, быстро расстегивая пальто, быстро, вертя пятном, поддериговал штаны и тоже улыбался. Но жалко, продажно, виновато!.. Казалось, его захлопнули в ящике из-под крупы, и он скребется, тыкается, дрожит и скользит, а за ним наблюдают мышеловы... Кто бы мог наблюдать?

Наблюдать могли — Яковлев, Коротич, Арбатов, Мураховский, Абалкин, Шаталин, Шеварднадзе, Примаков, да много их, кто мог наблюдать! Например — Адамович, Евтушенко, Черниченко, могли даже записывать, как президент СССР, ныряя по ящику и сваливаясь в мякину, скребется, шуршит и скребется... Беда. Но соавторы государственной катастрофы, некоторые сбежали из СССР, а некоторые впали в литературные проблемы...

Вот и Михаил Сергеевич Горбачев, расчленив державу изворотливыми приемами лавочника, тайными методами древней мафии, открытой базарной наглостью и обманом, уничтожил ее, геройскую и добрую, магическими обещаниями и прогнозами, займами и капканными помощами, внезапными взрывами кораблей и фабрик, крушением поездов и авариями АЭС, отравой земли и неба...





Конечно, не сам генсек полз к вагону с гранатой, не сам президент, потный, отдувающийся, нажимал кнопку Чернобыльской АЭС, но сам оглашал программу «Перестройки», программу похорон любимой нашей Отчизны, заявляя: «Знаитя, в этой стране, в ее образованиях и регионах, знаитя, усе плохо!..»

А что — хорошо? Хорошо — Раиса Максимовна. Хорошо — реликтовые деревья Фороса, выдранные из аборигенной почвы, к аллее генсека ЦК КПСС, президента СССР, демократа, ленинца, вожака Миши. Ну, «казачонок» из станицы Привольной, захотел натворить — натворил! За сотни лет не расхлебать каши, не расплескать крови: могучую державу предал, губитель!..

Да, жутче оружия, чем национализм, нет. Национализм — не за мамину речь, не за дедову краину, а национализм — гони русских!.. Русские — виноваты. Русские — оккупанты. Русские — воры. И он, генсек, он, президент, в Кремле жалуется депутатскому съезду: «Знаитя, я упротив шовинизма, я упротив красно-коричневых, я упротив русского фашизма, русского монархизма, я упротив антисемитизма!..»

А в Рейкьявике, Нью-Йорке, Бонне, Лондоне, Париже, Хельсинки, Мадриде, Риме, оглянувшись, нет ли рядом ящичка-ловушки, нюнить и кляузничать принимается, изгаляясь над нами: «У нас есть твердолобые консерваторы, большая страшная сила, есть оголтелые, есть партаппаратчики!..»

Помогайте, мол, мы одни не справимся. Мы, дескать, с вами, а они мешают. Давай снимать патриотов с постов, давай изводить русских в республиках, в братских народах, поднимая бокал: «Я русский!..» Ты — предатель России. А русский ты или не русский, показала твоя вражья деятельность. Хватит на века!..

Сидим в деревенском домике. Писатель Иван Акулов, страдалец и защитник, раненный под Мценском, глядит, как Сергеевич, сверкая пятном, трется у плеча импозантного Рейгана. Акулов, морщась, заключает: «Валь, на генсеке-то нет лица, нет лица! Что же он подписал Рейгану? У, нет лица, нет лица!.. Он все отдал, он все предал, жулик!..»



Сегодня мы, иные из нас, роясь в биографиях вождей и времен, ясно представляем роль прессы, чужой, люто ненавидящей русских, прессы — еврейского лада, масонского замысла, сионистского почерка. Как она восславила и обрамила образ Ильича? Попробуй икнуть. Он — прав. И мертвый он — ежеминутный волхв. И бессчетные памятники ему — не хамство над ним и над нами, а грация идеи!..

\* \* \*

«О, этот всю Россию продаст, все продаст этот ленинец!» — часто и больно вздыхал Иван Акулов... Горбачев — ленинец. А разве Рыжков — не ленинец? Послушно и мило в рот Горбачеву глядел — Родину проморгал. А Лигачев? Пьяниц укрощал постановлениями, а Родина за океан уплывала... А Яковлев? В семидесятых годах ловил и расстреливал на страницах газет «русофилов», «антимарксистов», «кулацких подпевал», тряс, как медведь трясет решето, журналы «Москва», «Наш современник», додушил «Молодую гвардию» и — у штурвала «Крейсера перестройки» потопил СССР. Расстрелял — и в почете?

А Михаил Сергеевич: «Я завершил дело моей жизни!» — заявил, когда Ельцин попер его из Кремля. В чем же ему каяться, если предательство СССР — дело его жизни? Вот и катается по миру, скребет доллары или «карманные» партийные взносы отмывает?.. Отмывает, а вдоль железных и шоссежных дорог вырастают гневные призывы: «Горбачева — под суд!..» «Горбачев — враг № 1!..»

За Москвою уборщицы и пенсионерки получают сразу, как замажут черной краской «лозунги», по батончику — за лозунг... А на Урале, за Екатеринбург и Челябинском — «батончик и бутылочку молочка»... Купи для Фонда имени Горбачева партбосс Ставропольского края брызгалку — на смывании «лозунгов» в его честь зашиб гораздо больше бы денег, чем выклянчил у США и, лучший немец, у себя в Германии!..

«Дело всей моей жизни!..» Мороз по коже: дело его жизни, а на жизнь соседа, народа, государства — наплевать? Акулов, разбиравшийся подробно в медицине, утверждал:



«Он еще и параноик!..» Не мне гадать. Члены Политбюро обязаны были знать — параноик или не параноик. И не мне соглашаться восторженно с эпитетами, обрушенными на Горбачева. Я с первых месяцев «проникал» в газеты и журналы с мыслью: Горбачев уничтожит мою Родину... С первых месяцев его предательского правления.

Горбачев цинично предал Родину, предал сотни ее народов, мать родную предал. Как ей жить? А как ей, потом, лежать в могиле, которую предал ее сын? Дети и внуки Горбачева — несчастные дети и внуки. Ультра-Мазепа.

Холуи-политики и холуи-журналисты — не холуи, а дерзкие исполнители верховных указаний жрецов. Окружают — и лидер в ящике-ловушке: ныряет и скребется... Выпустят — ручной и послушный... Нельзя лидера ронять и на мгновение из ока: под сионистским досмотром — Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. Надоел, намельтешил — смахнет авторитет масонская оппозиция. Направо — масоны и налево — масоны! И Ельцин — уже ныряет и скребется, ныряет и скребется. И пахнет от него изменой...

Антирусская пресса, коли необходимо, стирает пятно с дурного лба, на бездарные плечи привинчивает «пророческую» голову, и наоборот: укрупняет на лбу пятно, отвинчивает «гениальную» голову и заменяет ее, а на какую — решается в строжайшем секрете.

«Люмпены, быдло, пьянь, фашисты, патриоты, коммунисты!» — летит в русское знаменитое сердце! Картавые горбуны, кровавые карлики не утихают в русском простоте, их много — ныряют и скребутся!..

Еду. Пошатывается вагон. Ободранный, углый. При Брежневе и то такие вагоны выбрасывали. Еду. Калека, безногий, ладонь тянет: «Пособите, голодно!..» Женщина с ребенком, беженка, ладонь тянет: «Из Баку, муж убит, помогите!..» Передо мною — парень и девушка. Парень накручивает приемник. И диктор в приемнике надсаживается — никак не произнесет букву «эр»: «Гусские бегут из Г-гузии, Азейбагджана, Татагии, Пгибалтики, ского побегут из Госсии, ского!..»



И это — в центре России. И это — в Москве. И это на «русской» радиостанции? Канонизированные дебилы: залезли в русскую душу, как в ящик из-под крупы, и шуршат в ней, ныряют и скребутся, а?!

И мыльный генсек, президент скользкий, пятно на лбу увлажняя, доллары в Америке собирает. И — дают. Доллары собирает или наши партийные взносы, засланный по преступным каналам? Преступным — как Иудина совесть: ночь, в которой, утирая кровавое пятно, скребя его долларом, чмокает губами колоссальный предатель: «Знаитя, это территориальное образование, эта страна не нужна мне, я дачу ищю, дачу ищю!..»

Тень Иуды. Тень Раисы Иудихи. Бессмертные тени эпохи распродажи России. Но Россия — не тень. И народ — не тень. Холодный, голодный, обманутый, злой, но неодолимый! Спаси его, господи! Народ русский выкарабкивается из трясины лжи, из ямы крови, из обвала тьмы и к свету идет, к свету!

Спешу, мышь, выскочить из ловушки. Книжки о тебе, сочиненные холюями, тебя не спасут. И твои книжки тебя не спасут. Ты не писал их. Ты шуршал пером, как серая тварь лапами, а думали за тебя предатели, они диктовали тебе, циничному и погребальному.

Спешу. Суд надвигается, прямой и неукротимый!.. Суд ненависти.

Еду я по ярославской дороге, читаю: «Горбачев — враг русского народа!..» А сколько их, железных да и простых дорог? Бегут они от Москвы в разные стороны несчастной страны, обрызганной безвинной кровью спровоцированных распрей и дележа. Я читаю. Миллионы людей читают: «Горбачев — агент ЦРУ!..»

А где его прорабы-кудесники: Абалкин, Аганбегян, Шаталин, Заславская? Но сегодня — есть Ельцин, есть Гайдар, есть Явлинский, есть Старовойтова. А Россия — подорвана. И Яковлев, мудрый паук, сказочник: затмил Горбачеву голову русскими фантастическими кружевами и Родину у нас отобрал!

Куда ни поедешь, везде на заборах и стенах: «Проклятья предателям русского народа!» Везде: «Русские, поднимайтесь



на борьбу с оккупантами!..» Куда ни поедешь... Господи, накажи врагов, а нам помоги выбраться из кровавой ямы, вырытой Горбачевым, беспощадным генсеком, пролезшим не через народные выборы, а через цековскую форточку в президенты.

\* \* \*

Недалеко от Сергиева Посада приткнулась возле кладбищенской стежки могилка. Скромная. Невысокая. Тихая. Спит под русским небом старый солдат, великий русский писатель, не лебезивший перед сильными политиками, — Иван Иванович Акулов. Его не приглашал на встречи и на доклады Горбачев, не возила с собой по зарубежьям в продажной собачьей свите Раиса Максимовна.

Он защитил Россию в бою. Не дрогнул и в рыночной мгле: словом, как чистым огнем, светил в народе. И умер за родной народ. Бог прибрал — честного! Рядом с могилой березы шумят. В кустах соловьи поют, а может, и плачут? Трудно определить: надежды рухнули, а чувства перепутались.

И слышу я из могилы: «О, этот все продаст, все продаст, ленинец!..» Но сегодня-то ему и продавать уже нечего: да, все, все продал, что мог продать. Истерзанные националистическим беззаконием в Эстонии — русские голубоглазые люди бегут, с детьми и стариками, бегут в Европу, Азию, Африку, в ЮАР бегут, в КНДР, в Ирак бегут.

Бегут русские люди, а он с воспоминаниями книжными на экран лезет, толкаемый к сцене мафиями, стремящимися упасти его, сохранить для завтрашних дел мокрых. Мафия уволила его с президентской должности, и мафия пытается подфуфырить репутацию Иуде, впрягая сюда и летописицу Раю, нелепо хихикающую и позорно почесывающуюся после провала...

А Иуда в крупного романиста выторговался, безграмотный, лживый и бездарный, получивший великую страну от одутловатых раскормленных ленинцев и кинувший ее на уничтожение, чужой, холодный, бессовестный.



Ступит, уберет ботинок, а след — верная кровь залила,  
кровь безвинных русских. К толпе приблизится, а у толпы  
плакаты: «Иуда, поди вон!», «Предатель русской земли, будь  
ты проклят!..»

И садится Иуда за стол. Бумагами шелестит, пером по  
листу скрипит, но слова Иуды — капли крови русской. Но  
мысль Иуды — крик детей русских, расстрелянных рэкетами  
и пиратами Баку и Кишинева, Тбилиси и Сумгаита. Бессон-  
ница одолевает преступника.

Когда усеют звезды небосклон  
И загрустит в саду ночная птица,  
Вползет под лунным светом на балкон  
Моей великой родины убийца.  
Во лбу его — кровавое пятно.  
Тяжелый рот, обкатанная фраза.  
Да, это он страну пустил на дно,  
Чугунный сын и фарисей Кавказа.  
Под сердце бил, Россию не жалел,  
Без памяти упала —

топчет, топчет!..

От крови материнской ошалел  
И вот стоит, не кается, не ропщет.  
Стоит, взволнован жертвою палач,  
Какую меру ни провозгласи я,  
Ее заглушит тот ужасный плач, —  
Им ныне переполнена Россия.  
Рванулся Пушкин, Лермонтов идет,  
Спешит Есенин из толпы несчастной,  
А он стоит,

чуть накренься вперед,

Чугунный лоб сочится метой красной.  
Наверно, Бог с рожденья покарал  
И пригвоздил грядущего мессию  
За то, что он, как в карты проиграл,  
Убил непобедимую Россию.  
Стоит и хрипло дышит, ну, кому  
Посетовать на глупые народы,



Их много, а вручили нож ему,  
И он и нож — негнущейся породы.  
Луна горит высокая в ночи  
И не грустит, а взрыдывает птица.  
И замолкают даже палачи,  
Едва к перилам

двинется убийца!..

Скользит его маниакальный взор  
И злоба исторгается устами  
Туда, где думы наши и разор  
У горизонта выросли крестами.  
В доме пустом, да и в краю пустом  
Теснимый осудительной молвою,  
Он сам хотел бы прорасти крестом,  
Но груз вины тяжел над головою.  
Уже мертвец, и вроде не погиб,  
Последний

ленинец

мальтийской ложи,

А скрип калиток и деревьев скрип  
На скрипы древних виселиц похожи!..

А суда, настоящего, без дикого рева толпы и демонстраций, над убийцей пока еще не исполнено. Но суд — впереди. А омская пощечина?.. Подумаешь, ему, бывшему президенту СССР, а позже — кандидату в президенты обнищало России, сибиряк дал по морде? Впереди — настоящий суд, впереди!.. Суд вечной ненависти.

Вот Борис Николаевич Ельцин поздравил четырнадцатого марта 1997 года Наину Иосифовну, жонку свою, с шестидесятипятилетием, славянку ближневосточную, а калмыка Давида Кугультинова, лирика русского, с семидесятипятилетием, и лишь Валентина Распутина, классика живого, истового, подобрал, единственного из нас, и с шестидесятилетием поздравил.

Поздравил, и до сих пор дикторши и дикторы повторяют его поздравления на экранах звучно, как натренированные бразильские попугаи, соревнуются.



---

Они, зазубрив, поздравляют обласканную палачом тро-  
ицу, а я, почти рыдая, повторяю и повторяю любимые строки  
бессмертного рязанца:

Не хрипи, запоздалая тройка!  
Наша жизнь пронеслась без следа.  
Может, завтра больничная койка  
Успокоит меня навсегда.

Какой поэт! Господи, какой поэт, даже смерть, надвига-  
ясь, не испугала и не устрасила его: звездный гений!..

1992—1997



## *Ежонок и НЛО*

Мы знали, у нас во дворе живут ежи. Счастливый двор. Еж — существо дружелюбное, хотя и обидчивое. Ежа побаиваются кроты, сильно боятся мыши. Не пристают к ежу вороны, сторонятся его и дрозды. Иногда мы с Федором Ивановичем, плотником, видели ежей близко. Длинная и роскошная впереди ползла ежиха. За ней следовал еж. За ежом — детеныш, ежонок.

Все трое они медленно двигались по траве, по цветам, по картофельной ботве. Травка покачивалась. Цветы весело кивали. Ботва туго подрагивала. Но вот ежи выруливали на бетонную дорожку и, едва уловимо шелестя иглами и постукивая твердыми лапками, устремлялись к сараю. Под сараем — у них жилище, гнездо. Ежи не боялись нас, но и не лезли нам на глаза. Держались воспитанно.

Отбиться от них норовил ежонок. Я клал его в старую широкополую шляпу, обычно в такой показывают в кино шпионов или партийных вожаков, и уносил на крыльцо. Ежонок расправлялся. Поднимал мордочку. Перед ним я ставил маленькое корытце с молоком. Гость тоненько попискивал возле корытца. Воротил мордочку, но в конце концов пробовал молочка и отпирывался на волю.

Со временем ежонок даже привык появляться у крыльца. Делал он это неназойливо, приятно. И знакомый плотник, ремонтировавший крыльцо, встречал ежонка всегда с почетом: «Э, вот и наш инопланетянин!..» Об инопланетянах Федор Иванович рассуждал часто, долго, с большой дозой начитанности. Его трудно было уличить в собственном домысле, в затейливой фантазии. Выписывал журнал «Космос», коллекционировал печатные сведения о пришельцах и НЛО.



В минуты разгара душевного Федор Иванович почти кричал: «Ну как не летают, как не летают? Моя изба крайняя в деревне. Да и деревня-то, плюнь — и никого нет! Ужинаем с хозяйкой, в поле смотрим. Звезды. Небо ровное. Прозрачность над миром. Тишина. Любая орбита — твоя. Сидим, ужинаем. Смотрим — летать!.. Машина у них, ого-го, не твой вонючий «Запорожец», огненная, шарообразная, во лбу у нее три мигалки — зеленая, синяя, красная. Летели — зеленая горит. Сели — синяя загорелась. Моторы или что там, хреновину какую, выключили, — красный горит. Один раз к дому приблизились. Слышим с хозяйкой, они между собой прикидывают: открыть или не открыть дверь? Трое. Первый, командир, наверно, — стройный, бледнолицый. Второй — пониже. Третий — еще пониже. Порядочек, я те дам!.. А ты, ежи где? За зверьками охотишься. Тут инопланетяне летают!

Язык я их точно не уловил. Забрать они нас не решились. Да и, честно рассудить, куда им, бледным, забирать нас, толстых и старых? Они газетами питаются, а нам хлеба давай. Они туман выпивают, а нам водки мало, самогону поднеси! Посмотрю я на грязные полки в продмаге и подумаю: скоро и мы все инопланетянами станем, ничего на полках нет, пусто! А ты — ежи, ежи? Ежи еще у нас впереди!..»

Ежи, между тем, опять проползли по траве, побывали в цветах, и через картофельную ботву — на бетонную дорожку. Впереди — ежиха, за ней — еж, за ежом — ежонок. Красота. Постучат, постучат лапками по дорожке — остановятся. Повертят туда-сюда рожицами, прислушаются и снова мягенько забарабанят лапками по бетону. Ритуал. А, может, нравится им дорожка, беги себе, тренируйся?

Федор Иванович ласково дивился и декламировал:

Сосед мой, после кутежа,  
Сел возле стежки на ежа.  
Вскочил, от ярости дрожа,  
И сел, но снова на ежа, —  
Кто был он? Жертва мятежа!



Мы хохотали. А ежонок приотстал от родителей, взял с дорожки вправо и к нам. Но молоко не тронул. Попыхтел, потоптался, подумал, подумал и застучал обратно. За кустами его ожидали родители. Ежиха недовольно фыркнула. Еж промолчал. А ежонок, веселый, ничего не заметил. И семья успокоилась.

Плотник сменил рубанок на лопату. Надо рыть ямы под столбики для веранды. Солнышко доброе. Погода теплая. Сухо. Федор Иванович не спешит, но и не затягивает. На бровях капли пота. Щеки влажные.

Федор Иванович отличался острою философовских рассуждений: «Не знаю, как ты, Василич, а я-то сам, я, инопланетянин. Финскую войну встретил на границе, елозя с телефонным шнуром по снегу. Войну с Гитлером встретил под Москвою, железные ежи, значить, ставили наперек немецким танкам, а рубануло по уху осколком — увезли в госпиталь.

Вкальваю и вкальваю, считай, полвека опосля победы над германцами, да вот у тебя на огороде на ежей смотрю, тех ежей, железных вспоминаю. А чиво я имею? Ничиво. Пришел в собес за пенсию, ну мне и ткнули ее в окошечко, так я свинью, борова Борьку, выкармливаю. Суну ему в окошечко горшок с отрубями или картофельной кожурою — жри, бутуз немый, и не хрюкай, не требуй лишнего! Да и ты, Василич, тоже инопланетянин. Сколько же ты зарабатываешь, сто, двести, чать не триста же?..»

Федор Иванович качал сапогом: «Болить нога, ранением страдаю с последней войны, болить!» Внезапно он бледнел и зарывался в гнев: «Изувечили всех, всех измотали и унизили до неузнаваемости! Дома, какие у нас дома? Толкни — гнилье и порушится. А земля? Земли-то нам шагами колхозные бригадиры отмеряют, как под могилку. Крыша вечно течет — шифер дорогой и его нету. Стекла вечно от мороза потресканные, а новых не вставить — нету. Лучше на Маркс улететь, на Маркс или ежами родиться, ползать между грядами и себя уважать!..»

Я знал болезненную обиду Федора Ивановича на судьбу и не перечил ему, пусть повозмущается, зато после возмуще-



ния отлично работает: пилит и стругает ладно и споро. Правда, поплевавши на власть и на время, Федор Иванович выберет из моих брусьев лучший, из моих листов фанеры отложит в сторону наиболее бессучковый и украдет. Да, украдет, вздыхая и коря себя за слабость и за бедность, а меня попрекая за бдительность, ненужную при нем, старом и честном плотнике. И так везде: строя, воруем, воруя, строим. Доколе?

Планету Марс Федор Иванович путал с Марксом, а ежей сильно обожал, делился с ними сухариками — крошки сыпал под лопухи за грядками, в минуты счастья шутил:

— А произвели бы меня ежом, я бы и не возражал. Воевать не нужно. Избу строить не нужно. Сеять хлеб незачем — плодись и радуйся!..

Но я продолжал, обращаясь к Федору Ивановичу:

— А воевать за выживание? Найти на зиму укрытие нужно? Нужно! Запаситься пропитанием нужно? Нужно. А тут человек: напал, растряс, развеял — смерть.

— Человек? Конечно, человек уничтожит!

— Всем несладко.

— И на Марксе?

— И на Марсе. На Марсе не легче, нежели на Земле!..

Федор Иванович замыкался и набрасывался на доску — стругать. Рубанок в его крепких руках повизгивал и со свистом отстегивал по бокам верстака кудрявые золотистые стружки. «Их, их, их!» — налегал на рубанок Федор Иванович, будто мстя кому-то, невидимому и неслышимому здесь, среди нас двоих, но явно существующему где-то, за толстыми стенами или же на какой-то иной планете.

Через полчаса Федор Иванович, улыбаясь, как серебристую щуку, изгибал в длину поблескивающую светом доску. Изгибал и взвешивал, казалось, мастерство свое: а сколько же его умение стоит, справедливо ли оценивается государством и жизнью?

— Василич, не доска, а песня!.. Люблю от души махать и удивляться!

Широкие полотняные брюки Федора Ивановича в заплатах. На сгибах протерлись дырки. И в дырки голели незагорелые колени Федора Ивановича, синеватые, как ребячес-



кие. Значит, Федор Иванович — в работе и в работе. Когда ему загорать?

Куртка Федора Ивановича тоже в заплатах. Пуговичные гнездышки подмахратены, но пуговицы пока держатся. Локти на рукавах — очень исшорканы. Зато кепка, приплюснутая на затылке, торчком на голом лбу Федора Ивановича застряла. Федор Иванович подмигнет мне и пошутит: «На Ленина смахиваю, ить?..»

Федор Иванович — плотник потомственный, наследник мастерства и преклонения перед деревом. Вот сосна, например, для Федора Ивановича — сказка. Майская смола на сосне — светлая, светлая и пахнет, ежели ты внюхаешься, юной гречихою, а июльская смола на сосне — белее и пахнет уже не юной гречихою, а чуть рожью пригорклой навеваает, зато в сентябре смола на сосне — золотисто-сдобная, и дух от нее свадебный.

Федор Иванович до горбачевской перестройки бригадирил. Дисциплину блюл и следил за честными заработками плотников, не унижал их попрошайством и колымными левыми подрядами. А с перестройкой — инструкции по труду и законы по оплате обрушились, в бумажный мусор превратились.

Рядом с фабрикой по изготовлению мебели, постоянным фронтом соцсоревнования плотницкой бригады, ресторанная директорша Маргарита Сергеевна Бутафорова строительство особняка открыла. Затеяла самогон варить из конфет и шоколада. Самогон — закачаешься, никакой виски его перешибить не сумеет. Исключительно одеколонный самогон, нежнее сосновой майской смолы. И ребята из бригады — туда, из цеха — туда, с аванса — туда, с полочки — туда. Забогатела Маргарита Сергеевна Бутафорова.

Особняк ее быстро в гору пошел. В плечах раздался. Косыки — сосновые, золотые. Двери — сосновые, золотые. Рамы, балкончики — из золотой сосны, душу греют, а тревожно Федору Ивановичу. И вдруг начали ребята помирать. Выпил — заерохорился, ткнулся в землю — помер. Пока гадали врачи, особняк Маргариты Сергеевны Бутафоровой



оформился и золотой купольной кровлей засверкал. Дорогой самогон-то, а конфеты и шоколад — дармовые, видать?..

За шесть месяцев семь плотников сковырнула во имя собственного особняка Маргарита Сергеевна Бутафорова, а на следственную комиссию и на суд бутафорию навела: нет признаков преступления в общественном и в частном поведении директорши ресторана.

Семь гробов сколотил Федор Иванович, семь могил выкопал, семь друзей, мастеров настоящих, потерял. Женам и детям их в глаза Федор Иванович не смотрит, а в чем виноват он? И рассчитался, плюнул и, матерясь, уволился Федор Иванович с мебельной фабрики, плотник потомственный и мастер наследственный. Шабашить не шабашит, а кормится в одиночку.

Но его беда — не беда. Беда стряслась у Маргариты Сергеевны Бутафоровой. Деревня-то исконно русская, известно, похоронила мужиков, подергала, подергала грустными бровями и тощим носом, убирать картошку пора, подсолнухи на огороде срезать и шелушить. Деревня и затмилась хлопотами по хозяйству, да и привыкла: давно мрут люди на Руси больше, нежели рождаются. Кому забота?

Осенние громы прокатились и ухнули за рощей березовой, содрогнулись закисшие пустые поля, грязь размесили на тропинах и дорожках непролазную. Дожди и дожди, прокальывающие, длинные, холодные, воротник у плаща откинешь, а ледяная вода тебе на кобчик заскочит, как не припуститься к родимой избе и не притулиться у жаркой печки?

Но и освободившись от мебельной фабрики, тоску о ее коллективе глубоко носил Федор Иванович. Хороша индивидуальная личность, да на добром коллективе она гроша ломаного не стоит. Растет, допустим, сосна на скале в единственном экземпляре, печальница библейская, заметишь ее и пожалеешь: одиночество — доля нелегкая, зависти не вызывает. А нормальная, коллективная судьба — подарок тебе радостный.

И распух посреди пегих избенок деревенских столичный холеный особняк Маргариты Сергеевны Бутафоровой, сытый, чванливый, барской единственностью неприятный.



Особняк ликует, и Маргарита Сергеевна Бутафорова ликует. Ограда — железная. Ворота — железные. Запоры — железные и лестницы, приткнутые на карниз, трапы — железные.

Но дожди льют и льют. Глина по канавенным ручейкам бежит и расточается. Под обшарпанными заборами еловые ветхие столбы косотурятся и едут в неизвестном направлении. Размокла почва и заслякотила, зачавкала, обувку с крестьянина шутиливо заглатывая.

Ветры забузили и дождями бурю накликали. В последнюю ночь сентября, при ударах невероятных громов, особняк-то у Маргариты Сергеевны Бутафоровой и рухнул. И подытоживает Федор Иванович: «Спаивала Маргарита Сергеевна русских ребят — у самой очаг рухнул, спаивала советская власть русский народ — сама рухнула. Строить надо на справедливом фундаменте здание, а не на ворованном самогоне. Ежику и человеку стезя предназначается сверху, не нами!»

— Богом?

— А чиво, и Богом!..

Клетчатая рубашка распахнута. Зеленые штаны в глине. Желтые резиновые сапоги поскрипывают. Лысина у Федора Ивановича оригинальная — как в цыплячем пуху. А с яйцевидного затылка на квадратный лоб, кепку долой, спиралевидная прядь тянется. Подобная прядь тянется и поперек лысины? Крест, хотя Федор Иванович к религии близкого отношения не имеет. Он сторонник НЛО.

Инопланетяне, философствует плотник, издеваются над нами. Наслали нам революцию. Мы до тридцать седьмого года, брат за братом, с пистолетом гонялись. Кукурузу нам предложили. А мы и замусорили ею Россию. А пшеницу за колымское золото в Америке закупаем? Обидится и откажет — перемрем с голоду. Инопланетяне и Алиева Брежневу подсунули с бриллиантовым подарком от имени азербайджанского народа. Сам Брежнев никогда бы не догадался, что восточные трудящиеся его коллективно любят!..

— Я так мыслю, — заключал Федор Иванович, — или прилетают к нам инопланетяне, или в Кремле сидят инопланетяне, иначе как? — ...Веселый, плотник отряхивался от пота и глины, вынимал из бездонного кармана шароварины



---

аккуратно сложенный белый платочек, вытирал кустистую грудь, багровое лицо и бочоночно базили:

Бло-о-ха?  
Ха-ха-ха-ха!..

За стихи, за удалой голос, за имя и отчество плотника прозвали — Шаляпин. Но стихи и песни меньше завораживали Федора Ивановича, нежели НЛО.

Плотник выкопал четыре глубоких ямы и ушел. К вечеру погода переменилась. Ударил гром. Обрушился дождь. До утра сверкали молнии. Крыша тарахтела и потрескивала. Ямы, чуть не до краев, наполнила вода. И в одной, около крыльца, в обед мы обнаружили погибшего ежонка. Попал — и захлебнулся.

Заметив мою виноватость, плотник вздохнул: «И ты инопланетянин, закрыть ямы не мог? Инопланетянин!»



## *Дядя Андрей*

Раскаленное солнце — в зените. Воздух сухой и горячий. В пролете пахнет дробленным камнем, соляжкой и дымом.

Паровоз, деловито посапывая, то и дело поддегивает к бункерам груженные вагоны. Паровоз большой, сильный. Когда-то он ходил по главной магистрали с тяжелыми составами. От его горделивого баса вздрагивали кряжистые уральские сосны, и стрелочницы торопливо выбегали, помахая флажками. Но однажды на «зеленую улицу» выкатился, поблескивая крепкими боками, электровоз. Выкатился, зацепил состав и легко взял с места.

Паровоз растерянно свистнул и запыхтел в тупик.

С тех пор он честно служит первому мартеновскому цеху Челябинского металлургического завода. Возит железный лом, стружку и разные руды.

Вот и сегодня он поддегивает груженные вагоны к бункерам. Кажется, не работает, а балуется...

Грузчики «отбивают» люки, и руда рыжим водопадом грохочет в ямы. Над вагонами, как два орла, распластались два мостовых крана. Вот они слетелись, сердито клекоча моторами, провели стальными когтями по дну вагона и медленно разлетелись. И так — снова и снова, пока не опустеет последний вагон.

\* \* \*

А в это время по пролету расхаживает высокий худощавый человек. Он записывает номера вагонов, кричит что-то грузчикам, берет лопату и чистит пути.

...Через несколько минут его лицо и темная спецовка покрываются белой известковой пылью.

Он выходит за ворота. Отряхивается и сердито сплевывает. Он явно не в духе. Обращается ко мне!



- Пойду к начальству...
- Зачем?
- А чего они опять тебе ученика дают?
- Какого?
- Да на кран.
- Ну и что же?

— Как ну и что же?.. Обедаю, значит, я. Он и заявляет: «Вы Андрей Ивлев? Меня к вашему крановщику направляют». — «Очень рад!» — говорю... А он: «Я тоже...» Ты представляешь?.. А глаза хитрые, как у суслика... «Имя?» — спрашиваю. «Вася». — «Фамилия?» — «Остапчук». — «Почему, — говорю, — фамилия у тебя какая-то анархическая?» — «Спросите у моего прапрадеда...» Ты понимаешь? Я даже чуть ложку не уронил. «Откуда?» — спрашиваю. «Из технического». — «Лопату держать умеешь?» — «Меня этому не учили». Ну что ты ему скажешь? У меня даже аппетит пропал... Так и не пообедал...

— А может быть, ты не пойдешь к начальству? — говорю я Ивлеву.

— Посмотрим, — как-то неожиданно охотно отвечает Андрей.

\* \* \*

Уже осень. С каждым днем холоднее. Ветер влажный и резкий. Часто меня направления, он раскачивает из стороны в сторону огромные султаны заводского дыма.

За пролетом дыбится жесткая трава. По утрам на этой траве серебрится первый робкий иней. До восхода солнца в пролете холодно и сыро. И мы, заступая на смену, принимаем от своих товарищей веселый костер. Он горит, и на душе теплее...

Когда опустеют вагоны и, позвякивая на стыках, уползут к печам тяжелые составы, в пролете станет тихо-тихо. Мы сбегаемся покурить у костра.

Остапчук улыбается и, опасливо поглядывая на Ивлева, сыплет:

— Иду я вчера по улице, навстречу девчонка. Каблучки — гвоздики!.. Она ими как даст, как даст! У меня в ушах перепонки лопаются. Я приосанился и поближе! «Неприятно получается. Туфельки ваши стоят рубль, а звону от них на целую тысячу...» Она тряхнула головой и мне: «А вы ку-



дите новые». — «Что ж, — отвечаю, — я не против». А сам думаю: «Эх и влип... в кармане-то ни гроша нет». Давай выкручиваться: «Вы учитесь?» — «Нет». — «Работаете?» — «Да». — «Где?» — «На почте...» — «А я из-за вашего звона в институт опаздываю!» Она как развернулась да как пошла! Мне даже ее жалко стало...

— Воробей,— заключает Ивлев. — Начирикал и — в сторону. Техническое закончил, а в министры метит... Лопату держать его не учили!.. Смотри, чего понаторил! — На путях рыжели горки руды. Остапчук еще плохо работал на кране. И когда он загружал мульды, руда просыпалась на шпалы. Это раздражало Ивлева. — Туфли он купит! Широкая душа. А ну-ка бери лопату! Кидай!

И Остапчук терпеливо сбрасывал руду.

\* \* \*

Случилось это неожиданно.

Перед началом смены бригадиру позвонили, что мой напарник-крановщик не выйдет на работу.

Двенадцатый час ночи. Машинист-инструктор дома, начальник цеха тоже...

Как быть? Кран не должен простаивать. Некоторые из ребят ехидничали:

— Пусть покажет себя Вася. Орел парень!

А Вася плутовато подмигивал и буйно дымил папиросой.

— А что? Пойдем, Вася, — спокойно предложил Ивлев. Тот настороженно переспросил:

— Куда?

— К теще. Понял?..

До сыпучего пролета они шли молча. Но лишь Остапчук коснулся рукой перил лесенки, Ивлев не выдержал:

— Рад?

— Очень...

— Я тебе покажу «очень»! Застегни рубашку! Вся грудь наружу.

\* \* \*

Нервный дядя Андрей и одинокий. В мартене народу — более тысячи, а дядя Андрей одинокий. И нервным быть ему



есть от чего... Невеста у него, Мила, на руках умерла. Глаза тихо закрыла: «Прощай, мой родной Андрюша!» — и умерла. Под Москвою. В сорок втором. Зимой. Ветер. Мороз. Снег. И пули, пули, пули. А она умерла.

Андрея призвали вместе с уральцами из Челябинска Москву защищать. И уральцы, потоптавшись под столицей, укрепились, вкопались и заодно с соседями, сибиряками, Москву заслонили грудью и железной броней. Ведь марте-новцы, рассерчав, дерутся насмерть: огнем их разве запутать? Сами огонь варят. Сами вытуривают огонь из печей. Сами пускают огонь в просторы. И немецкий огонь для них — каша горячая...

А партизанила тогда под Москвою Зоя Космодемьянская. Ну и Милка с нею склады немецкие замечательно поджигала. А Милка — челябинская девка, в Андрея влюбленная до обморока. Они, девки, в часть, Зоя в штаб советовать-ся, а Милка в окоп к Андрею. Потрет ему, олуху, замерзшие уши и поцелует: «Люблю я тебя, Андрюша, как ребенка собственного, поженимся, победив, нарожаю, тогда, может быть, разницу между тобою и ребятишками понимать научусь!..»

Приходила Зоя с Милкой. Уходила с Милкой. Недели тянулись и месяцы. Партизанили. Воевали. Москву берегли. Захватчиков глушили. А Зоя и попалась. Привели ее под виселицу. Раздетую. Изнасилованную. Избитую. Под голой ступнею — снег. А над виселицей — ветер. А впереди — мороз и белые сугробы.

Рассказывая, дядя Андрей замолкает и курит, курит, курит... Вот Милка и заявила в его же взвод с гранатами и с автоматом: «Андрюша, или погибну, или отомщу за Зою, понял?!..» В атаку бросалась впереди парней. Стреляла метче солдат. А в затишье согревалась возле Андрея в блиндажике, обнимала парня и пела:

Эх, вы кони мои вороные,  
Черны вороны, кони мои!..

\* \* \*

Поджавши колени под тощий животишко, одернув гимнастерочку, Мила встряхивала темными завитушками, куд-



рями храбрыми, и вновь повторяла сдержанным голосом проникновенным:

Мы ушли от проклятой погони...

И что-то вдавливало ее, что-то сокрушало ее и томило, терзая душу:

Эх, вы кони мои вороны,  
Черны вороны, кони мои!..

— Андрюша, — вскрикивала она, — ты не забудешь меня, не забудешь, если я скоро погибну, не забудешь меня, Андрюша мой золотой!..

А погибла она, подружка Зои Космодемьянской, просто. Под бомбежкой неистовой погибла. Немцы налетали и налетали. Из ихних самолетов бомбы падали и падали, как большие жирные свиньи, на наши позиции, падали и взрывали каждый метр, каждый пятачок.

Умирала Мила в памяти. Простонала, окровавленная и ослабевшая, потянулась поцеловать Андрея, но... И на руках у него остыла. Андрей с тех пор так и не влюбился ни в кого, так и не женился. Одинокий. Замкнутый. Нервный. С детства еще, с юности романтичной еще — хорошо рисующий кистью, он, где возможно и где невозможно, теперь изображает лицо Милы. То — молоденькое и радостное. То — посерьезневшее и сосредоточенное. То — нежное, открытое, зовущее, зовущее!..

Милка — с четырех сторон комнаты глядит на Андрея. Милка — со стен спортзала мартееновского смотрит на нас. Милка — даже на «Доске почета» воцарилась и график сталеварский изучает. Куда ни ступит дядя Андрей, седой и морщинистый, вокруг его — юная и красивая Милка, Милка и Милка вращается, смеется, поет, с ним, дядей Андреем, говорит и говорит, не меняясь лицом, не меняясь верностью и лаской.



Это дядя Андрей постарел. Мартен и жизнь его принагнули. А Милка — красавица. Милка — невеста. Милка — жена, родить не успевшая ребеночка дяде Андрею. Да, подвиг — не стареет. И любовь — не стареет.

Эх, вы кони мои вороные,  
Черны вороны, кони мои!..  
\* \* \*

Порыв претензий умиротворенно ослабевал и растворялся в общении металлургов:

- Была бы грудь-то у тебя, Вася, боксерская... А то...
- Чего?
- Лезь, говорю, на кран! Понял?
- Ладно.

...Один за другим ползли и ползли составы. Краны уверенно пролетали над бункерами. Громыкала в мульды руда. Работа шла легко и споро.

У Ивлева было великолепное настроение. Он улыбался, сиял. Иногда, помахивал рукавицей Остапчуку и подбадривал его:

- Талант! Машина твое призвание...
- У меня дед был кучером!..
- Чего зубоскалишь! Работать надо. Понял!

И кран снова гудел и пошатывал стены. Со стороны можно было заметить, что Андрею приятно смелая работа Остапчука. К тому же Ивлев, как он выражался, ежедневно учит Остапчука уму-разуму. И кто бы на его месте сейчас не порадовался!

Но вдруг заскрипели тормоза, из-под троллей засверкали искры, и кран затих. Андрей обернулся:

- В чем дело?
- Трос пополам.
- Молодец!
- Понимаю.
- Имей в виду, помогать не буду.
- Отлично!
- Что значит «отлично»? Молокосос! Слезай!



Остапчук, чумазый и потный, принялся распасовывать порванный трос. Он изо всех сил бил ломиком по клину, который закреплял трос в гнезде. Но клин не поддавался.

Остапчук злился. Хватался голыми руками за конец троса и вытаскивал его. Иголки проволоочек больно кололи ладони. А клин по-прежнему держался в гнезде.

— Помочь? — посочувствовал Андрей.

— Дело хозяйское.

— Заплачешь ведь.

— Мамку позову...

— Давай сюда ломик. Давай вместе. Раз! Еще раз!

— Готово! — обрадовался Остапчук.

\* \* \*

Так протекала цеховая жизнь. Давно отшумела осень. И январские метели, хрипя и завивая, проносились за стенами пролета. Гремела жесь. Простуженно кричали паровозы. Громко скрипели мерзлые вагоны. И мы теперь грелись не у костра, а в теплой уютной будке. Мирно попыхивала печка. Трещали сухие дрова, в такие минуты было по-домашнему хорошо.

Остапчук уже не числился новичком в цехе. Однако Ивлев напоминал:

— А этот еще может выкинуть номерок. В Казахстан собирается... Надо как-то остудить ему голову. Мальчишка!.. Один он в Челябинске...

И вдруг пооткровенничал:

— Я к нему привык. Жалко.

— И я привык, — сказал я.

— А молчишь! Ты вообще и о себе-то не говоришь.

— Ничего. Лучше расскажи ты.

— Хорошо, как загрузим составы.

И опять лязгают и урчат краны. С грохотом сыплется в мутьды руда.

\* \* \*

— Ну, дядя Андрей, рассказывай, — прошу Ивлева.

— Да что там... Неудобно.



— Расскажите, дядя Андрей, — поддерживает меня Остапчук. Андрей, не спеша, прокашливается и начинает:

— Человек я злой... Все кричу, придираюсь. А домой вернусь, и тошно делается. Характер у меня скверный. Рос я в детстве так себе... Отец погиб. Семья большая. Я старший. Не успел окрепнуть — война. Закончил командирские курсы. И пошел, и пошел. Потом ранили. Госпиталь. Фронт. Опять ранили. Опять госпиталь. Опять фронт.

Получаю от знакомых письмо. Пишут, что фашисты убили маму. Они потянули со двора корову. Мама — отнимать! Ну, один гад из автомата ее... Знаете, ребята, я и сейчас вижу, как она падает. Демобилизовался после войны капитаном. Работал на стройке. Позже поступил на завод. Должность моя, сами знаете какая. Старший рабочий сыпучего пролета. Я, ребята, как тот паровоз, оказался не на главной магистрали. Мучаюсь с вами — воспитываю, — улыбнулся он.

— А вы не мучайтесь! — заметил Остапчук.

— То есть? — вспыхнул Ивлев. — Ты, значит, хотел бы разгильдяем прожить? Их без тебя достаточно. Глядишь на ино-го, и душу выворачивает, двадцать лет подлецу, он и гвоздя в руках не держал. А грамотный, и родители почтенные. Я не за них воевал... а за вас. Поняли?

— Поняли.

— Учусь я, ребята, — еле слышно произносит он. — В девятом. А русский одолеть не могу. Вы бы взяли да помогли. Я мечтаю техникум закончить.

— Хороший ты человек, дядя Андрей, — сказал я.

— Лъстишь? Опять, наверно, ученика подсунуть хочешь.

— Возьмешь?

— Не возьму! — и вышел.

Но мы-то знали, что возьмет, что никуда дядя Андрей от нас не денется...

\* \* \*

Ко мне дядя Андрей относился с подчеркнутой осторожностью и почтением, зная о моем преклонении перед





живыми и мертвыми поэтами. Читая иногда газете в «Челябинский рабочий» мои стихи, дядя Андрей качал мудрою головою: «А я Алексея Недогонова хоронил. В Москве трамвай через него переехал. Я и хоронил. С Есениным рядом лежит. А я через Москву помянуть Милку ехал, а он погиб. Я во фронтовой газете читал у него...» И дядя Андрей прищурился:

Кто был на фронте,  
тот видал не раз,  
как следом за трассирующим блеском —  
в знобящей мгле над мрачным перелеском  
летел щегол,  
от счастья пучеглаз.

В минуты подобные дядя Андрей и сам казался мне щеголом пучеглазым, вдруг выкатившим сероватые зрачки из-под ресниц, мечтательно и скорбяще, и я принимался благодарить его памятью о поэте: каждый ли сравнится с дядей Андреем?

Страданье века понимающий,  
Живя без хлеба и обнов,  
Он, вроде б квело начинающий,  
Мелькал средь сытых крикунов.

Маститые, шашлычно-пловные  
Певцы  
хвалились перед ним:  
— Держи, согодится на столовую!..  
Пропьет, супруге отдадим!..

А он ответа не выискивал,  
Бежал от гнева и тоски,  
И только дома зубы стискивал  
И кулаками тер виски.

Жена, вздыхаючи и холодно,



Упреком тешила его:

— Ох,

нелегко

с тобой

и голодно!.. —

С тобой, а мне-то каково?

Худой, помечен дерзкой проседью,

Он в Подмосковье до утра

Дышал березами и осенью,

О, журавлиная пора,—

Звенит и плачет переливчато,

И проникает в сердце дрожь:

«Уж если ты родился взрывчатым,

Своею смертью не умрешь!»

Один, заброшенными стежками

Он шел, неся в груди слова,

А под ногами злыми трешками

Скрипела желтая листва!..

— Твои? — вскакивал дядя Андрей.

— Мои!..

— Береги себя, Валек, береги!.. И на трамвай, битком набитый нашим братом, утром, сломя башку, не прыгай, понял?

— Понял! — громко отвечал я.

И стальные птицы, тяжелые и грохочущие, снова распластывались над нами.

1960

## *Стамбульская тарелка*

Приехал в деревню Батраково из Москвы генерал покупать домик. А Батраково и есть Батраково: улица в мае месяце еще разъезжена колесами и траками посевных машин, избы стоят, облупленные и удивленные, что они перезимовали и жить собираются — развалюхи.

Да и пустота страшная. Ни телочка, ни ребеночка, ни собачки. Редкие, редкие старухи, по одной, за день-то, мелькнут у колодца. Старухи, постепенно пригнуваясь к земле, исчезают в землю, и нищие домики их, за ними пригнуваясь, исчезают.

Видно, надоели мы, русские, Богу, грешили много, вот и махнул Бог рукою на Батраково, пусть, мол, погасает и растворяется в синих просторах. Но приехал генерал. И какой? Лет ему не более шестидесяти пяти. Мундир на генерале зеленый. Две Золотые Звезды горят. Орденов боевых — неудобно считать: долго надо делать это, и свежие имеются ордена, а медалей, тех и этих, невыносимо — настоящий красавец и смельчак. Стройный, строгий и чуть нервный: военный же человек, а не охломон-раззява.

Старухи, наперебой тыкаясь за спиной командира, повели его сразу к деду Митрию. Митрий не только в Батраково, но и в районе — последний старик. Участник Гражданской, польской, финской, последней, с Германией, войн, и за каждую — у Митрия награда. Но Митрий решил одеться празднично не к приезду генерала, о котором, конечно, слышал, а к победным дням. Позавчера было 9 мая, а сегодня лишь — одиннадцатое, и Митрий не снимает торжественного пиджака. На пиджаке, честно сказать, ордена и медали значи-



тельной генеральских: кровью добыты, Митрий — израненный, в дырках, в шрамах, но крепкий дед. И не спеша сидит, прямой, на завалинке. Хотя изба Митрия набекренилась.

— Здравствуйте, Митрий Митрич! — подготовленно приветствовал гость.

— Здравия желаю, товарищ генерал! — вскочил по-солдатски дед.

— Бодрствуете?

— Никак нет, товарищ генерал, размышляю! — козырнул корявой ладонью Митрий Митрич и даже, старухам показалось, щелкнул галошею о галошу.

— О чем же? — улыбнулся подтянутый генерал.

— Никого нет их, один я. — Митрий указал на обелиск с именами хуторян и, запинаясь, продолжил: — Один, а их и тут нету, под обелисками-то, их нету, они та-ам, где они лежат, а? Один! — шумно вздохнул старик.

Генерал смутился и потерял нить разговора. Митрий глянул сурово на генерала, генерал глянул сурово на Митрия, и ордена и медали у них на лацканах грустно тенькнули.

— Не заметил, товарищ генерал, воюя и воюя, как деревня-то моя вымерла, да на старухах перед могилой задержалась!.. — Бабки опять засуетились за спиной генерала и скоро, сообщив Митричу согласие принять генерала хуторянином, удалились и совсем канули в бедных и заброшенных государством огородах.

За столом у Митрия Митрича генерал ответил:

— Вся Россия лежит где-то там, а, Митрич? Та-ам!

И Митрич заметил, по лицу, мужественному и благородному, генерала скользнула слеза, не слеза, а похожая на слезу печалинка. Дед заволновался и сделался неуправляемо радушным: огурчики — на стол, яички — на стол, лук — на стол, хлеб и баночку килек — на стол... И — поллитру. Настоящую, доперестроечную, сорокаградусную, пятирублевую, без подлости. Чистейшую, как генеральская набежавшая слеза-печалинка.

— Ну, Митрич, — обвыкся генерал, — встречаете, как сына!..



— А ты мне сын и как же? Девяносто мне, чай уже, брат мой!.. — Выпили, покрякали, закусили. Дед и загнул: — А ты, генерал, генерал или ты умный, ученый человек? Герой-то ты не фронтовой, а трудовой, вижу? — Генералу понравилась снайперская цепкость Митрича:

— Главный конструктор летающих аппаратов!..

— У, летающих, значит, и тарелок? — обрадовался Митрич.

— И тарелок! — скучно подтвердил генерал.

Митрич налил в рюмки:

— Брежневская, пей! Горбачевскую-то выпьешь, а она — квасом, квасом из тебя... Кулик ведь, и на святой русской водке нагревал народ, торгаш, скажу тебе, отчаянный!

Генерал крутанулся на табурете, но табурет легко выдержал, не сломался. И Митрич про себя отметил: «Генерал замечательный, не толстый, не развращен жратвою и ленью, физзарядку, наверное, сложную по утрам выполняет!..» И продвинулся дальше, уважая гостя:

— Ученый? Главный конструктор, сказал? Не иди к нам в хутор, не иди!

— Почему, Митрич?

— Опилишь руки, обстругаешь или дрелью просверлишь. У нас, товарищ генерал, ни плотника, ни жестянщика, ни каменщика не найдешь, кооперативы их завербовали, а сам ты хребет натрешь и судьбу грамотную погубишь. Жаль тебя, ты — большой у державы, нужный, не иди, не иди, дома тебе не поднять, а ум и талант погубишь на топоре. Пальцы-то у тебя карандашные, чертежные, пушкинские!..

Генерал, при последних словах деда, кашлянул в рюмку, но осушил ее и, вроде гневаясь, немножечко скраснел:

— Бардак, Митрич?.. Обязали кастрюли паять...

— Полный бардак! — восторженно подтвердил дед и налил рюмки до краев.

Военные встали, жали друг другу руки. Вставали, генерал-то как дед, раненый, участник сражений под Берлином, но теоретический, а не примитивный генерал: ать, два, ать, два, Королев, а, может, и поважнее!.. Тарелки, может, инопланетянские контролирует?..



\* \* \*

Хутор Батраково или деревня Батраково, теперь деревня — хутор, а хутора — вообще не существует, нет села, нет русского села, и с земли русской согнали русских. Умельцы, фашистов ищут, а сами и есть качественные фашисты: огромный народ согнали.

Бабушки да Митрич в Батраково. И — генерал. Купил. Приехал. Строится. А Митрич молчит. Генерал то в телогрейке, то в спецовке, генеральша в краске и в глине. Рубанок поет. Электропила визжит. А Митрич хмуро помалкивает и за генеральское активностью наблюдает. Душа у старика мозжит.

Иногда сидит старик на завалинке. Такое у нас редко случается. Стариков перебили в атаках и штурмах. Сидит, хмурый и дерзкий с внешности, а копни, пожалуйся ему — сорвет картуз, рубашку подарит, галоши и те примерить тебе счастлив. Ох, русский народ, ты — Митрич, мозжит твоя душа, а ты облапошен и полупогребен жуликами, и водку твою, вздорожив, смешали тебе с минеральной водой: пьешь и тут же лечишься!..

С Митричем я в давней приятельности: из Москвы привожу ему «Дымок», сигареты, начиненные порохом и порченым динамитом. Митрич курит, а они взрываются, курит, а они взрываются. Бабки батраковские не пристают с вопросами глупыми, когда Митрич курит «Дымок»... Саперский дымок. С военных саперских дислокаций начал Митрич курить взрывоопасные сигареты, и по сей день курить нормальные не хочет: к риску привык дед...

Да и оракечена страна-то наша. Детишки-ребятишки, первоклашки сопливые, на Урале, например, обточат «чух», мордочку свиную, из липы, а в нее, в дырку, аммональной смеси напрессуют, подожгут — несется и сияет в сумерках: от Челябинска до Серпухова, где в 1942 году тяжелейшие бои вела Красная Армия с гитлеровцами...

Да и газеты без передыху предупреждают: «Не копайте погреба, не вызвав роту минеров, вдруг — вражеский снаряд, вдруг — склад с реактивными фаустпатронами?..»



И Чернобыль заставил нас разоткровенничаться: сотни тысяч безвинных людей перечеркнули раковыми опухолями и прочими онкологиями, и, наконец-то, признались, Европе в жилет понюжились... И генерал из Батракова — не трус, не сундук, напичканный секретами, ни меня, ни Митрича не сторонится. Сидим на завалинке, слушаем конструктора: «Лабораторией и полигоном после войны непосредственно руководил Лаврентий Павлович Берия, а мы, инженеры и ученые, у него на подхвате. Вызывает как-то меня...

— Фамилия?

— Капитан Воробьев!

— Нэ капитан, а майор Воробьев ужэ!.. Ракэты пускай хараще и гуляй до двух ночи, потом со мной едэш!

Гуляю.... В бараке сижу над телефоном. Позвонят, а я и на месте. На практических испытаниях мы, молодые ученые, в общезитии находились... Но почему-то Лаврентий Павлович меня вызвал. Сижу над телефоном. А телефон, как Митрич, древний, прочный, и молчит, молчит, да ни с того, ни с сего как заорет!.. Хватаю трубку.

— Майор Воробьев у телефона!..

И, понимаете, голос Лаврентия Павловича:

— А ви нэ спыте? Молодэс! «Б-2», ракета, ваша?

— Так точно, Лаврентий Павлович, моя!

— А жина ваша с кем живеть, с родителями вашими, да?

— Так точно, Лаврентий Павлович, пока негде, с родителями, на Урале!

— Нет, ваша жина уже не на Урале, а в Москве живеть. Поезжайте к нему, оформляйте квартира, ми вам дал. А ракета «Б-2» ваша?

— Так точно, моя, товарищ маршал Советского Союза!..

— Молодес, умниса!..

Оказывается, мои чертежи на «Б-2» понравились самому Сталину, специальной комиссией выбраны для практического испытания... Явился я в Москву, по адресу, мне в институте предложенному, нажимаю кнопку — открывает дверь Лена: «Господи, я напугалась! Думаю, Вова погиб... Ночью, в два часа, меня погрузили в скорый поезд и — в Москву из Челябинска.... И — в твой институт, и — ордер, знаешь,



Вова, — вздрагивая, шепчет мне Лена, — я до сих пор зуб на зуб, зуб на зуб не попадаю, мерзну и мерзну!»

Да, высотное здание, на Котельнической набережной — квартира!.. Мне кажется, Берия перепутал меня с кем-то. Но тогда, при Иосифе Виссарионовиче, специалиста не могли перепутать — тюрьма за подобные штучки, прямая Колыма...

На практических испытаниях моя ракета «Б-2» трижды запускалась и трижды поразила цель стопроцентно! А Лаврентий Павлович намеренно меня придерживал в общежитии, в бараке, для пущего переживания тайны. Тайна — я. А ракету запустить и любой сержант сумел бы: фык — и захала!..»

Секретили, секретили, бац, рассекретили. Границы пьяные наркоманы посещают, стада разъяренных торгашей режут и государственные столбы выворачивают. Ребят русских жалко: мишень из них приготовили хриstopродавцы для каждой разбойной пушки...

Митрич сокрушался, читая сообщения о дрязгах и размежеваниях, конфликтах и бойнях между соседями, гражданами преданной и поруганной империи. За газетами, с палкой, он ковылял по утрам в поссовет пять верст туда и пять верст обратно: не лежать же инвалиду?..

— Ай, яй, яй, Василич, растащили нас коршуны, расклевали, ай, яй яй!..

\* \* \*

Потный и взъерошенный, к нам присоединился после обеда генерал малость охладиться и новостями обменяться. Жилистый, морщинистый, тяглый, нервничал:

— На закрытом заводе мы вытачивали детали, «луки» и «стрелы», в космическую точку угождали, а сегодня обязали конверсию в цеха впустить. Горбачевская альтернатива...

— А кто она по национальности, альтернатива-то, французенка или японка?.. — кряхтел Митрич.

— Пятилитровая кастрюля, обыкновенная кастрюля. Лесные бродяги, шоу-туристы, и тюремные повара ценят ее, пятилитровая! А у свободных людей не пользуется авторитетом...





Генерал хватал щепку и на черном утоптанном пяточке чертил кастрюлю. Чертил кастрюлю, но получилась лысая огурцовая голова, смахивающая на пятилитровую кастрюлю.

— Завод, классный завод пустили в распыл! — возмущался конструктор, — какие мастера, какие талантливые инженеры вынуждены бежать с производства в разные подсобные хозяйства?

Конструктор более решительно проводил щепкой по нарисованной голове-кастрюле, дополняя ее точками, дужками и короткими штришками... А Митрич доверчиво интересовался:

— Пропала Россия?

— Пропала!.. Но не пропадет... — Генерал нервничал и прощался...

А Митрич старательно накрывал голову-кастрюлю газетой:

— Зачем?..

— Завтра хочу на нее поглядеть, завтра поглядеть хочу!..

Назавтра Митрич снимал газету и внимательно рассматривал изображение.

— Инопланетянин! — сообщал он старухам.

Батраково — на холме. А холм — над великой поймой. Древнее русло Москвы-реки когда-то катало по синему простору шумные волны, хлеставшие от леса до леса, от горизонта до горизонта: пойма равнинно-круглая, скифская, втягивающая в себя, в даль свою века, племена и события...

Даже сейчас глянешь — и набежит на тебя русский ветер, и прозвенит над тобою славянское ржаное солнце августом и журавлиным взрыдом. Набежит ветер — травы пригнутся, а березы качнутся, очнутся и примутся трепетать, словно ждут кого-то и дождаться не могут. А ветер бежит и август пылет от края до края, где неуловимо клубится и пропадает плачущая нить счастья, миг ускользающей надежды.

Родная моя, Россия моя знаменитая, на любой кривой улочке хуторов полураздавленных твоих — обелиски, а на них проржавелые списки погибших, убитых в огненной стороне сражений.... Где еще есть такая Родина, такая осиротелая Россия? Списки — длиннее улицы, длиннее скособо-



ченных рядков истлевших изб, длиннее имен взятых вместе перечисленных старух, доканывающих возле усыхающих колодцев революцию и долю...

Я люблю тебя, моя Родина, Россия моя, спасенная и обласканная небесной синевою и августом небесным! Когда замирает сердце при виде твоего разорения и нищеты, я припадаю к бугорочку, прирученному обелиску на хуторе, низко, низко — и оттаиваю, камень погибели отступает от моей души, и сердце вновь начинает биться и тужить.

Рожденный и выросший на Урале, почему же я в любом русском хуторе — как в своем, уничтоженном парадными палачами, брошенном, как все русские хутора, в эту великую пойму скорби, под которой глубоко-глубоко течет легенда русской трагедии и русской славы?..

Где наши братья? Где отцы наши? Где наши деды? Митрий — прирученный седой обелиск, уплывающий в русскую даль. О, какими же мы обязаны быть? Разве крик русского горя не в нас? Ну, где наши генералы? Воины — лежат, и цветы над ними шелестят виновато. Но генералы где? Неужели некого поднимать и некому теперь поднять?.. Россия моя, Россия, я лишь — поздний репей твой, колючий и выжженный бурей.

Митрич всех знал и никого не позабыл, кто не вернулся в Батраково с войны. Сидит на завалинке — они около него: в списках на бугорочке, на обелиске. Жаль — под бугорочком нет их. Жаль и жену Дмитрича — рано оставила его: умерла в девятый год Победы и в день Победы.

Митрич хранил от нее на чердаке в подвешенных негодных валенках извещения о смерти сыновей — Саши и Пети. Летчики. Экипажем вели бои с противником. И — погибли. На каждого — индивидуальная похоронка, с благодарностью родителям... Марья полезла чердак чистить после зимы, сунулась, а в валенках... И с чердака не слезла.

Митрич никому не говорит о сыновьях и о жене, никому. Но, глядя на обелисковый бугорочек, иногда чуть посожалует: ах, лежали бы дети под ним, под бугорочком, — и он, отец, сидит рядом... Но Митрич ломает непрошеную мысль, отшвыривает, и она долго, месяцами, боится появляться пе-



ред стариком, исчезает. А, может, их могилки по необъятному шару ищет?..

Подруга Марьи, соседка Груня, тоже сирота, как Митрич, пристирывает и приштопывает за ним. Странная. Вздыхает и вздыхает. Не ссорится, не обижается ни на кого, а вздыхает и вздыхает. И не вытерпел Митрич:

— Когда ты, Груня, тоской напитаешься?..

А та протянула Митричу ладонь и, поздними сумерками, подвела Митрича к колодцу, открыла:

— Наклонись вглубь!.. — Митрич наклонился...

— Глубже наклонись! — Митрич глубже наклонился...

А Груня опустила на колени и протяжно, протяжно в сруб:

— Ой-ой-й!.. Ой-ой-й! — И в срубе, в дубовом-то, как в рояле или пианино черном или храме пустом: «О-о-ой! О-о-ой!» Поднялся Митрич. Ночь. А звезды, яркие, яркие, теплые, теплые, мигают, мигают:

— О-о-о-й! О-о-о-й!.. — И тополя, родные, ихние тополя хуторские: — О-о, о-о-й!..

Жутко сделалось Митричу, а Груня:

— Это земля о детях наших стонет, вдовая она, Митрич!..

И пошли они, вдвоем пошли, от колодца.

— Я, Митрич, образ ее видела, на дне, на дне, Митрич, мамино лицо, этакое, а за мамой — дети мои, солдаты, и муж мой Петр, солдат...

Митрич ни конверсию, ни перестройку на порог не пускает: занял оборону и держится. Ружье на стенке под боком висит. В сарайчике — коза, три курицы и петух. Молочка и старушкам на Пасху достается, куры не симулируют, несутся, а петух вместо гимна кукарекает на заре.

\* \* \*

Для кого играть гимн-то! Мертвая зона... Осенние ночи — каменны, тьма тяжелейшая. Ни фонарика не вспыхнет — нефть вздорожала. Митрич кашляет и прошлое вспоминает, а в прошлом — кровь да разорение. Вспоминает, глядь, а напротив сияющая тарелка опускается, похожая на



калужскую сковороду. И выходят из нее длинный и короткий.

— Господин Митрич, занят ли генерал гражданскими заботами, кастрюлями? Не сооружает ли местные укрепления?.. — спрашивает длинный, а короткий в блокнот записывает. Митрич не растерялся и задает вопрос:

— А вы откуда, уважаемые?

— Из Европейского сообщества, стамбульские турки! — ответил длинный.

Митрич обиделся и шарахнул из ружья в форточку! Тарелка ж-ж-укнула, как черная муха, и скрылась в окрестностях Батракова, а генерал, в трусах и майке, колотит в дверь:

— Митрич, открой!

Открыл, рассказал, генерал поддернул трусы и удалился, пожав плечами. У Груни электричество после выстрела заглохло, аварийное, значит... Молиться принялась баба.

До Митрича дотягивались и застревали в нем странные слухи. Стамбульская инспекция донимает генерала: лучи на него направляет, фиксирует его движения — к сортиру и от сортира, а инструменты, долото, молоток, швабру, фотографирует и проявляет сразу. Доказательства...

Недавно, якобы, реяла, реяла тарелка, загнала генерала в крапиву, а сама в нее погружаться не согласилась. Генерал замаскировался и помочился, а тарелка в Стамбул вернулась, грамотная и жестокая, курва. Генштабовским генералам, «афганцам», слышал Митрич, стамбульская жаровня и помочиться в конторе не дает, на бульвар Черняховского с Арбата бегают, стайеры, и омоновцам на гуманоидов жалются, подсказывая...

Митрий жалеет сыновей и Сталина: приказал бы им, взвились бы, родимые соколики, и уничтожили бы вражеский объект и генерала бы из крапивы освободили... Но — один Митрич. И обелиск — один. А военный конструктор, человек, в крапиве прячется... Времена! И старый сапер налегает на газетные новости. А Груня молится.

Генерала, Владимира Владимировича Воробьева, и генеральшу его, Елену Николаевну, я почти не встречал в личной одежде: его — в мундире, ее — в платье. Оба они, и



генерал и генеральша, ошкуривали бревна, пилили, возили на тачке песок и кирпичи. Грязные, в куртке и в штанах, заляпанных известкой, олифой и, черт разберет, какой чудовищной жижей. А разве черт разберет, если и генерал и генеральша — чертей чумазее?

Но домик у них вынырнул из деревенской нищеты и на цыпочках вверх потянулся. Окошки окосячили. Рамы встали. Крышу — серого шифера настелили. Нарезали карниз. Дворик окинули штaketником.

Цех кастрюльный на французском оборудовании, купленный Генштабом за валюту, смонтировали возле уборной, где генерал-конструктор в крапиве от турок прятался... Но цех не включается и кастрюли не паяет — калибр кастрюль завышен и температура в Батракове уже низковата. А на улице — еще август: так они, генерал и генеральша, взялись за работу! Честнейшие трудяги...

Исчезал генерал из Батракова часто. Особенно — перед тем, как начинали газеты и радио трубить о новом провале или успехе в космосе, а телевидение возбужденно хрипеть и Гоголя цитировать, кудахча:

«Куда ты, несешься,  
О, Русь, о, Русь!»

А получалось, коли вникнуть ухом, у диктора, шустрого и ушастого:

«Куда ты несешься,  
О, гусь, о, гусь!..»

Исчезал генерал внезапно. Генеральша никому в эти дни не показывалась, малярила и копалась на грядках, вжимаясь в тень яблонь, прячась за калиткой... И Митрий Митрич, саперный дедок, не заходил к ним и ко мне не заходил. Митрий Митрич желал генералу успеха, а державе надежного оружия...

Все молчали, в деревне и в Москве. Да с чего, с каких причин болтать-то? Все молчали. А за нас, за всех, раздавал интервью Михаил Сергеевич и диктор, который «О, гусь, о, гусь!..».



Беда подстерегла генерала и генеральшу крупная, жестокая и непоправимая. Да, малая беда, поправимая беда, не подстерегает тебя, а натыкаешься ты на нее. Наткнулся, обиделся, разобрался, выздоровел и за дело. Но крупная, долгая беда высмотрит, определит, наметит и ударит — и разрушит, а не разрушит — пошатнет, сам доразрушишься, такая беда, крупная если...

Митрич сидел на завалинке и грелся на осеннем солнышке. Митрич старый, и хутор старый. Митрич старый, да и солнышко тоже старое. Ветерок и тот, шелестящий в палисаднике Митрича, старый. Ничего молодого, когда ты старый, в природе нет. Только — дети, погибшие, молодые, а новых детей кому рожать? Старухи в Батраково да он, старый Митрич, сапер, солдат и пахарь. И август старый.

\* \* \*

Сидел Митрич, а «Дымок» спокойно взрывался у него в губах, сигарета проклятая... И услышал Митрич, как с воем и лютыми искрами из окна генеральской избы выбросилась электропила. Пронзительнее дикого зверя завизжала, вспрыгнула на забор и стальным раскаленным диском принялась бешено резать и кромсать все, что ей на пути попадалось. Стружки, брызги сверкали под ножом, стальным и раскаленным, а она визжала и набирала разбойные обороты...

Вот она перевернулась, шарахнулась в сторону от забора и с хрипом и ревом заплясала в канаве... Митрич сообразил: уронили пилу, включенный диск уронили... Боком, боком, за канавой, за деревьями стуча палкой и опираясь на нее, Митрич, в галошах, приковылял ко мне: «Василич, Василич, беда у генерала, беда у Владимира Владимировича!..»

Перемахнув улицу, я выдернул из сети провод разгневанного зверя и, оглоушенный тишиной, по лестнице взбежал на чердак. Владимир Владимирович, бледный и окровавленный, пытался подняться на стеллаже из теса, но ослепший от крови и потерявший много ее, шевелился и ползал, натыкаясь на ящики, стулья и кучу трухи. Переносье генерала, рассеченное диском, зияло жутко и непоправимо.

— Вставай! — скомандовал я.



Генерал ухватился за мою шею, и я вытащил его к своей машине, едва, едва зажав рану; туго замотал ее содранной с генерала грязной рубашкой. А Елена Николаевна, сшибленная вырвавшимся на свободу звенящим диском, свалилась с чердака на пол, в проем, пока не закрытый, и успела вернуться от взреявшего над нею раскаленного тигра, выпрыгнувшего в окно...

Генерал назвал мне номер телефона КБ и начал терять сознание.

— Я мерзну, я мерзну, Василич! — укорял он... А Елена Николаевна дула ему на лоб и дрожала. Она удачно перенесла аварию. Генерал, я думаю, теряя равновесие на перекладине, сумел-таки отпихнуть диск локтем, потому и пальцы на правой ладони срезаны, отсечены, и левая ступня его туго, туго мною перемотана, как и лоб ученого...

Моя «Нива» аккуратно на рытвинах и канавах покачивалась, дороги-то под Москвою — гроб. А время тянулось. На шоссе я подрулил к будке ГАИ, сунул номер телефона милиционеру, показал на пострадавших и добавил газу. Через час и сорок минут, я уложил на носилки генерала, и мы с генеральшей тронулись в хирургическую.

Меня поразила беспечность больницы. Ни врача, ни санитаря: воскресный день — студенты занимаются и лечат. Генерал подремывал и подремывал, но сознание терял и терял, упрекая:

— Я сильно мерзну, Василич, накрой меня!

Натренированной памятью я набрал в больнице тот, отданный милиционеру номер, и в сию же секунду меня ободрил четкий руководительский голос:

— За генералом послан вертолет «А-6», «А-6». В больницу послан спецвертолет с нейрохирургом, спецвертолет «А-7». За супругой генерала послан вертолет «А-8». Большая группа врачей выехала автобусом вам навстречу, ловите!

Но генерал терял и терял сознание, медленно синел и опухая, держался по-гвардейски, хотя держаться уже было невозможно. Елена Николаевна не плакала и силилась продемонстрировать мне волю и терпение. Лишь тревожные



глаза ее наполнялись горьким страданием. Сбереженная богом при падении, женщина забыла о себе, помогая мужу.

Когда загрохотали над районной больницей вертолеты, снижаясь и гудя пропеллерами, а большая группа врачей вывалилась из бронированного пузатого автобуса у ворот, я оставил Елену Николаевну возле генерала и покинул хирургическое отделение. Инопланетяне явились — чать спасут?..

Быстро пожелтели поля. С берез осыпались и умчались куда-то листья. Зима легла широко — во все концы. За холмами столпились морозы. Выбрали день — завладели миром. И я убежал от скуки в Москву, а Митрич потерял интерес к событиям — разочаровался.

На следующий год, весной, в мае, мы с генералом и старушками хоронили Митрича. И офуфаенный генерал, задержав меня у могилки, смущенно произнес:

— Спасибо, Василич, и от Елены тебе спасибо! Теперь и я с палочкой, за Митрича сижу на завалинке, лишний, спитый... А тогда, тогда в понедельник, лишь я очнулся, позвонил Горбачев, да, Горбачев: «Что случилось, генерал?» «Конверсия, Михаил Сергеевич, конверсия!..» И ты понимаешь, Василич, трубку швырнул, во как!

— А стамбульская тарелка? — поинтересовался я загадочно.

— Давно опережает нас и шпионит, шпионит!.. — вздохнул конструктор.



## *Пропали мы, пропали!..*

Пропали мы, пропали. Тайгу вырубил — и сидим без дров. Газ провели соцстранам, а теперь — ни газа, ни соцстран. Один Фидель Кастро остался, а сколько он еще продержится, кто угадает? Судя по кубинцам, машущим в нашу сторону кулаками, продержится чуток пока, а судя по нашим дикторшам — конец ему. Ухмыляются на экране: «Вот так товарищ Кастро взбадривает народ...» А на экране в эти минуты тощие мулаты поднимают тяжелые лозунги: «Смерть капитализму!» и «Родина или смерть!..» Надоело мне дома быть, когда социализм вымирает, когда глупые дикторши науськивают на него, кого угодно в мире, а Фиделя, нашего ближайшего соратника и друга, на посмешище выставляют. Мол, нефть мы ему возим. А кому нефть мы не возим? Неужели нашу нефть сам Фидель на себе обязан возить в Гавану? Даем, значит — и возим! Надоело...

И, побрившись, — на пенсии нахожусь, я решил заглянуть на разговор к парторгу. Василий Фомич, уважаемый парторг, с большой буквы парторг. Пусть он сейчас в ЖЭК переехал со своим сейфом и убеждениями, но был парторгом исключительным в период совместной нашей работы в институте Главтопливопродукт. Институт — могучий, держал связь широкую: соцстраны, капстраны, развивающиеся страны, слабые страны и т.д.

Василий Фомич перед партийной должностью, перед тем, как нам его избрать в парторги, длительный срок честно находился в кресле районного прокурора в Москве. А московский прокурор, особенно районный — святой человек и бесстрашный. Взятки районному прокурору не очень дают — вышестоящий имеется, а подлостями практике учат,



ведь все низовые преступления зачинаются на местах, а дальше — растут, благородные чиновники, до министров и выше. Потому районному прокурору и брать много не из чего, и робеть, то есть — терять, тоже нечего. Районные прокуроры — матросовы, заслоняющие грудью Отчизну.

Как мы Василия Фомича избрали, партком сразу преобразился: учеба по Марксу, не так-сяк, а по Марксу, как при Ленине, учеба по экономике, а правильнее — постижение экономики, учеба в процессе перестройки — межрегиональные противоречия и механизм торможения. Мне, до смерти не забуду, приятно, как Василий Фомич вызвал нас для уплаты взносов. Тося, секретарша, в парткабинете чай пьет, симпатичная и моложавая, круглая с четырех сторон, вроде огородной тыквы, номер ваш пальчиками тук, тук, тук, и голос Василия Фомича в трубке:

- Мухин?
- Так точно, Мухин!
- Ко мне!..

Бежишь, светлеешь в дороге душой. От кабинета до кабинета ноги тебя несут по воздуху. Прибегаешь, а моложавая круглая Тося пальчиками тук, тук, тук, и голос, близкий, понятный, Василия Фомича голос: «Бабочкин, ко мне!..» Не успеешь расписаться в ведомости — Бабочкин за твоей спиной шумно в ухо дышит. Порядокчик.

На трибуне Василий Фомич держался твердо, прямо и не долго, а этак пятьдесят одну или пятьдесят две минуты. Краткий очерк о международной ситуации, о прочности соцлагеря, о шаткости каплагеря, о санаторных лагерях трудящихся, о пионерлагерях, если дело шло к лету, и общие инструкции по текущим вопросам. Все.

Первейшее — партвзносы. Василий Фомич напоминал, что партвзносы — ленинская установка, партвзносы — фундамент и надежда партии, ее моральный огонь. И бежали мы в день партвзносов из кабинетов до партийного кабинета, уловя сердцем фразу: «Ко мне!..» Даже очередь толкалась возле Тоси, перед полированным столом Василия Фомича. Лишь уплатить — вернуть долг ленинской партии, а там — конец мучениям и нервозностям.



Зашел я к Василию Фомичу. А Василий Фомич, теперь парторг над нами, пенсионерами, в ЖЭКе, не узнать его: веселый, хоть и без Тоси, рассказывает сослуживцам, пенсионерам Главтопливопродукта, о поездке в Америку за счет кооператива «Самсон» — фонтаны и пруды во дворе дач делает и надувные лодки. Рассказывает Фомич, удивляется и сигару курит. У нас-то и окурка у друга не найдешь. Дефицит. Теперь и рукомойник, жестяной урыльник, как раньше, до революции, их назвали, — дефицит.

Воскликает Фомич: «Хэ, хэ, друзья, как вы без меня?..» Вернулся из Америки, сидит, и в голове у него шарабанит, варит: «Америка, думаешь — вода, а выпиваешь — чистейший ячменный виски. И дешево, стакан — доллар. Костюм, вот этот, с примесью антрацита, три доллара, без примеси — восемь. А кто скажет, что он с примесью? У них марксизм — на производстве, у нас же марксизм — эмоциональный еще... Шумим».

И прибор, повышал тон Фомич, не шутка, а диковинное поручение, «жучок», по-нашему, выполняет. Ленин и во сне не видел партию без взносов. Взносы — ум, честь и совесть партии! Другое дело, куда идут взносы, кому идут взносы, не всегда ясно. Но что взносы основа нашей партии — иных толкований нет и быть не может. Вперед к Ленину! Механизм торможения безжалостно ломаем, не дрогнув, а механизм ускорения, с помощью американских бизнесменов, изобретем новый, на солнечных батареях построенный!..

Жучок, катаясь по кабинету, сперва бормотал: «Хек вам, хек вам!», а молодые коммунисты быстро научили его русскому переводу: «Партвзносы, партвзносы!..» В общем работает нормально, не хуже, чем у них работал, на родине. Парторг ткнул в свой лоб пальцем и сказал: «Тут есть!..»

Оказывается: парторг тайно забирал, прятал прибор в карман пиджака и уносил домой. Дома, поужинав и почитав подробно газету «Правда», парторг располагался на обширном диване и принимался тренировать жучок:

- Хек вам!.. Хек вам!.. — заразительно приставал парторг.
- Хек вам, хек вам!.. — повторял жучок.
- Партвзносы, партвзносы!.. — переключивал парторг.
- Партвзносы, партвзносы!.. — осваивал жучок.



И зубрежка учащалась, подряд, подряд, без разминки и паузы:

— Хек вам!..

— Партвзносы!..

— Хек вам, хек вам!..

— Партвзносы, партвзносы!..

И наоборот:

— Партвзносы, партвзносы!..

— Хек вам, хек вам!..

Врывалась в комнату жена парторга Марья:

— Ты рехнулся и автоматического жучка рехнул, ошарашенный горбачевец, ну!..

Супруга прокурора, то есть — парторга, генетик: Марья Авдеевна обожала в муже, Василии Фомиче, раскрепощенность натуры, свободную энергию фантазии. Фомич, когда они пообедают, в выходные дни брал ее за талию и усаживал на широкий диван. Мария слыла толстухой, удачливой и благородной. Правда, слухи как-то прощуршали возле подъезда ихнего, будто Марья рассекретила генетический код какого-то члена Политбюро и чуть не попала в опалу, да замял «дело» прокурор через юридический блат и политическую сноровку.

Брал прокурор ее за талию: «Мань, к чему тебе генетический код членов Политбюро, ты лучше расшифруй генетический код неплательщиков партвзносов, злостных аферистов, творившихся в партийной массе. Вот жучок американский — удивительная вещь. Нельзя ли, Маруся, хоть он, жучок, и частично из металла, частично из пластмассы, нельзя ли, Маша, размножить, расплодить его?..»

Детей у них не было, и Мария Авдеевна знала: она в этой тайне виною, потому при слове «размножить» или при слове, особенно, «родить» Марья вздрагивала и зажмуривалась. А тут еще — «расплодить»!.. Мария Авдеевна прижалась к супругу, боязливо и виновато:

— Зачем, Вася?

— А подбросить в квартиру всем коммунистам, членам КПСС, подбросить!..

— И дальше, Вася? — усумлялась покорная Маша.



Прокурор тихонечко трепал ее за толстую талию. Марья Авдеевна, молекулярный генетик, и покушать не чуралась, ежели, скажем, курица ей попадалась в столовой или американская тушенка. Василий Фомич и потрепывал жену за талию: «А, Маня, двадцать миллионов партийцев, и представь, каждый утаил по три рубля от взноса в месяц? Шестьдесят миллионов, цифра? А разве по три рубля и разве только за месяц утаивают? Подошло к ним жучка — заелзают!..»

Да, Америка Ленину спать не давала, индустриальная держава, Сталин тянул народ до Америки, а Хрущев перегнуть настроился, но в пути законфликтовал с членами Политбюро и надорвался.

А теперь — жучок? Замечательное насекомое. Недаром Василий Фомич в Америку въехал с большим партийным стажем и политическим равновесием; лишнего не болтать, на чудеса рот разевать не без контроля, в идеологических сварях — давать бой с ходу и класть противника на лопатки. Возвращаться гордо, без спешки. Но случилась трагедия. Случился сверхтормашковый перекрут мыслей и преданности.

Я, было, о дикторшах и Фиделе, а Василий Фомич: «Бросьте, Фидель в типичного партаппаратчика выродился. Ездит по Кубе мимо американского саморегулирующего рынка. Рукой подать — рынок!.. — И Фомич затянулся зловонной сигарищей. Потоковал, потоковал: — Перестройка — не хухры-мухры, а великий революционный переворот. Мы, товарищи, с вами все, без исключения, стояли на голове, а теперь перекувыркиваемся — и — на ноги, поняли?..»

О технике повел мысль. Мол, вот вам пример. Взять от вас партийные взносы — не чепуха, хотя некоторые и грамотно полагают. Взять от вас взносы — с девяти утра до восемнадцати часов я на телефоне, как на мостике командир корабля. А у них, у американцев, прибор. И умещается такой штучик во внутреннем кармане пиджака. Прибор, бегающий по кабинетам затачивать клеркам карандаши. Сидишь — тлинь, тилилинь, вроде наш валдайский заливистый колокольчик. Сунул ему в пасть карандаш — готово. К следующему побежал.



— А я звоню вам, каждому звоню! — горячился прокурор, теперешний парторг наш... Горячился-то, горячился, а предложил весьма трезвое и прозорливое мероприятие: использовать американский заточечный прибор для оповещения сбора партийных взносов пока в ЖЭКе, а там и по стране благой зверек приживется.

В ЖЭКе Фомич выслушал меня, но не принял моих патристических опасений, поздно опасаться: лагерь социалистического уже нет. А капиталистический лагерь нам не страшен, в отличие от наших — цивилизованный лагерь — если внутрипартийные отношения мы перемонтируем на демократизационно-рационализаторские и на права человека. Вынул Фомич из кармана шикарного пиджака прибор, включил. И прибор быстро, быстро побегал по коридору ЖЭКа, из коридора в кабинет бухгалтера, из кабинета бухгалтера в слесарку, ликуя: «Партийные взносы!», «Партийные взносы!..» До чего же вонючее изобретение! Пропали мы, пропали. Задержают.

Не поймешь, не то — ползет-бежит, не то — бежит-ползет, но произносит удлинено, по-русски. Василий Фомич объясняет — перевели. А по-американски фраза бы звучала оскорбительно: «Хек вам! Хек вам!..»

Полная модернизация. Говорят, наши закупили таких жучков на золото и загрузили ими несколько пароходов. Везут. Могли бы и Фиделю немножко дать. А механизм торможения, не отрицаю, к сожалению, имеется, но беда не в нем. Беда в том, что тормозить пока у нас нечего. А жучок, хотя и американский, на приказ «Ко мне!..» бежит, гад, без переводчика, во что значит — партийная дисциплина!..

## *Первая леди*

Американские армяне, магнаты, преподнесли Раисе Максимовне какой-то очень дорогой подарок: перстень ли, икону ли, подвески на уши, но, сообщала наша печать, преподнесли... И преподнесли не за то, что Раиса Максимовна Горбачева — супруга форточного президента СССР, которого с поста генсека переметнуло в президентское кресло Политбюро, ленинский штаб нашей партии... Нет, за то, что она — красивая...

Генрих Боровик, журналист, усердно и многолетне об-служивающий семью Брежнева, упрекнул США: «Есть что показать и потому показываем!» ...Глядя на Раису Максимовну, упрекнул он супердержаву, мол, еще сомневаешься, — мы красавицу к вам привезли!.. И русский пчеловод, то ли из Ставрополя, то ли из села Чугуева, но тоже преподнес Раисе Максимовне тонну меду. Не килограмм, не чиличок, не бурачок, не бидончик, не кадучечку, наконец, а тонну!.. А за что? Вы думаете, за то, что она — супруга форточного президента? Ошибаетесь. Красивая...

И надвигала, наткивала, навинчивала на бессеребряные пальцы Раиса Максимовна кольца и перстни, армянские или месхетинские, не все ли равно? Прикальвала, пристегивала, навешивала на доцентские грамотные мочки серьгу, клипсу и еще черт ее что. В США этот «металлолом» стоил сотни и миллионы долларов, а в СССР — ничего, ни копейки: у генсека — партвзносы, а у парламента — страна...

Почему бы не разобраться ныне в подобных золотых шалостях открыто, в груди побрякушек, супруги генсека, первой леди? Задарили старую капризницу, испортили и забыли! Когда народ волновался и гневное дыхание рабочих



касалось дачных покоев трудолюбивого семейства, Раиса Максимовна фыркала в телеэкран: «Людам Михаил Сергеевич делает добро, старается, ночей не спит, а они не благодарны!..»

И Михаил Сергеевич обижается: «Перестройка овладела массами, процесс уже пошел, а некоторая, весьма консервативная, красно-коричневая часть, скажу, не малая, а большая, крупная часть, тормозит, хотя, повторяю, процесс уже пошел!..» Но несознательные пролетарии, слесаря и монтажники, комбайнеры и таксисты, сталевары и шахтеры, нахально высмеяли президента, сочинили ерунду:

На песочке Горби грелся,  
Кушал жемчуг и объелся,  
Бриллиантом сикая,  
Кричит: «Беда великая!..»

Раиса Максимовна — скромная, тихая женщина. И красота ее — красота хозяйки, помощницы. В семье она собирала, по словам Горбачева, партийные взносы, проштамповывала партбилеты, а в государстве она командовала культурой, иногда заезжая помечтать над россыпями алмазов: вкус утонченный... Иногда, возя за собою, или с собою, или придерживая возле себя, или же — около себя понукая ими, приструнивала писателей, крупных, лауреатов, депутатов, соцгероев, академиков.

В Финляндии — показывала их детям. В Индии — йогам. В Китае — остепенившимся хунвейбинам. Особенно ей нравился — старый Лихачев. То ли — путала его с Лигачевым, то ли — улыбалась патриотическому ученому. Даже алмазы рассматривать приглашала картавого русофила... А Васю Белова и Валю Распутина залелеяла вообще. И Россию — обожала матушка. На Урале — села в роскошный бронированный автомобиль и промчалась от горизонта до горизонта по местам, где вкалывал ее папа чиновником на железной дороге: «Мой папа тут работал!» — заявила рельсоукладчицам, изнуренным рабыням.





А версты на Урале долгие. А степи на Урале широкие. А горы на Урале крутые. Жми, шофер, на педали!.. И шофер — не за то ее катит, что она — жена Михаила Сергеевича, форточного президента и кукольного генсека, а только за то, только за то, что — красивая... Американские магнаты, армяне, сыплют на нее драгоценности, русские пчеловоды льют ей на прическу мед, а уральские шоферы газу добавляют автомобилям — угодить европейской красавице рады. Фея небесная!..

А как наши-то окуни на леске ходили, да плавниками шевелили, а гуси-то хитрые наши гоготали вокруг, а лисы-то наши пушились и веяли мехом, эх!.. Ну, Адамович, ну, Дементьев, ну, Евтушенко, ну, Корякин, индо побрился, ну, да и русские-то лизоблюды не уступали названным: мяукали, ежели те их отшвыривали...

Райка во поле ходила,  
В поводу Жужу водила.  
Милый песик. Подхожу —  
Лауреат, а не Жужу...

А композиторов Раиса Максимовна считала незаменимыми — понимала толк в талантах. Брала их за шею и тянула на сцену, улакивая: «Вы гениальный, вы бессмертный, а мы — рядовые советские!..» И музыкальный дед не упирался, на лесенку поднимался, за дирижерскую палочку хватался и перед императрицей взвивался.

Инвалидам помогала. Явилась — охрана у дверей дома престарелых козырнула ей. А она, истая благовестница, вцепилась в иссохшие фалды удивительно интернационального пилигрима, похожего на академика Дмитрия Лихачева, и чмок: «Тонну меду дарю!..» Тонну. Не жмотничать же ей, этой красивой пчеловодихе? Ей дарят, и она дарит.

Поэзию ценила. Маршака в школе читала. Евтушенко слушала: о партии, о Хрущеве строфы! И садилась в гербовых залах, на разных вечерах и разных торжественных съездах, чуть вдалеке, но строго напротив Михаила Сергеевича. Он зашуршит, заскребет по трибуне — она знак подаст, и президент выпрямится. Суровая. Слухи в народе насорили



завистники: будто Михаил Сергеевич страдает обморочными припадками, и в момент наступления генсека обмороком — семейный парторг, Раиса Максимовна, секретарь низовой ячейки, выпрямляет лидера КПСС жесткой волей своею и зоркостью опытной учительницы и чаровницы.

\* \* \*

Члены Политбюро, там — Лукьяновы, Романовы, Зайковы, Дзасоховы, Крючковы, Бакатины, Лигачевы, Янаевы, Семеновы, не перечислить, сколько их протекло сквозь алмазно-золотые мысли Раисы Максимовны, дышали неровно и потели, лишь кидала в них упречное око царица... Семья ее, включая Сергеевича, стойко сохраняла привязанность к ювелирным изделиям и драгоценным украшениям.

За их семьей в Россию сползла с кавказских гор, мутнее, чем таджикский сель, торгово-банковская и базарно-киллеровая мафия. Начали таксистов «снайперы» расстреливать на трассе, взламывать замки министерских квартир, переводить прилавки, захватывать универмаги, приватизировать заводы и проспекты. Переезд в Москву Горбачевых — переезд и оккупация Москвы ворьем и предателями. Переезд Горбачевых в Москву — конец СССР. Переезд Горбачевых в Москву — перекройка границ и братоубийственные войны.

Доказывать болезненное тяготение Раисы Максимовны к изящным штуковинам, пусть и не к ее, пусть и к чужим, наивно. Даже вице-премьер России Полторанин ошарашен: «...найлены сверхсекретные документы, свидетельствующие о причастности бывшего Президента СССР Михаила Горбачева к международному терроризму»... И подчеркивает: «В моральном плане они, конечно, будут большой оплеухой Нобелевскому комитету за компрометацию премии мира».

И Полторанин не ограничивается: «Они будут большевистской пощечиной слепой доверчивости многих граждан США, Израиля, Англии, других европейских, ближневосточных и африканских государств, против которых шло из СССР кровавое «спецнаряжение» и оплачивалось по согласию Горбачева драгоценностями, похищенными в различных странах...» Кошмар.



Не зря Раиса Максимовна встряхивала президента и выпрямляла, лишь зашурши и заскреби он по трибуне ЦК КПСС. Властная и коброобразная, она независимым прищуром натурщицы, как ядовитым жалом, взбадривала ополоумевшего от речезвержения президента, верного супруга, и он, закусив удила, неся по конфликтам Алма-Аты и Карабаха, Приднестровья и Южной Осетии, Прибалтики и Украины, Грузии и Азербайджана.

Потерявший рассудок конь, а в торбах, прикрученных к седлу — сокровища народов мира. Конфискованные, купленные, полученные его бандитами. А в самом седле — Раиса Максимовна, сверкающая ожерельями и браслетами амазонка. В ушах не звоны серег — свисты пуль, крики растерзанных детей и женщин, а на пути — кровь, кровь православная. Грядущая долгая кровь России!..

Параноик ли? Шпион ли? Серый ли провинциал? Не мне, извините, допытываться, не мне разгадывать. Горбачев принял страну такую:

Саратовский хлеб, круглый белый калач — 40 копеек.  
Килограмм говяжьего мяса — 2 руб.  
Килограмм качественной сметаны — 1 рубль 70 копеек.  
Килограмм картофеля — 10 копеек.  
Килограмм сливочного масла — 3 рубля 60 копеек.  
Килограмм сыра — 3 рубля.

Но проскакала на прищпоренном коне сверкающая бриллиантами и жемчугами амазонка, и цены с визгом подпрыгнули:

Саратовский хлеб, белый калач — 17 рублей.  
Килограмм говяжьего мяса — 80 рублей.  
Килограмм качественной сметаны — 70 рублей.  
Килограмм картофеля 15 рублей.  
Килограмм сливочного масла — 219 рублей.  
Килограмм сыра — 180 рублей.

А ныне застольный президент России Ельцин и его Наина Иосифовна, подержано-амортизированная красавица, обещают и далее укреплять здоровье граждан урезанной страны — повышать цены, а главный перестройщик СССР, главный загребала драгоценностей, почесывая пятно на лбу, вытянутолицый и размятый, подхрипывает: «Я завершил



дело жизни, дело жизни завершил я!..» Спасибо, мастер!.. Из какой, по счету, ты ложи?..

А как ты «приватизировал» партшколу, здание великое, под личный фонд, не украл ли ты? Если тебе, мастер, подарили его, то кто же такой богатый и щедрый?.. Космический Мазепа, ты, мастер, не называй свой подозрительный фонд своим подозрительным именем: твоё имя — проклятое имя! Оно — выше дьявола! Тебе — и черт не товарищ! Тебя — в Омске пощечина не минует!..

Спустилась с Кавказских гор в Москву семья Горбачевых — на тротуары городов и сел высыпались, как исхудалые тюремные вши, нищие, ограбленные, отверженные. С какой плечи, с какой меченой лысины их сдуло вьюгой подлости?..

Плачет сердце... От горя и блуда  
Смрадный ветер в полях заметался,  
А вчерашний державный Иуда  
Вместе с женкой в артисты подался.

Моськи вытянулись — улыгнулись,  
На людей не похожие оба,  
Что-то тявкнули  
и поперхнулись  
Перед тенью российского гроба:

Наша мать в нем, покойница наша,  
Ими взята для казни подпольной...  
И теперь в поминальную чашу  
Запад золото им сыплет, довольный.

Где же совесть у них, где же мука?  
Миротворец с повадками зэка.  
Да, супруге не впрок лженаука  
Сочинений дебильных генсека.

Перемяла и перекрутила  
Их судьба —  
у расколотых кринок...





В Стамбуле он — турок. А в Вашингтоне — американец. В Лондоне — англосакс. А в Тель-Авиве — еврей. Амеба разноликая. Хорек, ныряющий в курятник. Предатель, озирающийся среди народов и стран.

\* \* \*

Приватизировал, хапнул здание бывшей партшколы под свой собственный фонд, фонд имени Горбачева? В Израиле, где супруги гостуют, картофель вывели, новейший сорт, имя дали — Михаил. Плод прозрачный, продолговатый, светится, как светился поцелуй гениального Иуды. Не по 15 рублей, чать, за килограмм платят израильтяне?

И тридцать пять тысяч долларов Горбачеву пожертвовали. Где бы и сколько бы ему ни жертвовали — цифра «три» обязательно присутствует в общем числе. Иудина цифра... В Израиле евреи, наши и чужие, любят Горбачева. А где его не любят? Ему, предателю, нельзя ехать лишь к русским, нельзя ехать в Казахстан, в Молдавию, в Грузию, в Киргизстан, в Прибалтику, в Узбекистан: русские не простят измены, кровавой бойни, не простят!

Осунулся. Постарел. И Раиса Максимовна прекратила невестины ужимки, стальная комиссариха прорезалась в ее марксистских чертах, а педагогическая доброта испарилась. Оба лица — лукавость и жестокость, звероватость и озирание. Родина предана ими, Россия в крови. Безвинная кровь расплескивается по огромной земле, завещанной нам предками.

«Заткнись!» — оборвал его, Иуду, помощник Ельцина. И — заткнулся. Улыбка, жалкая и вареная, противная и холодная, проскользила по шлепающим губам и канула в гулы митингов и демонстраций, в слезы и дым страданий. Пересадили его и ее из бронированного «кадиллака» в нормальную «Волгу» — заткнулся. Поугрюмел, понурился, а деньги кланчит у тех, кому подсуживал, трафил, угождал, перекачивал, переправлял, острова приращивал, отсекая от России, пират.

Конь звенит серебром и золотом. Амазонка сверкает бриллиантами, не имеющими ни цены, ни копии. Она — первая леди СССР, первая сопреступница на планете!



Фонд — его имени, картофель — его имени, грядущие награды и премии — его имени. А сколько у него премий? Имя Горбачева — бессмертнее имени Иуды. Убийца барда Талькова скрывается в Израиле, а убийца СССР гостит в Израиле. Не соскучились ли убийцы о взаимной встрече?..

Звезды — над Беловежской пущей... Легкий снежок веет мимо окон особняка. Тихо постанывают белые гибкие березы. Глухо шепчут мохнатые сосны. Дали настороженно серебрятся. Месяц плывет над холмами и оврагами. Край, скованный морозом, осыпанный буранами, никак не задремлет. Никак не уравнивается.

В окнах, залитых желтым светом, три тени шевелятся: Ельцин, Кравчук, Шушкевич. Пьяные. Трое Мазеп сближаются и отдаляются друг от друга. Три черта склоняются над тайными документами — смертельным приговором Родине, СССР... А по льдистым болотам, по снежным зарослям — кляча осликовая бредет. На кляче не амазонка, а Яга сидит. Впереди клячи — пес трусцой движется и чертов след вынюхивает, сбиться с него боится. Чертов след — песий след.

Но не пес это. Это — и есть черт. С пятном на лбу. С пятном на лбу.

## *Взаимопонимание*

Суровый человек Иван Иванович. Воевал четыре года. Дважды или трижды ранен. Последняя пуля прошла через горло, связки голосовые повредила. Нельзя говорить много Ивану Ивановичу. Да и не такой он: сам долго не говорит и говорунов не жалует. Брежнев на экран — Иван Иванович телевизор выключает. Горбачев на экран — Иван Иванович из дому выскакивает на мороз.

Брежнев помер, а зима в России тянется и тянется, конца ей нет. Иван Иванович одиноко живет. На дворе у него лишь Пушок часто появляется. Пушок — собака ласковая, умная: к любому подход найдет. Вот и к Ивану Ивановичу нашел Пушок лазейку. Сначала Иван Иванович гонял Пушка веником, если дорожку к сараю летом подметает, а если расчищает зимой снег, в январе или в марте, лопатой за Пушком охотится.

Вроде и незлобивый Иван Иванович, но огреть может наверняка, участник войны ведь... И Пушок учитывал такой вариант молча, но строго. Трогал калитку лапой. Если не скрипела — на замке. А хозяин или в Москве, или спит в доме. А если поскрипывало — хозяин дрова рубит, баню топтит, к соседям по делам отправился. Пушок ничего не воровал, но подготовлен к разным неожиданностям не хуже иного городского жулика. И лишь однажды Пушок не рассчитал — промахнулся.

Иван Иванович гонять-то гонял Пушка, а меня стыдился. Да и я не церемонился, брякнул ему:

— На фронте ты, Иван Иванович, собак гонял? Смелый...

— А как его не гонять, шельмеца? Чужой, а хвостом виляет, холуй!





— А ты покорми Пушка, он тебя отблагодарит, вот увидишь!

— Чем?

— Чем хочешь, тем и покорми.

На следующее утро Иван Иванович явился ко мне раздосадованный. Широко распахнул дверь:

— Сволочь твой Пушок!

— Укусил?

— Ге, укусил? Я бы хапнул его по хребестине лопатой, укуси-ка! — И он вывернул мне крепкий шиш.

— Ну?

— А дал ему хлеба, отвернулся. Дал ему супца, отвернулся. Дал ему колбасы, жирной, вонючей, сам не ем, отвернулся. Сукин сын. Дал ему котлету, вчера стряпал, он хватъ и слопал. Сволочь!..

По настроению я понял: Ивану Ивановичу Пушок понравился. Да и перебил меня Иван Иванович:

— Лежу. Ночь. Не сплю. Шумы, шорохи. Никого, конечно, нет, а не сплю. Нервы-то на пределе. Жись советская, сидни пан, а завтра увели и весточки не успеешь бросить. Лежу. Слышу в дверь — стук, стук, долотом вроде, стук... Тихонечко, тихонечко выползаю на веранду. Дверь из дома — напротив двери на веранду. Как бы — тень в тень лежит.

Светло. Погода лунная. Январь. А он, бандит, глуше: тук, тук, тук. И я всего его наблюдаю. Я за косяком на веранде, бандит за дверью на крыльце. А на сон грядущий я каждый раз вилы кладу возле кровати. Мало ли?.. Так вилы и сейчас в руках. А бандит — молодой, лет сорока, знакомый, пьянь. Отсидел и по амнистии в деревню опять прибыл. Радуйся ему!

Наблюдаю. Думаю, как пырну через стекло — стекло жалко, не купишь, в магазинах голо, шаром покати. Как пырну, думаю, бабу жаль — она у него почтарькой работает, газеты нам носит. Как, решил, пырну, а у них трое детей — ребяташки и ко мне за огурцами забираются, милые, этак похулиганят и наутек с грядок. Не пырнул и не удержался:

— Пшел, гад!..

А бандит, Санька кудлатый зовут его, отскочил от двери, выронил долото и молоток:

— Ты че здесь дома, старик?



Закуривает и на морозце попыхивает, переругиваясь. Как быть, думаю. И вдруг Пушок. Откуда-то из-за сугроба, из-за городьбы, из-за бани вылетел и с остервенелым лаем бросился под ноги Саньке кудлатому. Санька кудлатый, и Пушок кудлатый. Санька без шапки, и Пушок не в шляпе. Как начали они кататься, как начали они гонять друг друга, да валить друг друга. Пушок — за кудлатым, а кудлатый — за Пушком.

Шинель не шинель на Саньке, тулуп не тулуп, а ключья падают. И луна сияет. И я с вилами на крыльцо шагнул. Потеха разгорается. Хорошо лесник на краю улицы, недалеко, пробудился и немедленно шарахнул из двустволки вверх. Санька и сел на холодный снег, а Пушок уцепился зубом за полу: «Ур-р-р!» И тянет Саньку в мою сторону, а я с вилами наразмах, попробуй, пырну — и крышка. И взяли мы кудлатого, Пушок помог.

— В милицию отвели?

— Куда, в милицию... Поплакался он, прощения выпросил, пожаловался на похмелье, вынес я ему чарку и выпроводил с Богом!.. Ведь это же не вор, это кролик, дрожит, суетится, плюралист, подонок лысой перестройки!..

— Почему лысой?..

— А лысой, и точка!..

После того случая Иван Иванович щедро встречал Пушка. Открывал калитку, клал на дорожку кусочек мяса или кусочек котлеты. Пушок пофыркивал и провожал Ивана Ивановича, приплясывая, играя вокруг него, до крыльца. Но дверь на веранду захлопывалась. Пушок медленно покидал двор, а по ночам не однажды наведывался: спокойно ли во дворе Ивана Ивановича? Хозяин слышал, чувствовал заботу собаки, собака — заботу хозяина, и дружба их переросла в обоюдную нежность.

Порой мне казалось, мой кровный Пушок мне же изменил: переселился во двор Ивана Ивановича, но дворы наши разделял лишь старый дырявый забор, и только я позову, Пушок вырастал мгновенно передо мною. Нередко я натыкался и на интересную картину: Иван Иванович, в галстук, в шляпе, в чешской дубленке, на крыльце. Значит, на прогулку



собрался? А Пушок у крыльца. Иван Иванович серьезно корит Пушка:

— Растолстел, хам, еле в дыру забора пролазишь, черт!

— Гаф, гаф! — добродушно отвечал Пушок.

Иван Иванович доставал из кармана полушубка конфету:

— На, паразит, честный ты, хоть и хитрец. Меня бы кто так обихаживал, я бы не хуже тебя на кудлатого тюремщика лаял.

Иван Иванович торжественно показывался на улице. За ним, на почтительном расстоянии, трогался Пушок.

Кривилась и покачивала нищую толпу деревенская осиротелая улица. Среди древних доисторических бабушек русских у единственной молодой женщины наследничек внезапно захворал и умер.

Кричали сороки, вороны,  
Сквозь хутор ползли похороны.

За гробом жужжали, как мухи,  
Сутулые горе-старухи.

Лежал средь цветастых пеленок  
Во гробике светлый ребенок.

Лет сорок никто не брюхатил  
Ни в поле родимом, ни в хате.

И только одна молодайка,  
Вся звонкая, как балалайка,

Вернулась под модным платочком  
Из города с этим сыночком.

Закашлял простудой мальчишка,  
И вот несмышленьшу — крышка.

И вот у могилы, как мухи,  
Жужжат сиротливо старухи.



Странно: снег до весны лежит и каменеет, не тронутый грейдером: где взять грейдер-то? Дороги и мужиков квалифицированных город забрал. Но путь на кладбище в любой русской деревне распахнут и чист. Заботятся о покойниках...

Широко сияло январское солнце. Серебрился податливый снег. Зимний, посередине января, день чем-то неуловимым намекал на весну. Запахом ли простора, не тронутого бензиновой гарью и моторной бранью, влагой ли, вызванной от дыхания расколотых березовых поленьев, от слезящихся окон, от дальней силосной ямы, тепло парящей за холмами, но вяло, вяло весною.

Я спешил на улицу, к Ивану Ивановичу. Лесник, заметив нас, бодро спешил к нам:

— Ну, как песик твой, Иван Иванович?

— Спроси о своем, а наш, как часовой, не обманешь! Оформись на пенсию, щенка от него подарю. Тут бегают к нему Жучка... Подарю, не будешь по ночам пугать выстрелами народ!.. Я тоже пенсионер. Два пенсионера. Один — бывший лесник. Другой — бывший учитель. Собак воспитаем — двустволки не надо!..

Пушок, казалось, все понимает и все по-своему берет на учет. Так незаметно зима уступала нашу деревню весне, весна лету, лето осени, и снова — взмахивали белыми крыльями по ближним холмам легкие метели, за ними — короткие резковатые морозы. И снова — январское солнце. И снова — Иван Иванович, в галстуке, в шляпе, в чешской дубленке. Шляпа у русских — особая примета: зажиточный человек!.. Не тюремщику, не Пушкину же щеголять в шляпе?

Сенька кудлатый не мешал Ивану Ивановичу разбоем, а прослышав, что Иван Иванович писатель, надоедал:

— Дров наколоть? Воды принести? В магазин сбегать?.. — Иван Иванович нигде не объявлял себя писателем, а рекомендовался — учитель. Действительно, он до литературной судьбы много лет учительствовал. А начал издавать книги — освободился от должностей. Основное время года — деревня и деревня, уточнял Иван Иванович.

С электрички обычно мы, скоро отмаршировав к дому, брались за лопаты и навстречу, он от себя, я от себя, прока-



пытали «траншеи», дальше — разгребали их, утаптывали, прямили; широкие, они соединяли нас до прилета скворцов, пока не исчезали, не растворялись, бесследно по теплу канув.

Если приезжали к нам гости — удивлялись: «Какие ровные и широкие дорожки!..» Вот и на этот раз взялись прокапывать. Но, приехав пижоном, в шляпе и чешской дубленке, Иван Иванович натянул на себя забытую на дровах огромную Санькину шинель, а дорогую дубленку аккуратно сложил, пристроил на дровах! Не пылить же ее снегом, не пропитывать потом, да и скуповат Иван Иванович от рождения: знает цену копейке, не из дворян, чать?.. А поскольку дворян угробили, а шикуют одни советские буржуи, наглые и торгашные, гордые и глупые, то почему бы не поберечь красивую вещь за честный труд приобретенную, не таскать же Ивану Ивановичу, как разбойному Саньке, казарменную вонючую шинель?

Копаем. Не перекликаемся — надо успеть до темноты. Сумерки зимой настигают нас за обедом. Копаем, утираемся, не видя и не слыша ничего. Он — за своим бугром. Я — за своим бугром. Прокопали, очистили, выровняли, утаптываем. Он — у себя. Я — у себя. Пушка покричали — нету. Ну, нету, нету — будет. Куда собака денется? Иван Иванович шесть вареных пельменей привез ему. Я привез два блина, румяных, настоящих. И нет Пушка?..

Но, как ветер с утеса, неожиданно мимо меня сорвался Пушок с небес и с визгом, лаем, рыком молнией мелькнул на территорию Ивана Ивановича. Пушок так пронесся, так мелькнул, я лишь хвост успел увидеть: и-и-ись — и все!..

А через секунду во дворе Ивана Ивановича раздался оглушительный брех Пушка, сопровождаемый тенористым звоном и надсадным хрипом, а через жуткий звон и вздорный хрип голос Ивана Ивановича:

— Зашибу-у-у, негодяй!.. — И сверкающая лопата поднялась на длинном черенке. — Зашибу-у-у!..

Оказывается, Иван Иванович, кончив дело, мечтательно утаптывал дорожку, забыв про Сенькину шинель. Утаптывал, нагибаясь, приминая снег, наклонялся, и в этот-то миг Пушок и ударил грудью Ивана Ивановича со спины, приняв его за кудлатого Сеньку. Иван Иванович отлетел в сторону с



дорожки и ткнулся головой в девственный снег. Ткнулся так глубоко, что, выдернувшись из снега, совершенно ослепился и, бросившись на Пушкиа, промахнулся и еще раз ткнулся в ту самую точку...

Услышав родной голос, Пушок готов был виновато признать Ивана Ивановича, но лопата больно хлопнула Пушкиа по боку. Пес завизжал и, ныряя под городьбу, подцепил свалившуюся с писателя и педагога авторитетную шляпу и уронил ее, удирая, за калиткой, чем оскорбительно возмутил пострадавшего.

Минут через тридцать, через сорок, ко мне широко открыл дверь Иван Иванович. На нем был галстук, шляпа. Модная чешская дубленка распахнута:

— Уезжаю!..

— Куда?

— В Москву.

— Что с тобой случилось? Расскажи.

Иван Иванович вздохнул:

— Нигде нет покоя. Кругом обман и неблагодарность. Санька одел мою, на овчине, плащ-накидку, в которой я убираю двор, а мне оставил эту, как ее, блатную голую лагерную шинель. А Пушок — на меня. Я — на Пушкиа. Нигде нет покоя!..

— Замолчи, Иван Иванович, не ребенок! — вспыхнул я.

Иван Иванович начал нервно застегивать модную чешскую дубленку:

— И ты такой, как Пушок, лишь бы на человека наброситься?

— А посмотри, Пушок-то переживает, грустный и обиженный!

Я включил свет. На половике лежал Пушок, уронив буйную морду на лапы. Глаза Пушкиа были печальны, и заглянуть в них мы, ни я, ни Иван Иванович, не посмели: совестно. Но, пересилив негодование, Иван Иванович наклонился к Пушкику:

— Эх, ты меня в снег опрокинул! Пойдем ко мне, дурак ты сельский, идем!..

## *Бабаев бассейн*

Приехал армянин — деньжищи!.. Прорабу — сотню, неразменная, экскаваторщику — сотню, неразменная, районному архитектору — сотню, неразменная, бабушке Клаве — четвертную, неразменная. Деньги новые — скрипят. Туфли на нем новые — скрипят. Ремень на джинсах новый — скрипит. И зовут армянина Чингис Расулович Бабай. Повернется Бабай на одной ноге, молодой еще, лет сорока этак, повернется на правой ноге — они, строители, к нему: «Чингис Расулович, Чингис Расулович!..» Повернется на левой ноге, они: «Да, Бабай, есть Бабай, будет сделано, Бабай!..» К любой ноге Чингиса у них свой подход..

А районный архитектор, спортивный детина, налил в будущий Бабаев бассейн, в котлован, ледяной родниковой воды и показал, там лежа и фыркая на плаву, как нужно Чингису Расуловичу купаться дома и препровождать время хорошо для разминок и удивления перед жизнью. Бабай, грезились бабушке Клаве, долго держал за сто рублей районного архитектора в котловане, осыпая разными вопросами и прося выполнить на волне то одну, то другую трогательную фигуру. Архитектор еле вылез, мелко-мелко стучал зубами и, встряхиваясь, брызгался, как озябший кутенок, на берегу.

Разместились на кирпичах. По стаканчику водки приняли, закусили, бабушку Клаву не забыли — маненькую дернула, и Чингис Расулович Бабай, толстый, но верткий, хлопнул дверцей черной «Волги» и покинул пределы города Гвардейска. Бабай занимал пост директора института производства приоритетных кроликов из газет. Вывезли из Америки специальные малогабаритные станки. Разместили и смонтировали их в небольшом корпусе бывшей комсомольской за-



крытой пекарни и штампуют, штампуют зверушек, оптимистических и ушастых.

Закладывают газету, особенно, если в ней длинная речь президента, и включают компьютер уточнить масть кролика и размеры, нажимают кнопку — выпрыгивает кролик. На каком языке издана газета, на таком языке и произносит два слова кролик. На английском — по-английски, на русском — по-русски.

А поскольку у нас плохо с мясом и отлично с речами, выпрыгивающий кролик произносит: «Привет перестройке!» и мчится, осатанев от возбуждения, в пекарню, где ожидает его свой Расул с ножом. Расул, приглашенный с горных плантаций для успокоения возбужденных кроликов.

А наш Чингис Расулович Бабай, в белом халате и с белым платочком возле бритой лысины, следит за правильным нажатием кнопки рабочими. Неправильно нажмут — кролик, выпрыгивая из станка, может выругаться по-итальянски или по-французски, чего Бабай опасается: запчастей институту не дадут, обидятся... По-русски же, пожалуйста, зверь, матюгайся и скачи под нож в пекарню. Не томи Расула.

Бабаю институт платил огромные деньги. И Бабай людям платил немалые деньги. Бабай носил черную, вышитую серебром тюбетейку, но считал себя армянином, хотя к национальностям у нас единый социалистический вкус: целуй брата брат, а дальше — увидим ситуацию и решим на очередном мероприятии... Бабай уважал брать деньги, но и почетно одаривал, кого нужно, деньгами. Потому дом Бабая рос по минутам в районе Гвардейска.

И даже умерший спортивный архитектор не задержал смертью строительства коттеджа. А умер архитектор вскоре после того, как начал мелко, мелко стучать, после родникового бассейна, зубами. Здороваается с крестьянами — стучит зубами. На совещаниях — стучит зубами. На партсобраниях — зубами стучит, аж стекла звенят в окнах. Каково и ему, и Гвардейску?.. Три недели стучал, а на четвертую прекратил стучать, скрипнул зубами, как новые ботинки Бабая, и помер мгновенно. Схоронили.





Бабушка провожала. Подмела землицу на могилке. Воротилась, пугаясь рева оркестра, на стройку коттеджа Бабая. Подмела землицу вокруг. Вздохнула: «Помер, а звать и не успели узнать как!..» Бабая, однако, пожалела — без архитектора остался. Да, архитектор, по мнению бабушки Клавы, зря торчал до посинения в ледяной воде, лучше за рубль попотеть, чем за сто рублей замерзнуть у армянина в подвале.

Бабай дневал и ночевал в институте по производству приоритетных кроликов. Институт — единственный в мире. Невероятно выгодный институт. Бабай, бухгалтер ему отпускает, вызывает из школы пионерский отряд, зачитывает список — по пятерке на пионера, и ребятишки бегут за свежими газетами. Газеты, мы привыкли с вами, от края до края нафасованы одной, все объясняющей, речью. Речь одна, но стоит тысячи речей. Но и тысячи речей не содержат в себе такой сконцентрированной энергии и мысли.

Бабай жестко закладывает речи в программу института, а газеты с речью — в станки. Бабай твердо верил — настанет час, он в центре, а справа президент СССР, а слева президент США, не мелькнут на экранах телевизоров планеты, а зачаруют рабочего человека, народы заморозят на земле. Президент СССР скажет — кролики, миллионами, выпрыгивают из станков, ешь! Буш, конечно, редко говорит, но скажет — несколько кроликов тоже выпрыгнет, тоже ешь!.. И час настал.

Дикторши стрекочут. Комментаторы ищут эпитеты для Бабая, а Чингис Расулович, подхваченный у локтей двумя президентами двух сверхдержав, ракетных и ядерных, поправляет на лбу черную с серебром тубетейку и стесняется. А одна дикторша, правда, очень старая, кокетничая, водит лично для него, Бабая, покрашенной под петушиный коготь семидесятилетней бровью: «У нас молодой поэт сочинил стихи в честь Чингиса Расуловича Бабая, великого отечественного кролиководы, эмира кроликов!» И дикторша тикнула асбестовой семидесятилетней бровью: «Музе у нас — до рога!» А, поди, Музу от Мурзы не отличит, московская ворона... Бабай таких боялся — способны защекотать до смерти.



Поэт выбег и заверещал:

Не князю, не баю —  
Слава Бабаю:  
Мало речей —  
Мало кроликов, сволочей,  
Много речей —  
Много кроликов для москвичей!..

Справа — президент СССР, слева — президент США, а посередине — Бабай, Чингис Расулович Бабай. И — кролики. Грамотные. Есть даже кролики, изрекающие истину на иностранных языках, но русский — братский язык и у кроликов, державный язык...

Стоит Бабай между двух президентов. А там, на Остоженке, 7, квартира у Бабая. Вечером к Бабаю стучится нарумяненная Зина. Румяны слоисто наклеплены на щеки, на подбородок, на губы. Зина — штукатур...

Зина выпивает с Бабаем наравне бутылку рому и, посверкивая зеленоватыми кошачьими глазами, всхлипывает. Иногда рванет на груди кофточку, даст по физиономии Бабаю:

Зин,  
А твой грузин  
Так вообще  
Хлебал бензин!

Говорит — из Высоцкого. Бабай не спорит. Бабай не имеет книг барда, но пластинки найдутся. На пластинках есть тексты похлеще этого, но Бабай, слушая, не плачет, не рвет, как Зина, на груди рубаху, сидит спокойно в полосатом андижанском халате. А Зина — дура. Русская гениальная дура...

Напьется Зина, рассказывает Бабаю, как она вышла замуж за Ваню Мелкова. Красивый. Нежный. А денег никогда нет у него. Какие-то партвзносы всегда у него были и директивы. Зина не видела, что там за партвзносы, на мышей они похожие или на монеты, не видела ни одну директиву. В ее воображении директива — старая дикторша, мелет одно и



то же, пока не вышлют ее на пенсию или чесать кроликов не откомандируют, эстетку с петушиным когтем.

Бабай утыкался в титьки Зины и с рому сладко задремывал. Ему снился справа президент СССР, слева — президент США. А посредине, между президентами двух сверхдержав — он, Бабай, Чингис Расулович Бабай, директор института по производству приоритетных кроликов. Буш — краткий. А речью нашего — Челябинскую область кроликами можно не спеша нафаршировать...

А бабушка Клава, подметя мусор на участке, благодарно замечталась. Бабай раз в семь дней протягивает ей четвертную, а кто из ее подруг, разутых и раздетых вдов, обобранных налогами и законами рабства, получает подобную сумму? В молодости так не зарабатывала. Счастье привалило, жалко силы пропали. Замечталась благодарная старушка, зажмурясь на солнышке, радостно и надолго. А тут и — Бабай. Чингис Расулович, главный кроликовод Союза Советских Социалистических Республик, на черной «Волге», набитой сзади свежими газетами с речами президента, явился: «Привет перестройке!» Это у них, у кроликов и у Бабая, пароль научный есть, догадывается бабушка Клава.

Бабушка Клава заволновалась, засмузилась, вздремнула ведь у дома хозяина, сторожиха-блюстительница, но поправилась духом. Еще бы, она смотрит Бабая на экране через вечер, через два от силы. Толстый Бабай толстым пальцем указывает толстому рабочему на кнопку. Тот нажимает — и тощий кролик выпрыгивает: «Привет перестройке!» И дальше — газеты, газеты, газеты и речи, речи, целое стадо кроликов прыгает по экрану и верещит: «Привет перестройке!.. Привет перестройке!» А Бабай ухмылку притаивает, страшный, как Чингисхан!..

Явился Чингис Расулович Бабай — явилась бригада: прораб, экскаваторщик и незнакомый архитектор, Илья Борисыч, на осеннего сытого грача смахивающий. Говорит — носом клюет, а хвост подымает, говорит — носом клюет, а хвост подымает.

Повернулся Бабай на правой ноге, они, строители, к нему: «Чингис Расулович!.. Чингис Расулович!..» А Илья Борисыч — ни с места. Повернулся Бабай на левой ноге, они:



«Да, Бабай, есть, Бабай, будет сделано, Бабай!..» А Илья Борисыч упорствует — ни с места.

Вынул из кармана сотню Бабай, поскрипел ею перед клювом Ильи Борисыча, а тот — ни, ни. Вынул из кармана еще сотню Бабай и еще поскрипел ею перед клювом Ильи Борисыча, а Илья Борисыч — ни с места. Чингис Расулович, пораженный, молчит, и архитектор, пораженный, молчит, но с прицела друг друга не спускают. Да, привет строителям!..

И вынул из кармана еще сотню Бабай и еще поскрипел перед клювом Ильи Борисыча, а новый районный архитектор как цакнет зубами и давай стучать ими, тот, покойный, так не стучал. Отшатнулся Бабай к яме и по сыпучему песку в ледяную воду погружаться решил. Вскрикивает и погружается, вскрикивает и погружается. А вода ледяная в открытом-то бассейне, а тубетеечка на Бабае с наперсток, много ли от нее сугрева? Погрузился и лег: «Бу-бу-бу! Б-у-б-б-у!»

А Илья Борисыч бегаёт по краям бассейна и грозится:

— Я вас всех, суки, приморожу. Я семь лет правозащитником в тюрьме отмотал!

Илья Борисыч никогда не купался в ледяном бассейне и никогда ни у кого в доме не падал в яму. А стучал он зубами от ненависти к социальным язвам бытия и общественной несправедливости, чуял: Бабай — скрытый масон. Бабая тянули — не вытащили. Громоздкий. Чингис Расулович полежал и сам вылез. Но через неделю и его, как первого районного архитектора, с музыкой похоронили. Илья Борисыч удивился и уехал, обидясь, в Израиль. Прораб с экскаваторщиками покинули частную стройку.

Бабушка Клава осиротела, но держалась храбро — помрачнее времена преодолела, а и дело повеселело: русявый парнишечка, из-под Гвардейска, свой, заменил в Москве, в институте, Бабая и с таким остервенением принялся штамповать из наших газет кроликов на американских станках — ихние изобретатели опешили. И дом Бабая взялся довершить, коттедж.

Мы, русские, лодыри, а возгордимся — блоху подкуем!..

## *Часы Горбачева*

Разъезжая с Раисой Максимовной по Германии, Михаил Сергеевич потерял часы. Золотые, рубиновые, жемчужные ли, но потерял. Украсть у него часы никак никто не мог: супругов принимали в богатейших особняках, дворцах, в государственных учреждениях, а в них карманным ворам туго и бесперспективно шиться. Хотя у нас, например, и карманных жуликов много в любом универмаге, в любой конторе. Крадут все и часто. Жизнь такая стала: не украдешь — ноги протянешь.

И Михаил Сергеевич с пионерского возраста знает эту истину, иначе бы он не сгребал премии с разных цивилизованных стран себе, президенту нецивилизованной державы, дикарской страны, — СССР. Часы — пустяк. И, развалив СССР, Михаил Сергеевич гоняет по Германии не ради славы, а празднует новую победу — победу над СССР. Та победа, победа над гитлеровской Германией — неправильная победа, однобокая. А сейчас — правильная: мы — на коленях и Германия объединилась!..

Михаил Сергеевич, подстегнутый Раисой Максимовной, тоже немецкой патриоткой, высовывается на трибуне, допустим, в Галле, где стоял когда-то памятник бессмертному Александру Матросову, и, пришепывая добрыми торговыми губами, сообщает: «Знаитя, часы потерял, я не скажу, шо они украдены, нет, они пропали. Господа, ищитя часы, им у Германии альтернативы не предложить. Кто предъявит часы, похожие на наши с Раисой Максимовной, а?..»

Он поднимает высоко над трибуной левую ладонь и закатывает рукав пиджака, а потом и рубашки: «Знаитя, интересно, у каком регионе я их потерял, на территории какого



образования?..» Немцы, народ не только воспитанный, но и духовно близкий Михаилу Сергеевичу, переглядываются, краснея, поводят плечами: смущаются. До Волги в свое время они проперли на танках и самолетах без смущения, а вот, слыша о пропавших часах, смущаются. Правовая страна. Михаил Сергеевич явно чувствует европейскую цивилизацию, общечеловеческие ценности, приоритет единого экономического пространства... А Раиса Максимовна даже бежит на нее, на цивилизацию, как на колхозное гумно частная курица: крылья распялит по сторонам и «кудах-тах-тах», впереди бывшего президента СССР топошится и склевывает приветствия.

А часов нет. Где часы? Михаил Сергеевич не помнит, когда и за что ему подарили часы: мало ли за что, и мало ли когда, и кто что ему дарил? Может, в Америке — за северные архипелаги? Ведь куда бы он с Раисой Максимовной ни пожаловал — обязательно откалывал кусок географии от нашей Родины и приносил в жертву европейской цивилизации, общему европейскому дому.

Ну, европейский общий дом, общая европейская цивилизация — нам, а Михаилу Сергеевичу и Раисе Максимовне — дача на Ленинских горах, дача в Ново-Огарево, будь она трижды проклята, дача в Барвихе, дача на Ставрополье, дача в Форосе, личная или служебная, да разве сосчитаешь, сколько у них дач и настоящих друзей на планете? А часы пропали.

Необыкновенные часы. Снаружи — не золото, не рубин, не серебро, якутское или мансийское, это супругам нельму на вертолете вывозили из-под Тюмени, а часы, удивительные часы, лишь внутри алмазы: скрип, скрип, точнее курантов, у Ельцина нет подобных. А пропали. И где пропали? В гордом Отечестве Михаила Сергеевича, и того не в состоянии осмыслить: часы потеряны, часы, и где, на милой Родине!.. Лучший немец, знаменитый фриц, если бы не потерял часы, если бы они у него не пропали на Родине, вернулся бы в Россию к 17 марта. Тогда на Манеже кипела и покачивалась океанская стихия обездоленных перестройкой людей, заливая Красную площадь, аж до набережной, и Тверскую, аж до памят-



ника Пушкину... Заливала и над собой держала плакаты: «Судить предателя Родины — Горбачева!» А какой Родины-то? Толпа...

«Знаитя, — поднимает левую ладонь Михаил Сергеевич, — у меня и Раисы Максимовны часы у Германии пропали!» Закатывает рукава: «Знаитя?..»

Канцлер Коль, холеный и мудрый, сопровождает Михаила Сергеевича, шустрый и вреднейший Геншер иностранные «ноты» зубрит, сопровождают и часы ищут, а часов нигде нет.

\* \* \*

Пригласили их, Михаила Сергеевича и Раису Максимовну, в провинциальный университет, провинциальный, но солидный и к нам, русским, питающий неистребимую симпатию. Среди немецких студентов и русские ребята обучаются. Университет — и влажнеют ресницы Раисы Максимовны: культура — ее призвание, не хобби, а призвание. Да и Михаил Сергеевич — юрист, а второй диплом — сельхозакадемия... Правда, ни юристом, ни агрономом Михаил Сергеевич и месяца не работал, но в детстве сидел на комбайне, одаренный...

А русские-то студенты, русские-то олухи при студентах и преподавателях бац вопрос Михаилу Сергеевичу:

— Снабжается ли Москва продуктами и ремонтируют ли в столице мостовые, не ломаются ли колеса у автомобиля Михаила Сергеевича?

— Продукты у Москве удорожали!.. Мы с Раисой Максимовной на заход у магазины тратим по три, по четыре тысячи за пять, шесть корзин. Корзины, охранники говорят нам, тяжелые. Ну, шо вам ишшо ответить? Да, мостовые... Мостовые у Москве? — моя машина пока не буксуить, не буксуить!..

Русские студенты прыскают, а немецкие, улавливающие великий язык, падают со смеху и трут у себя уши: до коликов Михаил Сергеевич их захохмил!.. Вопросы:

— Канцлера Германии Коля закидали яйцами в Галле, костюм испортили чем-то рассерженные немцы. Канцлер отряхнулся и покинул Галле, не мстя, не расследуя, дескать,



задержите хулиганов... А у нас в СССР возможно вас яйцами зашвырять? И мстили бы вы хулиганам или простили бы их?

Михаил Сергеевич вздохнул о пропавших часах, шлепнул губами, но от полемики не уклонился, и на прямому прямо и отреагировал:

— Господи, вы знаитя, у той огромной стране глубокий кризис. Яис нету. Скажу больше: кур нечем кормить!.. — И вскользь глянул на Раису Максимовну.

Раиса Максимовна насторожилась. Но пронесло: ни за нее, ни за колхозное просо Михаил Сергеевич не зацепился.

Курица Раисе Максимовне нравится, если ее умело поджарят, почему бы и не поесть?.. Утонченная женщина.

Михаил Сергеевич разъяснил:

— О каких яйсах речь? Кто ими намерен бросаться? Утверждаю — мстить некому. Да и жестокость Сталина мы осудили, а его СССР на карте не существует! Новые регионы, новые образования, парад суверенитетов, парад президентов!..

— А вы?.. — кричат из зала.

— Мы с Раисой Максимовной гости!.. И часы у Германии потеряли, часы...

Генеральный секретарь ЦК КПСС — предатель. Президент СССР — предатель. Верховный предатель. Верховный — и часы потерял!..

Наши лидеры измельчали.  
И вкуснее не стала каша.  
И не сливками, а речами  
Наполняется жизни чаша.

Папиросою да поллитрой  
Лечит пахарь тоску и боли.  
Рыжей хаммеровской селитрой  
Отравили родное поле.

Не ударит в Москве царь-пушка.  
Не взойдет атаман казачий.  
В хилой роще кричит кукушка.  
Соловей поседелый плачет.





И в безбожном просторе мгlistом  
Черты кружат, страшны и грубы,  
Ищут русского «шовиниста»  
Для распятия, душегубы.

Вот они — из пустынь востока  
Надвигаются вновь грозою.  
И трибунный их рот жестоко  
Пахнет порохом и мацою!

Его приближенные — Бунич, Абалкин, Арбатов, Яковлев, Боровик, Шеварднадзе, Адамович, приближенные и лакействующие, лакействующие и сюсюкающие, ибо сам он — приближенный к продажной масонской ложе, лакействующий и сюсюкающий гой, вознесенный омерзительными ленинцами к звездному трону, на котором нахрапистый оболтус партии не удержался. И часы в Германии никак не обнаружит...

А вдруг их, бесподобных часов, и не было? Вдруг да и хоть один разок, единственный раз, Михаил Сергеевич надул западных руководителей? Часы под Москвою оставил, а приехал на свою немецкую землю, и давай молотить: «Знайте, часы пропали!..»

Но Раиса Максимовна не согласится на политическую ахирию; чужое они не берут и не воруют. Свое дарят, пожалуйста, острова или целый регион на Балтике. Лучше отдать свое, как чужое, или чужое отдать, как свое, но только не часы. Так твердо решает Раиса Максимовна, соратник Михаила Сергеевича и доцент...

Зато слова — свой, своя, свои, свое текут и масляются за ними!..

Едут они по милой своей Родине, по Германии, без своих часов. Едут, а в Москве — шесть тридцать, утро. В метро поезда загудели и голодные пролетарии, русские, украинцы, татары, на фабрики и на заводы заспешили, давя и наминая бока на лестницах эскалаторов. Чечены тронулись на рынок, евреи — в институты и в министерства... Мальчишки, чумазые и веселые, снуют наверху и внизу, махая газетами, разво-



рачивают журналы, а в углу на перроне паренек показывает сборничек со странным названием «Мерзавец», на обложке — портрет Михаила Сергеевича. Покупают...

Шесть часов и тридцать минут. Утро. Бодрая колгота. Шум. Крик. Железное беспощадное скрежетание тормозов — по рельсам заискрились вагоны. Пассажиры ахнули. Струдились. А на рельсах — окровавленная мать лежит и красными губами не как Горбачев, прилепывает, а жутко шепчет и плачет. А около нее — ребеночек, из пеленок ревет: «У-а, у-а, у-а!».

Милиция зашевелилась. Лава начала жужжать, ругаться и кружиться под крышей станции «Университет». Словно часы Михаила Сергеевича нашли: скрип, скрип, скрип! А на следующий день радио оповестило: «Обнищавшие граждане прыгают на шпалы, поезда режут их, порой с детьми прыгают, не имея ни корки хлеба, ни надежды на завтрашнюю долю!..» Но при чем тут Горбачев?

А притом — дикторша телевидения отказалась комментировать скорбный факт: «Университет» — метро юной Раисы Максимовны, комсомолки!..»

Горбачев семь весен — сеял. Семь осеней — пожинал урожай. И повторял, пробравшись в президентское кресло через партдепутатов и аппаратчиков-демократов, повторял: «Знаитя, у той огромной стране у городах и у селах мало порядка!..» Раиса Максимовна рдела и кивала, затерявшись в Георгиевском зале Кремля. Серна, горянка, кавказская женщина, верная помощница. А теперь Михаил Сергеевич навязчиво ноет: «Где наши часы?..»

Мы, литераторы, внезапны, как бенгальские тигры. Вот некоторые из нас виляли, виляли хвостами перед Горбачевыми, а сегодня их рыки собак пугают: «Горбачев — цереушник!.. Горбачев — завербованный!..» Нельзя играть обвинительными фразами, нельзя.

И я — внезапный: с трудом уснул вчера, после трагедии в метро, уснул и вижу... Раиса Максимовна того, из пеленочек, ребеночка подняла и баюкает, баюкает, а Горбачев шпалы красной тряпкой вытирает и морщится, вытирает и морщится.



И, вижу, в его туннельном мозгу робкая лампочка зажглась, свет кольнул мокрую тьму, вижу. А гостеприимный Коль, через министра Геншера, протягивает Горбачеву часы, потерянные, протягивает, а они «скрип», «скрип», как страшные вагонные тормоза утром, в шесть тридцать...

Семь весен — сеял. Семь осеней — пожинал урожай. Кровь льется. От великой державы — руины. Безвинная кровь льется. А он, черный ворон, каркает и каркает: «Я приду!.. Я приду!..» Куда прыдет? Разорять-то нечего, разве могилы доконать? Ворон... Каркает, а часы «скрип», «скрип», «скрип»!..

\* \* \*

Украинский поэт Борис Олейник сообщает: какая-то райкомовская уборщица признала в портрете Генерального секретаря ЦК КПСС увезенного от нее давно-давно, мальчика, сынишку Мишу. Неужели?.. А по Москве распространяются листовки: Горбачев — сын турка, сестры в Стамбуле. А в метрополитене по дешевой цене продается бесфамильная повесть: отца президента СССР Горбачева, предателя, расстреляли 9 мая 1945 года в Праге, отца, а могли бы и его сейчас кокнуть!..

Кому верить? И зачем же верить, если в Германии Михаил Сергеевич, он, он, Раиса Максимовна подтвердит, часы потерял, а скажет, украли? И русская мать с ребеночком под поезд бросилась. А еще русская мать — рыдает: когда же русские парни перестанут умирать за чужие интересы в Грузии и Абхазии, Таджикистане и Армении, Прибалтике и Чечне, когда? Но почему ныне кровные братские муки в республиках — чужие? Куда он едет, кочевник и прораб измены, убежища ищет?

Явился он из торжища и блуда,  
С Господней гневной метою во лбу,  
Теперь по миру странствует, Иуда,  
Влача обломки дома на горбу.  
Он продает за серебро и злато





## *Банное хобби*

Вот говорят на Западе, мы — консервативная страна. Неправда. Консервативные они, там у себя, в особняках и на виллах. Построит им дед, мультимиллионер, — помрет. Сын, мультимиллиардер, подкрасит им крышу — помрет. Внук, супермиллиардер, подремонтирует им крыльцо — помрет. И так далее, а все — на одном наследственном клочке земли.

Другой коленкор — у нас. Пришел новый царь или вождь — давай перестраивать и куролесить! Петр — брить. Ленин — брататься. Сталин — индустрию поднимать. Цех — гиганты. Дома — гиганты. Построили около Москвы экспериментальное общежитие, молодежь из четырнадцати колхозов туда согнали, а оно не полно и до половины. Завезли китайцев, начали их учить марксизму и туда заселять. Только завершили дело — рассорились.

И взялся Хрущев урезать размеры зданий. Малоэтажки, малометражки, малолитражки-чебурашки, — из того огромного общежития китайцев отправили в Пекин, а наших разместили в полуторки. Тесно, но братство, за которое боролся Ильич, продолжается. За десятилетия — каждый сдержанный гражданин СССР побывал и пожил в разных условиях, в разных квартирах, в разных концах родного хутора, города и любимой Отчизны.

Где же он, советский консерватизм? Они там, на Западе, сидят у себя на виллах, как ихтиозавры на яйцах, широко раскрывают челюсти и ждут, когда мы, советские, в их бездонную конкуренцию прыгнем. Но у нас — перестройка. Бери, один или с женой, целый колхоз в аренду и гуляй по жнивью. Сапожные мастерские — на подряд. Москву — на хозрасчет. Молоко — по талонам, колбасу — по специаль-



ным удостоверениям, хлеб — по военным билетам. Сад, вместо трех соток, шесть бери и сей редьку в сорока километрах от столицы или гусей культивируй и компьютеры включай.

Перестройка даже их особняки и виллы затронула, она принадлежит нам и человечеству. Боятся люди западные — дров наломаем, до них щепки долетят. Некоторые депутаты, перестраивая, достраивая, надстраивая и расстраивая, устраивая и пристраивая, предлагают и Ленина в срочном порядке заново похоронить. На Волге, среди земляков, на бунтарских берегах, где Степан Разин еще мятежною песней персидскую княжну содержал в страхе:

Выпьем, братцы, удалую  
На помин ея души!  
Эх...

При Брежневе жили без особого накрепления. Доказательство тому — баня. Баня вообще барометр социалистического государства. Сунешь уборщице пятьдесят копеек — вперед. На втором этаже сунешь другой уборщице пятьдесят копеек — вперед. На третьем этаже сунешь дежурному пятьдесят копеек — в раздевалку. И так почти двадцать лет. Сталина чуть попотрошили, Ленина не трогали. Два Ильича. Ленин — в Мавзолее. Брежнев — в Кремле. А по центру — Сталин. То отроют, то заруют. А Хрущев на пенсии, воспоминания со своим сынишкой Сережей пишут.

Загоняли нас в баню интересно. Парная не то чтобы чистая, но парная, потеть при желании можно. И нарушений грубых не случалось. На клиента, в худшем варианте, добавляли клиента и дружно купались. В парной же, при ее количестве в сорок гавриков, накапливалось до восьмидесяти ухарей, а ежели сильно нажмут снизу — до девяноста молодцов нас, а ничего. Драки вспыхивали редко. При перепое, а не как сейчас, на национальной почве. Тогда почва у нас интернациональная, теплая, братская ленинская почва под голыми ногами похлопывала. Иного и выносили... Вакханалия.



Ну, критиковали нас на Западе, а в баню не заглядывали. И Мавзолей не собирались передвигать. Да и что Мавзолей? Двигай, не двигай, а дороги как были хреновые, так и есть хреновые. На Западе правильно считают: какие дороги — такой и туризм. Потому-то и трясет нас по колдобинам — цакаем зубами.

Назначили Андропова. Брежнев рядом со Сталиным, за Мавзолеем, а в банях сумятица распространилась. Моешься — заходят, предъявляют красные корочки, выливают на башку тебе тазик, горячая вода или холодная, постная или мыльная, их не касается, и — следуй за ними. Ты, мол, купаешься, на дворе обед? Паспорт покажи. А какие паспорта в бане? Весь паспорт — чистый, если успел ополоснуться, аттестат твоей зрелости...

Порядок наводить надо. За прогулы и воровство карать надо. Труд и справедливость должны торжествовать по России. Знатное уважение необходимо вернуть человеку. Но ведь где оно, знатное уважение-то? Один с сошкой, а семеро с ложкой. Ну, допустим, ты начальник, лежи возле бассейна на даче и жмурься, как египетский крокодил. Допустим, ты классик, писатель, художник, артист, без коего держава разумом захиреет, лежи возле собственного бассейна, грейся и обогащая шедеврами созидающий народ.

Ну, а если ты никто? Ты — сын министра. Ты — сын классика. Кто ты? И почему тебе — бассейн? И по какому праву тебе — дача? И зачем тебе — Италия? Ты — заработал ее? А-а-а... Вот он, гвоздь-то программы ЦК КПСС, программа, как молитва, очищенная, ни соринки, ни задоринки, а куда девать сынка или дочку министра, секретаря, генерала? Секретарь ЦК КПСС, министр СССР, генерал победоносной армии — добровольно запихнут они в мартен свое чадо? Глядь, и программа костыли протянула.

Но у Андропова дети-то не избалованы подхалимством и обжорством, жена у Андропова не лезет в президиумы, не поучает нас в интервью и с экрана, романов и философских тезисов не сочиняет. Семья без подвоха, да проходимцев по коридорам не сосчитать: тащат, облапошивают, грабят и прячут. Хобби.





Говорят, сумерничая в своем кабинете на Лубянке, одиноко задумывался и скучал Юрий Владимирович. Солнце над Кремлем золотело. Очки на переносице Андропова золотели — и все, а червонное золото по норам растаскивали советские чиновники, мыши, накапливая за пазухой жемчужные зерна и прочие бирюзовые бисеры. Чувли грызуны скорый конец революции.

Не справилось сердце у Юрия Владимировича. Пострадал, пострадал он за созидающих и умер. Я попрощался с ним в Колонном зале. Лежит, стройный, худой, ростом высокий, лбом на Сократа намекающий, и власть в кулаках зажата, а не сокрушил мафию, надорвался. Каково же нам без него?

То заем, то кредит,  
То горой, то бором,  
Вор на воре сидит,  
Погоняет вором.

Волкодавы газетные, журналисты-то, закормленные правительственными банкетам у нас и за границей, гавкают: «А на Западе иначе мороженое кушают, а на Западе иначе брюки застегивают, а на Западе зубы золотые бесплатно вставляют каждому, кто пожелает, а не пожелает — скалься порошний!»

Бывали мои кореша, слесаря по лужению труб, и на Западе, в Риме, например, газовые плиты министрам монтировали, а жены их лосьонные — ребятам: «Господа, советишь синьоры!..» На Западе далеко не все рыла вовремя скребут. В Риме-то днем дамы кокетничают с чужими хмырями, по святым площадям шляются до вечера, а ночью тысячами нищие выползают на простор, как вши, гомошатся по скверам и тротуарам, зуд по Италии...

Саша меня даже предупредил: «Готовься к реформам, не экономь безделье, четко, по графику, посещай баню, в парилке сиди, пока тебя андроповцы не пугнут. И помни, мы — андроповцы. Мы за настоящий труд, за настоящую свободу, за настоящую страну, а не торговую ассоциацию, как на Западе: кто тебя надул, тот и закон. И водку потребляй андроповскую, а не кооперативную, жуликоватую!»



Саша, между прочим, предсказывал: «Баня, стоявшая вчера копейки, при западных реформах будет стоить тысячи, и мы, русские люди, будем немывыми, как западные интеллектуалы, что по соседям воду шарят. Не хули Россию — спохватишься, да поздно, исчезнет она, Россия твоя!..»

Прощался с Андроповым я не потому, дескать, он — весьма суровый и несгибаемо аскетный, нет. Прощался с Андроповым я — чувствовал набег краха на нас. Я не предсказывал конкретно, как предсказывал Саша, слесарь по лужению труб, но я слышал и явно ощущал набег космополитов и спекулянтов, предателей и бизнесменов, ощущал я и развал, страшный взрыв негодования под фундаментом моей Отчизны.

А Горбачев мельтешил на сценах, сеял безумные речи на трибунах, экономил нефть, боролся за трезвость, улучшал социализм, лепя ему человеческое лицо, и уничтожал великое грозное государство. Мышь. И хотя нас окружали в предбаннике и в бане внезапные андроповцы, уточняли удостоверения и физиономии, веры никому не было уже и на горизонте маячила лысая лошадиная голова Мефистофеля.

Ведут. Выясняют. Беда. А в бабьих банях — визг. Заскочил один бойкий инспектор в парную, а они ему — покажи возможности, раз ты такой натренированный, раздели, начали гладить и готовить его, а он выскользнул и в форточку. Баня старинная — форточка вольготная, в нашу бы не пролез. Дело затеяли против баб. А вскоре и Андропов умер. Закрыли разбирательство. Андропова к Брежневу отвезли.

При Черненко — ни бани, ни Андропова, обыкновенная брежневщина потекла, а мимо кассы шагаешь: плати не пятьдесят копеек, а семьдесят пять. На первом этаже — семьдесят пять. На втором этаже — семьдесят пять. На третьем этаже — семьдесят пять. Выносили из парной усопших чаще. На горизонте зачешуилась перестройка.

Прорабы приехали. Вышли из «Запорожца» трое. Который рулил, спортом занимается — присел у вывески и еще присел у вывески, ладонью отер отполированную голову и решил: «Берем на подряд!» И больше мы его не встречали... Старухи, взяточницы, на первом и втором этажах исчезли, дежурный, очкастый дедок на третьем этаже, раньше исчез.



Пять дней баня не работала, а парная дымилась. То ли бывших банщиков мыли перед пенсией, то ли баню дезинфицировали? В субботу открыли.

Тороплюсь на трамвае. «Запорожца» не заметил. «Волга» новая красуется у бани. Вывески старой не заметил. Новая висит, не как та — «Баня», а «Приглашаем испить чаю после веника!..» Кто же откажется? Стучусь. Кассы не заметил. Ограда из нержавеющей стали, не прошмыгнуть. Лестница — без изменения. Но южанин несколько на того, который рулил в «Запорожце», смахивает, и у первой ступеньки требует:

— Тыри рупла!

— Что?..

— Тыри рупла!.. — И дорогие, рыночные, усы охорашивает.

— Какие три рубля?

— Хошишь советский, хошишь канвертирумый валюта!..

А я слесарю на фабрике. Какая валюта? Размышляю. Затылок почесываю. А южанин ботинком притоптывает и мне подмигивает:

Ай, страна родной,

Азымбек,

Ай, страна родной,

Кызым-девушка!

За Рашида Бейбутова себя выдает?.. Стою, затылок почесываю. Смотрю, Саша, итальянец, из ударной бригады слесарь по лужению труб, мчится сверху и хохочет: «Этому тыри рупла, на втором этаже тыри рупла, у парной тыри рупла?.. Даю, получка с собой, а в бане темно и опасно. Арендаторы полы прекратили подметать, а из парной Пашка, помнишь его, испытатель котлов, угадал мой голос и заполшился: «Саша, вернись, тут холодно. У кого нормальные зубы — цакают, у кого золотые — могут и отобрать!..»

А включишь западное радио: «Консерваторы! Консерваторы!..»

Склочники и лгуны.

## У воды

Прудочек этот старый, старый. Некоторые говорят: возник он после того, как молния поразила тут двух любовников: женщину, красавицу, и мужчину, красавца. Она была законной супругой ветхого помещика и бегала от него к молодому соседнему барину. А другие утверждают: холостыми еще встречались, из богатых домов, а в грозу молния грянула и убила обоих. Слишком жадно счастье ловили.

Бог ли во искупление вины природы, природа ли сама решила отомстить у людей прощения? Давней, давней весной образовалась воронка, потом — яма, потом — в широкое и длинное углубление с гор вода, ревя и пенясь, набежала. Так и осталась — чистая, кристальноветская, свежая. Деревня, за прудом, разрушилась и растворилась в бедных привычных просторах, а где она стояла — пять кособоких лачуг теплится. И моя — с ними.

У прудика я останавливаюсь очень редко. На подходе к нему — тонкие и музыкальные камыши пошумливают, заросли чащобные, а прудик — канава, узкий, теперь и короткий, но водичка — прежняя. Как ей сохраниться удастся? А нынешним летом жара нас караулит сутками, неделями и месяцами. Устали мы от кочующей по небу пыли, от нефтяной ржавы, наплывающей с торфяных шахт. Засуха. Даже кукушки прекратили свои пророчества, горло, видно, болит на зное, а соловьи вообще не распелись и в унынии потонули.

В стране безобразия творятся. В деревне — голо. Калек да изношенные пятилетками пенсионерки у калитки и у колдодца. Район объят паникой и слухами: будто неурожай заглохит русских, а нерусское правительство впустит на великую русскую равнину темпераментных китайцев. Разгоря-



ченные и бойкие, они, дескать, размножатся и восстановят погубленные русские деревни.

Душа стонет при подобном положении дел и подобном результате. Куда ей умыкнуться от раздумий и бессонницы? Час лежишь, три часа лежишь, а мысли тяжелее и тяжелее, а глаза остекленели — не сомкнуть.

Луна за окошком, печальная и серьезная, покачивается. Звезды сторожко около нее движутся. А где-то, в бездне чертовой, космонавты едят кремлевские бутерброды, подремывая в центрифужных креслах, и французским коньяком запивают. Им героично, а нам погибельно.

Сидел я в ласковом прозрачном тумане, променяв дурацкую постель на позднюю свободу. Сандалии снял. И так ласково песок увлажнял мои ступни. Так терпко обдавали меня травы настоем летней томительной скуки и накипевшего на дорогах бетонного дерзнования. А небо, прозрачное, снижалось и поднималось, в зависимости от взбаламученного ветра, колеблющего деревья и кусты. На небе — луна и звезды.

Вот луну заволочло прозрачной пеленою, и она превратилась в звезду среди звезд. Большая звезда. Горит в небе. А вокруг большой — малые горят. Острее приглядишься: разные — по величине. Нет одинаковых, равных, нет. Но как горят они? Любая — равная. Любая — одинаковая. Но — для тебя, умный житель земли!.. Балабол — не поймет.

И движение звезд — направленное. То — рядом идут, то, двигаясь, чуть скосят от назначенной линии и снова обретут направленность, но иную, необходимую кому-то. Звезды движутся обдуманно, слаженно и вечно. А ты? Кто мудро за тобою наблюдает? И где твоя большая звезда, возле коей и ты — звезда необыкновенная? Звезды горят и сияют, мерцают и светят. Звезды — в небе.

А в земле тоже звезды — алмазы. О, если бы смог человек заглянуть в ночь земную, в глубину ее, алмазные звезды полыхнули бы из разных пород на материках, на разных меридианах загорелись бы и засияли, замерцали бы и засветились. Человек выковыривает алмазные звезды, уничтожает ручьи и озера, реки и моря. Воду, как людскую кровь, раз-



базаривает в бойнях и торжищах, собственную грязь чистит ею...

А ведь и наш деревенский прудик — звезда. Вот удели внимание космонавт с праздных высот на него — звезда. Пусть его ковшами скребли, траками резали, хламом засоряли, мазутом пачкали — звезда. И поит кого? Цветы и травы, бабочку и кукушку, соловья и буренку, всех поит, кто тебя, человек, на земле держит! Не так ли?

В небе гаснет звезда — черная дыра образуется. А на земле вода погаснет — чем ее заменить? До смешного люди наивны: золото водою добывают, титан водою добывают, а не хотят знать: колос на воде вызревает и красота без воды не родится.

Некуда нам, русским, деньги девать? Выстреливаем их спутниками, кораблями и лабораториями, а капустаный вилок дороже ста рублей. Банальный базар. Бардак неестественный: есть нечего, пашни отравлены, а в чертовой бездне — бутерброды с коньяком? Пошляки. Талантливые целлинники, обуянные нетерпением...

Не спалось. Лежать надоело. Уже утреть начало. И удрал я из-под крыши. И направился я к пруду. Один. Хорошо. Тихо. Угодил на тропку. Тропка, росно петляя, балуясь, привела меня к песчаному холмику, а на холмике обрубок ели. Пенек не пенек, а сидеть приятно, как в центрифужном кресле космонавту. Я и сижу. А водица в прудике — до дна сквозистая и знакомая. И веет от нее уютом, покоем и вечной надеждою. Вроде и засухи в мире нет.

Сижу, дурак седой, и о Родине размышляю. Кто сейчас о Родине думает? Приватизация и рынок, а я о Родине? Идиот. Сижу. Глядь, а на противоположном берегу — парень и девушка. Он в белой рубашке и серых брюках, а она в белой кофточке и в серой юбке. И целуются, целуются, целуются, неужели от семей торопятся и спешат: как бы их не застукали? Юные. Вряд ли успели родители им свадьбу сыграть. Стыдно мне, почувствовал я, и неслышно перебрался от них в сторонку. А в сторонке — опять удобный пенек.

И вновь я размечтался: а не тени ли ко мне прилетали возникать тех, молнией пораженных? Время смутное — мог-



ли и прилететь. Глядь, а к водичке, прямо возле моих ног, уж, с золотой короной на голове, пополз. Заполз, завинтился — спиралью, спиралью к лилиям, а лилии, как снежные вздохи, на сонной глади едва, едва колеблются. Прекрасные существа.

Встреть я ужа в траве, в пыли — неприятно. А на воде, да еще возле снежнопенных цветов — невероятная картина! Поворачиваюсь на пеньке, добром и удобном, а белый гусак, белый, как из белого мрамора выточенный, стадо купает. Мгла не распалась. Рано. А гусыня, белая, белая, тоже как из белого мрамора выточенная, двенадцать штук белых мраморных ребятишек по спящим волнам за собою уманивает. Гогочут, калякают, перекликаются, белые, белые, мимо белых трепещущих лилий. Господи!..

Деревня моя не стряхнула ночной одури и угольного запаха полей. Пожаром несет от скошенных лужаек. Деревня опупела, до обеда нежится. А на прудике, за ивою, кудрявой, кудрявой, соловей щелкнул, чмокнул, потянул, скрипнул клювом и зазвенел, зазвенел, а ему ответили несколько, да сразу, да громко, и по воде, по воде потекли звоны, а за ними, с березы, стремящейся в прудок у моста, кукушка завеселилась. Наверное — внезапно очнулась и давай развлекаться.

Побежал ветерок. Спустился он откуда-то, не с горизонта ли? Пошевелил ветки у ивы, поерошил кусты у прудочка, сваял горсточку легких песчинок и заплескался, зарябил, забаламутил, неумемный. Камыши зашептались и коснулись друг друга початками, а кудрявая ива в сторону березы клонилась, клонилась и листьями о чем-то зашелестела. Уж мелькнул золотой короной. Белые лилии меж белым стадом гусей засверкали. Бобер на коряге усы лапой потрогал. Рыба плеснулась.

Но интересное — впереди. Дрозды, серо-зеленые изверги, сверху, ну из мешка их сыпанули, без крика и — к воде, к воде. Хватают, хватают и клювики торчком, торчком. Ворье, известно. Наблюдали на огороде, слопали, поди, землянику и смородину, попить потянуло. Попили — и мигом на очередной чужой огород. А хозяин, похмельный индюк, ничего не гадает, не ждет...



Синева над прудочком заметалась. День пробудился и власть кажет. День искал, искал солнышко, а оно из прудочка, из чистой водицы поднимается. Лучи вскинуло, лоб золотой вытолкнуло и, тугое, золотым телом поднимается. Соловьи звенят, кукушки ликут, гуси перекликаются, прудочек то поголубеет и округлится, то багряным пламенем вспыхнет, то бездонной мелодией разольется. Не канава, не болото, не озеро, а море, растревоженное могучим ветром.

И где целовались, целовались, целовались парень и девушка, осталась только девушка. Волосы ее, золотистее лилий, ковыля шелковистее, через плечо текут, вьются, и обратнo к груди приникают. То ли парень их наласкал-нагладил, то ли мать родила ее сестренкой русалки? Русалка дремлет в пруду, а девушку парень на зеленую мураву на руках вынес. Исчез, а она тоскует, мило повторяя куплет:

Подожди, не улетай, подожди,  
Разве счастье лишнее на планете?  
Скоро в белых лилиях заискрятся дожди  
И со смехом к радуге помчатся дети!

И на миг прудочек замкнулся, засопел, сердитый, и, как обиженный ежик, включил на спине каждую иголку, заставил топорщиться: дабы нечаянно не прервал кто глупостью, не помешал кто редкой минуте — воображению невесты...

Кукушки ликут. Волосы невесты ликут. У кромки воды — ликут бабочки. Розовыми, синими, желтыми, оранжевыми, красными лепестками ерошатся они на ветру и взмахивают рябыми крылышками над прудиком. Искрятся, вспыхивают, как вода, вертикально дрожат и переплетаются в согреваемом воздухе. Это — живые цветы лета, в мир брошенные сиять, удивлять и не увядать в памяти человека.

Взовьются бабочки завтра — прощайте, ветер и солнышко! Прощай, счастливая невеста, русская девушка, бывшая красоту свою...

У кромки воды, под бережком, темным и жидким, лучик солнышка заблудился, запутался и не выкарабкался из лужи. Оттепшил ее, позолотил и прохладой гордиться ей посовето-





вал. Хряк, ушастый и толстый, прикопытил из хлева. В лужу забрел — развалился. Хрюкнул — ополоснулся, с боку на бок перевернулся и, вымытый, как большой побритый начальник в бане, гулять отправился. Интеллигентный и довольный, колун.

Зной повис надо мною. Песок под ногами моими накаляется и врачевально припекает ступни. Прудик, болотце, прильнувшее к нам, разоренным русским людям, море — характером, целебностью, ужатое цементом и железом, исковерканное тракторами и кранами, море!.. И русская душа — подобна морю. Затапывали, давили, утюжили, кровавили, а все — мечтает и красотой воскрешается, преодоливая:

Нас ордынцы ископытили  
И свои тевтоны выбили,  
Мы, жемчужные, не вытекли  
В дыры черные погибели.

А черные дыры лишь космонавты умеют различать в бездне чертовой: черная дыра — умершая звезда. И то расстояние, тот объем, который звезда занимала — черная пустота. А в пустоту — ядерная отравка стремится из чертовой бездны. Ничего в галактике не пустоует. И пустые черные дыры — не пустые, а смертельные трассы, проложенные кем-то к нам...

Уж золотокоронный прополз к водице. Стая гусей, дроздов, бабочек, лилий освежились водою. Ива, береза, бобер, у пруда судьбу коротают. Двое влюбленных заменили двоих погибших. А одна девушка-невеста песню верности и материнства исполнила, благодарение земле произнесла.

Окаймление прудика — лужи, лужицы, зеркала, зеркальца водяные, выжитые толщею глубины сквозь глину и песок, траву и суморочь. Синица черногрудая привела к зеркальцу трех птенцов черногрудых. Глянула и они за ней, глянули в зеркальце. Глянули и пить, пить, на цыпочки приподнимаясь, принялись, жаждою истомленные.

Курочка-ряба приблизилась к зеркалу, квохнула, кудахнула, повертела пестрою шеей и золотое яичко снести под



навес заторопилась. Яичко золотое, а в яичке золотой ключик. Повернешь ключиком над прудом — пруд озером делается. Еще раз повернешь — озеро морем разольется. Колдовство обворожительное.

Хряк устался в лужу, помотал ушастой башкою и давай в луже полоскаться, переворачиваться и кряхтеть. Свежее белого лебедя очутился. Щетиною пошевелил, пошевелил и потянулся, довольный и удачливый. Где еще найдешь терпеливее лужу? Только у прудика нашего, неказистого и приятного.

Пьяница, не шевеля щетиною, наклонился над зеркальцем — боднулся. Наклонился над зеркалом — мыкнул. А наклонился над лужею — фыркнул и по-бычьи заревел. Вспомнил о бритве и мыльном помазке, а щетина на его мягких и дряблых скулах растет вторую неделю нетронутую, переплелась корневищами и вершинами перепуталась.

Невеста, красавица, женщина, царица, ну кто стоит на берегу пруда одиноко? Скучно ли им? Отраднo ли у них на душе от тишины и вечности окрестной? А где жених? Парень, мужчина где? Но ласково и голубино журчит водица, баюкая белые лилии. Они распахнулись, вытянулись к солнцу и доверчивыми призывными губами прикосновения ожидают.

Подсолнух не подсолнух, солнышко не солнышко, а золотая шевелюра лохматится на синей поверхности и белая, белая ладонь, как белое, белое послушное лебяжье крыло, к лилиям тянется. Вот хрустнула вкусно лилия тайным стеблем, ойкнула на берегу девушка, и парень поплыл, поплыл к ее ногам, объятый искристою сказкой рассвета. О, не девушка, не женщина, то свеча золотая вспыхнула на берегу прудика, а нездешний свет ее унесся к звездам. Там и нам с вами место.

Много пчел, шмелей, много стеблей и корней напоил прудок, живая вода окропила. Нас миллионы, а вода — единственная звезда среди звезд...

Пора мне проясниться от впечатлений, уйти пора в тень и в прохладу избы деревенской. Но пьяница, заросший чужунной щетиной, грязный и злой, шатается, накреняется и



никак не угодит на тропку: к воде пропойцу потребовала совесть, измученная несуразным хмелем и жестоким безумием.

— Эй! — одернул я алкоголика.

Забулдыга запнулся, мотнулся затылком, униженным соломой и репьями, и промычал:

— Ко-ро-ова у вады-ы молочко собирает! — И на меня осерчал: — Чиво тебе надо, сидишь на пне, а я в говне, нырну и тебя пырну!

— Врешь, не пырнешь, смотри, вода золотая, а бобер усы тербит?..

— А хошь?..

Хулиган подскочил ко мне, сжимая нож в правой пятерне, а левой норовя схватить меня за горло... Но сильно уловившись о мое спокойствие, выругался и — назад: к воде, как зверь раненый...

А ветерок набегал, набегал, вода рябилась, дробилась и серебрилась. И от мутного горизонта отделялось белое облако и, как стая белых гусей, росло и приближалось медленно, медленно. Или это — белые лилии вспорхнули к горизонту? А, может, пока я сидел и раздумывал, девушка, русская невеста, очутилась там, впереди моря, впереди нас, вскинула белопенные волосы и запела?

И сколько же золота стоит вода? Ведь и солнышко над ней — золотое, и ветер — золотой, бежит:

Нас мать родила, а вода  
Умыла, вскормила, взрастила,  
И молнией смерть возвестила,  
И путь осветила туда.

Вот — молитва, дарованная Богом. Ну кто же ею торгует? Раньше к воде, крестясь, наклонялись, а теперь — нож доставая? Надоедим воде, бросит нас она, бросит, а золото нам оставит...



**КУДРЯВЫЕ НЕВЕСТЫ**

*Великое дело — любовь. Из огня выручит. От болезни спасет. Из могилы поднимет. И уведет, закружит, заколдует, зацелует и в мир пустит, сильным и окрыленным: трудись и воюй за собственную долю счастья, да ревнуй ее, убеждающую тебя, и помни.*

## *Вербя одинокая*

Есть такие названия, имена такие у наших деревень — охнешь, покачаешь головою и вспомнишь своих предков, удивительных и умелых. Кудрявые Невесты деревня называется. Зачем и почему ее так предки назвали? Значит, там, в этой деревне, много было красивых девушек, и все — кудрявые. Кудрявые невесты!.. Разве немец или американец зовет, например, — Приветливый Вашингтон или Щедрый Берлин?

Так, этак, разэтак примеривай — не получится. А на Руси пожалуйста: Кудрявые Невесты, Подушечкино, Кукушкина Радость, эх, жить охота после подобных имен на хуторах и в деревнях русских, да жить негде. Не дают нам жить твари кривоспинные, ваучерами запуганные и на приватизациях помешанные, канительники рыночные! Бабушка Христя их не уважает и корит.

Кудрявые Невесты. До лысой горбачевской перекройки-перестройки деревня деревнею и выглядела: домишки в два рядка, правда, избушки, ну, конечно, скособоченные и без кудрявых невест, без парней обыкновенных, а необыкновенных женихов-то уложили за свободу и независимость советской отчизны, страны Ленина, и можно ли в то грозное время уделить минуточку внимания Кудрявым Невестам, деревням русским? Нельзя... Война, классовое сражение с фашизмом. Гитлер — нацист. Немцы — фашисты. А теперь русские — фашисты, а кто же нацист? Теперь в Кудрявых Невестах лишь портрет Михаила Сергеича высоко над кооперативным гаражом висит. Прибил его, замурованного под стекло, племянник Христя на воротах блатного гаража, а в гараже



пусто и мыши не ходят. В гараже племянник Христи расфасовывает по бутылкам китайский спирт и уторговывается на фирму. Алкаши мгновенно скапливаются — хватают.

Колхоз развалился, а землю поделили между хуторами и деревнями, вот и ничего не досталось Кудрявым Невестам. Четыре домика в деревне коптели небо. Четыре старухи в них доканывали судьбу, допиливали ее, а она поскрипывала, покачивалась, поклевывала и рухнула у одной, у бабушки Христи. Бабушка Христя — из самых кудрявых невест. Задержалась на белом свете: почти девяносто лет не умирала, а тут враз и захолонулась. Красавица знаменитая. В юности поэт Иван Приблудный приезжал позыркать на нее и подарил ей белый шелковый шарфик, ласковый, как белое лебединое крыло. Иван Приблудный — чубатый, крепкий, добрый, богатый: получил за стихи сто рублей. Купил белый лебяжий шарфик юной Христине, коробку золотобоких конфет и себе купил пачку сигарет. Сидит на крылечке избы, в те годы избы-то еще не зачали, еще их не измотали, не выморили, как мышей в гараже, разными налогами, угрозами, арестами и расстрелами, хотя уже начинали громить.

Деревня Кудрявые Невесты — исключительная деревня. Улица прямая — и трава зеленая вдоль окон: ковер и ковер изумрудный. Гуси, целые стада, пролетающим лебедям кричат, а те, проносясь в небесах бездонных, даже и не отзываются. Зазнались. Да, Кудрявые Невесты, деревня, славилась девушками и парнями. Дома покрашены, голубые, оранжевые, домики, белые, как гуси, нежные, как лебеди, спускаются к речке — попить, а кажется, вытянут шеи и поднимутся, и развернут крылья, и напевно прозвенят, разбудят сердечным кликом древние дали.

А на крылечке возле кудрявой Христи Иван Приблудный сидит. Крутит ей умные мозги, а завернуть не в силах: девка, гладкая и комсомолистая, в церковь не бегаёт, а Бога не срамит и замужествовать до венчания ни с кем не собирается, хотя краля редкая. Но конфеты ест и шарфик повязала на длинную белую шею. Стоит перед Иваном — в белом платье. Коса тяжелая, как медовая луковая плетенка, задержалась на талии и в медвежью ладошку Ивану занырнула —



молчит. Иван Приблудный сжалился, стихи читает Христи-  
не, читает и за косу, постанывая, потеревливает:

Покину кручи и байраки,  
Покину хаты в рамках нив,  
И кто-то долго будет плакать,  
Косою очи заслонив.

И чей-то взор, летя в туманы,  
Слезой застынет у окна.  
И будет рот больнее раны,  
Лицо блее полотна.

Христя — в белом платье. Шарфик на шее — белый. А Иван Приблудный, известный талантливый украинец, поэт московский, кореш Есенина, за комсомолкой безрезультатно ухаживает. Ездит, ездит, а сидит, печальный — в черном костюме и туфлях черных, начищенных блескучим кремом. Фи... Читает стихи на крылечке аккуратной избы в аккуратной, пока не разграбленной коллективизациями и войнами, деревне — Кудрявые Невесты.

Вот они, Христя, Христина, комсомольская руководи-  
тельница, и столичный поэт Ваня, Иван Приблудный, важно на деревне появились и важно спустились с холма вниз, к лесу, к барской усадьбе и собору. Усадьба — надтреснула: не побрезговали ее изранить топорами и пилами пролетарии, а собор взорвали, но без победы. Стены не сдались. Лишь крыша осела да окна вытекли — погасли: темно в них, а под люстрами, догадывалась Христя, ночами покойники бродят, уточняют фамилии комсомольцев и заносят их в длинный список на церковных полотенцах, а полотенца те отсылают в Грецию на хранение...

О, Кудрявые Невесты гремели в Подмосковье! Весть о кудрявых девушках веками распространяли по Руси женихи и молодые мужики, да и следовавшие в Лавру, помолиться Богу, грехи очистить, проезжающие и проходящие, увидев кудрявых девушек, хлопали оторопевшими глазами и двигались дальше, распространяя по великой среднерусской рав-





нине славу о невестах деревни. А порядок в Кудрявых Невестах: зыркай, зыркай на чужую невесту или молоденькую жену, чужую, да и притормози, иначе — женихи или мужики, тоже крепкие, не слабее Ивана Приблудного, поймут тебя и умоют — гусем загогочешь где-нибудь за огородами.

Но Христине никто из местных не нравился, к сердцу не припаивался, не прикипал, а Ваня Приблудный — хорош: рубашка вышитая, белая, украинская, и у русской Христины — на груди белого платья горит вышивка, розовая и голубая, похожая на вышивку с Украины, что на Ивановой рубашке. И по какой разнице мы — русские, а они — украинцы, если и рубашки одинаковыми лепестками и вензельками разрисованы? Христя философски задумалась, а Иван Приблудный уловил ее глубокие мысли:

Заходи в любое из селений,  
И любой хозяин будет рад  
Показать плоды своих владений  
И подать вино и виноград.

В конце апреля и в начале мая Ваня неожиданно стучал Христе в окошко: «Отворяй, я помогу тебе завтра сеять!...» А сеяла Христина, сажала картошку и свеклу. Отец Христины пал в революции, а мать заболела и скончалась. Не выдержала континентальных баррикадных гроз. Ваня же и Христина мечтали о коммуне и торопили кудряво-невестинскую беспартийную молодежь: «Не ждите приглашения, вы опора грядущего!...»

И коммуна приближалась. Мимо коммуны удавалось прошмыгнуть настоятелю, попу, крестьящему в соборе новорожденных и провожающему усопших, Онуфрию. Онуфрий не страдал Христю, не ругал за поддержку комсомола и за знакомство с красным поэтом Иваном Приблудным. Иван с особой прилежностью сажал на грядке свеклу, буряк, коли произнести на мове. Иван практически относился к буряку. И восклицал: «Христя, нагоню горилки, ты затанцуешь, а мы с Онуфрием «Реве и стогне Днипр» затынем!» Онуфрий —



донецкий русский и сочувствует шахтерской солидарности, но категорически против коммун.

В сумерках Иван приглашал поплотнее к себе Христю: «Коммуна дело нормальное, но делиться невестами и женами я не согласен. Не согласен я, Христя, отдать тебя, пусть не намного дней, допустим, и Николаю Ивановичу Бухарину, истинному баловню партии, не согласен!..» Христя сладко жмурилась и гладила пышные волосы Вани. Настоящий большевик, заключала она про себя и беззвучно благодарила Ивана за верность революции. Некоторые комсомольцы, Христя чувствовала, готовы подарить невест и жен вождю и менее весомому, чем Бухарин или Рыков. Но Рыков, как ее Иван сообщил ей по секрету, ценит горилку, на худой конец — водку, а с женщинами за рамки государственных вопросов не желает отклоняться.

Зато Бухарин — свадьба за свадьбой!.. Охочий петух. Христя представила Николая Ивановича, лезущего к ней, и нервно ойкнула. Хорошо — Иван не заметил, ревнивый. В шахтерском краю мужики задиристые. Христя прижалась к груди Ивана, и ей придремалась коммуна. Бабы и мужики рвут кто у кого одеяла и наволочки, царапаются и отталкиваются, а Николай Иванович Бухарин возвышается на резном крылечке Христи и чепуху о массовом браке мелет.» У ты, моя комсомолка!» — погладил ее косу Иван...

В мае закат солнца — хлебный, пшеничный, почти августовский, лечащий тебя и наполняющий тебя чудом природы, вечностью ее правоты и ясности. Май, как август, август, как май — овевающие, снимающие с тебя груз ошибок и потрясений, обид и раскаяний. Как в декабре — вдруг черты весны проступят. Как в марте — зарницы июлем полыхнут. Русская природа — природа переливающаяся: за ливнем — буран виден, а за громом — сухая жара жженым запахом потчует. И мы, русские, переливающиеся натуры: принялись восторгаться — пока не поколотят, восторгаемся, сотрудничать взялись — пока не закабалят нас, не размежуемся. А брата по чреву, по утробе материнской, легко отрицаем. Лада у врага ищем, а брата теряем.



\* \* \*

Отец Онуфрий за столом у Христины чокался рюмочкой с Иваном. Гости повторяли чокания и повторяли. Иван тихонечко тенорил:

Реве и стогне Днипр широкий,  
Сердитый витер завива!..

Отец Онуфрий встряхивал космами. Елозил на скамейке. Платочком вытирал пот с лица. Краснел. Тучнел. А Иван продолжал:

До долу вербы гне високи,  
Горами хвили пидыма!..

Поп не в силах совладать с собою, вскидывался, набухал и рокотал, ухнув на последней ноте:

Горами хвили пидыма!..

Нечасто отец Онуфрий посещал дом Христины. Нечасто стучался в дом Христи Иван. Провожали в сумерках Онуфрия. Поп крестился и внушал Христе с Иваном: «Собор не разорен, а ранен. Собор недавно колокола уронил, да, да, уронил в заросли, в крапиву, за ограду каменную уронил. Оскорбился... У нас, православных, беда под ногами. Распнут нас. Мать опозорят, Россию изувечат, и нас натравят — брат брата возненавидит, брат у брата кусок хлеба отнять ринется. Михаил меченый царство доразрушит, м-да!..»

Тогда Христя улыбалась. А бабушка Христина — мне пророчества Онуфрия слово в слово передала. Опыт ее научил, судьба образовала и научила. А я никого не опровергаю, никого не виню. Я кланяюсь им, обманутым и замученным, униженным и оставленным родиной и нами.

Христина не выбирала золотисто-медовую плеть луковой косы из Ваниных ладоней. Робела. Волновалась. Дыха-



ние ее замирало и усложнялось, вроде как сам Карл Маркс наблюдал за ними и деликатно пенял Владимиру Ильичу Ленину: «Страна преобразуется, отвергает опиум религии и дикость крестьянских обрядов, а Христина, руководительница комсомола в Кудрявых Невестах, кокетничает, по старинному невежеству — жеманится!..»

Она робела, а Ваня Приблудный смелел и смелел. Распрявился. Не очи, а глаза, широкие, буйволиные, медленно отвел в сторону, помолчал, а потом повздрагивал, повздрагивал, как на морозе, да чмок Христю в губы, и попал — прямо в губы, а нижнюю губу ее, теплую и доверчивую, немножко чуть ли не прикусил, нечаянно смутившись, хохол неуклюжий, из Донецка, а тоже в подмосковные зятя норовит!.. Христина решила прицокнуть на столичного хулигана, но переменила задумку и обняла парня, сильно соскользнув нежными руками с затылка поэта на плечи и прижалась, дура, к нему, разгневанному на безответную ее любовь и склонившемуся к ней послушно.

Эх, деревня, деревня! Эх, Кудрявые Невесты! Где вы сейчас? Четыре домика, четыре избенки зацепились низкими крышами за сугробы, лютой зимою наметенные, и затаились. Затаились, а кругом снега, снега: равнина среднерусская — холмы до взлобки, овраги да перелески. Месяц ночью глянет из облаков, глянет — пусто, глянет — избенки вьюгой приторочило к сугробам, и тишина: ни души, ни лая собачонки, ни блеяния овцы. Сухо свистит пороша. Четыре избенки. Улицы нет. Радостных избяных рядов нет. Тропки, четыре, вились от калитки до калитки, а вчера три осталось. Три тропки. Три бабушки. Три седых, как ночное облако, старушечки. Седых и сухо шелестящих, как пороша: свист снега, свист снега и тишина.

Деревня Кудрявые Невесты испарилась. Рассредоточили ее по красным пятилеткам. Женихов и мужиков ее растолкали по тюрьмам и окопам. Не вернули их, отцов и братьев-то, ни детям, ни матерям, ни женам, ни кудрявым невестам. Сгинули. Да и Приблудный Иван, парень донецкий, в камерах подвальных заблудился: расстрелян, найдешь разве его?



Плыл над хатами сизый дым,  
Пахло хлебом и лебедой...  
Я сказал тебе: посидим  
На скамеечке над водой.

Ты ответила: так и быть,  
И, как дети — рука в руке,  
Побежали мы во всю прыть  
К мерно хлопающей реке.

А как сели на ту скамью,  
Как прижались виском к виску, —  
Стали сетовать на свою  
Одинаковую тоску.

Тоска. Бабушку Христину я видел часто. С палочкой, сучковатой и оббитой, она брела по обочине тракта, гудящего в направлении Москвы. А за мостом, пыльным и тяжелым, канава, а за канавой на бугре — Кудрявые Невесты. Но продуктовый магазин — за два километра от Кудрявых Невест, и Христина, экономя гроши, стучала палочкой по бетону, сторожко стереглась, дабы не сшиб ее сумасшедший грузовик или убойно не столкнула в кювет пьяная легковушка. На дорогах — нетрезвые атаки... Гибнут невинные...

А недавно Христина умерла. Долго над четырьмя избушками бывших Кудрявых Невест гуляла и взрыдывала вьюга. Хлопья белые, как лебединые перья, мелькали и вихрились, залепляя окна. Бабушка заснула и не проснулась. Одна. Избенка ее выстудилась. Ни кошки. Ни петуха. А когда спохватились о ней ее седооблачные подружки — Христина оледенела. Неделю пролежала, месяц ли — кому гадать и зачем гадать?..

Проторили во вьюге три тропки старушки, наметили и четвертую в умерший дом, и на их беду Бог отозвался: Христин племянничек, уже колбасник из соседнего частного кооператива, ехал на тракторе за халвой и за китайским спиртом к районному кавказцу: купить и поторговать на рынке свободно, ехал, а у гряды тракта — три старушки дежурят.



Рассказали ему о тетке Христе... Завернул он к избушке, порычал, порычал мотором, положил тетю Христю на огромные прицепные сани, пожал жестяные шершавые пальцы старушкам и пропал в снегах.

— К ней Есенин приезжал. Я на ней доллары заколочу!.. — махнул шапкой. Деликатный.

О, так промчалась русская гривастая тройка, не заиндевелая, не серебристая, а черная, черная, так промчалась — Есенин погиб и на Ваганьковском кладбище успокоился! Позднее и Ваню Приблудного нашли. Нашли и в Бутырскую тюрьму заперли. В чем виноват — кто знает? Какая-нибудь строчка не понравилась вождям революции али холуям вождей, и разве не достаточно улик для казни поэта?

Еще позднее — арестовали Христю. Следователь косу ее нетронутую, девичью, на кулак наматывал и визжал, взбредившая: «Изнасилую, сука!.. Где спрятаны антисоветские рукописи Приблудного? Хана тебе, курва!» Христя не плакала. Молчала. Били ее — молчала. Грудь ей щекотали и нательную сорочку разрывали — молчала. Она специально с ума сошла и замкнулась.

Водили. Возили. Перетаскивали по камерам и станциям, вагонам и лагерям. Очнулась на Колыме. Зона — государство целое. Золото бабы добывают. Много. Червонное, жаркое — на снегу, как спелая картофелина, слиток золотой, сверкает. А есть охота. Голод, холод, тоска. Охранники, зыряка, лапают... Забеременевшим — чуть полегче кайло. Родившим — час на обед, на кормежку детенышей. Ать, два — туда, пять верст, ать, два — назад — пять верст: свобода? Только шаги — шарк, шарк, шарк, советские женщины под конвоем к детишкам радоваться торопятся. Из бараков на рудник маршируют, а из рудника в барак. Забота правительства.

Плеснула осень цинковыми заморозками. Трава моментально ожестянилась, а крепкие низкорослые листовянки порыжели и заполошились. Перед метелями морозы ломами стукнули в каменные скалы. Горы во мрак погрузились, белые сопки, могильные несчитанные холмы. А над ними — утес, мужик и мужик, далеко, далеко поднялся. Немой, горький, одинокий. Монахом и прозвали его русские тюремщи-



цы, священником Онуфрием... Всматривается, вслушивается Христя, и чудится ей:

Реве и стогне Днипр широкий...  
Сердитый ветер завива.

Христя смахивает с ресниц боль, смахивает муки, страдания, смахивает и спрашивает сама у себя, но тихо, тихо, ни охраннику, ни овчарке не догадаться, спрашивает: «Господи, Господи, а не поп ли Онуфрий, а не Иван ли мой застыл одиноко в бурях колымских и меня, вербу одинокую, до долу согнутую, дожждаться решил?..»

Вернулась в Кудрявые Невесты, в деревню Христя, но нет ее Ивана, нет, и нет попа Онуфрия.

Редко, но иногда и Христя заболела. Глаза ее огромные по ночам жарко устремлялись в звездное небо Колымы. Глаза огромные, и Колыма огромная. И зона огромная — барак спичечным коробком кажется в ней, а сколько в зоне барачков? Устремится Христя в звездное небо, а в небе — монах.

Синий мороз. Синяя пурга. Синий мир лагерей русских зимних, синим инеем посеребрённых. Монах сурово глядит на Христю. А Христя — за косяком оконным. Коса еще сохранилась. Лишь чуток повыцвела, как подсолнух, радостный после длинных дождей сентября, вянет маненько и поникает.

Христя мечтает: «Поселилась бы я вон на той, самой далекой звезде и Ваню бы моего с собою поселила, грядок бы для свеклы мы с ним наделали!..» Христя, думая, вздрагивает: «Жернова установлены в специальных колодцах — гранит молоть, а из кашицы гранитных крупниц золото вылавливать. Золото и золото, золото и золото, струйкой, ручейком, речушкой. Золото и золото — быть золотая, зло золотое, прах золотой!..»

Люди, видела Христя, подметая россыпь, попадают, измотанные, между крутящихся барабанов: хрясь — и нет человека. Барабаны выбросят красный комок, жертву, и новая встанет к ним. И дальше крутятся, крутятся, а золото течет и течет, и, говорят, течет в Америку, в Америку, в Америку, волна бежит золотая.



Кого же помнит Христя? Ваню, русского украинца. Рубашка вышитая, украинская. Батюшку Онуфрия. Монаха помнит — перед ней: в ночи озяб, на молитве как бы, страшно. Есенина помнит: волосы золотые, а не золото. Теплее, ласковее золота.

И помнит Христя собаку, овчарку. Охранники распинали баб, в стальные койки швыряли. А кобель, овчарка, не рыкнул на Христю, не укусил, не испугал. Умер от старости — сын его серый и строгий, кобель, овчарка, вырос. Тоже состарился в зоне, а Христю не тронул. Христя запомнила их.

\* \* \*

Русь моя, мятежная гроза моя, молния надежды нашей, осени жизнь и судьбу русскую, дай нам волю урочную победить невзгоды. Русь моя, Русь моя, песня моя, смерть моя!..

Стихи запрещенные по лагерю бродили. Боясь, Христя заучивала их:

Родина оскорбленная,  
Облака перелет, —  
Скоро трава зеленая  
В колоколах запоет.

И ручейки безгласные  
Перечеркнут поля,  
Будто бы жилы красные  
Рук твоих, мать-земля.

Лживыми речевыми,  
Горем сирот, калек  
В честную кровь измазали  
Целый двадцатый век.

Каменевы и Троцкие,  
Лагерных мыслей дремль,  
Русским — бараки скотские,  
Им — златоглавый Кремль.  
Казней сопредседатели,





Ну-ка их одолей,  
Наши-то ведь предатели  
Впрямь иногда подлей.

Вот потому и грустная  
В небе опять луна,  
Вроде как свечка русская,  
Ночью дрожит одна.

О, под холмами бедствия  
Голос мой страхом сжат,  
Где без суда и следствия  
Мученики лежат.

Заучивала без труда, но передавать подругам боялась. Постоянная боязнь — непрерывное состояние страха, иго страха давило Христю. Страх — за себя. Страх — за Ивана. Страх — за Онуфрия. Страх — за собор, взорванный озлобленными слепцами времени.

У бабушки Христи тоже была бабушка, и звали ее Христей. Поведет бабушка Христя маленькую Христю цветы рвать в поле и говорит ей, девочке, говорит. А говорит интересно: «Люди озвереют, Христя, родить детей бабы прекратят, откроются пасти у тюрем — собаки и собаки!..»

И маленькая Христя, большой ставши, поняла: пасти у тюрем — шире собачьих. А тюремные охранники — борзее овчарок. Если бы охранники сравнялись по линии доброты с добротой овчарок — побегов бы из лагерей не случилось так много. Бабушка Христя говорила маленькой Христе: «Нагрешат люди — Бог отречется от них и закаменеет...»

Но Бога Христя не видела. Ни в Кудрявых Невестах, ни на Колыме не видела. Не встречала. А монах — закаменел. Батюшка Онуфрий закаменел. И рожать русские бабы прекратили. Старая бабушка Христя права. А почему прекратили? От несправедливости, от жестокости, от холода, побора, голода. Кому на радость нищету плодить?



Разорили храм. Барскую усадьбу разорили. Христю — на Колыму. Ивана — на расстрел. Есенина — в петлю. Онуфрия — на закаменение. А за Кудрявыми Невестами сегодня растут особняки. Грузины, азербайджанцы, узбеки и чечены. Подмосковье — Азия. Восток. Но особняки — не храмы. В них не впустят. Храм — свобода. Храм — поле. Храм — земля и небо, а здесь? Здесь — зона. Респектабельный барак. Охранники — подлее колымских. Овчарки — опаснее лагерных.

Кто — хозяева особняков? Хозяева колымских рабов. Хозяева шахт и колодцев золотых. На Колыме русских травили и уничтожали — здесь, в Подмосковье, русских травят и уничтожают. Охранять — от русских. Собаками — от русских. Русские, когда же вы натерпитесь, когда? Не стыдно ли вам? На кого же России надеяться, если ее, за равнодушием, вы предадите?

Христя давно освободилась из лагеря, а все как в огромной тюрьме на Колыме огромной. Помнит старую бабушку, старую Христю. И сама — уже старая, уже давно бабушка Христя. Только ее Ваня, Иван, молодой, молодой, и друг его, Сергей Есенин, как русоволосая подруга, нежный и юный.

Станный я человек. Чего мне нужно от деревни Кудрявые Невесты? Деревня растворилась, и бабушка Христина исчезла в белой равнине. Белые лебеди больше не звенят над уютными домиками, а белые гуси не щиплют зеленую траву на улице. Первобытное колымское окаменение. На месте собора — болото и камыш. От барской усадьбы — ушастые лопухи и заунывная полынь. Чего мне нужно? Но ведь я точно осведомлен серебрястыми легендами: в январский полдень заиндевелая, серебрястая русская тройка подкатила к деревянному серебрястому резному русскому крылечку Христи: вышел ее Ваня, а за ним — Сергей Есенин...

А ночью, отметила про себя Христя, тихий золотой месяц горел над их избою, как золотая голова поэта, Сергея Есенина голова. Кудрявая, кудрявая. Наверное, предки Есенина из Кудрявых Невест в Рязань перебрались. Горел месяц, а Христя целовала Ивана. Прощались... А друг Ивана, Сергей Есенин, ждал их у кошевы. Шапка под мышкой. Вьюга умо-



рилась. Белая улица. Белое поле. И — белая серебристая тройка. Может — это серебряные лебеди прилетели?

Эх, вы, сани! А кони, кони!  
Видно, черт их на землю принес.  
В залихватском степном разгоне  
Колокольчик хохочет до слез.

Сколько людей проплакало впереди меня? И я плачу. И звенит вьюга. И мчится тройка. И хохочет русский колокольчик, заливаясь неукротимыми слезами... А кукушки-то, бабушка Христя вспомнила, кукушки-то по сто лет ей с Иваном пророчили жить и не тужить, по сто лет!

Раскулачивания, тюрьмы и войны уничтожили русских не только по окрестным деревням, но и в городах русского человека израсходовали: уйма непонятого и непутевого народу нынче на тротуарах и на вокзалах колготчет, страх и оккупация! А в канувшей деревне Кудрявые Невесты над воротами разворованного кооперативными ваучерами гаража — стеклянный портрет Михаила Сергеича Горбачева пригвожден: ржавеет и догнивает, как на заброшенном кладбище, у разбойной могилы, на запретном памятнике, наспех сооруженном ракетами и затерянном среди мирского бескрайнего горя...

В мае кукушка начнет считать года, а я спрашиваю: «Кому ты, родная кукушечка, обещаешь их, кому?»..

Десять лет и еще десять лет откайлила на Кольме комсомолка Христя. Охранники — черные. Русские попадались — белые. Но черные — чуть побелели, а белые — чуть почернели. Похожие... Интернационалисты. И не изменяются далее, как собаки. Согласие между ними и собаками натренированное, казарменное. Кто дерзче, охранники или собаки, не определить, но собаки порядочнее. Черному надзирателю удалось-таки расстелить Христю на нарах. Не поборола зверя. А белый надзиратель хохотал и завидовал...

В Кудрявых Невестах перед домиком Христи верба росла, кудрявая и спокойная. Прадеды и деды в тени ее летом чаевничали. Родители Христи чаевничали. Верба цвела, бла-



---

городная, и пушилась. А Христя и почаевичать не успела. С Колымы вернулась — пень торчит: в канаву рухнула верба...

Бабушку Христю племянник увез. На собственную выгоду покойницу эксплуатирует? Лежала бы тут, возле уничтоженной деревни, лежала бы, и голос кукушки до нее докричался бы, да хоронить обычным способом — не расплатиться. А китайский спирт племянника-бизнесмена мобилизует алкашей выкопать могилку и гроб в нее опустить.

Грустные мы, русские люди, печальные. Потому нам, русским людям, песня — в слезы, а слезы — в бессмертье: дождь прошумит и за горизонтом скроется, вьюга завоет, и месяц над крышей затеплится, свеча и свеча.

Господи, Господи,  
Заступись ты за русских,  
Дай им волю,  
А палачам — кару!

Ну куда увезли бабушку Христю, куда? И кому считает годы кукушка?

## *Последний обелиск*

Никогда не зарекайся делать завтра то, что ты окончательно отверг и уничтожил сегодня, особенно у нас не зарекайся, в России... Русский человек — необыкновенный человек: за всех болеет, всех слушает, а лишь останется наедине с самим собою, обязательно против себя чего-нибудь отморочит. Если не Революцию, то бунт, если не бунт, то перестройку или еще какую махинацию.

Вот, к примеру, взять Тимофея Федоровича Солодиковва?.. Ну, Солодиков, ну, Тимофей Федорович, внешне, а внутри — птица большого полета. Отец его — командир продотряда: изымал, под щелчок, пшеницу и кур у хуторян, у своих же, далеко не отклонялся. Пшеницу — для питерских рабочих, а кур — дабы не переводили зерно на говно, как выражался продотрядовец.

Лежит Солодиков Федор Иванович не на общем кладбище. Общего кладбища нет: деревня рухнула и кладбище исчезло. Лежит старый большевик, продотрядовец, на бугру, под скромным обелиском лежит, а деревню ветер Революции разметал. Люди вытекли из нее, как вода из решета, мужики на войнах успокоились, а вдовы и убогие почти повымерли. Простор — мчись до Китая, и там не нужны мы!..

Но сын продотрядовца, Тимофей Федорович, усидел-таки в родной деревеньке: огородик лопатую вскапывает с женой Клавдией, сенца косой по лету припасут — зимою три раза в день кушают нормальную картошку с молочком и даже сладким чаем запивают, хоть сахар не укупить, а хлеба в деревушку не планируют. Деревушка — девять двориков, калеки да изношенные народной властью людишки. Людьями не назовешь — здоровьем и разумом куцые, на грядущее не годятся. Останки от челяди как бы.



А Тимофей Федорович не кукуется: волевой и жилка вождистская в нем от бати-продотрядовца не порвалась, значит — прочная. Тимофей Федорович ссорится с бригадиром и председателями подряда: едва назначат — скандал, запоминать имена не успевают и материт начальников интуитивно, авось угодит в хама и проберет до печени!.. Иногда и ошибется.

Одного назначили — Тимофей Федорович с матом к нему, а тот по носу пальцем щелк и далее — щелк, и вновь интеллигентно нацелился, а Тимофей Федорович качнулся то ли от удивления, то ли от публичного позора кувырк на спину, едва воскресили нашатырем и суперфосфатом. Нашатырь — глупость выбивает из башки, а суперфосфат — жар нагоняет и кровь по человеку без останова носится. Лекарств нет — гонят кровь. Люди суперфосфатом натираются. Щелчок в сусеке — печаль, а щелчок по носу — юмор. И щелкаются болваны. Россию процелкали, не вернуть.

Калеки, хворые и застарелые сползлись на веранду Тимофея Федоровича, поступок лидера одобрили, а бригадира освободили за вспылчивость и надругательство над личностью. С тех пор деревню вообще кинули на произвол: председатели ее сторонятся, а бригадиры пугаются. И приехал в деревню толстый и веселый Багул Абрекович Халухадзе. В японской шапочке, от жары, в американских джинсах, в китайской майке и в канадских кроссовках, настоящий европеец, на каждой вещи — герб синтетический или клеймо кожаное, швед, словом, а может, федеративный немец, австриец чертов!

По-русски лучше Тимофея Федоровича шпарит. Клавдия едва успевает укроп и лук подавать, а снеди Халухадзе приволок — соседи досыта напрубятся. «Сытырою том, разрэщили, четьыр этаж, во тоговор-квитанця!» И показал паспорт. Да, дом не построен, а паспорт уже... Честный какой!

И развернулся: экскаватор долбил родную землю, как вражескую, клыками, клыками, а самосвалы ревели и пропадали, выныривая из ямы, чад висел — калининцы кашляли до крови. Деревня-то — Калининка: Михал Иваныч Калинин — в честь старосты назвали — возвращался из ссылки,



чай пил у Федора Ивановича, да с медом, да с ватрушками и кренделями, сидели Иванычи пили... А сейчас? Опять поднимай продотрядовцев? Но крестьяне где? Пили чай, о Революции размышляли.

А мы, да и сын продотрядовца Тимоша, мы в школах по учебнику: «Кровососы, кровососы, дармоеды, купцы, помещики!..» Мир в Калининке пуст. А кровь гоняют суперфосфатом. Кровососы? Муть, поди, в мозги нам вдохнутая? Багул Абрекович Халухадзе строится — и мы немножко строимся. А сами: «Классовая борьба, классовая борьба!» Заведенные попугаи.

Бабушка Фрося дернула из штабеля у Халухадзе дощечку, выпилила из нее пять штакетин, калиточку отремонтировала — залюбуешься. Культяпый Фрол — на заводе ладони ему станком отломило — к бетономешалке и ведро налил из запасов Багула. Сунул каменщикам десятку, не сунул, они за так налили бы ведерочко, а Фрол площадочку, ботинки на солнышке сушить, смастерил, выдумщик... А пегий, полулысый бобыль Саня, дурак холостой, дровец, баньку протопить, насобирал из щепы у здания Багула Абрековича Халухадзе. Напарился!

Честно сказать, Калининка преобразилась: кто печь, кто колодец, кто щель у сарая подмазал, а уперся Тимофей Федорович, мол, не желаю милостыни. Но запнулась пожилая Клавдия, супруга, об ребро камня, стежка к умывальнику опасная, упала, ногу поранила, хромает, бедняжка: «Ты, Тимоша, партийней отца-продотрядовца, тот деревню грабил питерцам, а ты собственную жену об камень ударил, нищета красная!..»

И с ведром к бетономешалке, потупясь, явился Тимофей Федорович. Оporожнил — мало. Оporожнил — мало. Оporожнил — замечательно. Дорожка — стекло и стекло. Четыре червонца, а польза бессмертная. И если бы не Барбос, кобелек трясухий, праздник длился бы и длился. Вскочи он лапами на дорожку и — проштамповал, аж посередине. Круглая печать, глубокая, четкая, двойная и цепочкой!..

Строительство дома, особняка, виллы, дворца, хоть как отметь в документе, закипело. Стены — белый кирпич, балконы — голубой кирпич, а парадный подъезд — розоватый



мрамор. Плиты аккуратные, квадратные, пиленые. Тон создают — теплый, заревой, как на крохотном обелиске продотрядовца, отца Тимофея, сколочек розовый, а остальное на нем — серая масса...

Телефон-автомат у гаража. Гараж готов. Багулова «Тойота» с подругой «Волгой» ночуют в гараже, выложенном под зданием нового жилья древней деревни Калининки... Калининцы — наивные куры: суетятся без толку. Шум организуют — звонят на почту, звонят в универмаг, звонят в медпункт. Можно предположить: на почте ждут их телеграммы из ООН, в универмаге — песцовые шубы, в медпункте — персональная сестрица, ах, дети, дети, эти калининцы, куры, взбулгаченные свежим продотрядовцем.

Местная организация «Звезда Октября», руководимая Тимофеем Федоровичем, боролась за реабилитацию гимна. Члены «Звезды Октября» писали жалобы, заявления и грозили, требуя исполнения державного ритуала.

\* \* \*

Очнувшись к шести утра, Тимофей Федорович Солоди-ков напрасно включал радио — молчание. Торжественный гимн — в опале. И решил Тимофей Федорович играть гимн на гармонике отца. Федор Иванович талантливо исполнял на ней «Интернационал», а сын — гимн Советского Союза.

Тимофей Федорович старательно нажимал на клавиши, и хор, в несколько пожухлых уст, похрипывал:

Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки великая Русь,  
Да здравствует созданный волей народов  
Единый могучий Советский Союз.

И — завывал, пробуксовывая:

Славься, Отечество наше свободное!..

Бабушка Фрося зажмуривалась и кренилась от общего мотива, а культипный Фрол, замечтавшись, наверх посылал свой простуженный баритон. Саня, дурак, фальцетил, но





соблюдал канву, а Клава, споткнувшаяся супруга, задиристо выскакивала вперед. Остальные — искренне равнялись на Тимофея.

Тимофей играл. Мелодия звучала. И разноладный хор плыл по лужайке. От лужайки — кobelisku. Отobeliska — к заросшему кладбищу. Не хор, а стон. Стон всполошенный и выдворенный в окрестность Калининки трудностями, нищетою и жестокостью судьбы обитателей.

Под черными крестами шептались травы, а над черными крестами гнулись молодые березы. Робкие цветы дрожали и растворялись в синеве лета. Боже мой, боже мой, не осуждай христиан твоих, обкраденных палачами. Дай им на минуту утоления и лечащей жажду влаги спасения. Помилуй их!..

В момент движения хора от лужайки доobeliska и отobeliska до погубленного кладбища Калининка траурно пустела: способные шевелиться и составляли этот удивительный организм неиссякаемой печали и благородства. Хор мог двигаться весной, летом, осенью и зимой, выбирая подходящий промежуток.

Весною двигались на мужчинах и женщинах — залатанные солдатские плащи, фуражки, вылинявшие пальтишонки и платки, летом — дешевенькие пестренькие рубашки и платья, осенью и зимою — измусоленные чудовищные бушлаты, фуфайки и шинели, колышимые стоптанными валенками. Порою не отличить — женщина шагает, мужчина ли? Да и лица — конкретизировались на жаре и на стуже, лепимые бранью бригадиров и председателей под уголовный тип: лица — отрешенные узники, выпущенные умирать на волю, а воля им на кой черт?

Когда бы вместо гробового хора по улице пробежала гурьба вихрастых ребятишек с мячами или салазками, а в ливень — босиком, с визгом и хохотом, а за ними — собаки, а за собаками — куры, да распахнулись бы веселые окна домов, ну кто бы не затосковал по детству, по семье русской, вскормленной молоком и пирогами? И пусть бы все ребятишки, все собаки, все куры проштамповали бы лапами по-



мещицью усадьбу Багула Абрековича Халухадзе, а трясучий Барбос и помочился бы...

Но осиротела Россия. Расстрелянные избы ее взмыли в бездонную высь и теперь оттуда мигают нам, обернувшись далекими огоньками, и рассыпаются над нами. Земля отпустила их, а мы не удержали. Ослабли. Мало нас... И даже древние славянские холмы сутулее прежнего и настоженнее коротают ночи в долинах.

Но слышал я, ни единой звезде не потухнуть, если Сергей Радонежский не согласится. С холма на холм, из долины в долину идет он, легкий и белокрылый. Идет, серебрится, ботожком взмахивает, заметит погасшую звезду, свечкой прикоснется — вспыхнет звезда и снова горит и светит. А Сергей молитву творит, прощения заблудшим просит. Слепоту их отмаливает...

Двигается хор. От лужайки — к обелиску. От обелиска — к праховому кладбищу. Некоторые встречные плачут, некоторые смущенно улыбаются. И-и-и... дорога многих познакомила с хором. Многие закручинились и поумнели. И лишь смугляк, высунувшись за баранкой из «Жигулей», постучал по кабине кулаком и по лбу своему — кулаком: идиотами обозвал, кажется.

Смугляк — молодой продавец «Автосервиса», а ныне — директор «Автотрассагруза» Москва — Баку... Годы, годы, и кто бы тогда угадал в дерзком смугляке роскошного Багула Абрековича Халухадзе?

В детстве Тимоша отличался от своих сверстников рано проявившимся дарованием: вскарабкивался на забор, ерошил чубчик-гребешок и пронзительно кукарекал. Зачаровывался на жерди и долго не слезал с забора, пока отец, продотрядовец, не сгонял его: «Кукарекать, Тимофей, кукарекай, да не закукарекивайся!..»

С годами дарование Тимы развивалось и совершенствовалось, и до той степени профессионализировалось — стали на Тимино кукареканье зычно петухи деревенские отвечать. Отсюда и тяга у Тимофея Федоровича к руководству сельским хором. Ишь, подавай капеллу ему!..

Но на сцену выбраться городскую Тимофею не удалось. Умер отец, продотрядовец. И назначили Тимофея, учитывая



его склонность к искусству, назначили Тимофея Федоровича при районном отделе животноводства регистратором наличия птицы, коллективной и частной. Сын продотрядовца, неподкупного и служивого, Тимофей нигде не нарушил инструкции и не превысил должностных полномочий. Переписывал поголовье птицы ежесезонно и с рвением.

Клава, до замужества еще, обожала с Тимой гулять по окольным хуторам ночами. Она держала Тимин кирзовый портфель, а Тима, прокравшись задами на центр селения, потихонечку начинал кукарекать. Примерно, с третьего кукарека ему принимались басить хуторские петухи, не подозревая, что провоцирует их не петух, а районный регистратор.

Клава участвовала в Тиминой разведке девичьим волнением и преданностью невесты, сама была готова кукарекнуть, но Тима, замечая порывы ее, пресекал дерзость дилетантки. И петухи хором заливались на Тимино кукареканье, хотя половина ночи еще не миновала и далеко еще не маячила во мгле рассветная зорька. Спи да спи, не ори без надобности. Но петухам блазило — они опаздывают оповестить рассвет, а Тима перехватывает у них инициативу. И звенело, росло и текло в поля массовое энергичное кукареканье.

Утром Тимофей, без подруги, заходил в избы, как заходит старый знакомый к старым знакомым. Регистратор птичьего поголовья ночью про себя отметил: «Тут не менее двадцати кур, — отвечало-то мне из сарая этой избы, — и два петуха, а не один. А на петуха рачительный хозяин менее десяти кур не заказывает, че дармоеда кормить?..» После смущенных банальных уловок хозяева приветливо распахивали душу: «Да, да, Тимофей Федорович, у нас двадцать кур и два петуха!»

Иные хозяева угощали районного регистратора птицы чарочкой самогона, и районный регистратор, не дрогнув бровью, осушал, не реагируя на провинциальный напиток, запрещенный конституцией. Порою Тимофей Федорович прощал крестьянам и недовоспитанное их мухлевание: общат, мол, двадцать кур и два петуха у них, а под сараем пошугай, двадцать третья заколотится. Но социализм не развалится и мощь революционной державы не на курах частных базируется.



Сивея и шелушась волосом, Тимофей Федорович реже и реже кукарекал. Клава, жена его и соратница по неукоснительной переписи птицы, реже и реже на праздниках при-нуждала мужа кукарекнуть на спор — откликнутся петухи или не откликнутся. Клава тоже посивела и пошелушилась. Кому пить-то, гулять кому?

Дети у них не родились, причину ни она, ни он не уточняли. К обелиску отца и свекра, продотрядовца, наведывались регулярно. Но оба посивели, и к обелиску тропа их влекла реже и реже. Старость противнее пустынной пыли, куда ни сунься, везде: на фуражке, в чемодане, в машине, везде противная пыль посивения.

Старость и могучее государство разрушила. Топтались, топтались беззубые и горбоспинные члены Политбюро на кремлевских экранах, а молодые за их кителями страну-то и оккупировали, приватизировали, а их на Красной площади позапахали, не их, а ихний прах, в урны, позапахали и забыли. А с забытьем и в газетах вымыли их и прополоскали насквозь.

А продотрядовца-то сын Тимофей Федорович за советскую власть сражается, хор на хуторе гимн под его гармонику исполняет — протест выражает расхитителям свободы, а дети членов Политбюро где? Кто — в Париже, кто — в Нью-Йорке, кто — в Тель-Авиве. Полное крушение пролетарских идей.

Стареньким, пенсионным Тимофею и Клавдии возле кого оттаять, потеплеть и оптимизмом насладиться? Они — фигуры на хуторе. И гармошка — подчинена им. Тимофею Клавиному. Клава не лезет в культурные мероприятия — свадьбы закураживали и при Хрущеве погуливали. При Брежневе же распоясались до опохмеления: вот и настиг нас кавказским кинжалом Горбачев.

В республиках кровь и кровь, а Тимофея Федоровича срочно вызвали в район, в управление по животноводству и птицеводству, и усовестили: «Животноводство колхозное нерентабельно, а птицеводы-фермеры в регистраторах надобности не испытывают, но вы, Тимофей Федорович, номенклатурная особь, и мы вас оформили на бессрочный отдых!..»



Тимофей Федорович грамотный сотрудник, но «особь» не выдержал, «особь» в питомниках и зверопарках, а он, Тимофей Федорович, сын продотрядовца и руководитель самодеятельного хора на погибающем хуторе. Вернувшись из района, Тимофей раскупорил шкаличек, припасенный к 7 ноября, и, хотя трагедия стряслась кадровая с ним в июне, раскупорил и залпом ухнул.

Медленная ветхая Клава и оладьи на сковородке подогреть не успела, а Тимофей развернул гармошку, и поскрипывающая расшатанной табуреткой, один на один с самим собою решительно запел:

Да здравствует созданный волей народов  
Единый могучий Советский Союз!

Да, созданный волей народов, а куда его дели, Союз, куда? И кто у народов мнение пожелал взять? Клаве горько было глядеть на поющего Тимофея. Пел Тимофей, а очи его кричали и, не слезясь, угасали, отметила Клава, навсегда: искры в них растворялись, ресницы не влажнели, а пороховели — мертвые. И Клава впервые осознала: наступает Багул Абрекович, а Тима ее откукарекал.

Эх, русские мы, русские, сравниться ли нам беспечностью с нерусскими? По чепухе — терзаемся. Из-за пустяка — колотимся. Молитвенный мы народ, а толку от нашей молитвенности нам не планируют. Табунят нас, гонят, заворачивают, рассеивают и карусельную канитель заново над нами включают бритолобые механизаторы.

Багул Абрекович Халухадзе редко звонит. А звонит — круто нервничает: «Ал-лэ, срошно ишо сем замисвала, замисвала, керамика!...» И — точка. Слышишь, гудят, ревут быки железные? А наши звонят, тенора меняются: «А нельзя ли, а не разрешите ли, а...» Противно. Калининцы — питомцы эпохи Революции, староста СССР — их покровитель.

Дворец растет, хорошеет и завершается. Багул Абрекович Хахуладзе реже и реже выпячивается на улице. А скоро и чугунная клепаная ограда полонила дом. Полонила или обняла и убаюкала его суровой тишиною и непроницаемос-



тью? Даже телефон-автомат онемел за громоздкими воротами. Брякнула щеколда — воцарился порядок в могучем доме. И только по вечерам, осенним и холодным, пылает и, трепеща, растекается приятный люстровый огонь, символ стабильности и успеха. Но — там, за громоздкими неприступными воротами, там, за высокими узкими окнами, похожими на танцующих дам.

А здесь — Калининка. Здесь — грязная улица, хилые избы. А в них — истерзанные властью людишки, потерявшие здоровье и надежду в борьбе за счастье человечества. И здесь — обыкновенный серый обелиск, могила продотрядовца, Федора Ивановича Солодикова, честного бойца Революции. Жаль — обелиск тонет в сырой мгле, когда великий дворец Багула Абрековича Халухадзе выжирает, надуваясь, электрическую энергию. Выпивает, как его владелец — бокал вина или верблюд — бурдюк воды из арыка...

\* \* \*

Обелиск тонет в сумеречной мути. Калининка тонет. И Тимофей Федорович похудел. Болеет с тех пор, с тех собачьих лап, которые вдавил в дорожку Барбос. Грязью замазал их Тимофей Федорович — дождик выклевал. Глиной — распылил ветер. А цемента не достать: двор Халухадзе — за оградой, в районе — русским цемент не продают. Заболел Тимофей Федорович.

Следы отпечатались и застыли на дорожке и в сердце. На совести: дескать — крал, клянчил, унижался? Слава Господу, не стремится попасть в гости к Тимофею Федоровичу сам Багул Абрекович Халухадзе: со стыда повесился бы калининец — позор! И повесился бы кто? Он, Тимофей Солодиков, лидер деревенских инвалидов и калек...

Но Багул Абрекович не заглянет к Тимофею Солодикову. Уровень контактов у них может быть и как-нибудь наскребся бы, но слишком разные величины, и материальный стимул слишком разный: богатство — благоухать, а бедность — ныть и революционную ситуацию создавать, взбесившая текущую толпу разными паршивыми лозунгами.



За шторами особняка Багула Абрековича чаще и чаще крутятся с южанами девушки, редкая порода русских сук. Ляжет с мужем и, голая, шелестит «Московским комсомольцем», изучает половое «меню» в газете. Муж в командировку — она с подругами к черным: «А ну-ка, чубайсы, покажите нам свои ваучеры!..»

А те, пылкие и внимательные черкесы, включая Багула Абрековича Халухадзе, хулахупят их напролет целую ночь, а рано утром вышвыривают на первую электричку. Вагон постукивает, и они, сидя и подергиваясь, клюются напорошковленными носиками в синее стеклянное пространство Подмосковья: кому нужны?.. Куры ощипанные.

Забеременеть от мужей — стесняются. Родить же от бизнесменов можно, да не просто запомнить: от кого? Перемешались, крутятся... В тридцать — заспидовеют и зачешутся, как сухумские подопытные обезьянки. В сорок — ударятся глупой мордой об одиночество, аж зазвенит у них коллективно в затылке.

Выбегут на митинг к демократам, вытянут по-куриному шеи и: «Мы за Ельцина!», «Мы за Ельцина!..» Интеллектуальные паскуды. Собрать бы их всех в хозяйственную корзину и продать для собачьего гарема трясучему Барбосу. Пусть он с ними повозится, это ему не лапами бетонную дорожку метить.

Сеют межконтинентальную рознь. Из-за них многие регионы ракетами долбаются, солдаты в атаках гибнут, а президенты от тронного поста на переговоры отъехать опасаются: куда ни глянь — предатели, хитрят и бесконтрольно развращаются...

Багул Абрекович порядочный бизнесмен, эсэнговец, а вот американцы обнаглели: купят в Москве русскую девушку, а в Чикаго с собою не везут — билет дорого и мест лишних для них в самолете не конструируют.

Америка — супердержава, а слава про нее неприличная катится. Ее гражданин надул гражданку русскую и мужа ее надул. Американцы — лишь бы надуть нас и прок для себя из нас выколотить!



Дашенька была пугливая,  
На лице горел румянец,  
А теперь она хвастливая:  
С ней поспал американец.  
Что творил он, выкомаривал,  
Знает пара меж собою,  
То рычал, то разговаривал,  
То бомбил ее, как «Боинг».  
Целовал и пел ей песенку:  
«Бау, бау, доу, доу!»  
Мужу, трезвому балбесу,  
Он послал в конверте доллар.  
Стали краше будни Митины,  
В ореоле лоб Сократа, —  
Побежал орать на митинги  
За Гайдара, демократа.  
А сегодня конституцию  
На поверженной сторонке  
Загубила проституция,  
Доллар есть, да нету жонки.  
Доллар есть, а кушать хочется  
И с работы сократили,  
Гостю любитя, хочется,  
Митрий злится, Даша в мыле.  
Ловит гостя по гостинице,  
Ну, а тот бубня бедово,  
С ней здороваться противится:  
«Бау, бау, доу, доу!..»

Тяжко русскому слову на земле. Гимн Советского Союза запретили, а вот эту распутную басню магарычные курвы наизусть зазубривают и ржут наперебой, дескать — правда сущая. Когда же мы, русские, сами себя промагарычили? И черт с нами, кабы не наши дети, они же не виноваты за наше эгоистичное наслаждение заморскими капиталами и модною новизною. Эстеты аборигенные!..

Тимофей Федорович пробовал ремнем стегать Барбоса — визжит, а лапы на цементе не смываются. И Клавдия





визжит, хотя ее Тимофей Федорович не стегал. Дни принахмурились, а вечера тиной загустели. Душа кричит у Тимофея. Сны нехорошие снятся — отец-продотрядовец у чугуновой ограды Халухадзе с топором бродит, а в залы к хозяину попасть не может: «Зарублю! Зарублю!» А при чем Халухадзе? Приснилось — отец за Михаилом Ивановичем с топором бежит... К чему?

И засомневался Тимофей Федорович, загорюнил и слег в пятницу, посередине августа. Выпрямился на скрипучей проволочной кровати, обернутый штопаным байковым одеяльцем, вздрогнул и побледнел: дух застегиваться начал.

Клавдия поняла — кинулась к соседям. «Скорую»? А телефон-автомат — за громоздкими воротами. А в доме — огонь. Слепляет. А из ярких окон — фонтанирует музыка. Не вальс, не танго, не простая русская песня, а буйная, словно ордынская конница, страшная. Клавдия замотала голову: «Чужия гуляют!..»

Бабушка Фрося ткнулась — ворота на запоре. Культяпный Фрол ткнулся — на запоре. Саня, дурак, пнул по воротам, а ворота: «Гы-ы!..» Орать? Ори. Музыку не переорешь, а время потеряешь. Толпой, бедные, ввалились к Тимофею Федоровичу, а он — холодный. Глаза широко смотрят, и в каждом — по слезинке мерцает, по слезинке...

Схоронили его дружно, в воскресенье, коллективом калининцев, на могилке отца-продотрядовца. А иначе — где? И на обелиске, ниже строки: «Солодииков Ф.И.», добавили, запечатлели «Солодииков Т.Ф.» Дату обозначили... Даты разные, отец и сын, а деревня одна — изуродованная. Да, Багул Абрекович — замок горный. Мы — небритые хибарки. Мы — забытый обелиск...

Калининцы в ближайшее время перемрут, а пионеры не придут к нему: каково обелиску, последнему свидетелю убитой русской деревни, в заснеженных просторах зябнуть?..

## *Торстка пепла*

Семья наша крестьянская — большая. Восемь детей у матери с отцом было, разве могли они нас всех выучить на инженеров и врачей, сидя впроголодь на картошке и воде? Но хотелось мне стать инженером, да знаменитым и богатым. Приехал в отпуск — начисть ботинки, распахни пиджак и швыряй деньги. Бабы начнут выглядывать, летом если, в окна, а девчата невзначай попадаться и спрашивать: «Отдыхаете, Сергей Трофимыч?»

А Сергей Трофимыч галстук развеял и по улице, по улице — туда и обратно. Пусть улица кривая и кособокая, избы ссугобились в разные стороны, но, как люди, прилипли друг к дружке и держатся до последнего вздоха вместе. А я, Сергей Трофимыч, шагаю, поднята голова, чуб небрежный и руки за спиною: инженер и начальник, хотя и не главный еще, а уже кое-что значу и нос в табаке.

Но запрягли меня сразу в мартен. Грохот и гарь. Железо, краснее августовского солнца, мерцает, кусает, кромсает и на тот свет уносит, коли ты проморгал и зазевался. А институт мой — для моего одноклассника Вити Окунька, румяного и нежного, как шестимесячный поросенок, когда он от свежего парного молочка почти отвык, а кашку и хлебец получает вдобавок от бабушки. Витя Окунек — ленивый и добрый, немножко сонный и загорелый: на воздухе часто дремлет, сом.

Поросенок поросенком, а рыбе в нем угадывалось: губами толстыми шевелит и глаза выпугивает: «Я вот хвостом тебя ударю!» — баловался Окунек. Фамилия микроскопическая, а на самом деле Витя легко, после поросенка, на сома смахивал. Обжора. Ест и ест. На лекции по литературе ест. На спецкурсе по Блоку ест. Не ел Витя только на марксистс-



ко-ленинской философии: робел, но есть тянуло и аппетит не пропадал.

Однажды преподаватель объяснял теорию отрицания отрицания, ну, допустим, зерно, отрицая зерно, себя, выстреливает в поле — в колос... Преподаватель — строгий партийный человек, в черном и белая рубашка. Пингвин. Седой и величавый. А Витя, веселый, наевшийся дома пирогов с осетриной и сметаны, ладонь поднимает. Преподаватель ему:

— Слушаю...

— А вдруг я съем зерно, откуда тогда колос возникнет?

Аудитория взорвалась и захохотала, а преподаватель побледнел и отвечает:

— Я не сомневаюсь, вы съедите, но разве мало вам пирогов с осетриной и сметаны по утрам?..

Аудитория опять захохотала, а Витя изумился:

— А вам известно, пироги или пельмени, сметана или творог, известно?

— Ваш папа, директор ресторана, как вы, ценит Маркса и старается кушать, как Маркс, дорогую рыбу, серое вещество накапливает, а мама ваша, эксперт по молоку, не унижится же она до кефира?..

— А вдруг я зерно съем, рыбу съем и кефир съем? — схулиганил Витя.

— Не забывайте о товарищах по аудитории! — сострил преподаватель.

Студентам шутки понравились, а Витя Окунек получил прозвище на курсе — пирог с осетриной...

В мартене я работал по скользящему графику, и выходные дни мои скользили, поэтому я мог иногда завернуть с Витей на лекцию в пединститут и добровольно ума набрать. Никто меня не теснил, пожалуйста, расти культурно и образовывайся. А Витя донимал меня: «Покажи мартен!..» И я показал. Но к тому времени Витя Окунек сильнее зарумянился и не так от осетрины, как от сметаны.

Лицо Вити вроде нового белого бидона: чистое, блестящее и чуть сальное, но приятное и вымытое. Сытое лицо. Щеки чуть отвислые, полные и мягкие. Упитанные щеки. Схвати за них и потряси их бандит, Витя не скоро бы и дога-



дался: запас пухлости и ласкового равнодушия в щеках огромный. Что значит качественный продукт!

Щеки Вити книзу чуть подрасширились и бурдастили, наливаясь довольством, а лоб Вити наперекор щекам кверху зауживался и скучнел, лошадинообразный лоб... И жевал Витя долго, озираясь, громко жевал и страшно, особенно — колбасу или батон: у меня в общезитии заболтаемся, а есть Витя хотел поминутно. Тоже марксист, как папа его.

Витя Окунок ошивался у меня в общезитии и потому, что влюбился в Машу, комсомольского секретаря мартена. А Маша жила через комнату. Металлурги. Ого! Не какой-то педагогический институт и филологический факультет... Рабочий — тогда звучало! Не как сейчас: интеллигенцию заморили и рабочих заморили, а они и тузят: врач — слесаря, а слесарь — врача, а начальники пироги с осетриной, да макая в сметану, едят, как Витя.

Витя, рослый и толстый, при быстром шаге пыхтит, а Маша тоненькая и звенящая на бегу. Интересные оба. Встречались они, позднее догадался я, и без меня. Маша с Витей на «ты», и Витя на «ты» с Машей. Но Витя солидный, торжественный и задумчивый, но задумчивый не от желания поесть, а мудрый мужик. Основательный. А основательному и пища нужна не испорченная, а калорийная. Зато сунут нам, сталеварам, камбалы? Правда, ныне и камбала — деликатес.

И решили мы с Машей показать Вите мартен и грозные краны, на которых я работаю. Мартен, краны, рабочий — великолепно! А ныне — бизнесмен, менеджер, клерк, киллер, у!.. Решили с Машей показать Вите мартен и в ясный день августа очутились за проходной завода. У цеха тебя никто не минует. Заметив, здоровкается и непременно словом замечательным угостит. Судьба мартеновца внезапней судьбы летчика. У летчика — парашют, а у мартеновца — воля и сметка.

Идем. И нас, меня, Витю и Машу, опережает Володя, кудрявый, крепкий, Есенин и Есенин, зачесом и осанкой, Володя Руднев, уральская коренная фамилия. Опавший, мрачный, пронзительный и удаляющийся. Маша уронила фразу: «Не везет парню, жена за третьего примерилась, а он предан ей, и выпустить ее сил у него не хватает. Погибнет. Прямой и непокорный, таким везде плохо!»



Маша одета в обычный спецхалатик и красную косыночку. Я в темных брюках и темной рубашке. Витя Окурек — важный и нарядный. Не предупредили... Модельные туфли. Модный пиджак в полоску, и белые, как на Сергее Владимировиче Михалкове в президиуме, штаны... Индюк пижонистый, но в мартене и он обтешется. Идем и радуемся.

Едва мы отворили главный пролет, на нас обрушился резкий паровозный гудок, обжигая и забивая уши. Тени людей прыгали, кувыркались, кидались в пламя и отпрянывали в сторону. Аварийная сирена ревела и траурно захлебывалась, прерывая рыдания на диком, уничтожающем душу, визге. «Беда!» И Маша преградила нам трап шлагбаумчиком, исчезнув среди грохота, крика и стога.

Мартен, мартен! Сколько багряных буйных зорь метнул ты в давние уральские просторы? Вздохнешь, двинешь могучей грудью — застучат в четыре конца планеты по рельсам чугунные составы, взреет красный ветер железа и заклокочет во глубине чрева твоего, мартен, рыжая буря, вулкан гнева и сокрушающей стихии: сталь кипит, камень трескается, гранит плачет, а тебе и покоя нету.

Опуцу веки: мартен, тяжелые воины в тяжелых латах тяжелыми копьями выгоняют красного зверя из красного пылающего моря. Гонят, а он щетинится, рычит и нападает. Вот он, мятежней зари, косматей урагана, на дыбки, на задние лапы осел, прижался и вытолкнул бессмысленные черные армии, вломившиеся к нам до Волги... Огонь, огонь, никто тебя не обуздает, кроме народа, а Родина тебе — мать!

Володя Руднев опередил нас. Очутившись на крутой эстакаде над ковшом, фонтанирующим брызгами, тысячеградусными каплями, золотыми, опасными шмелями, и, поймав ноздрями ворочающееся бульканье дна, Володя, словно в синий омут, нырнул и встал, и покачнулся на пламенной зыби ковша. Человек не вспыхивает на штормящем железе. Тает. И Володя таял, восковой, подкашивался и превращался в горстку пепла, в прах.

Есть негласный закон у мартеновцев: плавку, где погиб сталевар, не разливать по формам. Ее вывозят за цех и она лиловет, сизовет, темнеет и покрывается красной ржавью. Кровь на железе застывает и шороховато звенит под дождем.



ми и метелями, пока не обовьет ее конопля, ольховник и хмель-трава...

\* \* \*

Появилась Маша, нервная и больная: «Лучше бы я, я, я... У него же ребенок, Володя Руднев тоже... Эх!..» И она помахала кулаком, стиснутым и чумазым... «А Витя, Витя Онунек?.. Ну как же ты не присмотрел за ним, хозяин?» Мы принялись шарить. На эстакаде его не оказалось. На полотне — пусто. На площадке — толпа, но его нет. За цехом — нет.

Я забеспокоился и приготовился к худшему, нежели к банальной пропаже. И вдруг Маша оповестила: «Вот он, вот он, в бочке из-под мазута застрял и что-то из кармана вытаскивает, платочком вытирает и ест, испачкал, наверно?..» Действительно, Витя поедал свежую редиску, купленную им в миг нашего прохождения мимо буфета...

А в мазутную бочку Витя попал случайно. Во тьме, свергнувшейся за аварией, ему померещилась в бочке вода, а не смесь, погружаясь в нее, он «спасался» от взбесившегося жара, но вода — мазутная. И Витя вылез не в белых михалковских президиумных штанах, а в скользких, обтянутых на ляжках импортных лосинах, как их девчонки теперешние именуют. Жар не достиг до бочки — вспыхнул бы гость... Нефтяной океан не переплывешь и горсткой пепла в нем не удержишься.

Витя, грязный, потный, нечесанный, жевал и озирался, жевал и озирался, как будто во рту каталась и хрустела не редиска, а севрюжий вкусный бок. Маша, я отчетливо уловил, с неприязнью одернула Витю:

— В момент гибели человека не все должны так победоносно есть!..

— А я и один ем, вы, значит, проголодались?..

Маша подскочила на цыпочках, еще подскочила на цыпочках:

— До завтра!..

Витя прекратил на секунду жевать:

— Она чокнутая, Сереж, Маркс ел рыбу, Маркс!.. А она шелушится от недоедания, как змеиная кожа, а все хорохорится, дура, да?.. Кокетлива пролетарка, да?..

— Да! — поддержал я Витю.

И Витя зажевал свежую редиску более свободно.



Через неделю или через месяц, не помню, мы в литературном кружке пединститута встретились. Я, Витя, Маша. Витя задибался и критиковал руководителя кружка, поэта и преподавателя философии.

— Вы не знаете... Блок умер с голоду... Нечего есть было... С голоду... А вы — Революция... Безверье... Потрясение... Нечего есть было, нечего!..

Руководитель кружка, философ, факультетский поэт Асхаль Абдуллин, стусевался:

— Да, Блоку нужно было, как вы, бросить институт и устроиться заведующим кофе «Лакомка», так?..

— Блок не учился в пединституте...

— И кафе «Лакомка» не заведовал!.. — отпарировал поэт.

Возвращались из кружка мы потухшие. Я не знал о последних деталях Витиной биографии. А Витя надувался, важничал и скудел. Сентябрьские листья шумели над нами и, пестрея, стаями уносились, а где-то приникали к земле или к асфальту, давимые колесами грузовиков и подошвами идущих. Листья, листья. И мы — листья... Во мне шевельнулись и вскрикнули стихи Блока:

В легком сердце — страсть и беспечность,  
Словно с моря мне подан знак.  
Над бездонным провалом в вечность,  
Задыхаясь, летит рысак.

Снежный ветер, твоё дыханье,  
Опьяненные губы мои...  
Валентина, звезда, мечтанье!  
Как поют твои соловьи...

Страшен мир! Он для сердца тесен!  
В нем — твоих поцелуев бред,  
Легкий морок цыганских песен,  
Торопливый полет комет!

Маша выдернула свою талию из-под Витиной руки и неожиданно обняла меня, туго прильнув, смело поцеловала... Бросилась на тротуар и растворилась в сумерках. Витя и я



прикусили языки. Помолчали. Потоптались. И сердито уязвленные случаем, растворились вслед за бунтующей невестой.

Маша из общежития металлургов, как в омут нырнула, а Витю я перестал видеть. Вскоре я покинул Челябинск и оказался в Москве. Учеба в столице трудная и жизнь литератора не легче. Я позабыл Витю, завкафе и поэта, Асхалья Абдуллина. Лишь иногда вскинется передо мною огненный Володя Руднев, овеваемый красными всполохами железа, и я, содрогаясь, гашу память...

Но недавно побывал у меня тот руководитель кружка, философ и поэт Асхаль Абдуллин, старый и угнетенный перестройкой преподаватель, и поведал: оказывается, жена Володи Руднева тайно завязалась на сослуживцев Окунька. А Окуньком-то командовали свыше. Завязалась и спекуляцией увлеклась. Снабжалась через Витю: блатные жлобы заботились о ней, белыми и красными рыбинами, из Астрахани свежо привезенными, снабжали ее, загружая, и запускала их по рыночным ценам среди обворованных правительством и торгашами наивных металлургов, сжигающих вдохновение и статью у мартена.

С фарцовки рыбами жена Володи Руднева успешно переключилась на фарцовку анашой и марихуаной. И сама курением заразилась. До ребенка, до беременности, а при беременности и ребеночка заразила инвалидными недугами: то язык мальчик не убирает, то гугукает — не затормозить. С одной стороны Володе Рудневу — позор, а со второй стороны — трагедия. А Рудневы на Урале — потомственные сталевары: кто с ними готов авторитетом посоревноваться?..

Да, сейчас «переквалифицировались» многие: сталевар — кооператор, в ларьке пиво расфасовывает, а прокурор — учредитель картежной ассоциации: голых баб шприцем с медсестрами качественно отрезвляет. А тогда — ни за какие деньги профессию коренную человек не променял и не отдавал! Но — тогда...

И мы поздновато трезвеем. Лидеры заражались, как спидом, золотом и бриллиантами, ленинцы, а рабочие — анашой и марихуаной, а Володя Руднев горсточку пепла на зияющую плескучей красной вьюге оставил, горсточку черного пепла,





пронзительного и траурного, неожиданного и грозного, как вулкан, очнувшийся и заклокотавший в уральской ночи.

О, кто-то развеет эту черную горсть пролетарского священного остервенения, не иссякнет же она и не истечет в огненной буре? Metallургов-то с почетом хоронили, а ее, зовущую и яростную горсть, как похоронить? Вот и затаилась она в глыбном искореженном железе, в скале железной, плачет и дремлет, кричит и замолкает, скованная холодной тяжестью, но до поры. А взреет — ужасомдохнет, и ничто, ничто ее не урезонит. А мазут — нефтяные озера на заводе, утки ошибаются: садут, а пробуют взлететь — спеленуты...

Советские пролетарии — надежные рабочие: не замыкаются в семейном быту, не копят средств и не стяжают незаконных сотенных бумаг на приречную дачу или на автомобиль «Запорожец». На дачу, стяжай, не стяжай, а не насобираешь, грести нужно, а знаменитый «Запорожец» приобрести — очередь длинна, тянется аж до пенсии.

И семейный круг не широко затянут. Кое-как родят дочурку, сыночка ли, и те лишние: с аванса и до полочки на лапше, а ежели ты попотчевал товарища — бюджет накрепил, свалишься на истощении, а поднять тебя, сознательного и чумазого, некому.

Володя Руднев на инженера обучался. Очи его широко светились. Чуб его кустом фуфырился, прозолотью осыпанный, а бело-морозные зубы его приветливо сверкали:

— Читал?..

Не торговал мой дед блинами,  
Не ваксил царских сапогов,  
Не пел с придворными дьячками,  
В князя не прыгал из хохлов,  
И не был беглым он солдатом  
Австрийских пудренных дружин,  
Так мне ли быть аристократом?  
Я, слава Богу, мещанин.

А черная пурга нефтяной гари и маргеновской острой пыли висела над городом, качалась, шевелилась и слепила живых. Смоговое море грузно и ползуче проламывалось под



палящим уральским солнцем, уничтожая душу стальным зноем и чугунной неподвижностью дня. Века пронеслись...

Пролетарии, сталевары и слесари, машинисты и электрики, счастливые и преданные Михаилу Сергеевичу Горбачеву, как вчера были преданными Леониду Ильичу Брежневу, шагали к цехам, вытуркиваясь из коммунальных тараканно-кухонных квартир, дабы Генеральный секретарь ЦК КПСС и Президент СССР приятно чувствовал себя в Форосе, мечтая на пляже ослобонить сразу все прогрессивное человечество. Космический царь...

Пальмы сытостью шелушились. Чайки жирно покрякивали. Синева, от горизонта до горизонта, звучала африканскими бубнами. Настоящие коммунисты, реалисты и романтики, они в мазутную бочку не полезут: вкус у них утонченный, марксистско-ленинский...

\* \* \*

Витя Окунек, мне рассказывали земляки, защитил диплом, но в должностях повышался по орсу, по торговой части. И, долго являясь генеральным директором группы уральских ресторанов, до того заматерел, что в сорок лет представлял собою копию, снятую искусным специалистом с отекшего Брежнева.

Шея не крутилась, а буксовала. Глаза — щелки. Сползли на них сальные брови. Подбородок, сальный, обрыдл и галстук под себя подмял. Щеки еще подраздались и замешковели, накачанные молдавским коньяком или водкой из Беловежской пущи, — разве я точно узнаю?.. Высокий, но короткий и разожравшийся, Витя забугрел, зашоколадился и перестал даже читать. А когда-то стихи сочинял!

Избирался новатором, агитатором, депутатом, делегатом, партийным гладиатором и узурпатором: уличал, выговаривал, исключал, довоспитывал, запуская в дело. Сослуживцы и сотрудники ненавидели его, трепетали перед ним. Образованный, литературный. Потомственный орсовец и уворотливый медведь, сам кушает, а сунься ты, лапой съездит.

Но нашелся какой-то рыцарь и переломил хребет Виктору Мироновичу Окуньку. За взятки, растрату, спекуляцию



и хищение Виктор был отовсюду снят и около восьми лет учительствовал в средней школе. Вел историю СССР и попутно кружок по марксизму, не литературный кружок, а именно — марксистский кружок и славные юношеские реанимировал дискуссии. Жена, Маша, отказалась от него. Отреклаась от алиментов, от его фамилии и оформила их сынишку на свою породу. Та Маша или не та Маша, как мне определить? Да и определять — бередить совесть... и затих, и затих Витя. Карась подо льдом, крокодил в иле, тарангул в песке... И пролежал, гад, до перестройки.

Перестроечный ливень вычистил ему рыло, штаны ополоснул, погонял его по спортивной дорожке и Виталий Миронович — прежний Витя. Стихи не сочиняет, зато статьи по газетам катит, да советует, да критикует, да требует: как новатор, агитатор, депутат, делегат, узурпатор и гладиатор. Кащей воскрес?.. Но в столице уронили Горбачева, и Виталий Миронович егозился невпопад.

В Кремле сидел дебил,  
Ворюга, супостат,  
А этот жрал и пил,  
И вот вам — результат:

Витюня Окунек,  
Бифштексовый поэт,  
Храбрится весь денек,  
А трусил тридцать лет.

Проходим тычет в нос,  
На мэра накричал.  
Хватил его понос,  
И лирик заскучал.

Вбежал он в туалет,  
Как в гавань скорый струг,  
Свободной лунки нет,  
И сердце — стук, стук, стук.  
Толкнул в плечо кацо,  
Пожатие — тиски...



---

Кровь бросилась в лицо,  
Дерьмо сползло в носки.

Да, русская земля  
Свирепее, чем лев:  
Тот выгнан из Кремля,  
А этот рвется в хлев.

Не торопись блеснуть,  
Коль надо отвечать  
За то, чтоб раз дриснуть  
И тридцать лет молчать!..

Молодым поэтам легко ерничать. Родители питают их вдоволь, и впереди у них — перспектива: ваучеризация, приватизация, капитализация, ассоциация и демократизация. А мы — колхоз. А мы — комбинат. А мы — инженеры... Менеджеры требуются России.

Но мое утешение — в прошлом. И неужели та — Маша? В обычном халатике, в красной косыночке шла она с Витей и со мною на завод. Невеста. Симпатичная и юная. Правда, грустная, грустная. А с чего и веселиться-то? Все мы — листья, сорванные с дерева огненным ветром.

## *Не могу молчать*

Пете Сысоеву шестьдесят семь лет. Когда ему было двадцать два, фамилию он выцарапал штыком на стене рейхстага — Сысоев... А на фронт ушел Петя Сысоев — две недели не хватило ему до восемнадцати, доброволец. Окончил семилетку. Работал в колхозе им. Берии трактористом. Колхоз — пятьдесят верст от Москвы. На болоте сидит. Ловлей бабочек занимается. Опытный — на специальный биологический институт продукцию поставляет. А другая часть населения пашет землю и сеет овес.

И до сих пор сеет. Бабочек ловить недавно перестали: вывелись. Болота сильно химикатами засыпали, не только бабочки, змеи и те в Аргентину уползи. А овес — замечательный. Раньше прямо Семену Буденному шел, теперь — по конюшням МВД, солдаты краснопогонные приезжают, забирают и будь здоров. Потому лошади у них отменные, интеллигентные и умные, как на экране наши политические комментаторы дурного движения не допустят, — хотя и не едят овес.

Петя имеет медаль «За победу над Германией» и орден — Александра Невского! Капитан Сысоев Петр Петрович награжден медалью по окончании войны, а орденом — за форсирование Днепра: быстро со своими ребятами через переправу на танках прогрозотали и — в бой с неприятелем!..

На руке рана, пулевая, на левой, зажила, Петр ее не слышит. Правая, царапнутая второй пулей, можно сказать — и не болела. Неделю повалился в госпитале при третьем ранении, серьезном: ребро выбило ударом о землю — по танку шарахнуло, а выползли из кабины, по ним шарахнуло и перенесло, живьем, на другой участок... Ничего.



Петя любит скорые движения, но трактор постепенно забросил. На пенсии. Жену любит, Полю. Поля тоже любит скорые движения. И все у них кипит. Детей, правда, нету, но ни он, ни она причин не знают, не желают узнавать. Петя считает виновным себя. Поля считает виновной себя. Оба — честные люди, труженики, а Бог волен — кого и как наказать или помиловать.

Петя у Поли башковитый. Книги покупает. Журналы выписывает. А газеты примется читать и: «Ну, сволочи, как же ж они врут, как же ж они врут, Поля? Пишут — каждый гражданин у нас имеет право на труд, на отдых, на образование и на лечение, а квартирами, дескать, вообще обеспечим в ближайшие месяцы досыта, отворачиваться начнут трудящиеся от квартир-то, фу, нечисть болтливая!..»

Поля гордилась: Петя опытный политический человек. Объяснит ей обман и обжуливание нас государством глубже и справедливее телевизорного говоруна. И складно. Подруги Поле завидуют — муж обкомистый такой у нее! Приглашай его на трибуну или на экран. Но по экрану ползают ссутулившиеся дикторши, на 7 ноября напарикмахерятся и задирают то нос, то ноги, то платье выше кривых колен поддерживают, как гулящие женщины...

Поля и сама умеет прифасониться, но для Пети. Откровенно если, да, за Полей ухаживали, пытались ухаживать, но Поля их брила и они остывали. Васька, главный электрик коровьей фермы, ухаживал. Вечером, зимою, Поля выйдет из ворот фермы, а Васька ей мигает, мигает лампочками, вкрученными в коровьи секции и на распределительном щите скотного двора горящие.

Ухаживал за Полей и председатель, в их отделение животноводческое наезжая с шофером на легковушке. Поля русая, русая, худенькая и застенчиво живая. А председатель тучный, поднять на задние ноги — боров и боров, лишь не хрюкает, молчаливый и диплом агронома при нем.

Поля отшила и Васю, отшила и председателя. Вася напился однажды и обиделся: «Я, Поля, ничего плохого тебе не желал причинить!» А председатель премию Поле выписал



за стойкость характера и трудовое отличие и огласил приказ на общем собрании доярок.

И так и сяк суди, а Петя — единственный. Сурьезный. На тракторе, прежде-то, пашет, а державу насквозь видит и руководителям ее оценку свою дает, а не повторяет, как по-пугай: «Спасибо Леониду Ильичу Брежневу!..» Нет, Петя самостоятельный мужик, и, допустим, еще разочек Поле пришлось бы выйти замуж — только за Петю, и свадьбу сыграли бы они лучше первой, вот и думай о любви: любовь — штука хитрая!..

Поля, когда Петя философствовал, могла и кинуться на шею мужу: глаза у Пети загорались, лицо маненько бледнело, как в юности, в минуту целования Петей Полю — страдание и смущение, а это как раз и нравится воспитанным женщинам. Поля сама стеснялась, не зная чего, а приспеет раздеваться при Петре — поживается, девчонка и девчонка.

Годы прокружились, просверкали, всполохами отшумели, позвенивая тонюсенькими крылышками, ах, бабочки!.. День, бывало, зазастят собою, трепещут, вьются, искрами рассыпаются в синеве русской, а набежит гром и ливень смочит их, да так смочит — ничего от них не остается: жди рождения новых бабочек, менее красивых или более прекрасных, кто ответит? Природа.

Кто ответит, если смыло русские деревни смертельным ливнем пухля и снарядов? Кто — ответит, если те, кто отвечать должен, лежат под обелисками в могилах массовых? А ведь они-то и ответили бы: судили бы сукиных сынов, потешающих Россию войнами и войнами, сражениями и сражениями, битвами и битвами, могилами и могилами.

Поседел Петя. Уронится весь на плечо Поле, и коротают они вечер на крылечке. А от ихнего крылечка до соседнего крылечка — пустыри да пустыри, лишь яблони да смородники над рытвинами гнутя: дома разорены и увезены в неизвестном направлении, русские крестьяне и ныне еще бегут из родимых дворов. Энергия раскулачивания и раскрестьянивания практически необратима, смывает и уносит избы, как ливень смывает и уносит бабочек, навечно. Ежов даже



смыт: заменила на Берию, но и Лаврентий Павлович смыт. А разве деревни не смоют?

— Поль, — спрашивает Петя, — пишут, и революция зря осуществилась, и колхозы зря, и расстрелы зря, и победа в Берлине зря, и кукуруза с химизацией зря, и бабочек упаковывали зря, а не зря что? Что, Поля, не зря? Царь не зря? А за каким чертом свергли?

Уронит седину Петя и гнется ниже яблони надо рвом, печальнее черного куста смородинника, а Поля и обворожить его свежей жизнью рада бы, да не получается у нее: вот-вот разревется и поникнет. Если двое русских вместе — жалобам и печалям не уняться, так выгвоздили и так наиздевались над русскими душами православными корифеи бесовые.

Поля поднимала за седой чуб Петю и смело чмокала:

— У ты, герой мой!..

Поля высоко ценила таланты мужа. Трактор у него, как их кот Вася, урчит и урчит, бывало, вдоль полосы березовой. Принесет Поля Петру ватрушку и чай в термосе, Петя поест, чмокнет Полю, и опять заурчит до вечера трактор. Поженились Петя с Полей, откровенно заметить, до армии, но чуть призадержались и в точку попали: вернулся Петя, брак подтвердили. И много лет их пугало слово «брак», но закон есть закон, слава тебе, Господи, не до конца его нарушили... Чуть, чуть, украдкою...

А вернулся Петя, сама убедилась Поля, еще одареннее: философом. Замкнулся и никому ни слова. Одна Поля вольной голубкой летает в необъятных раздумьях мужа. И — плачет. Плачет, как маленькая. Да и стерпеть, не заплакать, грешно. На праздники Победы Петю в колонне демонстрантов, участников боев за рейхстаг, в пример ставили, на трибуне, за отличную работу на тракторе, в пример ставили, уважало начальство. А дома Петя куксился и мемуарно раскисал.

Вот, говорит, представь, Поля, берем за Курском, с марша деревушку Иванкино, а за нею — холм, на холме обелиск, не обелиск, а белая доска над братской могилой. Считаю: де-





сять, двадцать, тридцать и далее фамилий, и вдруг — Сысоев Сергей Петрович, Московская, значит, область, брат мой, значит, годочком постарше, Поля, а? Лежит, значит, тут, значит, притулился. Ну, Поля, ты же узнала бы его? Поля кивала головою: «А как же, Петя?»

А Петя вел к более тяжелому факту: — Ну, вынул я сухарик из сумки — пусть птички курские поклюют у могилки, пусть брат мой, Сережа, припомнит, как бабочек мы ловили на болоте и сдавали приемщику. Шлем скинул, взмахнул — и в дорогу. По дороге несколько раз в драку с немцами встречали, но катили вперед и вперед.

Поля, сложив пухленькие ладошки на груди пирамидкой, охала и помогала Петру мысль развивать. А Петр не пу-тался, вел мысль строго, от примера к примеру. Говорит:

— На бетонной трассе, за Варшавой, уже по Германии, гудит Европа, идем. Перекурить некогда. В наушник голос командира: «Сысоев, не мешкай, подтяни орлов, гвардейцев!..» Подтягиваю, разрешение получаю на перекур. Выскакиваем из люков. И, Поля, ну, скажи, что мне делать — могила. Холм, а на холме белая доска над могилой. Боюсь, но иду.

Трое зарыто. До смерти заучил: Сысоев А. А., Сысоев В. Г., Сысоев П. Л., отец мой... Ну, скажи, Поля, ты ведь узнала бы его? А те Сысоевы — братья двоюродные отцовы, их и вы-звали на фронт в один день, а жили они в соседнем колхозе и тоже сеяли овес, но для Клим Ворошилова, для неударжи-мой Красной конницы... Ну, как быть мне, Поля? А меньшей наш братик, с двадцать шестого года рождения, так и зате-рялся на тракте Москва — Берлин. Без вести затерялся, но сердце-то чует, Поля, что и у его могилки мы вылезали из люков, только, наверно, ночью. А, Поля?..

Поля, опять сложив пухленькие ладошки на груди пира-мидкой, охала и помогала Петру мысль развивать. А Петя, как будто снова ранили его, хватал губами воздух:

— Конечно, Поля, матери у меня нет, одной тебе дове-ряю — в слезах и злобе иной раз входили мы в здание танка-ми с одной стороны, а выходили под кирпичами и обломка-



ми с другой стороны, ворочая и подминая!.. Но что делать, вся Россия лежит на трассе Москва — Берлин, вся Россия, что делать? Не могу молчать.

И Петя гнал наизусть:

Зачем рассказывать о том  
Солдату на войне,  
Какой был сад, какой был дом  
В родимой стороне?  
Зачем? Иные говорят,  
Что нынче за войной,  
Он позабыл, давно, солдат,  
Семью и дом родной;  
Он ко всему давно привык,  
Войною научен,  
Он и тому, что он в живых,  
Не верит нипочем.

Петя замолкал и тихо обращался к Поле:

— Не забыла, Поля, лет восемь назад, берлинцы у нас в колхозе гостили, а мы с тобою у них в Берлине гостили? И у хозяйки, Берты, два брата и отец на трассе Берлин — Москва без вести пропали. Ну кто нас, Поля, друг на друга кинул? Кто нас послал, Поля? Неужели только Сталин с Гитлером не поладили — и началось?.. А письмо от Берты? «Разделили стеной, а сейчас ее сломали и соединили нас, а мы потеряли работу, а мужа каждое утро допрашивают — служил ли он в советской разведке?» Письмо Берта передала со знакомой, прямо послать заробела. Ну что это?

Поля слушала. Петя философствовал:

— А ведь никто из них, кто за нас все решил, не воевал, никто. Мы — воюй, а они — решают, как нам полезнее, тьфу. Довоевались...

Петя выпивал рюмочку самогона, окрашенного дубовой корою под коньяк, желал Поле здоровья и счастья, чмокал ее и долго смотрел на бабочек, приколотых к фанере иголками, еще до войны, еще вместе с братьями они ловили их, веселых и шустрых.



---

Из низенькой и простецкой избы в окно виднелось древнее поле. Зеленые волны тугого овса забегали под крыльцо и убегали, шумя, до горизонта, до странной боли в душе... Вечером в экран телевизора вторгался бульдожьей осанки артист и прокуренным басом угрожал:

Мой адрес  
Не дом и не улица,  
Мой адрес —  
Советский Союз!..

— У, — подбегал к бульдогу Петя, — у, мошенник, ловил бы ты лучше бабочек на болоте и накалывал их на фанеру!..

1990

## *Столичный мошенник*

Оглохла русская земля. Деревни в себя ушли — вросли в песок и в глину. А те, что пока возвышаются полуразрушенными избами за ухабной колеєю, те не деревни и не дачи, те — навесы для сезонных хозяев. Насадят луку и картошки, разворочают грядки в огороде и пропадут. Это весной. А осенью объявятся. Опять разворочают и сгинут.

Ходит по такой брошенной деревне бабушка Пелагея, вздыхает мимо чужих калиток, закрытых замком, суровым, городским:

«Тута Пронины жили!.. Тута Дарюгины жили!.. Тута Галкины жили!.. Тута Комаровы жили!..»

Пелагея в сапогах, охотничьих, с длинными закатанными голенищами. В куртке, летчитской, начальственного покроя. И в шлеме с наушниками. Под курткой гимнастерка. Амуницию, воздушнодесантскую Пелагее подарил отставной капитан Сережа. Сергей Васильевич. Русский, молодой, добрый, на сына Пелагеи похожий, погибшего в Сталинграде командира истребителя, Сергея.

Зиму Пелагея одолела: ни разу не загрипповала, ни разу не поскользнулась, нося от колодца ведра с водой, себя содержать, козу поить, кур питать, ни разу. Ни разу и вьюга не замела ее окраинный домишко, присевший за бугром перед околицей, низкий, хилый и напуганный. Еще бы?

Из ста дворов осталось тринадцать. А он, тринадцатый, несчастливый. Трактор притарахтит — сковырнет. Теперь демократия: председатель продаст — и не пикнешь, приватизация же. А коли приватизация — хапай, ежели деньгу имеешь, хапай!..



Бабушка Пелагея и пробирается под оконными тропками, глядит — не заприватизировал ли кто очередной участок себе на ее разоренной улице. Не позарился ли кто на ее дворик, живой курами, козю и петухом Афанасием, разбойником, бросающимся на незнакомых и клюющий их неостановимо. И кот, пегий плут, петуху помогает.

За пустую и снежную зиму бабушка Пелагея дичает. Коза дичает. Петух на кур орет. Кот бегаёт за семь километров на чужой хутор к молоденькой кошечке. Его уже и ловили, и лупили, и лапу ему ломали, и хвост ему прищемляли — бегаёт. Однажды и ее привел к Пелагее в гости. Ну, киса. Мяучит. Фыркает. То да се, а есть ничего не желает: пища у Пелагеи какая? Хлеб. Супик. Чаек. А она, догадалась Пелагея, из председательского дома, сытая. Эка гадость. Фыркнула — бросила кота. Но — помирились. Злобы-то не таят друг к дружке.

Бабушка Пелагея простукала батожком каждую калитку — не открыта ли — и вернулась под родимую крышу. Кот урчит, встречая ее. Коза веселится, блеет и копытцами о пороги брякает. Куры шебутятся. Петух звон создает — голосина, как у честного дореволюционного попа: густой, мощный, басистый. Пелагея помнит их, священников старой выучки, хоронила их, на себе возила на санках, на дровнях, когда как.

Пелагея не нарадуется — зима кончилась. Пусть не лютая, а зима была. Снегом не заносило избу. Но морозы ударили внезапно и грозно — щель образовалась в красном углу, под иконой, жутковато Пелагее смотреть: иней серебрится, холод седой дышит смертью, а бабушка Пелагея одна. Никого в деревне Пасынки. И название-то деревни — Пасынки. Пасынки мы и есть, подумает Пелагея, кормя утром кота, петуха, кур, козу, пасынки!..

Но угол треснул — не к добру. Слышит бабушка, приемник-балабон у нее на столе, самолеты ревут: Буш бомбить в январе арабов начал, Хусейна. Бомбит и бомбит, бомбит и бомбит. Наверно, арабам хуже, чем бабушке. Одиноко, но не под огнем Пелагея, а там — нефть горит, кирпичи на голову сыплются, пустыня пылит, полная тьма. И дети плачут. Курды гибнут. А Буш с Хусейном враждуют.



Трубы с газом клали, про бабушку Пелагею забыли — кому нужен ее домик, где всего-то: кот Григорий, петух Афанасий, куры да коза? Трубы с газом кладут городам, поселкам, председателям, как их, Заде!.. Абай Заде — председатель колхоза, но Пелагея не встречала его. Заде теперь куда ни кинь, Заде, Заде и Заде. Кошечка — родственница Заде, богато того человека, председателя, а Григория обожает, тварь, а самостоятельная.

И в соседнем колхозе председатель — Заде. Беженцы с Кавказа спускаются — к Заде. Заде разные, а беженцев с Кавказа и Азии устраивают на голых русских усадьбах, заросших бурьяном, правда. Русских-то побили на войнах, в тюрьмах угробили, водкой отравили, а Заде едут: получай участок, резвись на огурцах и помидорах!

Русские-то беженцы не беспокоят Заде — зря чего беспокоить? Ни клочка не дадут. Да и денег, купить, у русских не найдешь днем с огнем. Деньги у Заде. Согнали русский народ с земли, выпотрошили из русских до копейки все, что могли выпотрошить, и давай предлагать им:

- Приобретай детсадик!..
- Покупай мастерскую!..
- Разводи кроликов!..
- Виллу заказывай!..

Ну и ну! От монголов русский народ отбил. От шведов русский народ отбил. Отбил и от грозных тевтонов. А вот от Заде не отобьется. Заде сам едет и десятерых задедочек везет: жены у них не через девять месяцев родят, а слыхала Пелагея, ускоренным способом, родят через три-четыре месяца, и ребятишки вскрикивают по-русски:

- Привет реформам!..
- Привет реформам!..

Перестройка, Пелагея поняла, доконает русский народ до точки и Россию передаст в наследство Заде.

Январь в России — жесткий месяц: калитку завалило сугробом, придвинуло ком целый, Пелагея тыкала, тыкала затупленную лопатой, а сугроб оледенел на морозе, лопата звенит, и сугроб звенит, а калитка запечатана, и через забор



не перескочить бабушке на свободу. Иззяблась Пелагея без толку и бросила мероприятие, в избу удалилась.

А в избе невыключенный телевизор, мигает и мигает, прорва останкинская, и на экране круглощекий генерал сидит. Разинет рот — щеки гремят, как два будильника, с вечера там заведенные. Противный. Вот Сережа, Сергей Васильевич, капитан, подаривший ей амуницию, парень — совестливый, и ее Сережа, да, тоже Васильевич, тоже — совестливый, а почему же генерал начальник?

А генерал, поплескивая омедаленными лацканами кителя, уstraщал Саддама Хусейна: «Пять тысяч пушек, три тысячи танков, восемьсот истребителей, две тысячи ракет, около шести тысяч бронетранспортеров, но данные уточняются и уточняются!..» — ликовал будильникомордый генерал.

И Пелагея возмутилась. Имей она телефонную связь — набрала бы номер генерала, а имей она связь стратегическую — в секунду озрачила бы неизвестного полководца. И заявила бы Пелагея следующее: «Ты генерал, ты заслуженный командир. Ты и учился, поди, только на пятерки, как в гимназии Владимир Ильич Ленин, но с чего ты, с лиха, с обалденного успеха ли, сорить мотнею и чешешь грамотный язык о чужую броню, чужие колеса, чужие бомбы, чужую кровь? Эх, генерал ты, генерал, а разве я благополучнее ветхой арабки, на которую сейчас Буш и ты целите взрывы?..»

Молчалива бабушка Пелагея. Никого она не укоряла, никого не виноватила за судьбу собственную, а тут, здесь, сейчас у нее заклинилась под усталым сердцем боль: «Эх, генерал ты, генерал, сынок ты дурной, подсчитал бы ты лопаты мои сугробные, сколько я их приподняла, а сугроб невредим и калитка моя в мир запечатана, так и не встретимся мы с тобою!»

И захотелось бабушке Пелагее отыскать в столе мучную скалку, найти и треснуть ею генерала по босому лбу. Но смекнула Пелагея: «На экране генерал не настоящий, манекенный, включают его и выключат, а он и не догадается!..»

Пелагея к вражде царей привыкла. Ленин с Троцким враждовал. Сталин — с Гитлером враждовал, Хрущев со Ста-



линым сильно враждовал. А Хрущева даже у Кремля похоронить не пустили, мертвого-то. Отдельно похоронили вождя. Брежнев с ним враждовал. Дети, говорят, слышала Пелагея, пили, а он, несчастный, из-за них государство уронил.

Зимой грустно, скучно бабушке. Одна, затерянная за трассами и за эстакадами, за березовыми колками, за белыми холмиками, одна. Москва лишь в приемнике гудит. А за калиткой — нетронутый свежий снег и белый ветер. Как одежда покойника, трепещет и думы навевает. Белый, белый ветер, куда ты летишь?..

Муж Василий к Пелагее во сне стучится — осторожно, без нажима на дверь, виноват вроде: одну оставил мыкать горе, а сын, Сергей, летчик, стучится настойчивей, словно проголодался и к мамке рвется, герой глазастый. Бабушка сожмется в постельке, прикинется к подушке и молчит, и молчит, а слезы совсем сдавят ей горло, ни вскрикнуть и ни подняться. Эх, зима, зима, метешь ты и воешь, пронесишься ты по белым просторам русским, а успокоиться нигде не можешь, всюду — сиротство, всюду разорение и скорбь!..

Пелагея никому не причинила и малой неприятности. Характер у бабушки ласковый, а берет она для себя в мире — крошки, только б существовать и солнышко чувствовать. Но и такую, добрую, тихую, Пелагею обижают. Обижают войнами. Обижают несправедливостью, когда верховные жрецы речи молотят. Обижают ценами, когда взвинчивают их, и Пелагея хмурится, но не просит Бога наказывать грешников. Бог сам знает, кого щелкнуть. Бога не проведешь.

Залез как-то к бабушке заблудший вор, столичный экстермист, пожалуй, и — хватить петуха. А в это время кот со свидания возвращался, карабкаясь под стреху, а по перекладине намечал опуститься к двери. Но Афанасий как заорет, как взмахнет крыльями, кот, не ожидая подвоха, и прыгнул с перекладины на голову грабителю, и тоже как заорет Григорий-то, как на макушке грабителя вертанется, как лапами вцепится — столичный мошенник, взбаламутя козу и кур, высигнул со двора, Пелагея и приметить не успела ни одежды, ни лица, ни голоса. Осень стояла теплая, звездная. Тень





скользнула мимо окна и пропала. Кто лез? Размышляет Пелагея: «Вот Буш в Ирак вломился. Мой вор убежал — кот и петуха струсил. А Буш не боится Хусейна. Армию держит в пустыне и народ мутит. Передрались. Перестрелялись люди, близкие, знакомые, а?» Пелагея опять включает телевизор. Опять вздыхает: «Сережа, тезка моего убитого сынка, амуницию подарил, а Буш расстреливает пустыню, а в пустыне-то люди живут. Танки послал. Пушки прикатил. Ракеты нацелил. Сколько же можно?..»

Бабушка Пелагея горько крестится:

— И сам заболел, ритмия какая-то на него накидывается, ритмия!..

1986—1993

## *Валет и Акулина*

Если у тебя детство деревенское — счастливый. Деревенское детство — не только луга и речушки, пескари и рябины, деревенское детство — кони, журавли, а у нас, на Урале, медведи, лебеди. Господи, сказка древняя!.. И никуда ты от нее не денешься. Взрослому тебе то родная курица приснится, то собака, то бугай, Валет, басивший на весь колхоз, как сильный и грозный пьяница.

Валет у нас был — хозяин деревни. Он идет по улице — куры в разные стороны, повизгивая, как бабы, текут и за воротами еще долго, долго не успокаиваются. А маленькие собачки, добродушные и пушистые, мячиками вкатываются с перепуга на крыльцо и, трясясь и завывая, лают заочно на бугая, будто проклятья посылают ему, широкомордому и властному. Бабка Акулина в окошко высовывается — стыдит быка:

— Эж, злодей, вымахал и радуешься, горлопан советский!..

— М-м-м! — дышит Валет...

Поворачивает тяжелую морду в сторону окошка, на Акулину, и чуть делает вперед движение. Бабка трижды осеняет бугая честнейшим перстом и опять:

— Фулиган, партийный хам!..

— И-м-м! — возмущается бугай и еще делает вперед ленивое движение.

Акулина смывается с подоконника и, быстро, быстро крестясь, занимает позицию возле ступенек на огромную печь. В случае, мыслит Акулина, нападения Валета на нее она залезет на печь, изба пропадай, но печь бугая, лопни, а не сокрушить.



Любопытный был Валет. Янзак, наш кузнец, работает, мехи качает, а бугаина пялит zenки через решетку в кузню. Мороз по коже... Ведь — зверюга, хоть колхозный, общественный, а паразит. Особо Валет ненавидел налогового агента, Исая Филимоновича, районного представителя. Один раз он загнал инспектора на радиостолб. А красный портфель с квитанциями раздавил и разорвал копытами в клочья. Инспектора сняли с радиостолба и повели в баню: тереть Исаю Филимоновича мочалкой и чесать веником, дабы измождение перетряса с него снять и привести его разум в точное соответствие с его державным положением на хуторе. Взжваривал инспектора отец. Инспектор ежился, ворочался!

— Александрыч, нельзя потише?

— Потише тебя жена попарит! — сердился отец.

— Александрыч, а нельзя похолоднее? — молил инспектор.

— Не на севере, чать! — взжваривал отец и командовал: — Ну, на левый, говорю, на ле-евый!...

— Я и так на левом боку! — удивлялся Исай Филимоныч.

— А ты не хитри, ложись плотно!..

Инспектор замолкал, а приголенный веник ходил от затылка до узкой макушки Исаю Филимоновича и обратно. Инспектор кряхтел:

— А нельзя ли веничек посвежее, помягче?

— А где взять помягче-то? За колосок теперь судят, а за березу или за дуб и в тюрьму угодишь. Ты, чать, лучше нас про то знаешь, ложись, говорю, плотней на правый!.. — И отец ходил Исаю Филимоновича, ходил от пяток и до узкой макушки. Веник, как бы истовый балерун, выделявал выкрутасы и кренделя и с маху шлепал по налоговой спине.

А мы, ребяташки, брали под руки из бани крупного руководителя и сопровождали его до нашего дома передохнуть. Сопровождали — с курами, собаками, гурьбою в пятнадцать, двадцать озорников. Инспектор после того, как повисел на радиостолбе, потеплел, но бугая робел до перебоев сердца. И надо заметить: бугай, когда шла банная демонстрация к нашему дому во главе с Исаем Филимоновичем, не на-



брасывался. Сдерживали его колхозные массы — куры, собаки и мы...

Однако, встретясь оком с налоговым инспектором, Валет издавал ужасное «Ы-м-м!..» Инспектор бросался к радиостолбу, а мы окружали с палками и кнутами бугая. Валет поматывал башкой и степенно покидал улицу. Но, повторно, настиг-таки агента, Исая Филимоновича.

В Москве живя, всех вспомнишь, каждую дворнягу, а бугая подавно. Сами его избаловали и научили бодаться. Заласкали. Скотина — не уступит человеку: скоро испортится, лишь дай слабину. Испортился же у нас в деревне колхозный Валет. Когда рос — нежный и стговорчивый. Лоб кудрявый. Копыта высокие. Грудь гранитная. Позовешь: «Валет, Валет!» — и Валет трусцой за тобою, играет, помыкивает, бежит по улице. Ребятишки его нежили. Доярки, любя, подкармливали. Миновал год, другой, Валет вымахал в такого бугая, что при встречах с ним люди шарахались, и чем дальше затягивалось дело, тем опаснее становился Валет. Свобода.

Башка огромная. Лоб грязный. Без конца Валет роет копытами землю, самого себя забрасывает черными комьями. Ревет. Поначалу — импровизировал, а потом саданул под ягодицы Исая Филипповича и тот аж с мая месяца до праздника Октября не показывался крестьянам. Инвалиды шутили: «Вот изберем Валета председателем колхоза, никто с нас брать оброка не посмеет!..»

Но Валет не обращал внимания, куда его прочат. Утром покорно удалялся пасться вместе со стадом, а вечером торжественно шагал по улице один. Куры кудахтали и, роняя перья, улепетывали под сараи. Собаки до хрипа тявкали, но держались от Валета на точно проверенном расстоянии. Тузик, предводитель ивашлинских собак, верткий и крепкий, набросился на Валета, но Валет подхватил Тузика на рога и перебросил через высокий забор во двор Правления.

Члены правления высыпали с заседания и шумно обсуждали беду, но ничего решительного не предприняли, а Тузик отмолчался.

Сплетня в Ивашле хлопала калитками: «Исай Филимонович когда-то науськал Тузика на маленького бугайчика.



Валет вырос и перекинул Тузика через забор, а налогового агента собирается перекинуть».

Потому главные мысли инспектора крутились не возле налога, а возле радиостолба. Бериевец чертов!..

Через неделю Тузик выздоровел. Валета больше не трогал. А Валет продолжал реветь, рыть землю и распугивать ивашлинцев. До того распустился и обнаглел, безнаказанный — пристрастился посещать кузню и терроризировать кузнеца. А кузнец, благонравный башкир, Янзак хромал. Под Сталинградом его «припечтало» снарядом, с тех пор и с клюкой не расстается. Хромой — ладно, но и немой. Контузило Янзака и речь ему загородило. Бедный, устанет — молчит. Нервничает, подковывая лошадь — молчит. Заболеет — молчит. А, говорят, веселый, певун, общительный, да война погубила!..

Дружил Янзак с моим отцом. Отец тоже израненный. Может, это их и сблизало. Но Янзак и почти не слышал. Оглушило. А отец беседовал, слышал, играл на гармошке, лишь ему не рекомендовали брать в руки ножа, вилки, ружья, и от костылей не рекомендовали отшатываться — падает, бьется головою об пол, теряет сознание: потрафило — не отнято ощущение...

Иногда они и выпивали. Отец беседовал, Янзак молчал. Но стоило отцу развернуть гармошку, губы Янзака шевелились, он хрипел, помогал отцу выводить фронтовую:

Раскинулось море широко,  
И волны бушуют вдали,  
Товарищ, мы едем далеко,  
Все дальше от нашей земли.

— Интуиция! — качал отец головой в сторону Янзака. Янзак улыбался. Солдаты понимали, о чем речь... «Интуиция» — с фронта явилась на Ивашлу... Бабы считали: интуиция — боевая солдатская женщина и прощали мужьям грехи с ней. Война...

А Валет не унимался. Повадился к Янзаку. Ревет у дверей кузницы. Пытается втолкнуть морду в окно, но окно за-



решечено. Бугай упрямый. И Янзак упрямый, пугает бугая раскаленными щипцами.

Вот к Янзаку принесла запаять прохудившийся чайник бабушка Акулина. Прямая, худющая. Жердь, повязанная ситцевым красным платочком. Акулину на Ивашле уважали, отменно чествовали, если она, хватив рюмочку, топталась, подмигивая, по кругу и подпевала:

В колхоз пошла,  
Юбка новая.  
Из колхоза иду,  
Попа голая.

Янзак запаял чайник, проводил Акулину. За кузней — тихо. Валет, значит, убрел на базу. Но внезапно истошный крик насквозь пронизал даже Янзака... Оказывается, Валет дремал в ивах за овражком и, очнувшись, напал за бугорком на Акулину. Сухую и легонькую, Валет перекатывал бабушку с места на место, подпинывая мордой и мыча от восторга, и забавляясь. Акулина, наверно, давно потеряла сознание, выронила отремонтированный чайник и успела к себе, покойнице, привыкнуть. А Валет всхрапывал и копытами вжимал, вцеживал в песок несчастную красную косынку.

На миг кузнец забыл о клюке. Выхватил из горна клещи и, горячий, принял на себя свирепого зверя. Валет даже удивленно приободрился и, хищно помедлив, рухнул на кузнеца. Но укушенный шипящими клещами, отпрянул, замотал башкою, вышвырнул из-под копыт рыжие вспышки пыли и вновь обрушился на кузнеца. Пятясь, покалывая в ноздри лютого дурака раскаленными клещами, Янзак отступал, по-солдатски, к дверям кузни, а обезумевший бугай преследовал его, то нарываясь на уколы, то отскакивая от них.

Тем временем бабушка Акулина околемалась, надумала спастись — не получилось. Она доползла до чайника, туго прижала его к сухим соскам и принялась всерьез умирать. А кузнец отступал и отступал к дверям, заманивая врага, не попадая ему на удочку, под копыта, или для ловкого переброса рогами. В кузню Валет не успел вломиться. Янзак ар-



тистично ее закрыл и, напоследок, через окно, ухитрился дернуть все еще пылающими клещами бугая за правую ноздрю. Бугай взревел и саданул мордой в привычное окошко. Кузнец прыгнул к решетке и жестоко плюнул в нахала.

Бабушку Акулину отправили в больницу. А у Янзак днями нога разогнулась и согнулась, разогнулась и согнулась. Ключку оставил, о чем-то закалял и чего-то услышал. Правление Ивашлы на коллективе обязало отца застрелить из ружья Валета. Начались приготовления.

Неделю отец и кузнец мастерски отливали и шлифовали внушительную свинцовую пулю. Точили, примеряли в патроне. Примеряли и согласовывали планы. Патрон защелкивали в стволе. Вынимали. Опять точили пулю, шлифовали — на смерть бандиту и уголовнику. И приехал из района налоговый инспектор, щуплый, с паучьими серебристыми усами, с медалью «За отвагу» на лацкане серого пиджака и сам серый. Седой. Сапоги серые. И сигареты-то курит серые. И дым изо рта пускает серой струйкой. Исай Филимонович.

Октябрьский праздник — на пороге. Бугая, протокол есть, проголосовали пожертвовать на благо трудящихся. Загвоздка — удержит ли отец ружье? Не свалится ли в нервном приступе? Но ружье перед сражением отец повертел в руках. Патрон показал на ладонях. Да и бог милостив, идет отец на праведный бой, а не на грешную забаву. Кампания, отец, кузнец, инспектор, тронулась, собирая по улице убежденных сторонников приговора.

Мальчишки свистят, улюлюкают. Бабы тараторят, обмениваются новостями, старики елзают, возбужденные баталией.

Собаки мстительно спешат за толпой. Но Тузик — отказался. Куры пугливо помалкивают. Осень. Побрызгивает простоволосый дождик. На школе и на правлении колхоза реют красные флаги, раздражающие бугая. Над крышей правления плакат — белым по красному коленкору: «Вся власть советам!» Не оправдаться Валету.

Фронтвики, отец, Янзак, инспектор. С ходу заняли пост у стены фермы, напротив бугая, и подманивают Валета, подманивают — кто хлебной крошкой, кто пучком травки. Бу-



гай колыхался и колебался. Жалобно пытался мыкнуть, как в детстве. Но что-то кольнуло его в самолюбие. Раздался грозный рев. Бурая навозная масса взвилась из-под копыт. Тряхнул рогами и вскинул их. И — грянул выстрел! Валет накренился, подломился и вяло обвалился, тушей обвалился и затих.

На другой день, в самый разгар гулянки, бабушку Акулину ввели к нам. За погибших подняли. За живых подняли. За Победу — подняли. Но, хватив с дороги, Акулина взвеела красную косынку и запела, шепча на лавке:

В колхоз пошла  
Юбка новая,  
Из колхоза иду..

Покосилась на Исаю Филимоновича:

Из колхоза иду-у,  
Из колхоза и-и-ду-у!..

«Попа голая!» — подморгнул ей инспектор.

Дом наш наполнился хохотом и откровением. Но Акулина метнула дерзко в инспектора: «В тылу, на радиостолбе, отсиделся, меня и Валета загубил, черт!..» Инспектор, жующий кусок мяса, поперхнулся, а в распрю не встрял.

Дальше — замелькали по Уралу вьюги. Нахлынули снега. Свежие, белые, лебединые.

И как не вспомнить в Москве мою Ивашлу? Луна стояла долго, долго зимою — над домами, над речушкой и косогором, над кладбищем, вросшим в косогор и слившимся с ним: летом — цветами, травой и черемушником, зимою — летучими вихрями и сверкавшими печальными сугробами. Три братика моих на кладбище лежат. Дедушки и прадедушки с бабушками и прабабушками здесь похоронены. Века звенела речка Ивашла и притомилась. И хутор мой, Ивашла, века пахал, сеял, жал, воевать не отказывался за Россию, возвращался, оплакивал сыновей и снова жил, но не выдержал и раторился, исчез. Да и выдержать как?





Обновите-ка в памяти таблицу:

В год — 100 штук яиц.

В год — восемь килограммов шерсти.

В год — триста килограммов картошки.

В год — девять килограммов масла.

В год — девяносто семь килограммов мяса.

В год — одну тонну желудей.

В год — сто литров березового соку. И т. д. И т. д.

Кто выдержит? Мама моя восьмерых родила, да бабушка с дедушкой, да отец-инвалид, семья? А налоги — плати: инспектор быка побаивался, а нас — нет. И угощать инспектора приходилось, авось немножко сбавит не мяса, так уральской картошки? Угостим — и радостно голодаем, а он и дерет, добрей и добрей...

И обижаться или презирать инспектора, как презирал его Валет, у меня нет оснований. Сколько их, бугаев, от Ивашлы и до Кремля? Землю копытами разбросали, Россию размяли и нас на рогах разломали, распотрошили, как инспекторский портфельчик... Попробуй их тронь, «Ы-м-м!..». Ивашлинский Валет — наивный...

Сбежал я в Челябинск, на завод. И родителей вывез. А от туда — в Москву перекочевал. Долго ли? Вся Россия кочует... Янзак помер. И бабка Акулина померла. Инспектор застрелился, Ивашла отдавала и отдавала избы свои прожорливым городам. Одичала и заросла крапивой. Заросла, а меня пуще тоска донимает. Засуетился я.

А друг, писатель, Юрий Пшонкин: «Валь, покажи родину!..»

В Уфу прилетели. Земляки, Александр Филиппов и Денис Буляков, присоединились. Люди известные в стране. И у них — родина, кажется, тоже почти опустела. Страна у нас есть, а родины ни у кого нету...

Проскочили верст четыреста по тракту. У обочины девочка в красном сарафане. Рядом телок. Вылез я из автомобиля:

— Как тебя зовут?

— Акулина...

— А телка?

— Валет...



Девочка русая, улыбается, а кучерявый телок: «Ы-ым!» Тьфу. Разве не заплачешь? Чьи они? Или почудилось? Прошлое воплотилось в образ. Свист ветра. Свист шин. Ровный стук железного мотора катится по степи. Впереди — ни души.

Сестру мою, знакомых, Володю и Салавата, в районе прихватили. Тронулись уже на вездеходах. Миновали сосновые, лиственные, дубовые всхолмики, выбрались по скалистому ущелью на древний мыс. Внизу — Ивашла: ни крыши, ни колышка. Конопля да лебеда шумит. Ну, разве не заплачешь? Спустились. На кладбище поднялись. Сели. Выпили. А у ног — крест, повитый молочаем и кашкою, едва темнеет из вечных цветов.

Денис аккуратно прикоснулся, а на планке: «Милой бабушке Акулине от внуков и правнуков!..» Где они, куда запропастились, внуки и правнуки ее, и счастливей ли меня?

Денис говорит:

— Давай возьмем, сгниет же крест, в музей?..

— Не-ет! — сомневается сестра...

— Пусть сгниет, Денис, растворится во мгле с Ивашлой вместе!..

Денис вздохнул. И мы вздохнули. Поставили и в земле, как могли, укрепили темный крест. Укрепили и пропали. Пропали, а я думаю: стоит бабушкин крест или уже упал?..

## *Боролась и напоролась*

Говорят, француженки влюбчивые — романтические натуры: обожали де Голля, храброго генерала и защитника. Обратился он к ним — почему рожаете мало детей, они ему и ко Дню Республики преподнесли несколько миллионов подвижных угукающих дегольчиков, только добывая малышам и мамам их кашу и пеленки!..

Старый генерал обрадовался приросту населения и с утра до ночи трудился в Париже над правительственными декретами и программами, а француженки рожали и рожали, пока дед де Голль окончательно не обеспечил их пенсиями и квартирами, а сам, благородный военный человек, утомился непомерными заботами и умер.

Но и наши, русские женщины, не все дуры. Есть среди них такие патриотки, такие патриотки, что и любой француженке нос утрут. Пусть не родят ребенка по призыву лидера, но зато самого лидера будут хвалить, славить, возносить у каждой аптеки, в каждой очереди за хлебом и за картошкой, а около грязной бани могут из-за имени лидера подраться и глубоко накрыть, баба бабу, мужским высокоаргументированным матом, дабы не цеплялась со своими психиатрическими придирками к вождю какая-нибудь случайная стерва.

Фиеста Ивановна, назвали ее так оригинально родители, настоящие коммунисты, в честь интересного латиноамериканского спортивного праздника или же, некоторые указывают, в честь небольшого деревенского боя быков под Сантьяго, назвали не подпольные мексиканские большевики, а наши рядовые члены партии.

Назвать-то назвали, а родителей-то Фиесты Берия расстрелял-таки в тридцать седьмом, когда маненькой Фиес-



точке едва исполнился годик. Слава Богу, у девочки бабушку не тронули, она и воспитала Фиесту в непримиримой классовой чистоте и революционной убежденности. Русские люди — исключительно объективные люди: чем чаще их арестовывают и расстреливают, тем вернее и результативнее они служат марксизму и самому ленинизму.

Фиеста выросла и обернулась в суровую и весьма политическую Фиесту Ивановну Крутогрудову. Фамилия — удивительная, русская, как Стенька Разин или Семен Буденный. Даже на псевдоним подобная фамилия не годится, надо сделаться совершенно идиотом — взять на псевдоним у Крутогрудовых дерзкую и непокорную фамилию!.. И Фиеста Ивановна, выйдя замуж за Илью Григорича Розенблюма, переписала Илюшу, не посоветовавшись даже с ним, на Крутогрудовых и, ложась вечером спать, вручила ему возле широкой койки новый паспорт.

Илья Григорич Розенблюм вознамерился бунтануть, тоже почти русский чистокровный еврей, и тоже кипит в нем разинско-буденновская удаль, да Фиеста прижала его оголенной ногой к матрацу, и он, возбужденно посапывая, усомнился: «А и Крутогрудов не хуже Розенблюма», — попытался выпятить, лежа в постели, собственную ребристую грудку, тощую, как неторопко объеденный скелет пескаря, но Фиеста Ивановна шумно колыхнула животом и уткнула продолговатое личико Гриши себе между интернациональных и действительно пократно-тугих, как у нетронутой девки, титек. Гриша и затосковал по-голубиному, кротко.

Фиеста Ивановна Крутогрудова слыла коммунисткой номер один, и не в пределах лишь знакомого квартала, а и подалее — за постами ГАИ и за волейбольными площадками соседнего проспекта. Ткнувшись в ее серьезные титьки, Илюша правильно решил: «Зачем зря егозиться и оппозицией полыхать, ни Розенблюму, ни Крутогрудовой счастья не добыть, как еврею и русскому порознь на вершину социализма не подняться, значит — вместе и вместе, по скалам или по шоссе, по воде или по воздуху, но Крутогрудовой не миновать Розенблюма, а Розенблюму без Крутогрудовой сиrotливо покажется не только на подушке, но и на земле».



Имей возможность административную, Илья Розенблюм давно бы оформил Израиль Союзной республикой России, а ежели учесть полтора десятка отвалившихся республик, то присоединение Израиля к России — вещь вполне реальная и праздничная: народы государств благодарно отзовутся, поняв: Разин и Розенблюм — по звуковому эффекту очень приятны русскому человеку!..

Но Илья Григорич Крутогрудов по утрам вскакивал и бежал, семена, в часовую мастерскую — ремонтировать часы. Еле, еле держался он, уважаемый специалист, деньгами, получаемыми в мастерской. СССР иностранные товары не пускал на прилавок, а русские часы, пусть и неуклюжие, пусть и стучащие по ночам в ухо болтами и шестеренками, но уж никогда не буксовали и не ломались. Приобрел — в гроб тебе их положат.

Русские часы — трактор, а не часы, и ничего почти не получал в мастерской Илья Григорич не по лени, нет, просто часы русские не требовали ремонта, — вечная стахановская сталь.

Правда, при Горбачеве, и Михаил Сергеевич, критикуя нас, абсолютно справедлив, и советские, русские, часы не настолько уж и прочны, как вообще — вся советская система и ее комбайны, шахты, сковороды, разные «Запорожцы» и сандалии...

Илья Григорич нажмет ключиком на винтик — винтик хрясь и переломился: двадцать рублей гони, а нажмет на гаечку — гаечка раз и накрутилась не на положенную ей, а на фиктивную защелку, сорок семь рублей гони. Получать начал Илья Крутогрудов хорошо: кооператив затеял конверсию часового механизма, а Фиеста Ивановна ударилась укреплять авторитет Горбачева.

Митингует народ у Мавзоля, к примеру, против отдачи островов и территорий наших Америке, по указанию Горбачева, Фиеста Ивановна выскочит на деревянную трибуну и орет: «Правильно Михаил Сергеевич делает, куда нам земли? Не в могилу же брать. У Америки, Ленин завещал, учиться и учиться!..»



Митингуют русские прибалтийцы в Москве против отдания их, перевоза их в Сомали или Танзанию, Фиеста Ивановна влезет на сосновый помост: «Правильно считает Михаил Сергеевич, русских прибалтийцев выгодно и в пустыню Гоби перевозить, пусть там огурцы и помидоры выращивают, а не критикой в адрес Генерального секретаря и ЦК КПСС занимаются. Да здравствует конверсия и децентрализация!..»

Илья Григорич иногда сопровождал жену до трибуны. А на трибуну ему войти запрещали: уровнем политическим часовой мастер не достигнул до супруги. Но гордился он супругою постоянно. Не то чтобы толстая, но приземистая и державная, как Серго Орджоникидзе, Фиеста Ивановна вскидывала кулак: «Демократия и социализм с человеческим лицом, ура!» Толпа вытирала слезы и, чуток погода, гавкала оглушительно: «Ур-ра!»

А Фиеста Ивановна еще выше и еще более лидерски вскидывала правую руку, а левой, растопырив пухлые пальцы, как бы гладила Илью по лохматой головенке, хотя Илья, на определенном расстоянии наблюдал за нею, но гладила и орала: «За перестройку тяжелой, бытовой и музыкальной промышленности, за конверсию танков и гаубиц, ура!» И толпа ей покорно отвечала: «Ур-ра!..»

Фиеста в детстве пыталась научиться играть на гитаре — не смогла и возненавидела всю музыкальную технологию, кроме военного морского оркестра из штаба Министерства обороны СССР, а позже — РФ...

Однажды Фиеста Ивановна даже не выдержала героического напора мелодии. Оркестр в День Военно-Морского Флота ударил в парке «Варяга», а по радио запели:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,  
Пощады никто не желает!

И Фиеста Ивановна выскочила на круг, в центре оркестра, выскочила, кулаки, оба, вздернула вверх, да как гаркнет, по-бабьи, тонко и очень уж высоко, как подтянет, как, по-су-чьи, подзавоет:



Наверх вы, товарищи, все по местам,  
Последний парад наступа-ает!..

Дирижер, мужик брюхастый и неопрятный, в помятом китилишке и помятых непроутюженных гражданских портках, перетрусил призывов голосистой Фиесты Ивановны, решил смыться со сцены, но Фиеста Ивановна громко и властно осадила ренегата:

— Куды, капитан, туалеты не работают, а трудящиеся ждут от вас оптимистических мелодий и гуманного праздничного реванша!.. — Измятый капитан повертел башкою под петушинообразную фуражку новейшей перестроечной формы, повертел, вздохнул жалобно, боров казарменный, и принялся быстро, быстро дирижировать «Яблочко», танец матросский.

И что же? Москва, древняя столица русская, любит и глубоко ценит самостоятельные натуры лидерства. За кадровыми перетасовками Фиеста Ивановна продвинулась моментально в заместители префекта по гарнизонным делам, по культурным солдатским мероприятиям. Дирижер оркестра, не оказав ни малейшего сопротивления, подчинился Фиесте Ивановне и приказы ее выполнял активно и точно. Но без петушинообразной фуражки, в бане, похрюкивая, скулил коллегам: «Танк, а не баба, прет на таран, и в кювет сталкивает, гадюка!..»

Фиеста Ивановна провела в коллективе оркестрантов децентрализацию и в свободное от выступлений время заставила скрипачей, певцов и трубачей шить милостивые дамские тапочки. Не замыкаться же защитникам гарнизонным на пиликающих инструментах: перестройка и в культуре армейской требует изворотливости и широты предпринимательства.

Теперь — мода на баб, заместителей, в силовых службах и подразделениях. У президента РФ Ельцина Галя Старовойтова — помощник по обороне державы. И Фиеста Ивановна покрикивала в казарме на солдат и сержантов, изучающих ноты: «Эй, пиликалы, шейте тапочки дамские, да смотрите у



меня, шейте с кавказскою окантовочкою!» Тапочки назывались поэтично: «Презент царицы Тамары»!..

В будние дни рядовые оркестранты шныряли по электричкам, развязывая мешки и оригинально советуя: «Покупайте, женщины, грузинские тапочки, «Презент царицы Тамары», изящные, вышитые, утончают в талии, резче очерчивают брови, влияют на пластичность походки!»..

Бокастые русские дуры набрасывались на экзотическую обивку и расхватывали ее прямо в вагоне. Оркестранты веселились. На программных выступлениях играли азартнее и проникновенней. Конверсия — великое ленинско-горбачевское изобретение, гениальный НЭП!.. Потому в кабинете Фиесты Ивановны с портрета нагло щерился Михал Сергеевич. А в часовой мастерской у Крутогрудова, то есть — Розенблюма Ильи Григорьевича, Сергееч вообще хохотал с огромной маслянистой фотографии. Издевался над нами, прохвост!

Да, тапочки — тапочки: каждый день на ногу их палишь... И забоярились Крутогрудовы. Предприятие на солдатском энтузиазме благоухало и богатело не по дням, а по часам. Фиеста Ивановна придела в скромные костюмчики оркестрантов. Назначила Илью Григорьевича старостой коллектива. Повысила оплату усилий дирижера. А себе, семье, купила «тойоту», наняла шофера и с Ильей Григорьевичем привыкла под вечер наведываться на дачу, каменный красивый домик, приобретенный ими под Лаврой, возле Сергиева Посада. Русский человек — баловень широты: отхватил червонец — сто рублей душа требует, окрыленная и фантазией понукаемая...

Иногда Фиеста прихватывала двух, трех музыкантов. Они, поужинав, садились на диван, в стеклянном зальчике, и запузыривали «Расцвела сирень-черемуха в саду». А Фиеста гнула за скелетную шею Илью Григорьевича, и они вместе, дуэтом, помогали:

На мое несчастье,  
На мою беду-у-у!..





И беда, тревожная и нахрапистая, не заставила себя долго ждать: Горбачев едва научился на Черном море плавать, находясь в Форосе, имя-то у побережья шпионское, не наше, научился, и Раиса вроде бы пристрастилась бултыхаться, а тут ГКЧП — садики русским людям пообещали, по десять и пятнадцать соток на хозяина, участочки, если народы СССР их, беззаветных генералов и маршалов, поддержат.

Фиеста Ивановна многих полководцев лично знала, одаривая их к Дню Советской армии, к 23 февраля, новыми грузинскими тапочками «Презент царицы Тамары», и на тебе — ГКЧП!.. Какой им переворот нужен, у них и так все есть, а Ельцин, балбес, давай орать, давай защитников прав человека собирать у Дома Советов. Давай омоновцами угрожать пролетариям и расстреливать!

В шесть утра, того августовского утра, защитники прав человека сбежались, и омоновцы с ними заодно, а генералы, гэкачеписты небритые, напялив дармовые грузинские тапочки в спальнях, взялись инспирировать физзарядку. А у москвичей физзарядка — дольше банкета: пока почесались и умылись — ЕБН на троне. А их, всех, бригадою, за колючую проволоку.

Фиеста Ивановна понимала толк в грузинских тапочках, но чтобы эдак — никогда и в голову ей не сияло: тапочки спасли демократию!.. Но беда не приходит одна. Первая миновала — вторая навалилась: военный оркестрик расформировали, казарму под конверсию оформили, и в ней шикарное казино организовали. Богатым проституткам и знаменитым журналистам вход в казино — настезь распахируют швейцары, бывшие молодые офицеры гарнизона, радуясь абсолютной свободе слова и цивилизации с приватизацией, смело последовавшей за справедливой горбачевской конверсией и капитализацией.

И что интересно — те и эти, голые и мокрые, танцуют в грузинских тапочках, в которых гэкачеписты, уважаемые генералы и маршалы, протетерили СССР. Те протетерили, а эти гуляют и солдатских, гарнизонных музыкантов переманили исполнять не «Варяга», а срамные «чипы» и «шопы», туды их мать!..



Ну и радовались бы, другим бы не мешали. Но пришел Илья Григорьевич в личную мастерскую, прижатую к углу библиотеки на улице Ломоносова, а ее, часовой мастерской, киосочка, и библиотеки нет: экскаватор раскромсал место — неизвестный магнат купил квартал в Москве и возводит купальный трамплин, бассейн, «Сити Форос», каково? Мало нам того Фороса? Илья Григорьевич жаловаться — а кому?

Супруга его, Фиеста Ивановна, демократка, активистка европейской цивилизации, защитница их «Белого Дома», ведь тапочки-то гэкачепистичным генерам и маршалам она вовремя сунуть успела в их окопные баулы, чем и пресекла вооруженную эскалацию супротив Ельцина. Ну, Фиеста Ивановна, зам. префекта по горнизонным делам и культурным солдатским мероприятиям, к судье, а Фиесту Ивановну с должности тут же вытолкнули и фабрику ее тапочковую опечатали...

После неудачных штурмовых атак за права человека Фиеста Ивановна забелела сердечно-сосудистой дистонией, недостаточностью. Проканючила в кроватях и на диванах целый год. Спасибо, запасец имелся финансовый, да дефолты этот запасец выгрызли. Фиеста Ивановна изменилась внешне: осанка понурилась, побледнела, а походка скрючилась и утратила перспективу. Но Илья Григорьевич Розенблюм-Красногрудов, не староста оркестра, а опять часовщик, ничего, как соленый огурчик из закупоренной бочки — свежо похрустывает на зубах...

Правда, одиноко, без воинских сопровождений и музыкальных инструментов, без отверточек и пассатижей, без тапочек даже, к вечеру, на закате солнышка, опускается на кухонную табуреточку, в Москве, и тонюсенько передразнивает, по-чекистски процеживая сквозь увеличительные стекла, привык в мастерской, Фиесту Ивановну:

На мое несчастье,  
На мою беду-у-у!..

Слышать и наблюдать такое Фиесте Ивановне тошно, а порою и жутко. И сели они, погрузились, бензин вздорожал,



поддерживая кульки да авоськи, в электричку — через несколько часов дача. Вылезли. Идут. Бредут. Отдыхают. И опять шагают, волоча в подмосковных березках и сосенках работающие ноги и кульки, спешат, топчась и пошаркивая по траве и пыли. Дорога их соединяет целью и желанием добраться, и они вновь бодреют:

Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,  
Пощады никто-о не жела-а-ет!..

А березки покачиваются и звенят зелеными листьями. А сосенки тоже покачиваются и посверкивают иглками зелеными. И трава, зеленая, зеленая шуршит и серебрится. Дождик едва приморосил и замер. Прелесть. Но вулкан единжды не выплескивается, нет. И беда единступенчатой не бывает.

Вот — канава. Вот — поворот. Вот — она, дачка их, белым кирпичиком принаряженная, вот — калиточка, алюминиевой оборочкой окантованная. Вот — мосток, струганный, переброшенный к узорчатой калиточке, изумрудно переливающийся на солнышке, как генеральская тапочка...

Ткнулись, а за калиткой сержант. Омоновец, громадный и грамотный:

— Простите, вы кто?

— А ты кто? — вскинулась, было, Фиеста Ивановна, — вон, паршивец, вон из моей! — Но почти рухнув на плечо Ильи Григорьевича, интеллигентно и законно потребовала: — Из нашей дачи, немедленно, поняли, немедленно удалитесь!..

Сержант потряс кооперативным пузом и загыгыкал. Фиеста Ивановна и представить себе во сне бы не сумела: хутор давно скуплен, до последней хибарки, до последнего курятника, до последнего полусгнившего дощатого туалета азербайджанским олигархом, знаменитым Дулепом гоп-Заде, и ныне — на полную катушку здесь развернулось грандиозное сооружение мечети.

— Куда прешь, старая дура! — отшвырнул ее русский омоновец. И, пошевеливая на кожаном поясе кобуру, предупредил: — Хозяин в Стамбуле. Кроме меня и моей собаки,



---

здесь никого нет. Я терплю, терплю, а нажму на курок — мозги вылетят, поняли!..

Фиеста Ивановна задохнулась и мгновенно обветшала. Озираясь и семеня обратно, она потрясенно, как глухая, переспрашивала и уточняла:

— Илюша, а, скажи, скажи мне, сержант не сам ли Борис Николаич, не сам ли Борис Николаич?..

Из-за родной частокольной оградки замурзанно доносился радостный голос не то Кобзона, не то Киркорова:

Рацвела сирень-черемуха в саду,  
На мое несчастье, на мою беду!..

А благородный часовщик, Илья Григорьевич, посябая шагать собственной старушке, заключал про себя философски: «Во, за что боролась, на то и напоролась!..»

1986—2002

## *Черный Барсик*

Вот говорят: черная кошка перебегает дорогу — будет неприятность, что-то случится... А что может случиться, если ты, скажем, на «Ниве» или на «Волге», путь — равнина и мотор отлично гудит, что? Ничего. Но не торопись уверяться, не торопись. Черная кошка — черная кошка. Народ зря не отметит, зря не определит и не прогнозирует зверя.

Подъезжаю я к дому, в деревне, ну метров сто не доехал, а поперек улицы — черный кот, шагает, на автомобиль не глядит. Я дуданул ему — не глядит. Идет, умный, толстый, упрямый — поперек идет. Ну и шагай, думаю, однако — еще дуданул... А кот даже не обернулся на меня. Перешел улицу и скрылся за елью, и наш, общественный кот, Барсик. Без пятен, черный, а Барсик. И пестрые коты у нас — Барсики, хмыри криминальные.

Жена слышит — рулю, к воротам — распахнула, стоит — рулю. А, считай, около дома — канава. Над канавой — бревенчатый мосток, накрытый жестяной сеткой: кати, переправляйся, зажмурься или напевая — мосток сам берет автомобиль и быстро переносит. Ворота распахнуты. Жена у ворот. Еду.

И — газани я случайно, газани, а руль не подправь, не выровни, тут и передком «Нива», корова и корова, как бы мыча и жалуясь, начала опускаться, заваливаться набок, сел, да крепко сел, бампером. Соседи выскочили — хохочут. Жена за ними — посмеяться, но вовремя одумалась, смейся, а машина, как свинья, уткнулась в грязь и молчит — хорошо ей.

Вылез — подполз под рессоры, подважил доску, отряхнулся, включил, а соседи, человек пять, толкать и жена толкать, рывок — и на свободе. Закрыли ворота. Помолчали.



Весело зарулил в канаву и весело из канавы, из ямы родной, привычной, вырулил. А — в лесу окажись? В поле — окажись? Дорог-то нет, мостов-то нет. Может — и лучше. Не дремлем.

Но кот — попутал. Попутал, а сам шляется. Когда чужой черный кот переходит тебе дорогу, да еще строго поперек, а ты, допустим, торопишься на свидание к девушке, зная, что она, кокетливая дура, и минуты тебя ждать не будет, тогда ты этого черного, этого чужого кота готов кирпичом ударить, а? Но даже и когда твоя собственная жена тебя ждет, не подозревая, что ты, игрун, к той девушке спешишь, а кот — на тебе: вальяжно вышагивает?.. Жена, если ты ей бахнешь, мол, чужой кот мне дорогу наперек перешел — вытаращит на тебя совиные злые глаза: «А ты его разве не шабаркнул, ну? Чужого и шабаркнуть в удовольствие».

И куда жене-то спешить? Свидания окончились после свадьбы. Коты же перебегают дорогу крайне редко. Своим котам — не до нас, а чужим котам — других достаточно, кому они перебежь дорогу, коли захотят перебежь, всегда смогут... А вдруг и твоя жена не тебя, халифа городского, ожидает, а, допустим, сельского порядочного мужика, агронома там или пчеловода? Ныне все мы к природе тянемся. В городе-то излаялись, а на природе — простор: ты от жены далеко, а она от тебя еще дальше!..

Но когда свой родной кот перебегает тебе дорогу, да еще и не узнает тебя вроде бы, артист, тогда твое дело — плохо: жена, конечно, не изменит тебе, лопухому, но стружку с тебя, подозревая тебя в чем-то, ей одной лишь известном, снимет и ГАИ тебя на машине остановит: офицеришко, ремнями перехваченный, покобенится, поерничает над тобой, пострашает, придирается к поблекшему номерку начнет, а прошелестит ему твердый новый червонец, он квитанцию скомкает и съест, как на допросе партизан перед гитлеровцами, дабы явочную квартиру не раскрыли эсэсовцы, ткнет себе в прокуренный рот и пятернею, дескать, поезжай, поезжай!..

Перебегает свой кот дорогу — жди подвоха. Но этот черный кот и не свой и не чужой, а коллективный, наш по-



селковый кот, и на нашей улице — единственный, сильный и толковый деревенский кот. Летом его люди ласкают, деликатесничают, а зимою — дом ставнями запечатают и будь здоров, котик! Я же и зимою живу здесь. Подуют ветры — изба моя закачается, как сорока на проводе, а терпит — мороз ее не берет, а пурга и заметает, да ведь наши русские избы тем и хороши: ветер в них долго не задерживается — налегке насквозь выпархивает, а мороз их не удивит — и без мороза в них зябко.

Однако стоит мне появиться на снегу, черный кот, голодный и холодный, принимается жаться к моим ногам, помахать хвостом и звать, звать, закликать меня в мой дом: есть, бедняга, хочет, обогреться ему пора, а брошенный, никем не облаканный и злой. Налью ему супца, картошечки вареной накрошу — благодарный, не отвяжется, урчит и мурлыкает.

Советские ученые странные теории выдвигают: сколько извилин в мозгу кота, сколько извилин в мозгу человека? Понимает ли кот то, что понимает человек? И принимает ли кот то определенное количество сигналов на собственный мозг, какое количество принимает на мозг человек? И кот или человек оперативнее разрешает проблемы философско-бытового характера?

Я им отвечу: смотря какой кот и смотря какой ученый!.. Встречается ученый — ученый, а, глядишь, эгоист высшей марки: набил живот, погладил жену — точка. Трава не расти. Не поможет, не поддержит — закупорит себя в квартире или на даче: сопит в кресле и пучком спецэнергии телевизор включает, обалдуй, а какие трагедии за окном, в мире людском, ему до лампочки. Мещанин!

И еду я на «Ниве» еще, а кот мой, Барсик: перейти — не перейти, перескочить — не перескочить? Замешкался. Засуетился. Меня угадал. Туда и сюда лапами перебирает. Но — пренебрег. Пересек мой путь. Пересек и пригнулся за ветхим забором. Наблюдает. Душа-то в нем не ученая, а нормальная животная душа, без электричества и компьютера. Не академик, переживает...



Коты гораздо постояннее нас. Ветхая твоя калитка, ветхий твой забор, изба твоя ветхая, а кот — твой, к твоей калитке, к твоему забору, в избу твою норовит, а не куда-то! И если бы человек, мы с вами, не возвысились самоуверенно над меньшими братьями, не объявили бы себя сверхумными и сверхпорядочными, совесть на земле не пала бы так низко и люди, уверяю вас, не оскотели бы, поскольку, в основном, животные-то приличнее людей, и к нам, людям, снисходительнее нас...

Знала моя жена: я не назначаю девушкам свиданий, не жду их, не томлюсь на минутах страдания, потому жена и взялась, как всегда, воспитывать меня:

— Далось тебе рулить, раззяве, да по родной деревне!.. Давеча кот наш, черный сатана, дорогу тебе перебегает, а ты бы три разочка через левое плечо-то плюнь, так нет, ты шею, гусак и гусак, задрал, едешь, на своей проржавелой «Ниве», библикаешь, как ребенок в свисток, нет же тебе трижды плюнуть через левое плечо?..

Жена надела шелковую зеленую кофточку, серую, наверное, модную юбку, а в ладошке держит и повертывает, повертывает дутый стеклянный графин — под цветы поздние, осенние, срезаемые ею на грядках — флоксы. Повертывает графин моя жена:

— Икота пора тебе приласкать. Кот не чужой тебе, у нас чай, под наблюдением вырос, вынянчили сами. Был бы ты помягче да посмекалистей, кот и дорогу тебе не начал бы переходить. А перешел бы — перешел, но без лихого подвоха перешел он, а ты катись, ничего бы и не приключилось. Кот с добрыми намерениями, по делу идет, али че там?

Я вот, и перейдет мне кот путь, не занервничаю. И седни перешел, как ему тебе перейти, мне он перешел, а ниче!.. — И жена повертывает, повертывает графин, не замечая, как белая туфелька ее, вместе, конечно, с ногою, соскальзывает и соскальзывает в канаву по мелкому гравия и глине. И вдруг жена спохватилась: — Ай, ай! — И неуклюже повизгивая, выронила графин в канаву пониже «Нивы», где накапливается дождевая и колоночная вода, зеленая и серая. Зеленеет шелковой кофты и гораздо серее модной юбки.

— Убить тебя мало!.. — вспыхнула она.





— Меня? — улыбнулся я из «Нивы».

— Тебя и твоего кота!

Жена пыталась ухватиться за колесо автомобиля и поймать графин, погружающийся в канаву, пугающую и холодную. Она зябко вскрикивала и тонула, оглядываясь по сторонам, а я, выскоча из кабины, не мог ничем ей пособить, давась от хохота.

\* \* \*

Наконец жена почти справилась и едва не выдернула графин из канавы, упершись локтем в берег, грязный и разжиженный:

— Я удавлю твоего кота! — резко швырнула она мне в лицо. Но художественный графин ее, захлебываясь и булькая, послал пузырьки ей уже со дна канавы.

Жена с утра собралась к подруге — почаевичать. А подруга ее — демократка: в курсе политики и военных снаряжений державы. На митингах орет в народе, а пикетчицей — молчит, как рыба, у метро, но на животе держит жуткий плакат: «Коммунистов — на каторгу, на каторгу и на каторгу!»

Жена планировала успокоить ее, да сама, испулавшись в яме, расписовалась. У подруги мало ли сплетниц гостит? Самовар огромный — болтай и заваривай чай. Но жена долдонила и долдонила:

— Ты сам виноват, сам, гоняешь кота. Зачем водою вчера пытался его облить? Коты воды робеют!.. — Сказала и снова чуть шагнула от калитки, на канаву, на канаву.

А воды не одни кошки робеют. Шагнула еще. Вода-то в канаве ледяная. Кругом родники подземные бьют у нас. Но мутная. И опять жена:

— Что за мода у тебя гонять кота? — И опять шагнула. Глянула под ноги: — И-у-ух! — И поползла по краю канавы. Думаете, растерялась? Ни капли. Не поняв момента, начала тонуть, но, гневно вскрикнув, поднялась и освоила русло: — Доволен? А я же не в валенках, а? Ласкал, привечал кота, черного мошенника, ты! Этот хам в день по десять раз мне дорожку переходит, так я из канавы не вылезу! Подари его, хама черного, Домне Ивановне, у нее кошечка вдовствует!..



А я глядел на жену, погрузившуюся по милые плечики в канаву и думал: «Бог есть, есть Бог!..» Жена, быстро замерзнув, ледяная вода-то там, как маленькая девочка, вскинулась: бери ее. Я вытащил законную супругу на сушу. Вытащил, а черный кот, не обращая на нас внимания, показался на огородной тропе. Жена, мокрая и шальная, всполошилась: «Лови бандита!» Но котов дураков не бывает. Кот вспрыгнул на высокую березу и хищно фыкнул на жену: «Хыш-ш, не заваливайся в канаву добровольно!»

Мои отношения с ним удивительные. Они более гибкие и более глубокие, чем, скажем, с женою или соседом, Жорой, кооператором, торгующим на личную выгоду государственными велосипедами. Покупает их оптом в магазине, а продает по экземпляру, вьетнамцам у порога их общежития. Социализм с человеческим лицом.

— Надо было, тебе говорю, три раза плюнуть через левое плечо, и вся махинация развеялась бы, кот не чужой, он не хотел мне и тебе неприятностей.

— Но ты вреднее кота! — горячилась жена. Шелковая зеленая кофточка облегла ее груди и сделалась еще зеленее, чем зеленела до аварии, а серая юбка ее еще посерела и плотнее обтянула бедра жены. Девочка...

Жена принялась нагнетать атмосферу:

— Кот порядочнее тебя. Кот сподличал и замер. Вон, глянь за угол Домны Ивановны, кот сидит с ее синеглазой кошечкой, забыл о нас, про меня даже позабыл, негодяй, и мурлыкает ей сказку, а ты с чего в меня впился, клещ? — Я насторожился. Жена, случилось, нападала на меня, но без подобных отчаянных оплеух.

— Ищи графин, — приказала она, — и молчи, не то я разденусь и отыщу графин, пусть тебя пристыдят люди, а кот еще тебе не одну свинью подложит! — Я полез в канаву. А жена гордо и независимо удалилась в избу.

Задернув занавески на окнах, жена голою расхаживала по скрипучим половицам и поцокивала зубами. Свежо. Переодеваясь, бранила и угрожала мне и коту. А кот, обнаружил я, кот действительно за углом вилял хвостом возле синеглазой грациозной кошечки. Дружили они с детства. Иног-



да кошечка появлялась, в теплые дни, у нас во дворе. Кокетничала. А ежели наш кот, Барсик, не выходил — вскакивала с внешней стороны на подоконник и выманивала партнера. Потом они исчезали надолго в огородах, зарослевых и просторных.

К осени на деревню надвигались хмури. Улица опустевала и затаивалась. Кошечку увозила Домна Ивановна в город. Кот скучал и утешал тоску в грустных полях предзимья, дышащих скорой суровостью и неизвестной судьбою. Возле моего жилища скорбно объявлялись брошенные щенки, собаки, черепашки, ужи. Все, разумеется, надеялись на еду, на обогрев, а где взять — хлеб не купишь, а керосин и более того?

И застревал я с черным котом в деревне. Без жены. Хорошо. Ни лая, ни визга. Тишина. «Нива» погромыхивает и движется, погромыхивает и движется. А небо мрачнеет и мрачнеет...

#### *НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ*

Сердиться приказано грозам,  
Толкаться над миром, не спать.  
Зачем же так долго березам  
Опять под дождем озябать.

Я слышу их трепет в окошко.  
И ночь голосами полна.  
Глазастою, желтою кошкой  
Мелькает в просветах луна.

Но мне не мятежно, не грустно,  
И скоро я тоже пойму:  
Серьезное счастье — искусство  
Действительно быть одному.

И я никого не ревную,  
Осенних размолвок не жну,



Имея такую родную,  
Красивую очень жену.

В былое посмотришь — сурово,  
Пусть нету упрёка судьбе, —  
Я столько людьми обворован,  
Пора пожалеть о себе.

Подумать о собственной крыше.  
На опыте злой суеты  
Я знаю, где прячутся мыши  
И где обитают коты...

В бушующем этом просторе  
На сто и на тысячу верст  
Не сеял я смуту и горе,  
По-русски доверчив и прост.

Я вытру поспешные слезы,  
Коль жизнь невзначай омрачит.  
Поэтому стонут березы  
И сердце отзывно стучит.

Как-то я поделился с женою сокровенными политическими тяжестями на душе:

— Жена, — сказал я, — развести бы нам побольше черных котов, ну штук восемь, натренировать бы их пересекать путь министрам, генералам и президентам? Едет министр в «ЗИЛе» приватизировать себе и своей семье или своей любовнице государственную чулочную фабрику, а черный кот — через дорогу, да не спешит, позыркивает на начальни-ка... Струсит ведь, мерзавец, и засомневается.

Или генерал, командовавший расстрелом Дома Советов, грохочет на бэтээре, пушка торчит, снаряды в стволе, а чер-ный кот — через дорогу, и на генерала: «Хыш-ш!» Генерал усатый, и кот усатый. У генерала лисий хвост, только запря-танный под китель, и у кота хвост, но собственный. А?..



\* \* \*

Жена заволновалась. Прицелилась в меня бериевским прищуром, но амнистировала, мол, продолжай молоть, продолжай пока. Я и продолжил:

— Президент мчится. Автомобиль кованый, чугунный, никакая бомба его не царапнет. Охранная армия, ломая скверы и опрокидывая гаишные будки, устремляется за президентом, верная и гордая. А черный кот — через дорогу?

— Собьют и распечатают под копирку!..

— Нет, струсят, если кот до того успеет им отомстить!..

— Как, чем, при каких обстоятельствах наш кот ихнему президенту отомстит?..

— А залезет в Барвихе на березу под окном, охрана и поперхнется: как это не сработали электронные установки и тагильские танки?.. А кот с березы на Ельцина: «Хыш-ш, киллер!» Сработает...

Жена за градусник:

— Приляг-ка, у тебя не температура ли? Ты вроде и не проваливался в канаву, а жар!.. — Кот же, мерзавец, вернувшись от синеглазой кошечки, довольный, терся о щиколотки жены и топорщил на меня сытые генеральские усы.

Иногда кот задумчиво сидел у нас, на обычной рядовой березе, устроив свое холеное тело на рогатке. Оба сучка, бегающие от толстой ветки, подпирали кота сразу под брюхо и под задницу. Сучки тоже объемистые. Коту, вероятно, так было удобно, что на голос моей жены кот даже головы не поворачивал. Лежал, сократовски подремывая. А перед тем как рассориться с моей женою и пересечь мне или ей путь, кот основательно наедался. Готовился и пропадал.

Жена через каждые пятнадцать минут широко размахивала дверь на веранде, высовываясь на крыльцо: «Барсик, Барсик, Барсик, иди ко мне, иди ко мне! Эй, Барсик, Барсик, ешь рыбку, на, ешь!..» Но Барсик — привет: Барсик спокойно слушал и спокойно пропускал мимо ушей ее угощательные предложения. Почему? А только потому: жена часто срывалась. Заманивала Барсика на веранду, хватала веник и принималась охаживать его за очередные проделки. Особенно



оаживала, когда подруги-демократки не было дома. Скука!.. Но кот хитро полеживал на рогатке.

Жена, обжегшись на коте, набрасывалась на меня: «Все вы, мужики, коты, лишь бы вам лежать, насолив кому-нибудь!» Я молчал. А жена возилась, попугивая веником, но оаживать не торопилась, а ограничивалась любознательностью: пыталась подсунуть ладонь под мой живот — на чем я лежу, не на рогатке ли? Хотя и лежу я на диванчике, обшарпанном и смолоду ей известном. Умора.

Сутки сидения на березе кот выдерживал играючи, словно дожидался президента. А на следующий день жена, трогаясь к подруге на политические дискуссии, замечала: черный кот забегал вперед и, не пересекая путь, приветствовал ее на обочине стежки урчанием. У подругиной калитки черный кот окончательно разжалобивал мою жену: топорщил усы, мяукал и обметал ей щиколотки лоснящимся хвостом.

Жена возвращаясь после длительных серьезных переговоров, сообщала: «Котик-то наш помирился, простил тебе твое хамство, спустился с березы. Ты гляди, уведут, добрый, чистенький, и меня не путает с чужими, как ты, у-у-у!..» — хохотала она, счастливая.

Под зиму мы уехали на Урал, и в Подмоскovie, в деревню, вернулись к морозам. Брошенный, худой, к нам буйно попросился кот Барсик. Лапой как даст по двери, как даст! Ночь. Ветер. Темно. Дождь моросит. Снег, мокрый и липкий, сеется. Фонарь на улице мигнет, и с полчаса нету, мигнет, и с полчаса нету. Черно кругом. А он лапой как даст, как даст!

Кричу на веранде: «Кто там!» Молчит. Кричу повторно: «Говори, кто там?» Молчит. Рискуя, кричу: «Рубить али миловать?» Топор поднимаю, а дверь, отперев, пинаю по-военному ногою. Тьма. Ночь. Жена. Ветер. А он, бродяга, так нырнул в тепло, меня чуть не уронил, и на диван: «Мяу!»

Обиды в коте не замечаем, а печаль в нем громадная: тощий, длинный, как железная черная авиабомба, и нахолодевший. Молока ему в тарелку налили. Хлеба накрошили. Колбаски, хоть она и двадцать с лишним рублей, но кусочек отрезали. Кот напал на еду, убрал все гладко и опять: «Мяу! Мяу!» К двери направляется. Террорист.



— А вдруг у него живот заболел? Заболел живот, пожалуйста, выйди, — замечает жена. Но кот в ночи: брызгает огненными зрачками: «Мяу! Мяу!..» Шаг сделает и: «Мяу!..» «Мяу!..» Шаг сделает и: «Мяу!..» Я к нему, он от меня. Я к нему, он от меня. Фонарик прихватил — освещаю, а Барсик от меня, от меня, но трусцой. Интересно?

Перелезли мы с ним через забор, прошлепали по воде, очутились у края улицы и слышим на мусорной свалке, прямо из-под обрезков шифера и жести, щенок поскуливает. Поскуливает и подвывает, поскуливает и подвывает. Хозяин лето побаловался им, а на зиму вышвырнул, вот и скулит щенок. Сиротка.

Навожу луч. А щенок трясется, рыжий, шея белая, лапки рыжие, а пальцы на лапках белые, ушки рыжие, а кончики на ушках белые — красавец. А черный кот, Барсик наш сердобольный, обратно перелезает через забор и меня увлекает: «Мяу!», «Мяу!» Но уже мирно, без паники и невроза.

Еще, рядом, в тарелку налили молока, накрошили хлеба, а кот крутится возле рыжего щенка и двигает его, дурака мокрого, двигает к тарелке. Щенок уловил идею и принялся лакать, ничего не замечая, лакал, как пел, долго, шумно, а потом: «Гаф!», «Гаф!», «Гаф!» Бас у щенка бочоночный, как у Жоры, шабра и плута, на которого я ошибочно и наорал у двери: «Кто там?..»

Но вместо Жоры — черный кот Барсик. Да товарищеский какой, едва устроился, за щенком утянул меня, а он же, он, черный, улицу пересекал наперек. Моя «Нива» и моя жена, обе, провалились в канаву. Но черный кот добрый: его давно, давно предал хозяин, по слухам, Жора, а он щенка спасать, его из дома вытурил Жора, а он щенка в наш дом пригласил.

Я и размышляю: серый кот, пегий, желтый — обыкновенные коты. А к черному приросла молва, языческий обычай прирос. Кот и за пазухой не держит камень на тебя, а ты, дескать, черный кот дорогу пересек, пропал я теперь?.. Эх, мы не мудрее кота. Кот нас мудрее. Но и заноситься нет причин: обычаи, приметы, предчувствия — дело проверенное веками, поколениями. Уважай.



---

Перезимовали у нас кот и щенок. Кот округлился, заматерел снова. Щенок похорошел. Сильный, юркий. Васек. Гуляют вместе. Едят вместе. Спят вместе. Лето, туда и сюда, перепрыгивают улицу, валяются на траве, меня провожают, встречают на дороге, поперек улицы, вдоль улицы и — ничего. «Нива» работает, не заруливаю в канаву...

И жена остепенилась, предупреждает, но без агрессии:

— Береги щенка, у него ни отца, ни матери, и кота, Барсика, по мелочам не травмируй, он, разве не видишь, намного тебя человечнее, да и насчет извилин — неизвестно, у кого их побольше!..

1984—1993



## *Беда*

Жестко поговорил с Сорокиным. Это обычный советский писатель, скорее ловкий, нежели глубокий...

*Сергей Есин*

Когда говорят, что русские спились, не надо русским обижаться и дрова ломать: спились. Ведь если бы не спились, разве отдали бы своих невест, сестер и жен на позорное разграбление? Не отдали бы. Взять мой поселок — Семхоз. Семхоз — значит, семенное хозяйство, а не какая-нибудь глупая контора. Хозяйство!

А у русской бабы хозяина-то и нет. Иди по улице Надежды Константиновны Крупской — разведенные. Здоровой семьи не встретишь, разведенки или вдовы, мужа к тридцати годам вымерли. Нету. Последний — Тамарин муж, видать, силища медвежья в нем, а вымер. Тамара, глаза зеленые, похожие на июньскую густую траву, малахитовые, миндалеобразные, широкие, а лицо белое, с золотинкой, а волосы — ковыль и ковыль. Красавица, высокая, и голос добрый, грустный немного. Уж пил-то ее Вова — не пил, а в штыковую шел, на кого, неизвестно, но шел: каждое утро с похмелья, башка нечесаная, небритый и злой.

Никогда не падал. А сначала, лет семь подряд, даже не качался. Сам — домой. Сам — калитку откроет. Сам — разденется. Сам — в постель вползет. Лишь позднее — уставать начал. Тамара поднимет — уведет. А еще позже — заваливаться в канаву, забредать в пруд приноровился. Стыд. Тамара свои зеленые глаза и белое лицо чуть ладошкой загородит



и — за ним: из канавы его вызволит, из пруда вытащит. Грязный и мокрый.

Вова, точеноплечий, рыжеватый, скуластый и улыбающийся, не обижал семхозцев, мимо качнется, мимо сматерится, мимо позвякает пустыми бутылками по тропе к магазину. А когда-то водитель, смелый, работающий, славился: сено подкинет соседям, бревешки, песок, там, навозец, словом, — орел за рулем, а не курица. Тамара сядет к нему в кабину. Вова дуданет, машина скрипнет колесами, новая, и помчит: заглядишься на них!

Вова — гармонист. А Тамара — плясунья. Он играл по вечерам, она пела. Так и наиграли, наплясали трех ребятишек. Но — в Тамару: зеленоглазые, миндалеokie, золотистые парни. Лепечут: «Папа Вова, мама Тома!..» Уморишься от счастья. Три артистика, перегоняя друг друга, родились, и в ладошки ударяют, тоже приплясывая, вечером у калитки. Животишки голые, в пыли испачканы, как у петухов и кур, и в ладошки: «Папа Вова, мама Тома!..»

Домишка — не плохой: крыша железная, стены из кирпича, окошки радостные. Дом Тамаре достался — родительский: учительствовали в Семхозе, да во времена перестройки впали в немилость демократического начальства, критикуя перед учениками Горбачева и прорабов, обзывая перестройку вредительством, а Горбачева цэрэушником.

Забрали учителя — выпустили на второй день. А на третий он добровольно скончался. Потом забрали учительницу — выпустили. А на третий день и она тоже добровольно скончалась. Стряслась эта история после августовского путча. Горбачев томился в Форосе, отрезанный и отключенный от планеты, слушал Би-би-си, а Раиса Максимовна, найдя в дачном гараже испорченный японский телевизор, отремонтировала и ловила из Москвы новости, наблюдала, как в столице защищают кооператоры Ельцина и, простите, Белый дом...

Но спился Вова, зять учителей, муж Тамары, отец троих танцующих ребятишек, не из-за перестройки. Из-за перестройки трудно спиться: водка дорогая, закуска дорогая, не сопьешься. Спился Вова давно — когда русский народ запил.



А запил русский народ — после расстрельных подвалов. Запил русский народ — после колымских вечных могил. Запил русский народ — после революционизации, интернационализации, коллективизации, индустриализации и прочих ратных химизационных штучек, а тут и Горбачев подоспел.

Прилетит на лайнере в Ленинград, шляпу снимет, лысиной парит: «Ну, товарищи, как у вас, товарищи, идет перестройка?» А товарищи: «Хорошо!..» Дальше полетит. Заглушит пилот мотор в Киеве, а Горбачев: «Ну, уважаемые товарищи, а как у вас идет перестройка?..» А товарищи: «Гарно!..» И Михал Сергеич распоясался, давай громить, корезить, упразднять, приватизировать, раздавать врагам и преступникам богатство, быстро достиг масштабов страны. Теперь от страны — рожки да ножки. А он — председатель, президент ли, уполномоченный ли, агент ли собственного фонда? А страна великая где?

Дед Вовы понимал трагедию русских — кайлил кимберлитовую руду, соцсоревновался на каторге много лет. Отец Вовы понимал — рассказывал о ней, о трагедии, тихо мальчику, Вове. И тестя, учителя, и тещу, учительницу, перестройкой доконали и на тот свет выгнали. Перестройка!.. И Михал Сергеич колобком за ней, за жар-птицей, вроде Иванушки-дурачка в саду, движется, подкарауливает, ловит ее за крыло и народу показывает: «Вот она!..»

Нет покоя. Завернет Вова из Семхоза в ближайший колхоз, а в колхозе — кособокие избенки, а в избенках — одряхлевшие бабушки, ни одного старика не найдешь. Деревня пустая, а в ней, посередине улицы — обелиск, а на обелиске — имена погибших. Жутко Вове. Вспльчивый, думающий, машина тронется и — только пыль по дороге. А вечером — бутылка в куртке и стакан в багажнике.

Перестройка зацапала и душила колхозы. Птицеферма Тамарина забуксовала: план затормозился. Куры отказались нести яйца, и с петухами холостяцкими шашнями занялись: подай жрать, а цыплят не жди. Тамара, зоотехник, объясняла ситуацию депрессией на перестройку, а Вова свои затяжные пьянки — дескать, противно слушать речи лидеров и чувс-



твовать погружение державы в холодное болото. Загулял бесперебойно.

Директор, прежний, Афанасий Иванович Смыслов, дурак, но кур и петухов не отсовывал от себя: харьковская порода — закупил, ярославская порода — закупил, обожал самцовские драки. Надуются петухи, встопырят перья и стучаются, стучаются, гребешки до крови рассекут. Афанасий Иванович Смысов смотрит, подскакивает и прыгает за ними по клетки, и в книжечку, в книжечку, записывает, очки протирает и записывает: рефлекцию фиксирует — академик Павлов, червяк оскоминный.

Зоотехник Тамара после петушиных боев опасалась появляться в птичнике. Куры, как петухи, взлохмаченные, ворчливые, нападают на нее, женщины и женщины, возбужденные мужской агрессивностью, а петухи, намутузившись и потеряв по дюжине перьев, гордо расхаживают среди них и зыркают по-волчьи за поведением зоотехника.

Афанасий Иванович Смыслов — смирный, но чудной. А новый директор, Айвазян Булатович Байрамов, странный:

— Я, — сообщает он, — девушка, на пальцах могу подниматься!.. — И растопыривает большой и указательный пальцы, срывает с себя пиджак и в кабинете треугольной башкой упирается в стол, поддомкрачивая тушу пальцами.

— Кяк? — спрашивает. И поддомкрачивается пуще. Кавказец. Вова не поладил с ним. Тот: «Кяк?..» А Вова: «Никяк!..» И перевернул его с башки на каблуки. Айвазян Булатович Байрамов покраснел и затрясся: «Русский пяниса, русский пяниса!» Ну Вова и дыхнул, притянув Байрамова, дыхнул на него. Айвазян Булатович задержал башкой и зажмурился: «Спырт...»

Вдовы, жены спившихся мужей, разведенные, гражданские соратницы, переносили по избам Семхоза слухи — Байрамов бабник и спортсмен: в проруби не леденеет, в бензине не вспыхивает, а водка не травит Булатовича. Сволочь, намурлыкивает, пляясь из «Волги»:

Россия, Россия,  
Вэликий сатрана!



Шофер Айвазяна Гога — телохранитель.

Вова и Тамара заметили: исчезают старушки с улицы Надежды Константиновны Крупской, и чаще те, у кого огород хороший и развалившаяся избенка. Наверное, кавказцы отыскивают лжевнуков и лжевнучек и за «мокрые» деньги продают им бабушек. А на их усадьбы приползет экскаватор. И — вырастет с башенками и балкончиками литой, как горная скала, восточный замок...

Не пропадают на улице Надежды Константиновны Крупской молодые женщины: к ним под покровом темноты приезжают «Жигули», «Москвичи», «Тойоты», из них выпархивают джинсовые загорелые кавказцы, и запах соленого перца, айвы и чеснока, спрессованной силоса, течет по сугробам.

Иногда падает ночью акцентная южная брань, крик товаров, а утром — снег, провинциальный, могильный, искрящийся. Зима, зима. Все ты заметишь, все ты укроешь и упрячешь, только душу русскую не перестроить тебе и не перекрыть, даже у женщины, несчастной и полоненной. Встрепенется она — и свет в ней заколеблется, свет удивительный, неодолимый. Помоги нам, Бог, продержаться!..

Сколько сменилось названий над нашей измученной Россией? Семхоз — кукурузу сеяли. Племяхоз — свиней выращивали. Птицеград — петухов и кур выкармливали. А ныне Кавказкролик — кавказское кролиководство. Горбачев распорядился, а Раиса Максимовна кивнула ему.

Захолонится Тамара в страданиях и муках: кто приобрел право над русскими, как над животными, опыты производить, кто? Царь? Ленин? Сталин? Хрущев? Брежнев? Андропов? Черненко? Горбачев? Ельцин? Кто? Что же за подлец такой нашелся? То — кукуруза. То — поросенок. То — петух, то — кролик. А люди?...

\* \* \*

Кукурузника Хрущева Тамара не успела застать: скукожили его и упаковали. При Брежнев — пионерил. А при Горбачеве — на курятник с дипломом явилась. Куры — нежные, не заносчивые. Из-за пустяка занервничают, захохла-



тятся, завраждуют, опрометчиво и надолго, как бабы в коммунальных квартирах. А клетки куриные — коммунальные горницы. Вытискиваешь яйцо — контролируют тебя в щелку, привередливые.

Кот, прозванный Айвазяном, тезкой Байрамова, хап лапой теплое яичко и катит, катит, катит по клетке, за клетку, поддевая, на утопанный коридорчик. Притормозит — укрепит на месте. И второе — лапой, лапой и катит, катит, и напротив первого укрепит. Насторожится, мяукнет, как Айвазян, когда Тамара с ним в кабине «Волги», мяукнет и лапами бац яйцо об яйцо — оба всмятку, а он, кот, жрать да кочевряжиться: желтки высосет, а белки неэкономично размажет.

Зажирел и зазнался. Куры от него шарахаются. Один Стенька, петух, кота не только не робеет, любимец Тамары, но выискивает момент и кидается на него с таким кукареком, сильным и оглушительным, что кот Айвазян выстреливает с земли, из коридора прямо в форточку, а из форточки высовывается: зомбирует тезку, директора Айвазяна Булатовича Байрамова.

Тамара с птичницами до поездки Горбачева в Америку питала кур третьесортным зерном пшеницы, и яйца куры несли душистые, веющие свежим, упеченным на поду хлебом, сдобноватым и полезным, а в поездке Горбачева по Америке западные магнаты законтрачили у нас третьесортное зерно, а курам семхозовским прислали из США чугунные качки, чуть потяжелее автомобильных, и в цистернах — аккумуляторную для несущек жидкость.

Качнешь — курица целый день по клеткам бегают, но молча. Остервенеет и мелькает, как хоккейная шайба, а качнешь — в клюв. Сама набегает и клюв раззевает — тренируется, идиотка. Нормальная, но излишне боевая и яйцо пахнет не теплым свежим хлебом, а вечным свалочным линолеумом. Ни кот, ни Айвазян искусственные яйца не едят. Ищут естественные. Директор, Айвазян по ошибке наелся — носился, носился за курами по клеткам и расформировал, опираясь на перестройку, птичник, основал крольчатник с раз-



ветвленными придорожными филиалами, шашлычными, по Московской области пока.

Вообще, с появлением в кресле директора птицефермы Айвазяна Булатовича Байрамова, страхи молниеносно распространились в поселке, запечатляясь, заменялись новыми страхами. Но среди страхов задержался в сознании птицевладельцев страх особенно неприятный и весьма казнительный. Страх встревожил, хотя, честно заметить, не встревожил, а разволновал женщин, но до дна всколыхнул — мужиков...

Будто с реформациями перестройки и ликвидацией хлебной кормежки кур, при обмене ее на аккумуляторную кислотную жидкость, сколотились в мафиозные стаи коты и, выбраковывая в ночи яйца, рожденные курами, выпивали те, которые рождены не синтетическими петухами, а от Стеньки. Ситуация осложнялась: русские куры, родя американские яйца, ухитрились, в отличие от плоскозадых американских кур, вывести скрещиванием еще и технических аккумуляторных петухов.

А от технических петухов и синтетических яиц, зачатых на линолеумном американском корме, русские дети, мальчики, вызревают импотентами. Вот и ополчились русские подростки на русских котов, выбраковывающих американские яйца среди русских яиц, но поедающих — только русские, дабы не обернуться котам импотентами. Птичницы же ожидали супротивное: русские коты примутся глотать синтетические яйца, чем и санитаризируют обостренную политическую обстановку в Семхозе.

Так вот. Подростки научились подманывать котов, пьющих русские яйца, и в групповую отсекают лезвием у них собственные их яйца. Страх подтвердился несколькими наглядными примерами. И когда пьяный Вова преднамеренно нахмурился в кабинете Айвазяна Булатовича Байрамова, мол, завалю и вырежу тебе стоялки, Айвазян начал стучать с перепуга передними зубами, как раненый кролик передними лапами. А ночью — попал к зубному врачу.

— Выдерни, левый, правый, а те дива пусть живут зичас!

Врач выдернул ему левый задний и правый задний.

— Но где еще два?



— Как! — воскликнул Айвазян. — Там ишшо дива!..

— Господи, — осерчал врач, — начали вы, гражданин Айвазян Булатович, с яиц, а кончаете последним зубом!..

Действительно, допер Айвазян, зубы, два, у него изъяли еще на Кавказе, до перестройки.

Шофер Айвазян Гога не остался в стороне от идеи. По вечерам наведываясь в отсеки, инкубаторские цехи, где кудахтали куры, Гога ремонтировал птичницам шланги и буравчатыми струями воды подсоблял чистить помет и мусор. Молодые птичницы, замужние и незамужние, добровольно беременевшие и добровольно абортировавшиеся, производили на Гогу неизгладимое впечатление...

Бледные от углекислого настоя, выделяемого пометом, худые от перестроечного недоедания, слабые духом от малой зарплаты и постоянного бытового сиротства, доверчивые русские женщины окружали Гогу и как бы жались к нему. Плотнее жались, нежели русские скучавшие девушки жались к грузинам в горах, за благородным городом Тбилиси, загнанные туда тысячами по знаменитым путевкам комсомола строить ГЭС дружбы на Кавказе, дабы каждая сакля стряпала себе сочные чебуреки и варила исторический суп «хаш». Суп не имеет альтернативы для похмелья. А вина в Грузии — пей, да я не хочу!..

Гога вытаскивал из байрамовской персональной «Волги» плетеную узкую корзину, изящную, напоминающую собой танцующую, перехваченную в талии грузинку, а под полами этой корзины — длинная тонкая бутылка, еще изящней и еще балериннее. Залаживалась хулиганистая компания. Чайник с вином плыл по кругу, алюминиевый и надменный. Женщины моментально хмелели, грустнели, плакали, хищно, по-квочьему, бесились и принимались со злобой орать, швыряя в Гогу синюшными сторублевками. «В корзина швыряй, в корзина!..» — командовал, обогащаясь, Гога.

Бабы липли к плечам Гоги, уютно объятые его мохнатым и теплым свитером, птичницы валились к ступням красавца и, ощутив прикосновение губ, скользили за Гогой, уравниваясь, по совестливому снегу или по росистой траве к машине. Гога исчезал с очередной жертвой. Наутро угрюмые





хмурые бабы, да, да, не женщины, а угрюмые оскорбленные бабы, ничего не спрашивали у вчера исчезнувшей, они и сами обреченно исчезали, а если какая-то не исчезала — исчезнет: мужиков нет на птицеферме, а вина у Гоги много.

Грузином Гогу назвать нельзя — риск. Назвать грузином и Айвазяна Булатовича Байрамова — риск. Ну и грузины если — что из того? Народа непонятого нету на земле, а скверного народа — тем паче нет. Кто Гога? Кто Айвазян Булатович? Люди. А люди — разные существа. Один — сердечный и умный. Другой — черствый и глупый. А третий — бизнесмен. Разные мы, разные...

Айвазян Булатович Байрамов — ученый. Только раз опьянел, поддавшись бабьим уговорам, только раз: из чайника глотанул, глотанул и заноровил впрыскалку да за икры баб щупать, а тут захмелевший Стенька, петух, и заревновал баб к директору. Петух склевывал обычные зернышки от ягод, опущенных в чачу или в вино: кавказцы нюхают пряности и ароматы, а русские петухи соображение теряют...

Пляска же очередная, бабья, нагрянувшая на Гогу — картина удручающая. Бабы, не угореть бы, гикая и кривляясь, то натягивали на носы респираторы, то срывали. И респираторы, противогазы, как современные калашниковские автоматы, побалтывались у них на груди, плеча ремнями и сверкая дулами, трубками. Бабы резвились, и автоматы резвились. Бабы притопывали, и автоматы с ними притопывали. Гога, замечая, поелозывал на артельной скамейке.

Вот — протрезвеют, залягут с настоящим оружием, наведут прицелы, и свистнут пули по жирным, по жирным, по наглым, по наглым, по русским, по русским предателям и сукиным сынам, бросившим свой русский народ в омут безнаказанного унижения и обмана.

Но в тихие дружеские распития бутылей вина или бутылей чачи бабы, дополнительно побледнев, хором возле Гоги тащили унылую русскую песню, тараша в непроницаемую тьму страдальческие очи:

Бежал бродяга с Сахалина-а-а,  
Глухой неведомой тропо-ой!..



И окончание «ой», тянулось, густело, накалялось и выплескивалось на улицу. Ой, ой, доколе же нас будут мучить отечественные и заезжие палачи, доколе? И честный Гога импульсивнее в будке елозил по артельной скамейке.

\* \* \*

Тамара, зоотехник, птиц изучала с заботой и лаской, как детей, и петуха, драчуна ревнивого, называла Стенькой. Удивительно — и через века к Разину в народе память не угасает. Тамара засовывала зимою длинные музыкальные ладони в карманы кожаного пальто, легонько выпотрашивала из них крошки, запасенные ею дома, на кухне, при выпечке вкусных пампушек, на молоке, ребяткам. Выпотрашивала крошки, а Стенька наклонялся и наклонялся.

Насытившись, он широко распластывал железные крылья, широко шагал к хозяйке и, твердо встав перед нею, колесом выпячивал грудь. Снова тряс и снова широко, со свистом, взмахивал железными крыльями, аж ветром приятно обдавало Тамару.

Ноги Стеньки — в красных сапогах. На голове Стеньки — красная шапка с кистью, гребень махроватый. И весь он, Стенька, крепкий, пружинистый, из металла и воли сделанный. Встрепенется и: «Ку-ка-рек-ку, ку-ка-рек-ку!» Атаман. Куры пригнутся, в гнездах и в секциях, замрут, даже страх им этот нравится, нахлынувший на них от петушиной храбрости и независимости. Петух — их защитник. Мышей пугает. Котов гоняет, за хорьками припускается рысью. Гога, шофер, и Айвазян, директор, попугиваются петуха.

Тамара слушает Стеньку и горько раздумывает над своей бабьей судьбою, долей русской женщины, преданной негодьями и брошенной, размышляя, вслух произносит: «Ух ты, Степушка родной, Степан милый, Разин свет-Тимофеевич грозный, долби их, долби этих чебуречников, так их в пробку, пузырей винных, долби!» И далее размышляет вслух: «Русские мужики-то окочурились, отравились водкой и спят на кладбищах, проснуться не могут, оборонить жен собственных и детей, матерей убогих!..»



Тамара возвращается в семью, улыбается, усталая и чуточку прощающая русским женихам и мужьям русское разгильдяйство и подлую безответственность, возвращается, а в дому — пьяный Володя, муж, и с ним — пьяные алкаши, хором орут: «Там-мара! Там-мара! Гога и твою подругу, Гальку Назарову, по дороге перепродал шашлычнику из Сергиева Посада, до бани не довез, курву!..»

Сыночки Тамары забились в угол и с интересом наблюдали оттуда, голодные, как совершенно лысый дядя, с черными, дегтярными блямбами на звонком лбу, в темном, в синюю полосочку, потрепанном костюме, птицефермовский рисовальщик Тима чокался с их папой стаканами под гогот и хохот алкашей, небритых и тощих, чокался и хвалил:

— Молодец, Владимир. Молодец, ты посвинтил трафареты!

Тамара с ужасом заметила «горку» облезлых трафаретиков, намалеванных когда-то на обрезках и лоскутках тазикового цинка и прибитых на избах и воротцах сутулой улочки имени Надежды Константиновны Крупской... Безобразники.

Она сняла тяжелое кожаное пальто, погрела в печурке руки и к малышам:

— Замерзли?..

Газ теперь перекрывают внезапно, отправляют в баллонах на Карабах, шифер Таджикистану посылают, там война, а лес и кирпич в Сухуми требуется: Шеварднадзе город обстреливает и бомбит, суверенитет, член Политбюро ЦК КПСС, цивилизованную автономию и демократию устанавливает, а Ельцин собирается пригрозить ему, да грузчики ленивые — мало стройматериалов на платформы уклали. Мало положили, а в Семхозе и гвоздя не купить. Шнурки от ботинок и те у кооператоров по благу достают бабы...

Тамара открыла: Вова обо всем имеет свое мужское представление, на все имеет обдуманые выводы, даром повторяет ей ночью, когда детишки уснут: «Жизнь у нас, у русских, отобрана фокусниками и чертями!..» И добавляет: «Они, черти, во дворцы, а мы в хибары. И наш домик, Тамара, закрутят, завеют и уничтожат. Нет пути русским в России!»



Только разделась, а в двери милиционер, майор: «Кто снимал трафареты с улицы Надежды Константиновны Крупской?» Художник, лысый дядя Тима, прошмыгнул мимо милиционера, а компания хмельно ослабилась: «Мы-ы-ы, хы-х, мы-ы-ы!» Вову забрали.

Начальство при Горбачеве менялось и менялось, чернело и чернело. Вот и в Семхоз нагрянули черные симпатичные кавказцы, не помидорочники, а поддержатели перестройки Михал Сергеича, активисты его новаторской альтернативы. Такой торг пошел. Днем и ночью визжат машины. Вова не успевал умываться: проснется и за руль, побрился и за руль. А под конец аврала — запил и не протрезвел до смерти.

Петухи по племенному хозяйству, в огромном загороженном дворе, срывались через лужи и кучи помета, топорились, оря, на охранные посты, драпая от нагрянувших гостей, черных и вороватых. Куры покорно клонились к мешку и ныряли, ныряли, пока их, до единой, не вытряхнули на рынок, а в клетки вместо крутогрудых петухов и толстозадых кур не насовали свирепых мингрельских кроликов.

Новый директор, Айвазян Булатович Байрамов, лично знакомый с Михал Сергеичем, прямо предупредил коллектив, согнав к воротам: «Коммунисты мишяють, но мы справимся, приватизируя фирму, вперед!..» Айвазян оттянул дверцу «Волги» и медленно захлопнул. «Волга» сильно гутукнула и увезла Айвазяна. На птицеферме онемело время: ни кудахтанья кур, ни кукареканья петухов.

Смуглые и черные кавказцы, опираясь на Михал Сергеевичеву перестройку, развернули базар с такой энергией, что русские люди побежали из Семхоза в направлении Рязани. Кавказцы по утрам хватали за длинные уши кроликов и швыряли их Вовке в кузов машины. Кролики, шарахнутые, встряхивались и прижимались боками, брат к брату, как на сессии Верховного Совета депутаты утрамбованные, а кавказцы швыряли и швыряли.

Дома скоро опустели и приняли иных жильцов, пахнущих соленым перцем, айвой и силосным чесноком. Русские бежали. Под Рязанью их не приостановили, и они двинулись к Уралу. А в приличных домах птицефермовского квартала



праздновали кавказцы: «Бэри, Тамара, мой часнок бэсплатно, красивый, девушка, бэры!..»

Особенно сердечно к Тамаре прилип Айвазян Булатович Байрамов, человек непонятного генетического кода и непонятной специальности — директор. Кто он, где учился, что принес в мир, Тамара не знала. Академик. Приехали прорабы: «Партократа убираем, демократа выбираем!..» Айвазян Булатович в кабинете Тамару задерживает. На совещание приглашает. В центр на «Волге» катает. И пахнет, как настоящий кавказец, соленным перцем, айвою и чесноком. Коровьим силосом пахнет.

Известно: русские — фашисты. Если уж наше телевидение, газеты и радио утверждают, мол, русские — фашисты, то, честно говоря, русские — нацисты, а до сих пор наша пресса вяло оповещает о том, попутливается ли, некогда ли ей заявить, как положено, громко и бескомпромиссно?! Стыдно ли?

Айвазян Булатович Байрамов внезапно налет, у себя в кабинете, на Тамару и мгновенно овладел ею. Зверь. Зимние сумерки растворили метание двух фигур по кабинету, а двери почему-то оказались запертыми. Гога?.. И Тамара, выкарабкиваясь из ужасного состояния, запикивала дрожавшую юбку. Когда Айвазян Булатович вкушал Тамару, сковав ее тело на диване, беспощадный и порочный, Тамара — провалилась, в огонь по шейку. В полубмороке на нее, будто набрасывались куры и петухи с раскрытыми клювами и Тамара не успевала ускользнуть от их гнева.

«С-е-е! — выдохнул Айвазян Булатович. — С-е-е!» Значит — все... Ветер бил ее по лицу огненным снегом. Мороз и ветер. Некуда деть душу. Она шла, не отворачиваясь, не пригнувшись, прямо, твердо, сурово шла, так ходят, решив о чем-то, так ходят, избрав что-то, раз и навсегда наметив... А ветер взвихривал охапки огненного снега, тряс над желтой дорогой и с воем рассыпал по сторонам.

Тамара миновала квартал Семхоза. За спиной растаяли русские избы, набитые кавказцами, и вот она, русская улочка, вот она — горбачевская перестройка, беззаконие и разбой.



Можно часто слышать: «Курица — не птица, баба — не человек!» Кто так утверждает? Идиоты. Курица, скажу я, какая еще птица, не глупее Раисы Максимовны Горбачевой, доцента. Курица все понимает, жаль, объясниться не имеет возможности в аудитории. А петух? Президент — не петух! Петух следит за хорьком, отгоняет его, ежели петух в теле и смелый И симпатизирует женщине петух. Привык и шляется за Тамарой, золотоперый, бройлерный петушина. Она за водой — он за водой. Она в клетку — он в клетку. Отойдет и со стороны любит ее, ваятель. А возненавидел бройлерный петух Айвазяна Булатовича. Директор забежит на птицеферму — петух насторожится. И слушает Айвазяна, внимательно и строго сопровождая его по птицеферме. Руководитель начинает суетиться и нервничать, а петух достойно наблюдает за ним.

Словно знает: внезапно и нагло Айвазян взял Тамару золотоволосую. Делал стояние на пальцах, а потом снизу, обхватив ее ноги, уронил на диван и сковал, как осьминог сковал. Она пнула, успела, в дверь, а дверь с обратной стороны закрыта. Гога... Рассчитали до подробностей. Да и Тамара виновата: не порхай с ним по начальству, зоотехник! Но ведь разве подозревала такое?

И утром, после насилия, после беды ее, петух, распластав крылья и грозно кукарекнув, набросился на Айвазяна Булатовича Байрамова и погнался за ним через всю птицеферму, хрипя и подпрыгивая и ударяя по Айвазяну крыльями. Директор так струсил шума кур и гнева петуха, так помчался к «Волге», что петух почти уже отстал от Айвазяна Булатовича, но, собравшись с духом, настиг его в ту секунду, когда развратник принагнулся и приготовился ткнуться в автомобиль, выказывая петуху засиженную до блеска пышную часть фигуры...

Петух, бройлерный, агрессивный и опасный в распаленном настроении. Подскочив к «Волге» и поняв, как Айвазян Булатович спешит нырнуть в машину, но еще приноравливается, бройлерный зверь аккуратно и беспощадно клюнул Айвазяна в толстое место. Айвазян Булатович вскрикнул и повалился на переднее сиденье. Гога рванул машину. С той



минуты птицеводство превратилось у нас в кролиководство. Айвазян не простил храбрецу дерзости: Гога казнил Стеньку, а по Семхозу заватажились мальчишки — отомстить Айвазяну Булатовичу вырезанием из него яичек. Ловя слухи и угрозы, Айвазян Булатович депрессировал и виртуозно лавировал на территории птичника, кроличьего поселка, и за их окрестностями.

\* \* \*

Да, а тогда, покачиваясь и медленно передвигаясь, как после сокрушительной болезни, по улице Надежды Константиновны Крупской, Тамара впервые подумала: «Ну что за улицы, кривые, темные, и как ни улица, так имени Крупской, имени Клары Цеткин, Розы Люксембург, Веры Засулич, а то и куда безобразнее — имени Землячки...»

Откуда они, землячки? Чем занимались, кроме революции? Кого родили? Может быть, они тоже в молодости ухаживали за бройлерными курами или мякину кипятком заваривали для кавказских кроликов, а хозяева, собственники, насильовали работниц, как меня сегодня Айвазян Булатович Байрамов, насильовали, работницы и восстали, и начали строить баррикады из разной проволоки и компотных ящиков, теперь — улицы названы именами женщин, сражавшихся за свободу?

И странно, заметила Тамара, под трахомным подмигиванием единственного фонаря на стене избенки, уже на трафарете, не «Улица им. Н.К. Крупской», а «Улица им. А.Б.Байрамова». Трафарет заканчивался гербом свежего государства, орлом, двуглавым и взъерошенным, чуть напоминающим ее замечательного петуха, Стеньку, клюнувшего с расчетом и оттяжкой Айвазяна Булатовича, когда тот занывал в персональный автомобиль.

«Значит, опять завертелось колесо, — подумала Тамара, — Байрамовы заменяют тех Байрамовых по решению нынешних райисполкомовских Байрамовых». А Тамара помнит: основатель, предводитель бакинского путча в 1917-м тоже был Байрамов, расстрелянный в 1937 году за карательные операции против мирного населения. А сегодня — этот



Байрамов... Кролики и кролики: ткни, а под соломой — Байрамов. Не родственник ли наш Байрамов тому Байрамову?

Но наш Байрамов — кавказец, а тот Байрамов, Тамара изучала его биографию на уроке «Сыновья родного края», тот Байрамов из Аргентины, часовщик, мастер, а в России — соратник Ильича. Где у них родной край, у Байрамовых, там, где бройлерные куры или там, где ушастые кролики? И еще подумала Тамара: «Луна какая страшная горит!..»

И точно, луна колыхалась в зарябленном цинковом небе, как чья-то пропадающая голова. Но голова бесья. Полированная. Ни волоска. Ни прядки. Ни слипшегося пучка. Ни завитушечки. Выскобленная и ветром смазанная маслянистым. Колышется в омуте глубоких ночных облаков и вселенского непокоя. И кажется, она, голова, туда-сюда, туда-сюда версты меряет невидимыми ногами. Меряет, меряет и к похолодевшему поселку цепко приглядывается, то ли домишки пришлепнуть собирается, то ли за домишками кресты подсчитывает. Крестов-то во много раз больше, нежели домишек, осевших в снегу и покосившихся, не распознать — где домишки, где кресты...

Плавают голова над Семхозом. Ходит. Меряет. А на расвете, лишь зашепчутся робкие зарницы, голова принимает хохотать и сморкаться. Хохот бакообразной головы, огненный и каменный как бы: он высоким ударом рушит, раскалывает, сметает на пути преграды, внезапней грозы хохот, чугунными орехами катится в поле и красными брызгами за горизонт вымахивает.

А голова продолжает наращивать и наращивать темп. Надувается помидорными маринованными губами. На лбу просачивается багровый след, резкий и твердый, наподобие следа омовского сапога, припечатанный и беспощадный. А голова: «Ры-и-и, ги-ги! Ры-и-и, ги-ги-ги! Рь-рь-рь!» А сосны шумят, гнутся и крутятся на холмах сугробных. А березки взлетают из-под окон и падают за огородами.

Старухи в поселке сваливаются с коечек на самотканые половики перед иконой:

Господи, Сыне Божий,





Иисус Христос,  
Антихрист болеть  
На нас высмаркивает  
И язвами метить нас  
Искушается,  
Остепени и расшиби  
Праведной стрелой  
Иудиного посланника!..

Тамара и ее близкие подружки давно привыкли к страху: голова обычно обожала хохотать в небе ветренной ночью, науськивая беду. Хохоchet голова — кукурузоводство поменяют правительственным указом на птицеводство. Хохоchet голова — уйдут русского директора бройлерной фермы, а вместо него пришлют кавказского Айвазяна Булатовича Байрамова, господина с тройным гражданством, тройным подбородком, пятярусным животом и приросшей к нему вывороченной мотней!..

И если вообразить Айвазяна Булатовича, опрокинувшегося вниз башкою на кистях рук, — картина невыносимая: опрокинутый, он постукивает коротко ноздрями, как поглаживаемый хряк. Кое-кто из начитанных пенсионерок считает Байрамова снежным человеком, принявшим сочувственно перестройку и рассекретившим себя на Кавказе, а кое-кто считает, что снежный человек, Айвазян Булатович и хохоchущая лысая бакообразная голова есть единое существо — директор кроличьей фермы Айвазян. Но имеются и серьезные возражения: голова, раздирающая по ночам хохотом и сморканием смиренный поселок Семхоз, не голова — Антихрист, притом известный миру.

Говорят, на этой же ферме бройлерный петух Стенька клюнул его во время встречи с трудящимися. После чего Антихрист хохоchet и сморкается. А художник Тима, сам, как антихрист, лысый, вечно хохоchущий и немножко тоже сморкающийся, загрипованный чудик, прямо доказывает нам: «Сморкается на наш законопослушный Семхоз по ночам, перед зарею, не кто иной, а сам Горбачев, да, да, я его застиг за исполнением данного масонского ритуала, застиг и понесся за оскобленной головой по снегу, мол, зарублю туды твою,



а генсек и залег за дальними крольчатниками. За Айвазяна Булатовича Байрамова спрятался, за приватизацию кроличью, негодай!..»

Вова, муж Тамары, наоборот, усиливал предположение художника Тимы отрицанием самостоятельности Горбачева. Вова определял: «Главный руководитель подпольной шайки не Антихрист, а Байрамов, которому подчиняется лысая голова, подчиняется Гога и снежный человек в миг, когда они вчетвером ловят кроликов подо мглою на ферме, а лишь просияет зорька, увозят их на моей грузовой машине на рынок. И все четверо — фанатичные рыночники, базарники кавказские!..»

Потому Тима и Вова твердо взялись ликвидировать старые названия семхозовских улиц — вывесить новые яркие трафареты, именные, посвященные не героическим баррикадникам и каторжанам, сгубившим собственное милое здоровье за счастье трудящихся, а мерзавцам, действующим, как мыши, грызущим каждую русскую душу в каждом русском доме: Байрамову, Антихристу, Гоге, снежному человеку.

Майор милиции, пообедав, с двумя капитанами поколотили Вову, но не шишко. Вова рассказал Тамаре о случившемся. Рассказал — и запил. А Тамара — по снегу идет. Через ветер идет. Слезы высохли. Рот пересох.

Русские девушки и прежде, в республиках СССР да и в России, почти всегда и почти везде рабынями служили: в Грузии — официантками и санитарками, в Азербайджане — электрокабельщицами на заводе, в Казахстане — редакторшами у национальных баев, в Латвии — карбюраторщицами, а в Подмоскovie — птичницами и крольчатницами.

Морозной зимою чуточку подогретая вода — птичницы вымывают шлангами помет из клеток, а накипь и перегар газовый, куриный, в лицо бьет, щеки сечет и ладошки жжет до ранок покровавленных, саднит. Катар, воспаление легких, ангина, обморок сердечный, недомогание — вот букет болезней бабьей профессии. Рабьей, ведь платят девушкам и женщинам русским по теперешним ценам — гроши. В Америке конченные люди получают в тысячу раз больше. Америка — американцам, а нам — инфляция.



США закупили нас. И разрешили нам опять выдавать нашим курам третьесортную русскую пшеницу, а яйца отправлять в деревянных липовых подставках-формах в Нью-Йорк, нравятся. Мальчишки, по слухам, прекратили охотиться за котами и за Айвазяном: его будто бы подростки тоже намеревались подкастрировать. И примерещилось Тамаре: радуясь, в сумерках задержались поодаль друг от друга, директор Айвазян Булатович Байрамов, зоотехник Тамара, петух Стенька, Гога и кот. У каждого — своя причина радоваться: Айвазян — Тамара в суд не подала... Тамара — не пристаёт Айвазян еще. Стенька — наблюдает за Айвазяном. Гога — изучает других, отмеченных оком Айвазяна, птичниц. Кот — чаще попадаются вкусные несинтетические яйца.

Задумались. И вдруг луна, яркая, красивая, быстро, быстро, заспешила за кромку дубравы и провалилась в черноту. А на тучке, луною покинутой, туда-сюда, туда-сюда замерило расстояние невидимыми ногами лысое чудовище: голова — не голова, таз — не таз, паук — не паук, а огненный голобритый осьминог: «Ну, товарищи, как у вас идет перестройка?..»

Гога в машину, и Айвазян к нему. Кот замяукал и прыгнул в форточку с наружной стороны, влетел в птичник. Отряхнулась Тамара, жуткое оцепенение сняла: Стенька, петух, рядом. Молодец.

И Тамара перекрестилась. А петух, как живой, кукарекнул, хлопнув железными крыльями. Открыла Тамара тонкие игольчатые ресницы — тазиковой головы, ночного осьминога, нет, голобритого и противного... «Масоны. Кругом они и они!..» — тайно обомлел храбрый Стенька. «Сеют, мерзавцы лысые, зло, а нам, котам, красно-коричневые мальчишки русским фашизмом грозят!..» — замурлыкал за форточкой кот. И Тамара, очнувшись, улыбнулась, цитируя про себя частушку:

Мишка на море, Райка на реку,  
А куда бежать алкоголику,  
Русским выдали по гайдаруку,  
А нерусским-то, им — по кролику!..



Но мелькнувшая улыбка мгновенно сменилась на белом лице Тамары обычной привычной печалью. «Эх, мужики вы, русские мужики, кот Айвазян достойнее вас, а петух Стенька, куда вам с ним тягаться? Оставили вы, русские мужики, невест своих, жен своих, матерей своих да и будущих внушек сиротами, бесправными и беззащитными перед продажной поганой кодлой, перед увонюченными растлителями русского гордого духа, оставили, проклятые нами и Богом, трусы и пропойцы!..»

Не могу ручаться: эти или иные мысли, эти или иные эпитеты наполнили разобиженную душу Тамары, женщины русской, вдовы завтрашней, матери трех сыночков танцующих, не могу, но уверен — такие боли точили сердце Тамары. И слышал я от подруг Тамары: собирается она, русская мать, растить сыновей крепкими, смелыми, грамотными и русскими, русскими, чтобы, созрев, развернули они плечи и грянули на обидчиков грозой, на каждого — нерусского и русского, на каждого, кто посягнул незаконно на их русскую честь и долю!

Русские, гляньте, вдумайтесь: нас развербовали по целинным, индустриальным, строительным и прочим заказам. Нас убивали в Египтах, Вьетнамах, Сириях, Никарагуа. Нас теснят на Севере, Юге, Востоке, Западе. Сколько же можно? Нас в России дежат в плену картавые лидеры вражьего телеэкрана и вражьей прессы. Мы — рабы?

Внизу — родимая долина,  
И тучи стелются по ней.

А в небе — снова ударило. Паук лысый, осьминог, захотал. Голова полированная мерить начала версты на земле и вверху. Антихрист пробудился.

\* \* \*

Тамара не свыклась, не смирилась с хмельным состоянием Вовы. Ей особенно противно — когда Вова, один, напибался вдрызг. Ее устрашало безволие мужа. Один — и пить? Порою, редко конечно, к Вове завернет ее коллега Тима, за-



стенчивый еврей, интеллигентный местный художник и специалист. Выпьют с Вовой поллитру и — точка. Оба трезвые и политические.

Тима увлекался митингами и демонстрациями, пытался вихрем перестройки заарканить и Вову, но Вова — русский лентяй: дай выпить и принеси чуть закусить... Правда, литературу о сионизме и масонах они равно штудировали, и Тима часто восклицал: «Вова, едем в Израиль, здесь, в России, русским делать нечего, евреи омасонились, а русские ожидали, да как набросились на американские фильмы и танцы негритянские, — пошехонские попугаи!..»

Вова, чокаясь гранями стакана, соглашался: «Да, Тима, русские и евреи — близнецы-братья!.. Евреи весь земной шар изрыли, изнюхали, к себе в Израиль возвращаются на чеснок, а русские, крохи не запася, кромеobelisksов по Азии и Европе, никуда из России ехать не желают, тоже как бы в нее, на самогон, возвращаются, ах, Тима, беда, беда-то какая злая!..»

Тима начисто отказался от сотрудничества с Айвазяном Булатовичем Байрамовым, объявив его хазарцем международного валютного фонда. Тима не сомневался: Айвазян — не Айвазян, Байрамов — не Байрамов, а копни под него, такой хасид выскочит, с кролика ушастого! Вова же обижался на русских: «Тима, — всплакивал он, Тима, ну скажи, Тима, какой народ — в своей родной столице даст, позволит расстрелять парламент, Дом Советов, а в Доме Советов — женщины, дети, отцы, матери, какой народ позволит сукам казнить, рубить головы, как бройлерным петухам, русским, какой, какой народ, Тима?»

Тима притормаживал беседу, грустную и незащитную: «А кто расстреливал? Политиканы, жулики, проходимцы, предатели, дебилы, истекающие интернациональным соком, хватит о них, Вова!..» И друзья расставались. Тима вскоре уехал в Израиль, а Вову увез на допрос настойчивый майор милиции, тот самый, заставший Вову и Тиму за снятием трафаретов на улицах поселка.



Художник, их птицефермо-крольчатниковый мазила, чу-ет Тамара, человек с порчью, Тима Губельман, отпетый рус-ский тип, а выдает себя среди русских за еврея, бронируется от притеснений? Выпьет и Вова: «Срочно объявим с тобой, Володя, улицы, все до единой, назовем срочно, Володя, име-нами Бурбулиса, Гайдара, Черниченко, Старовойтовой, Яв-линского, Курковой, Шумейко, Ельцина, Сахарова, Солжени-цына, Евтушенко, Ахмадулиной, Высоцкого, Окуджавы, обя-зательно, Вова, и постаскиваем со стен старые трафареты, а демократические вывесим. Вывесим, и я уеду в Израиль, твердо уверенным — в России победила свобода!..»

И постаскивали трафареты. Постаскивали — арестовал майор, да какой заковыристый, майор-то? Вова рассказывал Тамаре, вздыхая: «Не пойму, Тома, за кем в будущее шагать. Майор арестовал нас и прикрикнул: «Ну, демократы, сажать вас буду совместно с вашими корифеями, бурбулисами, гай-дарами и прочими врагами народа!..» Вова поежился: «Так и пригрозил: «Прочими врагами народа!..»

Тима нахулиганил и уехал. А Вову таскали, таскали, за-ставили воссоздать антураж: прикрепить прежние на стенах трафареты. А Тима Губельман прислал из Тель-Авива со зна-комыми письмо Вова. Интересное, да верить как? Письмо не человек, а бумага, хотя и человеком оживленная.

Тима сообщает: «Володя, я не еврей, я чистейший рус-ский человек, но русскому, да еще художнику, в России, как мне, птичнику, на крольчатнике делать нечего. В России ныне русских нет. Я, подозревают израильтяне, русский. Им, Володя, любопытно, как я ассимилируюсь в их среде, раство-рюсь в их великом, по сравнению со мною, единственным нацменом, народе, растворюсь, и какой след я оставлю в их еврейской культуре?»

Они меня, Володя, подозревая, берегут, выставки мне разрешают, платят, словом, человек я здесь большой, как все они у нас, в России, Володя, тут я талантливый и непререка-емый. Приезжай ко мне. Бери псевдоним. Я жду. Твой Тима Губельман».



Тамара догадалась: Вова понял — его спровоцировал Тима на политический скандал ради своей зигзагливой эмиграции. Тамара догадалась. А Вова, осерчав, запил. Запил и пропал.

Тамара и не считала себя философом, да начала кумекать. Редко, но приходится ей в Москву наезжать: туфельки починить, сынишкам одежонку приобрести, мужу, Вова, сигарет простецких отыскать. Электричка стучит по рельсам и покачивается, а Тамара сидит, на поля знакомые поглядывает в окно, поглядывает и задумывается.

Не хотела бы, а задумаешься. Русские деревни, старинные, горбатые, провалившиеся, усохлые, трухлявые, почиркай спичкой — от конца до конца, от калитки до калитки огонь махнет и слижет, зола да головешки останутся. Нет русской деревни, нет. И не перечьте, нет ее!

А за русскими всхолмиками, за мысочками лесными, за овражками да вдоль, вдоль железной линии, да поближе, поближе к ней, дома повылупились шумно, как цыплята из скорлупы, желтокирпичные, с красными клювами-крышами, богатые дома, а то и в два, в три, в четыре этажа, да все — частные, где взяли миллионы-то, а ?

Но и здесь русские жулики попадают, среди окавканных национальностей русские лица попадают, но тяжелые — жестокие и наглые, торговые хари! Тамара покачивается, а электричка бежит. В Москву бежит, из Москвы ли, дума грустная: кто честно работал — на бобах остался, а кто жульничал — в господа выбился. А какой народ сильнее и беззаветнее работал, воевал, надеялся, помогал, какой, отвечай! И какой же народ беднее всех, молчишь?

Финны хотят свободы — на! Поляки хотят — на! Таджики, армяне, киргизы — на! А русские? Сразу: «шовинисты», «фашисты»! Мурло. Чего им, ленинцам, от русских нужно? Водку продавать по живодерским ценам некому будет? Травить народы не на кого будет? За спину русских нельзя прятаться негодьям будет?

Потому Тима и фальцетил: «Намалюй, Вова, по улице Крупской новые трафареты имени Петуха, Петуха!.. Петух



их, торгашей, гоняет и гоняет, а чиво от Крупской проку?» За этим нарушающим порядок занятием и застал начальник милиции района, майор Дудкин, Тиму и Вову. Тима сунул кисть-помазок в снег и наступил на него подшитыми валенками, а Вова, балда и есть настоящая балда, задираться:

— Какое вы имеете право? Кто вы? Я вас за версту высморкаю!..

И прочее на майора:

— Почему не ловишь антихриста, бездельник, а придираешься к честным согражданам?

Милиционер сматерился и стреп Вову за фуфайку. Ткнул в полосатую «Ниву» и умчал на допрос. На допросе Вова и наорал на майора, а Тима так на снегу и оттоптался, невредимый и расчетливый, с трафаретиками, спрятанными в полущубке, за поясом.

Вова орал:

— Вы только и способны дубинками народ взбадривать, неучи, да прописывать за айву, коньяк и маслины кроличьих иностранцев по русским городам, стравливая нас им, акулам кавказским, нас, нищих русских людей, подлецы портретные!.. Предатели земли русской, насильники ее и воры!..

Вове палец в рот не клади, образованный: даже о сионизме и масонах читал книжки, но Байрамова Айвазяна Булатовича Вова числит врагом Израиля, поскольку он, по паспорту — Вова оформлял ему спецпак у демократов — Гукман, а корчит из себя мусульманина, баптист, чем и раздражает заморских и отечественных евреев, ваххабит!..

И, заметил Вова, Айвазян подделывается под сиониста, под семхозного масона работает, бездарь, понимает — так ему легче, масонов-то у нас везде напихано, как у Айвазяна Булатовича кроликов на ферме.

Майор и два толстых капитана поколотили Вову:

Под бока его, под бока  
И по яйсам его, дурака!..





\* \* \*

Промчатся годы. Состарится Тамара. Сделается глубокой бабушкой, сядет в электричку — купить в Москве гостинцы внучатам, глянет по сторонам, а в домах — смуглые, веселые люди живут-поживают, денег наживают, а русских нет: след их в мире исчез, а в России след их вытоптали негодяи, свои и чужие. Измасоненные ваучеры.

И слезы прихлынули к Тамаре. Обидно ей за себя, за русских, за Вову, за сынишек, за птицеферму, за кроличью галиматью, за все, за все, отчего ее оттолкнули, чем ее осмеяли, куда ее усунули и запрятали подальше от радости и от счастья, от смеха и от песен.

Милая Россия моя, истерзанная и осмеянная Родина моя русская, все труднее и труднее жить мне делается: и не только — хлеб трудно добывать, и не только — крышу избушки своей трудно содержать, а труднее и труднее жить мне потому, что меня кругом полонили, осиротили меня и казнили, распяли меня на кресте моем же, кресте нищеты и бесправья, кресте крови и скорби. И пойти мне — куда? И жаловаться — кому?

Что — мои генералы? Мать моя им последнюю каплю маслица, при налоговом обложении, от меня отрывала, а отец мой умер от ран фашистских, как мать моя, русский, несчастный, пронзенный одиночеством русским. Кто присудил ему кару такую? За что присудил? В чем виноват мой отец, воин и пахарь?

Давно я седой. Давно я, Россия моя, не глупый, а все разобратся пытаюсь: как дорвется до Кремля под русским именем варан — русскую кровь загородить в реках невозможно, волнами, волнами, от Москвы и до Колымы течет. Но почему? Почему в родной стране, и без СССР, в России, ныне только мы, как не русские, мы скомканней нацменьшинств, мы вдавлены в холодный русский снег на русском синем просторе чьей-то пьяной тяжелой пятою? Не картавый поносник, так водочный бандит правит нами. Не грабитель — так убийца сидит на Спасской башне. Антихрист.



Уйду я вечером за лесок, за бугорочки, взглянусь в осеннюю золоти́ну, а пушки: «Бу-бух!..» А пушки: «Бу-бух!..» И — по окнам, по окнам Дома Советов, а там, под взрывами, там, под пламенем, русские люди ползают и слепнут. Куда мне уехать? Что мне в руки схватить, топор или автомат, что? И эта — седая опухлая свинья, эта, с гладким зачесом блядь, этот, опузевший от трибун и бань блевотный маньяк, обращается ко мне: «Дорогие россияне, и я-я...»

О, какое же надо терпение нам, русским, вырастить в себе, в сердце русском, дабы не ринуться табуном, конницей, армией, потопом, бурей, ураганом на этих скорпионов, отравленных ядом измены, какое? Россия моя, прости меня, грешного и жалящего, но другого чувства нет во мне: я выкипел ненавистью к ним, выкипел сердцем досуха, как горем выкипели очи матери моей — онемели и высохли!

Зачем ее, красивую и работающую, русскую и бесхитростную, Тамару, родили на русской земле? Зачем? В пионерах она зубрила:

У Советского Союза,  
У державы Ильича,  
Вызревает кукуруза,  
И урюк, и алыча,  
Тоже цвета кумача!

В комсомоле, студенткой техникума, на птицеводческой практике в Семхозе Тамара декламировала со сцены Дома культуры:

Наш труд  
для трудящихся мира  
пример,  
Свободный рабочий  
не хмурится, —  
Пусть в каждом сарае  
СССР  
Кудахчет веселая курица.



И пусть  
над великою  
Родиной  
Петух кукарекает  
бройлерный!..

Нечего орать: «Кавказцы, кавказцы или русские, русские!..» Нечего: все мы — из чистого золота, доллары!.. Оту-реченные горбачевцы.

Но кукуруза вымерзла в русских низинах и на перевалах, а бройлерные куры заменены Айвазяном на кроликов. Бройлерного петуха-то попугивался не только Айвазян Булатович, но и Антихрист робел: кукарекнет Стенька, бывало, и лысая полированная голова в небе исчезает, черт вечно петушиной бесцеремонности страшится, а теперь? Что от иззяблых дрожалых кроликов толку? Но родственники Айвазяна на тропях и дорогах, шоссе и трактах заарканивают несчастных кроликов и тут же их расчекрыживают на шашлыки. Бетонка пахнет бензином, айвою, соленым перцем, силосным чесноком и рислингом. А русская жизнь — русской кровью.

Медленно бредет Тамара. Медленно мы перекидываемся памятью туда же, к айвазянскому: «С-е-е!..» Медленно стучит сердце Тамары. Устало оно. Трудно ему дышать. И кровь перерабатывать трудно. Надоело. Скорей бы, скорей бы конец!

Где же ее дом? Здесь ли?.. Она не испытывала ни обиды, ни боли, ни унижения, ни бессилия, она в поселке чужая. Она слышала лишь свою мертвую душу. Душа ее не шевелилась в ней, не чувствовала ее, Тамару, так Тамара окаменела. Потому избы, приклеенные по краям улицы, русской и заброшенной, русской и завьюженной огненными снегами неисчислимых трагедий, вдруг поплыли на нее мертвыми старухами, забытыми в неохватных просторах. И вот — ее дом, вот он.

«С-е-е!» — звучало в ушах... Но у калитки что-то чернело. Пот ударил по вискам Тамары. Сердце ожило и застучало.



«Вова, Вова», — мелькнула мысль. Тамара легким прикосновением сапожка ткнула в широкую подошву ботинка мужа. Еще, еще!.. Наклонилась — холодный.

А ветер качал у окна, за калиткой, голый куст сирени. Качал и макушкой пригибал куст к забору. Тамаре вдруг сделалось жутко. «Вова! Вова! Вова!» — закричала она. А из окошка на крик матери, тесня брат брата, как три швыряемых кролика, показались детишки, запертые ими, отцом и матерью, спешившими на работу.

Вова не дотянул до калитки. Упал, еле-еле вынул недопитую четвертушку из кармана и, лежа, дососал, доконал ее, окутываясь голубым туманом смерти. Их дом — последний, счастливый когда-то дом. В других — жены, похоронившие мужей, одинокие полунищие рабыни, полоненные грязью и духом торговцев. Силосный матерьял...

Не судите меня, бабы русские, за черную долю золотоволосой Тамары, красавицы русской: все вы, все вы теперь в заложницах у мошенников и бандитов, как Тамара, подруга и сестра ваша, пойманная в сети кочевников Азии и Кавказа, нанятых на службу олигархам, нанятых и насилующих вас, гыгыкая над вами, но грянет час!..

Кремлевские талибы сельскую Россию обезлюдили, а в городскую — убийц и взрывников нагнали. Взбаламутили народ на народ и десятую весну за иорданским Хаттабом, палачом, и за безногим Басаевым, изувером, по козлиным ущельям безрезультатно скачут и скачут

Захочет Тамара Вовиному кресту поклониться, подгробет сиротливых синишек поближе, а между ними и крестом красная волна вырастает и широко, широко по бескрайней равнине расплескивается. Глянет Тамара, а в четыре стороны по великой красной равнине православные кресты идут, черные, сутулые, скорбные. Идут, идут.

— Куда вы, куда вы, осиротелые? — боязливо спрашивает Тамара.

— В сиротство, в сиротство, куда и вы! — отвечает. И подгребает детишек мать, подгребает их поближе, поближе.



Кресты уйдут, а за крестами обелиски уйдут, а за обелисками народ уйдет русский.

И над великой равниной, над морем бескрайним русским, красным, красным от крови русской, мать русская, мать золотоволосая закаменеет: по праву руку — ребенок и по левую руку — ребенок, и все, трое, — на холме, золотоволосые, золотоволосые, русские, русские!..

Светлый путь наш заclubился тьмой,  
Мгла в горах и мрак ночной в ложбине.  
Повернули русские домой,  
Хватит, наскитались по чужбине.

Журавлями дедовы кресты  
Все кричат над зарослями пашен.  
Русские селения пусты,  
Русский вздох седому веку страшен.

Ну о чем тебе я говорю,  
Разве ты страданиями прекрасна?  
Мы с тобою в юности зарю  
Захотели встретить, да напрасно:

Не бегут к нам под ноги цветы,  
Не звенит луна под небесами.  
Русская рябина, это ты,  
С горькими ужасными глазами.

Тьма и тьма клубится, клокоча,  
И от месхетинца до мингрела  
Русского терпения свеча  
На ветрах предательства сгорела.

Я с ума сойду, а не пойму  
Банды, на акцентах говорящей,  
Не с того ли тычется во тьму  
Брат нетрезвый головой пропадающей?



Беззащитна русская земля,  
Смерть гуляет в переулках узких:  
То враги из русского Кремля,  
Хохоча, расстреливают русских.

Тьма и зверь за нами, тьма и зверь,  
Тьма и зверь ползут в поля и долы.  
И на душу русскую теперь  
Новые охотятся монголы.

Помоги нам, Господи Боже мой, спаси нас в милости  
Твоей!

*1992—1994—1997*

## *Издевательство*

Лев Львович Фурманов — честнейший человек и сердобольный доктор. Зубы рвет, как сказки рассказывает или нос тебе приятно почесывает. И никогда не берет больше того, чем ты ему дашь: два рубля так два рубля, семь рублей так семь рублей. И лечить людей он еще далеко до хозрасчета таким вариантом начал. Деньги в руки — разевай рот пошире, мысленно декламируй Маяковского:

Я волком бы  
выгрыз  
бюрократизм,  
К мандатам  
почтения нету!

Действительно, оставишь зуб, и никакой квитанции не нужно. Потому Лев Львович широко известен в Москве, а в нашем огромном квартале, глубоко уважаемый — районный рабкор и депутат. Избирали его в совет дружно, без альтернативы. Ну какая такому человеку альтернатива? Да, с альтернативой пора поосторожнее обращаться: вон сколько их, альтернативных, наверху! Говорят, а зубной кабинет у Льва Львовича Фурманова мал для разворота.

Написали мы требование в городской исполком, девять месяцев молчали, как беременные, на десятом отказали: мол, оборудование и само здание поликлиники — бесперспективное!.. Жена Льва Львовича разнервничалась, Марья Степановна Фурманова, и скажи в пылу: «Глупый ты, Лева, дятел! Долбишь, в рот пьяницам заглядываешь, а выше район-



ной линии не поднимаешься: печатает тебя — районка, мандат у тебя — районный!»

Незаживающую рану просверлила Марья Степановна в благородном сердце Льва Львовича. Три дня ел только зеленый салат и три раза в день перед едой капал в ложку по тридцать три капли коньяка ереванского разлива, что сейчас — редкость. Армяне воюют, а русские коньяк ищут. Жизнь в Москве и в государстве на экран вышла. Как вечер, так сообщения. Раздели. Убили. Износили и на самолете в Стамбул улетели. И каждый жулик на сцену лезет. А Лев Львович?

Но женщина не понимает тонкостей мужской психики. Скромного и прилежного, Марья Степановна опять зацепила Льва Львовича за больное: «Неужели, Лева, ты по телевизору не можешь обратиться к собственным избирателям, пусть коллективно дадут оценку городскому исполкому?» Бюрократия. Зазнались. Заговорились. Запарадились.

И решил Лев Львович Фурманов пробиться на телевидение. И не ради личной персоны, не ради личной выгоды, не ради, наконец, популярности, известности и банальной славы. Ради дорогих избирателей, трудящихся людей, простых, доверчивых, вверенных ему пациентов, надеющихся на него, специалиста и патриота! Позвонил в приемную телестудии — мгновенно условились о встрече на завтра, к пятнадцати часам и пятнадцати минутам.

На следующий день, до обеда Лев Львович как бы не передвигался, а привзлетывал, парил по кабинету. Сам открывал дверь и сам приглашал пациента. Ласково усаживал в кресло и колдовал. Ласково прикасался к зубу. Ласково тянул его, а потом нежно, как молоденькая белка в дупло, заглядывал пациенту в рот и спрашивал:

— Не больно?

И твердо зная, что счастливый пациент ответит «не больно, спасибо», Лев Львович едва касался плеч пациента и провожая, вскрикивал:

— Прошу вас!

Операция повторялась.





В тринадцать он уже расслабился на домашнем диване, чуть приподняв на этажерку ноги. Рекомендуют американцы: кровь бегаёт по телу решительнее, когда ноги твои высоко над тобою. Черный костюм, белая рубашка и голубой, с белым крабиком, галстук. Марья Степановна приготовила. На столе записка: «Лева, я ушла в магазин. Одевайся, но передохни перед записью. Марья».

За час до встречи, в четырнадцать пятнадцать, Лев Львович Фурманов глянул на себя в зеркало. Темный костюм деликатно облегал интеллигентную фигуру. Седые волосы, густые и вьющиеся, дополняли порядочность образа, а белая рубашка и голубой, с белым крабиком, галстук дорисовывали — типичный русский интеллигент!.. И жена заботливая. Да и возраст у них терпимый: ей — пятьдесят, ему — пятьдесят четыре.

Своеобразное здание Центрального телевидения до дождя и после дождя одинаково отвратительно. На стенах растекшаяся бывшая пыль, у главного подъезда разозленный, как собаками искусанный, милиционер:

— К кому?

— На запись! — радостно объяснил Лев Львович Фурманов.

Милиционер, почувствовав интеллигента в незнакомце, собрался откозырять, но передумал:

— Пожалуйста!..

«Кто здесь работает? Кто здесь нас учит жить, а? Кто здесь советует нам посещать храмы и философствует о милосердии?» — проносилось в мозгу Льва Львовича. «Уж лучше бы они здесь молчали, а в «Новостях» показывали нам язык!» — рассуждал зубной врач.

Ровно в пятнадцать часов пятнадцать минут Лев Львович Фурманов постучал в дверь указанной редакции. В углу комнаты зашевелилось и выползло, постукатало на тугих лапках и замерло.

— Лев Львович Фурманов! — представился зубной врач.

А то, что выползло, молчало и сильно напоминало огородного ежа. Лицо узкое, тело узкое, лапы узкие.



— Позвольте, вы или я Лев Львович Фурманов? — осведомилось то, что из угла выползло.

— Я! — уверенно подтвердил Лев Львович, муж Марии Степановны.

— И я! — уверенно подтвердило угловое.

Оба смутились.

Но, к счастью, тут зубной врач обнаружил — попал он в пятую комнату, а надо в шестую. Рядом. Смущенный, но уже обвыкшийся, Лев Львович вольно распахнул дверь. И сразу на него побежал из-за кипы бумаг и пленок, задев корзину с копирками и ореховой шелухой и вывалив ее перед Львом Львовичем, симпатичный мужик, бойкий и рыжеватый:

— А, Лев Львович Фурманов? Очень здорово, очень здорово, сейчас мы вас и запишем!

Лев Львович улыбнулся. А симпатичный мужик стал его поворачивать на свет и обратно, на свет и обратно:

— Гигиеничный, то есть фотогигиеничный! — докладывал он себе. Гремя стульями уточнил: — Значит, Лев Львович Фурманов?

— Да, Лев Львович Фурманов!

Симпатичный включил селекторную связь:

— Марья Степановна, срочно подошлите ко мне зубного врача Льва Львовича Фурманова!

Селектор щелкнул.

Лев Львович Фурманов, тот, что в черном костюме и районный депутат, затревожился: «Марья Степановна, Лев Львович, зубной врач!» Тревога охватила его, и левый глаз у него затикал: «Тик, тик, тик!» Хозяин кабинета заметил тревожное состояние гостя:

— У вас зуб заболел, Лев Львович?

Леву Львовичу совсем стало дурно, и он забеспокоился откровенней. Он прижался к подоконнику, поскрипывая стулом, зажмурился.

— А вот и наша Марья Степановна! — доложил хозяин комнаты.

«Что за черт?» — усомнился Лев Львович, который в черном костюме, понемножку решил приоткрывать тикающий глаз. Пока один... Приоткрыл. С порога редакции, чуть



кокетничая, подавала какую-то анкетку юная восточная девушка, совершенно не обращая внимания на Льва Львовича Фурманова.

— А Лев Львович Фурманов первый где?

— Рядом. Сидит.

— А второй? — еще спросил хозяин комнаты.

— Не подъехал еще!

И Марья Степановна, восточная юная девушка, удалилась. «Что за черт?» — снова забеспокоился гость. И жалобно закрипел стулом у подоконника. «Недаром говорят, на телевидении мафия!» — ожесточился пришелец. И стал готовить себя к беде.

Но тут захохотал хозяин комнаты. Подбежал к Льву Львовичу и буквально затрясся, ловя его руку и пожимая:

— Понимаете, и вы, хи-а-а-а, Лев Львович Фурманов? И я, хи-а-а-а, Лев Львович Фурманов, и за стеной, хи-а-а-а, Лев Львович Фурманов, а кого мы вызываем, тоже, хи-а-а-а, Лев Львович Фурманов, зоопарк!

Но Лев Львович Фурманов, депутат, качнулся на стуле и бессмысленно затараторил:

— Я зубной врач, вы зубной врач, он зубной врач, и он зубной врач, а кто не зубной врач, кто, спрашиваю? — прикрикнул депутат на телестудника. — Кто, спрашиваю вас, вас! — горячился он и пытался вскочить с кресла, но ему не удавалось.

Редактор будущей передачи Лев Львович Фурманов испуганно помог нашему Льву Львовичу Фурманову подняться и, подальше от греха, проводил его до постового милиционера. Расстались они, не прощаясь, а наш депутат, студийскому Фурманову показалось, намеревался что-то сотворить с ним, подозрительно роясь в карманах. Милиционер их проигнорировал. Привык... Конкурс львов, догадался дежурный...

Лежа на домашнем диване, в костюме и при галстукке, с белым крабиком, глотая из ложечки сердечные капли, Лев Львович советовался с женою, Марьей Степановной Фурмановой:

— Маша, нужен псевдоним, как ты?..



## *Пустая бутылка*

Нехорошо, когда говорят: как депутат — так вор, как начальник — так негодяй. Может быть депутат — и не вор, начальник — и человек добрый, хотя, конечно, в наше время найти депутата не вора, начальника — порядочного трудно, а кое-где и вообще не найти. Перестройка руководящих людей шлифует на один манер всех: лепит их по образу Горбачева...

Однако в моем поселке депутат местного совета Илья Архипыч Нефедов прозрачнее первого льда в роднике, чище голоса петуха на заре, беспокойней диктора на экране. Пройдет по кривым улицам, посмотрит на дома, на дворы, на бани, на заборы, давай в блокнот записывать, регистрировать: у кого крыша течет, у кого калитка сломана, у кого сарай упал.

Посоветует, матерьялу достать пособит, не пособит — пообещает и на душе у крестьянина полегчает. Ласку и ребенок ценит, свинья и та, почесывай ее, благодарно всхрюкивает, а наш труженик, замордованный и заброшенный, на малый сердечный зов готов бежать, обниматься и плакать, счастливый...

Вот и нагревают его, такого сентиментально-трогательного, лидеры, жулики державные, сменяющие друг друга на трибуне, как пес пса у ворот, нагревают и лают, нагревают и лают. А живем-то мы, хлеб жуем, горе мелем да водицу пьем, живем — нищие папуасы и ждем своего Миклуху-Маклая: авось вздрючит и пожалует.

А Миклухи-Маклаи не торопятся к нам. Зато лидеры, хоть в глаза им плюй, лезут. Недавно даже президент Ельцин в Архангельск приехал и заявляет измученному народу:



«Мы сразу слишком круто взяли, слишком круто, а теперь реформы поведем полегче, полегче, слишком круто сразу взяли!...» И это говорит президент?

Илья Архипыч не дослушал Ельцина и выключил телевизор. Горло депутату местного совета сдавила обида еще и потому, что президент произнес фразу: «А депутатский корпус мешает решить вопрос о земле, а решить, значит — я должен разогнать депутатский корпус?...» Илья Архипыч Нефедов даже сконфузился после президентского афоризма. Разогнать... корпус... должен...

И местный депутат, Илья Архипыч Нефедов, рассуждает: «Ничего ты не разгонишь — некого разгонять. Холуи. И ничего ты не должен. Должен тот, у кого есть совесть... А вы, как вошли в Россию с револьверами и судами, так и выметут вас из нее с револьверами и судами!»

Президент, а «сразу мы круто, а теперь полегче, полегче», — ведь живым людям говорит, братьям, сестрам. Кто давал ему право брать слишком круто и кто дает право брать полегче? Сам берет. Сами берут. А народ — муха: хотят — свеют, не хотят — оставляют, ползай...

Илья Архипыч занедужил. Сердце, показалось ему, набухло и пробуксовывает, падая, и воздуха мало: рот разинет, а дышать неудобно, вроде рыбе, выдернутой на берег... Илья Архипыч Нефедов разных рангов знал руководителей: некоторые — сердечники, пилюлю Архипычу предлагали, те — умирали. Некоторые — орали с трибун, под портретом Ленина, и увозили баб на партийную дачу. Некоторые — решениями, приказами, изобретательными правилами добивали сельчан и двигались в Кремль министрами, замами, помами и прочими разбойниками.

Илья Архипыч Нефедов, старейший бессменный депутат местного совета слег в постель, вникнув глубоко в архангельскую речь президента: понял — может разогнать, может — не разогнать. Новый Ленин! Горбачев разогнал депутатов — его шуганули. Скорей бы и этот разогнал... Но доконал местного депутата не президент. Доконала местного депутата, борца за справедливость, изъела — директорша продмага.



Симпатичная, с черными кудряшками за ушами. Глазки черные, плутоватые, горящие любовью. Титьки подцеплены вверх под кофточкой и ходит — повиливает, радостно ей: нет ни закона, ни штрафа, ни проверок. Хозяйка. Стоит перед ней местный депутат, старый человек, честный Илья Архипыч Нефедов, а она, Софья Григорьевна, директорша, ведро воды опрокидывает в бочку пива, на разлив торгует, зараза. Ведро опрокидывает, а Илье Архипычу мордочку строит.

Илья Архипыч Нефедов начал вербовать свидетелей из толпящихся алкоголиков, но Софья Григорьевна им ловко подмигнула и алкоголики заорали: «Депутат клязузу затевает, взятку вымогает!..» Архипыч выбег из продмага, и еле, еле добрел, глотая валидол, до родной избы. Бабушка Полина Тимофеевна, супруга депутата, уложила Архипыча в кровать, сердясь:

— Семьдесят лет скоро, а все ты к общественному пирогу метишь!..

В мозгу Полины Тимофеевны «общественный пирог» ассоциировался не с благами, коими местный депутат, ее муж, Илья Архипыч Нефедов, никогда не пользовался, а с шанежкой. Шанежку покупал председатель месткома и, деля водку по пятьдесят грамм на стакан, предлагал 9 мая закупить участникам битвы за Москву.

А в деревне из участников битвы за Москву — Илья Архипыч и его двоюродный брат Саня, дед уже, хромой и слабый. Председатель месткома Гнутов Борис Николаевич гордился: «Мне президент России тетка!..» И бутылку высасывал единолично, не считая тех грамм, плеснутых им в стаканы участникам битвы за Москву.

Гнутов Борис Николаевич — ладный, здоровенный мужик, дурачина экой: шаньгу пополам — героям войны, а водку себе. И подражает: «Мы сразу круто взяли, круто взяли, а теперь полегче, полегче поведем реформы!..» И громко: «Хе-хе!» Бурбон.

Такие шуточки окончательно добивали Архипыча, и он лежал в кровати тихо и ненадоедливо, как очень умный школьник, примерный ребенок... Но ведро воды, пущенное Софьей Григорьевной в бочку пива, угнетало Архипыча.



Обижало депутата и поведение директорши. Софья Григорьевна прямо ему сказала: «Ты, Архипыч, не заглядывай на меня, не суетись в моем большом продаже, засуну тебя среди мешков — бабка Поля до скончания не найдет!»

Софья Григорьевна подскочила козочкой к депутату и в ухо проблеяла:

Много сала, много тары,  
Как директор — так буржуй,  
Ты катись отседа, старый  
Ревизор,  
советский фуй!

Архипыч проглотил четыре валидолины, покачнулся, дослушал песню Сони и, доковыляв до своей бабушки Полины, потерял сознание. Очнулся к вечеру. Тускло сияла в избе дешевая лампочка. Потрескивал бессовестный экран телевизора. А в экране — енотообразный, толстый, звероватый политкомментатор СССР поносит.

Странные мы, русские люди, далось нам за модами западными гоняться, а силенки и богатств у нас для подобных скачек маловато: добежали до кукурузы — Хрущева уронили, совершили научно-техническую революцию — Брежнев помер, взяли дружно за перестройку — Горбачев страну продал зарубежным и нашим кооперативам. Не везет.

А Запад кушает шоколад и нам, дуракам коломенским, аппетитно подмигивает, мол, давай, давай, гонись за мною, барчуком историческим, ты, пролетарий марксистский, очумевший от соцсоревнований и догоняний меня, эксплуататора неповоротливого, частника, пахнущего не твоей комсомольской крапивной лапшой, а румяной бургерской сарделиной, подперченной и хрустковой.

Но и у нас в Москве имеются бизнесмены, манерами и воспитанностью не уступят западным, не осрамят Россию и не опозорят поведением и решительностью: воротилы, роскошью швыряются на тротуарах и даже в метро. Вынимает магнат из кармана широченных штанов бутылку, а лучше,





банку, расписанную, запломбированную, медную, дорогую, рублей за тысячу, банку пива, немецкого или английского, не разбавленного скотскою водою, вынимает и в гудящем вагоне, мчась от остановки до остановки, сосет. Медленно сосет и глазом, левым или правым, косит, следит за реакцией голодных, но весьма любопытных пассажиров. Подзадоривает...

Садист, магнат русский, предприниматель, торгаш обыкновенный, освоивший деликатную школу Запада: есть и пить там, где его зажиточному чреву угодно, правда, без тарелок и чарок, а ест и пьет как бы из посуды: пакет — из пакета, бутылка — из бутылки, банка — из банки. Показывает — богат, право имеет на жратву и питье. А приспичит — бежит за киоск. Тут его, миллиардера, и хватает за нос милиционер. Хватает и штрафует, а квитанцию у себя оставляет — круговорот капитала.

Иногда милиционер долго, долго стоит, дежурит, мечтает поймать за киоском воспитанного богача, русского магната, но попадаются ему кавказцы и кавказцы, хотя и на западный вкус перестройкой обученные, да оказывают вооруженное сопротивление, капризничают, баловни. Москва есть Москва. Бутылки, банки, ящики и корзины валяются, как в Бонне или Вашингтоне, везде: ступишь ногою — бутылка, ступишь другою — банка.

Но Москва — большая. А деревня моя, где Илья Архипыч выбран населением в депутаты, деревня — крошечная, и покою нет. Пьяницы ломают по ночам заборы вдоль стезек, прошибают сапогами изгороди к сараям и грядкам, соединяя сквозными дырами участки и дворы забитых сельских тружеников, осваивают...

Как их ловить и наказывать? Лохматые и вывалынные в соломе и грязи, днем они, с утра раннего и непогожего, быстро, быстро опохмелившись, гуляют, гудят, звеня стаканами, а вечером, еще солнце не село, не остепенилось, мгновенно засыпают. Не будешь же их беспокоить по пустякам? Милиция стремится ухватить их в момент замусоривания ими стеклом и жестью из-под пива и водки, загаживания родной окрестности, но как поймать? Оберточной бумаги и разных



упаковочных футлярчиков на деревне не найти — пью, не закусывая.

И получается: московские пьяницы, магнаты, сорят в столице, деревенские пьяницы, беднота, замусоривают первобытную природу. А интеллигенция и там, в Москве, и тут, в деревне, страдает. Илья Архипыч да Софья Григорьевна, да Борис Николаевич — на них и держится наша измученная деревня, наша народная бескомпромиссная власть.

Мы же миллионеру, при операциях над ворьем, помочь боимся. Страх нас тормозит. А при безобразиях в метро или в сельской больнице — корим руководителей района, области, государства. Президент виноват, а мы — ангелы? Кавказцы нас монголизируют, а председатель месткома должен один на один с ними сражаться и собой рисковать?

Россия, моя Россия, сколько же стервецов ныне плюет и харкает в твоё материнское лицо? Сколько же негодяев и хамов попирает твои правила и заветы? Под западную линию, как под скотский навес, теснят и теснят нас, гонят и гонят, русских, гонят и возмущаются, если мы оглянемся или замешкаемся.

Илья Архипыч такой честный депутат, такой честный народный инспектор, что ему порою кажется: за ним уже никого нет, кто бы защитил справедливость на деревне, за ним одни монголы. И первый среди монголов — Борис Николаевич. Усадьба председателя — несколько усадеб и огородов, сжатых вместе. Изба вымрет — он её приватизирует, вымрет — он её приватизирует. Удав.

А дом у Бориса Николаевича разросся, был деревянный, потом деревянно-кирпичный, а сейчас — каменный. Большой, широкооконный, за кирпичной стеною, высокой и монолитной, с воротами, на крылья огромные похожими, из нержавеющей стали, крашенной охрой: золотятся и гостей в дом зовут. А гости — в «мерседесах» и «тойотах», сильные, крепкие, едят и пьют и пообъемнее и потяжелее щеголей и алкашей, настоящие магнаты, а не худосочные модники. Землю приобретать спешит. И председатель, как на дрожжах, поднимается, богатея.



В дни их увеселения в доме Бориса Николаевича, председателя месткома, Софья Григорьевна на «рафике», на «рафике» снесь и зелие из своего магазина, туда, туда в золотые ворота, в золотые ворота, отправляет в орду и отправляет. Прорва, а не ворота. Илья Архипыч заглядывает, раз десять снуя мимо дома, заглядывает, а какие меры он способен принять?

Новый класс возникает!.. Класс предпринимателей и банкиров. Пусть кто-то шикует в метро, сося из банки неразбавленное пиво. Пусть кто-то возле магазина Софьи Григорьевны напьется водянистого пива и пусть вздремнет у низкого порожка, сиротливо и виновато. Пусть. Но возникает новый коньячно-долларовый класс, заменяя пиво-рублевый класс рабочих и класс крестьян. Россия — классовая угодница. Один ее класс сокрушает другой ее класс, а, глядь, возникает между классовыми драками третий класс, да еще хамовитее и убежденнее прежних: пьет и швыряет бутылки в морду прохожим, вот как!.. Илья Архипыч, ветеран и фронтовик. Его не объегорить. Он депутат, но чует — конец. Чует — хана депутатам, народная власть накренилась и ее тут же выпили, выглотали вагонные магнаты и околomagазинные алкоголики, а суперменам она не пригодилась вовсе... Илья Архипыч понимает трагедию, и Софья Григорьевна понимает и, разжижая пиво сарайною водою, фыркает на депутата.

Кто сегодня прошлое вспоминает? Сегодня все и даже мы, в нашей деревне Абалкине, в грядущее устремлены. Деревня Абалкино в Подмоскowie старинная, и не в честь академика-перестройщика, соратника Гобачева и Ельцина, названа, а был Абалкин, генерал. В турецкую войну Пашу пленил. С той поры как чуть, так в Подмоскowie азербайджанские паши-спекулянты появляются... Запрета на них ждем, да не дождемся.

Сегодняшний Абалкин, пусть, скажем, и Абалкин, да толку от него не замечено в наших краях. А и Яковлевка, деревня, в Подмоскowie имеется, да не в имя подвигов Александра Николаевича Яковлева сотворена, политбюровца,



цэрэушнаго ленинца и секретаря ЦК КПСС. Окает, волгарь бердичевский и академик, деятель, окая и больному, лежачему, с буксующим сердцем Архипычу, внушает из Кремля: «Мы дали демократию. Свободу дали. Но мышление-то у народа — тоталитарное? Но принципы проявлять, способность в планах и делах у людей, имею в виду руководителей и депутатов, авторитарные и тоталитарные?...» Пень, осьминог, затыкая под веки свинцовые пульки, вбуравленные вместо глаз, шевелил неопрятным ртом: «Тоталитаризация, авторитаризация, милитаризация, узурпация и ваучеризация!..» Бидон с разжиженным пивом.

— Выключи! — скомандовал Илья Архипыч супруге.

А сам начал гадать: «Кто этот Фрейд?.. Александр Яковлевич? Николай Александрович? Яков Николаевич?» Забыл. Помнит Илья Архипыч, что Фрейд все время волочился по должностям за Горбачевым и пропадал, когда тому били по рыльцу. Тот смывался — Фрейд смывался. Второй, стало быть, по величине и безголовому влиянию, Фрейд.

Так о родном народе: «мышление тоталитарное, авторитарное», «дали демократию, дали свободу?...». А кто ты, кто? Почему ты, обвешанный званиями и чинами, не предусмотрел, не предостерег, почему?

Илья Архипыч где-то слышал: Фрейд занимался пакостями в императрицыных постелях, а Фрейд Александр Николаевич занимается пакостями на верхних этажах власти. Импотент одиозный. И не арестовывают развратника...

Люди, деревенские, наивны и простодушны. Стучатся в избу к Архипычу, без стука заходят, жалуются и обижаются на директоршу продмага, Софью Григорьевну. Дескать, не завозит хлеба по неделям, сахар не отпускает, а грузит на военный автомобиль и отправляет в Молдавию и Аргентину.

Там виноградники вырубил, а выпить, как нам, хочется... Писали в райисполком, в облисполком, в Верховный Совет на Софью Григорьевну коллективно, но она еще ужесточила ситуацию и пригрозила: «Я вас приморю сухомыткой, люмпены!..»



На «люмпены» больше других оскорбились почтальонши, пожилые дамы, кто-то, какой-то босяк, Фрейд провинциальный, сообщил им: «Люмпены — проститутки, страдающие недоеданием и бессонницей!..» Почтальонши ответили короткой забастовкой, а тайно решили поколотить Софью Григорьевну и принялись ее караулить по очереди. Но поймать директоршу сложно. Усекла — и катается в продмаг и далее из продмага на заказанном такси. И шофер — дуб, фрейдовый горилла.

Депутат местного совета Илья Архипыч Нефедов, едва опершись на ноги, худой и нервный, твердо решил поведать о надвигающейся драме Борису Николаевичу Гнутову, председателю месткома, тезке президента России. Покачиваясь, как от водки, от озноба и немощи, Архипыч пораньше добрался до кабинета околичного вождя:

— Побьют ее женщины, Борис Николаич, побьют! Прими строгие меры...

— За ведро воды?..

— За мошенничество, обман, хамство, побьют, позора не оберемся!

Борис Николаевич Гнутов глубоко задумался и набрал номер телефона:

— Сейчас ответит Софья Григорьевна, ты, Архипыч, от имени народа, от депутатского корпуса, от моей власти, выдай ей, выдай и сурово предупреди, пусть она не завирается, кружка водянистая!..

Возбужденный Архипыч схватил трубку. И обрушился полномочно на знакомый голос Софьи Григорьевны:

— Тут рядом Борис Николаевич, Борис Николаевич, он вам, я вам скажу, хватит издеваться над трудящимися, над инвалидами, над... — И поперхнулся: — Росомаха колымская!..

А в трубке визгливо и задористо хохотала директорша. Софья Григорьевна обычно так хохотала, захлебывая и укрощая веселостью внезапную злобу в собственном крепком организме: «Борис Николаич?.. Не Ельцин ли рядом с тобою, мой мягкий и хмельной куй?.. Ты, и я докажу, свидетели зарегистрированы, блудишь с почтарьками в рабочее время,



понял, мягкий куй?..» Но «куй» она произнесла, издевательски смакуя. И, визжа, захохотала: «Мы тебя, сексуальный маньяк, на магнитофон взяли!»

Архипыча проколола насквозь дикая неизвестная энергия, ударила и, замутив разум, уронила на пол. Ковырнулся навзничь депутат местного совета и уже не вскочил. Сознание мгновенно покинуло его, а сердце, долго буксовавшее на заботах о человеке и на людских преступлениях, замолкло.

Схоронили Архипыча без помпы и оркестра. Председателя месткома в этот траурный день вызвали в центр. Несли гроб своего депутата люмпены-почтальонши да за ними скрипел протезом двоюродный брат Архипыча, инвалид, участник битвы за Москву. Бабушка, вдова депутата, Полина Тимофеевна сиротливо плакала, траурно шагая за красным гробом.

День играл солнцем. Зеленела майская трава. Земля слегка подогрелась, и на кладбище хлопала и сочилась глина, приминаемая обувью. В дряхлых курятниках осатанело кукарекали петухи. Белокрылая «Волга», такси, уносилась в центр, вея пряными запахами закусок и звякая тяжелыми спиртными бутылками. В центр, где открывалась важное сощание.

Шофер, фрейдовский горилла, ценил дорогу через поле. Газанешь — и машина, как птица, летит, не задевая асфальта, летит, а навстречу — солнце, нежное, теплое, вечное солнце!.. Софье Григорьевне нравился Борис Николаевич с детства. Она — первоклашка, а он — комсомолией в поселке распорядился, штангу подкидывал на праздниках во Дворце культуры и на турнике номера упражнял.

А когда Соня училась в торговом техникуме, Борис Николаевич лично, но уже как партийный секретарь, курировал их. Однажды, выступая перед молоденькими продавщицами, приблизился к Соне в перерыве и легонько, легонько потеребил ее за робкую ресничку. Соня похудела, а Борис Николаевич зачастил на совещания их треста. Социолог...

Теперь Соня — Софья Григорьевна, директор продмага, а Борис Николаевич — председатель месткома, главный, считай, администратор, и лишь Архипыч по-прежнему, ин-



валид и участник Отечественной войны. Не растет. И вот — умер. С чего бы?

Кому нужна нищета? После совещания демократов Софья Григорьевна и Борис Николаевич долго купались в бассейне и забавно хлестались вениками в парной. Баню приватизировал их верный кунак, Сулем, советник при Борисе Николаевиче по выращиванию в Подмосковье азербайджанских бобов.

Соня обожала в Боре мужчину: «Я твоя плотвичка!» — шептала она. «Рыбка золотая!» — гудел он. Мускулистый, твердый, храбрый — тарзан и тарзан, но с высшим образованием и старше Сони на двадцать лет. Интеллектуальный: литр выпьет — как трезвый. Вот вам и европейский хваленый Фрейд!..

Софье Григорьевне приятно чувствовать: Борис Николаевич жадно хватается ее, словно охапку серебристого снега или букет оранжевых полевых ромашек, и приторачивает к груди, ой, не оторваться, притискивает!.. А Сулема, Сулема Пашу, турецкого азербайджанца, Боря укрощает: «Хочешь, озеро и острова за озером приватизирую тебе, Сулька? Я ведь на штанге и на турнике, я ведь и по башкам лупил, как мячиком!..»

В портфеле Борис Николаевич годы и годы бережет книгу, толстую и философскую «Бокс и здоровье», начитанный. Даст в морду — сломаешься. Природу осязает глубоко — Фрейд. Раздевает Соню и сам раздевается до родинки на животе, у костра.

Нападает на Соню и прячется, нападает и прячется: в Африке вроде бы находится, и Соню страшит: «Убь-бью и скушаю!..» Мальчишка и мальчишка, неутомимый баламут. Соне за тридцать, не с ним она — девчонка глупенькая: расстанутся, она в горенке своей косички расчесет и ленточку-бантик вплетет, наивней пионерки.

Соня хулиганка: раздражает Бориса, не допуская, пока тот не начнет рычать и трясти сучковатые сосны, кидая в нее закаменелыми шишками. Ирония и утонченность соединились в нем и в ней, ликующей красавице.



Борис Николаевич, раздумывая о глубокой роли женщины в нашем новом демократическом и цивилизованном обществе, искренне радуется интимному отклику спутницы.

А жена — не подруга. Жена родила Борису Николаевичу четырех ребятешек несдержанная, а по нему не заметно — холостяцкая марксистская шея. Обнимет Соня, а он: «Вызывай такси — и в тайгу катанем!..» Усталые, подградусные и сладкорастерзанные, сегодня они в полночь забрели на кладбище.

Луна высокая.

Свежесть весенняя.

Облака чутко спешат по небу.

И — могилка: Илья Архипыч лежит.

И березки рядышком. Трепещут, взволнованные. О чем?..

Присели на соседнюю скамеечку. Помолчали. Даже вздохнули, не стовариваясь, вместе. Чарочки Соня достала. Не чокаясь, выпили. Эх!.. Борис Николаевич поцеловал Соню, прижал ее до спазмы в горле у обоих, а позже закупорил почти полную бутылку вина туго-натуго и в землю, в сырую глину, на бугорочке Ильи Архипыча и вдавил: «Мир праху твоему!..»

Софья Григорьевна с тех пор мучается. Уснет, а бутылка завывает, жалобно постанывает. Кто же раскупорил ее, неужели пустая? Пришли они и ушли, а кто-то раскупорил. Соня и помянула Архипыча, и свечку в церкви поставила, а пустая бутылка воет и воет, воет и воет, как быть?..

1991—1992



## *Бабка Власиха*

Ночью бабка Власиха испугалась — сон увидела нехороший. Будто ее муж, Иван, похороненный под Берлином, грозно в окно стучится и говорит: «Зачем нас тревожите? Мы — погибшие. Не возвращайте нас домой, плохо будет. Мертвые не прощают непокоя!..»

Хоть и стара Власиха, а мужа помнит. Помнит, как он поцеловал ее, совсем еще девчонкой, школьницу. Картошка цвела в огороде, мак цвел. Вечером они задержались. Он — по одну сторону городьбы, она — по другую. Долго глядели друг на друга. Потом он и поцеловал. Страшно было, но хорошо! Перед войной поженились. Дети не успели родиться — погиб.

С тех пор, вот уже полвека, пятьдесят лет значит, Власиха вдовееет. Слушает радио. Читает газеты. Смотрит телевизор. Ленина Власиха не знает. Только представляет — лежит в Мавзолее, как торжественный фараон, крайне умный и отягощенный революцией. Москва далеко. А деревня близко. Да, считай, нет ее, деревни-то... От девяноста дворов три осталось. И те скособочились. Мужики погибли. Бабы повымерли. Дети поразбежались.

Революция всколыхнула. Коллективизация надорвала. Война доугробила. Лишь тюрьмы постоянно и четко работали. До революции каторжанин — позор, после революции — герой. А безвинные расстрелы, кто их считал, безвинные-то? Стреляли и стреляли, пока самих стрелять не начали. А начали — завопили: «Культь!..» А где же вы прятались до культы? Стреляли?

Сталина Власиха боялась — южный человек. Вспыльчивый и, говорят, нелюдимый: один коммунизм строит. Хруще-



ва Власиха уважала — бузливый, но недалекий, дальше кукурузы не пошел, сняли. К Брежневу Власиха по-сестрински относилась — пил спокойно, правил спокойно, лентяй был редкий: родители так воспитали. Воровал? Не доказано. Может, вручали, присваивали, благодарили — ай наград-то сколько, как репьев на собаке в осеннем поле!

Бабка Власиха любила природу, но боялась ее. Как-то поздней осенью, в конце октября, Власиха вышла за свой огородик: любопытно старухе — чем за ее огородиком лето закончилось? Вышла, а за огородиком первый нежный снежок лег. Лег-то лег, да густо лежит-то, слоем пушистым, и сверкает горячо, как настоящий зимний снег.

Власихе понравилось. Тепло и ветерок не бодучий, резвится около Власихи, не щиплет за нос и за уши не дергает, слабый и добродушный. А впереди — роща дубовая: рослая, древняя, церковная. Сажали попы бородатые, богатыри Господни, вот и под свою стать вырастили не рощу, а лес дубовый. И на дубах, на ветке и на сучочке каждом, иней горит. Горит и осыпается под ноги. А бабка Власиха сапожными каблуками — хруп, хруп. Интересно!..

Идет Власиха, добро к добру и нижется. Снежок похрустывает и сапоги похрустывают. Снежок сверкает, иней на деревьях сверкает, солнце с неба сверкает. Шла, шла Власиха и ослепла: вспомнила мужа, огород, забор, поцелуй — и ослепла. Слезы сверкают, снежок и снежок теплый, тают инеем, а буря как вздохнет рядом, как заворочается: взвыло, грохнуло и треснуло по округе.

Власиха назад — овраг. Власиха вперед — овраг. Власиха направо — овраг. Налево — овраг. Запенилась, заметалась, засвистела поземка и понеслась по слепой земле русской. И кажется бабке Власихе, замкнутой в снежные обручи и огороженной стенами снежными, кажется ей — бредут русские люди по сугробам и падают, бредут и навзничь падают. И каждый русский человек в одиночку бредет — не опираясь на соседа, бредет.

И еще показалось бабке Власихе: скачет в белой поземке муж ее, на белом коне летит, белою саблей машет, врагов рубит, а врагов-то и не видно, где они? А он скачет, белый, по-



койный, а конь на дыбы поднимается, а перед конем — овраги, белые, бездонные, и никуда им, ни Власихе, ни ее мужу, ни коню не вымахнуть. Одинокие...

Чего только не примерещится, когда крутит поземка русская, а русская душа в измученном русском человеке не успокоилась — плачет и доли ищет, а доля русская за оврагами, за оврагами, белыми и страшными. Еле-еле выбралась Власиха к избе родимой, так-то.

Кто хапал больше, Брежнев или соратники, или холуи, которые сейчас за справедливое дело сражаются? О Троцком Власиха задумывалась неохотно — кровь закипала у нее в голове: Троцкий расстрелял ее деда, отца и старшего брата — казачьи офицеры. Дом их осиротил Троцкий. Власиха росла тихой и упорной. Учиться нельзя. Выбиваться в люди нельзя. Рассказывать, тосковать о расстрелянных нельзя. Спасибо Ивану, не заробел, женился на ней!

Мать Власихи, теща Ивана, умерла в День Победы, 9 мая 1945 года. Умирала и приговаривала: «Не плачь, Власа, война последняя, всех русских перебили, всех извели!..»

Хоть и стара Власиха, но сила есть в ее руках. И в ногах еще сила есть. Картошку сажает. Огурцы растит. Лук обиходит. Кур держит, козу и кота. Яйца продает — десяток по рублю. Молоко — двадцать копеек за литр. Кота кормит хеком. Зовет кота Рыболовом. А кроме хека в районном продмаге — соль, целые горы. Неужель весь район хека засаливать собирается?

Андропова Власиха не приняла, но и не оттолкнула: мол, отец у него рано умер, мать на пианино играла — потому вышел грустным и нездоровым. Интеллигент. К Черненко Власиха питала материнское сочувствие. Он дышал — она дышала. Он кашлял — она кашляла. Он ложился в больницу — она вызывала соседку делать ей горчичники на затылок. В виски ударяло.

Черненко считала Власиха святым человеком, слабым и застенчивым. В колхозе прижился у них раскулаченный пчеловод, Устиныч. Никого не трогал. Ни с кем не ссорился. Попыхивал дымарем и пил чай с медом. Жена его бросила. Власиха искренне думала, что и Черненко жена бросила, что и



Черненко хороший пчеловод, но вместо дымаря злые люди должность тяжелую ему дали... А, может, Черненко и есть тот самый Устиныч?

При Черненко Власиха окончательно оформила пенсию и как бы ушла в тень от коллективной жизни. Да и коллектив-то — три старухи. Кот Рыболов — четвертый. Власиха раз в неделю садилась вместе с Рыболовом в ободранный автобус и добиралась до районного центра, продмага.

Сначала у автобуса появлялся Рыболов. Вскakiвал на подножку и громко мяукал. Вот из-за угла медленно выплывала тучная Власиха, в старом милицейском полушубке и в старой милицейской шапке, со старой милицейской сумкой. Такой комплект обмундирования ей преподнес председатель колхоза при Черненко, за хорошую работу, за шестьдесят лет в колхозном строю...

Власиха интересно смотрелась. Седая, старая, крепкая, и в милицейской форме. Ее любопытно в районе разглядывали. Некоторые, на случай, ей улыбались. Некоторые здоровались. Но никто, ни один хулиган в районе ее никогда и пальцем не задевал. Милиция есть милиция. Она шагала к продмагу — и кот Рыболов шагал к продмагу.

У дверей к ней прилип какой-то продувной парень и, подмигивая, прочитал в магазине:

Красные лица,  
Р-револьвер желт.  
Моя милиция  
Меня бережет!

Чертовщина какая, подумалось Власихе, сон какой незряшный видела, муж в окно стучался: «Зачем нас тревожите? Мы — погибшие. Мертвые не прощают непокоя!» Во-от...

Власиха попросила синецекую, натертую краской, как египетская фараониха, продавщицу взвесить двести грамм хека для Рыболова и полезла в карман за кошельком. Вдруг она затопталась, закружилась, то всовывая, то выхватывая из карманов милицейского полушубка сильные руки: «Где же он, господи? Где же он? Господи!..» Молоденькая фарао-



ниха хлопала зенками в ожидании расчета. А Власиха, уничтоженная, топталась и кружилась у прилавка.

Но вот она подобралась, подтянулась и цепко вздернула продувного парня за воротник:

— Кошелек!

— Какой кошелек? — едва касаясь носками модных туфель грязного пола, ослабился парень.

— Кошелек! — Власиха в кулаке трясла жертву. Но парень чуть вырвался, боднулся и Власиха смежила ресницы. Однако — пальцы не разжимала, приближая к себе изверга. Парень еще раз боднулся. Власиха вздохнула, высвободила правую руку, плюнула в ладонь и с большим достоинством хлопнула парня по уху: — Кукарекай, черт долговязый!

Кошелек вывалился из брюк продувного парня и мягко упал перед портретом Михаила Сергеевича Горбачева, находящимся на пустом прилавке над овощами. Портрет предлагался покупателям за сносную цену... Долговязый поймал кошелек, но у выхода запнулся о Рыболова и упал. Рыболов перевернулся и отскочил в угол, к портрету. А Власиха успела выдернуть у парня кошелек. Продавщица, натертая краской египетская фараониха, бегала вдоль прилавка и сверкала зенками: «Драка! Драка!..»

Обескураженный парень исчез. Звякнула мелочь о тарелку весов. Власиха направилась к дверям. Кот Рыболов за ней. Зимний ясный день сменился пасмурным вечером. Зажглись огни в домах. На остановке, за спиной низенького продмага тарахтел ободранный микроавтобус. Шофер, похожий на того долговязого парня, пел:

Три танкиста, три веселых друга,  
Экипаж машины боевой!..

Дорогой Власиха открыла засаленный кошелек, пересчитала деньги — двадцать рублей и семьдесят копеек. Правильно — тридцать копеек, значит, за хек... А где же еще десятка? За яйца и молоко Власиха регулярно получала от шофера десятку в месяц. Где же еще десятка? Не мог продувной парень украсть, не мог. Да и кошелек, засаленный, но синий, а у Власихи — красный, цвета вымпела, был...



— Поехали, бабуся! — объявил шофер. А Власихе сделалось жарко. Она распахнула милицейский полушубок. В груди защемило. Неужели ошиблась? Человека унизила. Неужели? Мелькнул в ее воображении продувной парень.

Бабка Власиха из той породы русских баб, кому советская власть не дает покоя от рождения и до гробовой доски. Детство и юность ее — суды и расстрелы, торжество коллективизма над русскими крестьянами, рабочими и служащими: сколько раскулачили, утюжили, шлепнули? Колыма — самое знаменитое имя, при упоминании его людей русских в трепет до сих пор бросает. Колыма — вся Россия, доля русская!..

А военное время? Власиха окопы рыла, ежи стальные расставляла, противотанковые, раненых в больницах выкармливала и выпаивала, огород пахала на себе, на плечах своих плуг тащила, да, волокла с подружками по глиняной подмосковной почве. Налоги государству платила с курицы и козы, овечки и коровы, картошку сдавала, моркошку на винегрет посылала в районный центральный погреб, на подмогу стране. А еще?

А еще — одна Власиха. Иной раз ей и жить-то нет охоты: противно, одна живет и живет, а для кого? Но бабушка прочная. Бог не скупится на ее здоровье. А себя добровольно уничтожать грешно. И нет охоты, а жить надо. Простудная корь, грипп, ангина, коклюш и прочая зараза Власиху вообще не берет. Закаленная и натренированная к вечному сопротивлению врагам.

А долговязый парень, согбенно удалясь от магазина, недаром рассуждал, обескураженный: «Во, кошелек-то я вчера вытянул в Серпухове, а седни у меня его вытянули в районе, и кто вытянул? Нет, она не бабка, она загримированный милиционер, бывший, наверно, гаишник или надзиратель. Ведьма, метилась, натывая меня на себя, ударить мне сапогом охотничьим под мотню. Разве бабьи приемчики тут? Власиха есть засекреченный оболтус, шестидесятилетний агент, охмуряла!..»

Амнистированный воришка, долговязый парень, не понимал: советские женщины — особые женщины: им нет из-



носа, а в старости они более даже решительные и непобедимые — за мужа, за сыновей, за себя вкальвали, республики поднимали, вредителей заменяли у станка и за чертежной доскою, неприхотливые, хоть модное платье на нее накинь, хоть милицейский тулупчик, красавица!..

Бабка Власиха и не усомнилась бы в разбитном парне, да шибко почуяла: не деревенский, не работающий он, и его наружность опрятная, не расположила к согласию с ним Власиху: пестрый — джинсы узкие, а куртка, простою, из нитки темной, снизу оторочкой поддета, до кепки парня, через хилые плечи воротником незверьим запахивается. Правда, и деревенские ребята нынче не деревенские, за городских-то их тоже принять рискованно, а он — зашалопаенный несурьезными кражами и участительными несурьезными амнистиями: вожди нисходящие — мрут, а вожди восходящие — славу подхватывают у гроба усопшего периодически прощениями разбойникам по тюрьмам.

Да кто Власиху не надувал? Царь державу ее отрек от себя, а о народе и потужить некогда ему случилось: в Тобольск увезли, а в Екатеринбурге его семью коронную погубили! Деды и прадеды Власихи без присмотра законного остались. Измывайся — кому не лень. Сдаст Власиха килограмм овечьей брынзы инспектору по налоговым оброкам, а инспектор записывает не килограмм, а восемьсот грамм, и никуда не торкнуться: пожалуешься, потеряешь и сданное. А грамм брынзы — не грамм хека!..

Председатель страдал Власиху отрезанием у нее огорода. А Власиха и жива огородом. Не колхоз же содержит старуху? Отрезание огородов у крестьян культивируют и председатели, и начальственные дачники. Погуляет денек, два с председателем московский генерал, разинет артиллерийский зев и половину огородика заглотит. Опасность, нацеленная председателем на бабку Власиху, существует и вполне известна в районном центре.

Но бабка Власиха за суетою, нахлынувшей на нее из прошлого житейского вала, обращалась и обращалась к разгильдяистому парню. Чего ему делать с утра в продуктовом магазине? Бабка кота кормить приехала свежим хеком,



бабка никого не затрагивала собственным поведением, а он — хап ее кошелек, и заштопорился у дверей, индивид несчастный.

Но вдруг кошелек Власихи забыт ею на краешке чисто вытертого новою горячею тряпкой стола? Вдруг забыт? А с чего ж поддался Власихе парень, эка нюня, поспорить с увянувшей деревенской старухой не сумел? Власиха зашагала по автобусику, узкому, как джинсы ворюги, бандита скрытного, зашагала и уперлась в кабину, пронзенная заговорившим в ней мучением. Она шаг — и кот Рыболов шаг. Она трусцой — и кот Рыболов по автобусу трусцой.

Все правильно — ошиблась. Мелькнули шестьдесят колхозных счастливых лет. Мелькнули коровы — зорьки, фроськи, маруськи. Председатель мелькнул. Деревня на девяносто дворов и на три оставшихся — мелькнула. Раздольная — зовут деревню. Обмундирование милицейское мелькнуло, еще новое. Пенсия — двадцать рублей, мелькнула. Муж мелькнул: «Не возвращайте нас домой, плохо будет!»

Возле стежки Власиха вышла из автобуса. Ее потрянуло. Потемнел снег, поскрипывая под валенками, начал краснеть. Быстро. Вот он совсем, совсем багряный, теплый, ужасный. Муж бежит по снегу. По красному — бежит, бежит и кричит: «Не возвращайте памятники домой, плохо будет!..» Она потянулась за таблеткой. Охнула.

А по красному снегу — красные вихри. Метель красная. И странно — солнце. Красное. Висит над ее домом. Она упала. Попыталась подняться, не смогла. Почувствовала, как рядом трется и мяучит в нежилую зимнюю ночь кот Рыболов. И слезы, простые и древние, застыли на ее лице...



## Карлушиха

Председатель постсовета, районный депутат Шляпников Гаврил Гаврилыч, устал от должности, от народа, а главное — от перестройки. И хотя на вид он кажется невероятно политическим, несколько раз арестованным и реабилитированным, Гаврил Гаврилыч не судим, не штрафован, и ему еще нет шестидесяти... Просто — умница, государственный человек, вот и летят на его благородное очкастое лицо антисоветские морщины... И приватизация дергает поселок — Красный Октябрь...

О приватизации Гаврилу Гаврилычу намекала и Карлушиха, ворона, хватаящая мысль с полуслова, гораздо точнее и догадливее жены. Жена Дарья, пока развернется, а ворона уже — на мази. Сядет на краешек стола и: «Ты за приватизацию? Ты за приватизацию? Кар-р!» И улетит до ночи блудить по мусорным свалкам и чистым росным лесам.

Не ожидал Гаврил Гаврилыч подлости от Карлушихи. Появилась она, сирота, у них во дворе три года назад. С березы упала и осталась. Может, голод почуяла, перестройку? Откормили. Похорошела и нос кверху.

Бывало, жене-то с Гаврил Гаврилычем сидеть некогда, и сидит у него на плече Карлушиха, кивает, кивает, а Гаврил Гаврилыч листает очередные постановления ЦК КПСС — о повышении идейности и урожайности. Сидит и кивает. Милей жены Дарьи.

А вот предала: «Приватизация, приватизация!» И гуляет по забору, курва. Разве не выстрелишь? А ружье — ружье. Теперь без ружья в любую ночь застанут тебя грабители и ухлопают за бульон в кастрюле, за батон хлеба! Укокошат — держи ружье и патроны под боком. Мимо окон поют, откуда-то нагрывают:



Я тебя, обмылок старый,  
За крупинку сахара  
Кину в озеро без тары,  
Как ребенка Октября!..

При Сталине разве бы запели под окнами против Революции? Запели бы, может, и запели, но докончить не успели бы, точно! Сейчас если тебя не судили — ты скверный человек. Каждый должен иметь хоть небольшую, но судимость — новое мышление. Не ворует — мухлюешь: не поддерживаешь, значит, демократию?

Дарья, сельская дура, районная ворона, еще и глупее домашней Карлушихи: «Гаврюша, а ты и воруй маненько, чтобы тебя люди-то хорошие не корили. Все же не могут быть плохими, кто честно ворует, а ты один, кепеэсесник выискался, мутишь воду...»

Гаврил Гаврилычу было семнадцать — Сталин умер. Ревель начали. Ревели, ревели, потом Хрущев облил Иосифа Виссарионовича такими съездовскими помоями, до сих пор генералиссимус не отмылся, а партия и отмывать гениального генсека не собирается, у самой рыльце в пуху. Фильмы тогда пошли о Никите Сергеиче, пьесы, романы. А позже как двинули по Никите, кукуруза кое-где в Подмосковье до сих пор шелестит, а Хрущева днем с огнем не найдешь. Ветром смело трибуна.

Состарился Гаврил Гаврилыч между вождами, не успевая нормально проститься с ними. Как-то везут Гаврил Гаврилыча на совещание агрономов-передовиков, пышно везут: один он сидит в черной «Волге», рядом шофер, и только. Везут Гаврил Гаврилыча из Апрелевского райцентра в союзный центр, в Кремль. Навстречу поезд Брежнева.

Черная машина, вторая черная машина, обе громадные, кованые, третья машина, а по бокам еще две, кованые, черные, а чуть наискосок, еще одна, черная, кованая, на случай — таранить террориста или шпиона-лазутчика. А у Гаврил Гаврилычевой этой «Волги» заекал, заекал мотор с перепуга и давай хихикать посредине трассы, хи-хи, хи-хи, а не заводится... Шофер белый. И Гаврил Гаврилыч белый, и ка-



пот, так показалось Гаврил Гаврилычу, белый... Хи, хи, хи, хи!..

И вдруг, вторая, черная, кованая, оттолкнула первую, черную, кованую, но не она, а третья, черная, кованая, рылом в рыло наехала на «Волгу»... Ужас. Опало стекло и высунулось из кабины лицо не лицо, а физиономия, большая, красная, опухшая от общенародной нежности к нему и снотворных таблеток, голова Леонида Ильича Брежнева:

— Ты кто?..

— Агроном...

— Почему не сворачиваешь, в очках?..

— Мотор заглох...

— У меня тоже глохнет мотор!.. — он показал пальцем на сердце...

Охрана, десятка четыре, прихлынула и отхлынула, прихлынула и отхлынула. Машины, черные, кованые, рыкнули и понеслись мимо потрясенного Гаврил Гаврилыча и несчастного агрономовского шофера.

Но на совещание Гаврил Гаврилыч не опоздал. Правда, в Кремле, в Георгиевском зале Брежнев в президиуме не появился. А месяца полтора спустя помер. А при нем-то: «развитой социализм, развитой социализм», как при Сталине — «счастливое детство, счастливое детство», а при Хрущеве — «кукуруза, кукуруза, кукуруза!..».

Не старый еще Гаврил Гаврилыч, а чудится ему — прожил он три невероятно великих и длинных эпохи, сталинскую, хрущевскую, брежневскую, а теперь: «приватизация, приватизация, приватизация!..» Раньше — кулаков гнали и стреляли, кому где взбретет, а капиталистов на листовках и разных плакатах рисовали черными, пузатыми, как те кованые машины... А сейчас? Приватизация, приватизация. Полная горбачевщина.

Утром вызывают в райисполком:

— Как приватизация, Гаврил Гаврилыч?

В обед вызывают в горисполком:

— Ну, как приватизация, Гаврил Гаврилыч?

Вечером вызывают в облизполком:

— А как приватизация, Гаврил Гаврилыч?..



Приватизация — не социализация, а капитализация, размышляет Гаврил Гаврилыч. Вчера заявился к нему из Москвы Бабур-агай Шемет: «Моя хочу приватизацию кушать, баран-овечка содержат, пастух нанималса, причем и я байдет!...»

Удостоверение вынул. Главный инженер по бартеру при столичном кооперативе «Люся»... Конфеты изготавливают на бельгийской обертке — «Распакую и такую»... Развратник. Показал удостоверение Гаврил Гаврилычу, столичный интеллигент, русский предприниматель Бабур-агай Шемет, пожал надежно руку и пропал, забыв квадратный чемоданище... Нет и нет Бабура. Пригласили милицию, вскрыли — чемодан набит шоколадом, коричневым, высокосортным... Приватизация?

А сегодня — открывает дверь кинорежиссер, Абрам Иваныч Дрозд. Открыл и замитинговал:

— Я заслуженный человек, я режиссер компании «Америкен-шлем», я снимаю фильм о Кутузове на полях вашего колхоза, я вас уважаю, и прекрасно характеризуют вас крестьяне! Я с ходатайством из Верховного... — И: — Пгиватизация, пгиватизация, пгиватизация, не меньше гектага!..

Еле отстал до следующей пятницы, но, отстав, пригротзил свежим ходатайством.

Приходит домой Гаврил Гаврилыч, а у жены глаза сияют, на столе японский телевизор «Таки-таки», жена, захлебываясь благодарностью, сообщает: дескать, киношник подарил тебе за поддержку их курса на приватизацию. Рассказывала жена, путая приватизацию то с парторганизацией, то с декорацией, то с прострацией — соседка убежала от мужа, а врач обзывает ее прострацией. А на краешке стола Карлуша:

— Вот и дура, кар-р!

— Молчать! — цыкнул на нее Гаврил Гаврилыч.

И ничего бы — выдюжил. Но поздно, уже, можно сказать, ночью постучался к Гаврил Гаврилычу муж сбежавшей соседки:

— Гаврил Гаврилыч, дай на бутылку, приватизация у меня!

— Какая приватизация, да у тебя?..



— А ты, мать твою под задницу, не читаешь Михаил Сергеича, что в его речах? Приватизация, приватизация, приватизация, приватизация!..

Муж соседки замахнулся на Гаврил Гаврилыча пустой бутылкой. Но, поняв, как быстро Гаврил Гаврилыч шарит деньги по пиджаку, улыбнулся:

— Землю покупаю, жить широко желаю, потому, извини, лаю!..

Вернувшись, Гаврил Гаврилыч включил было тихонечко приемник, а в приемнике: «Приватизация, приватизация!..» Гаврил Гаврилыч выскочил во двор — прогуляться решил, а на заборе поселка Красный Октябрь ворона, родственная их Карлушихе: «Приватизация, приватизация, приватизация!..»

Карлушиха подпрыгнула на жерди и вновь, почти в очки Гаврил Гаврилычу: «Приватизация, кар-р! Приватизация, кар-р!..» Взгромоздилась, поводя крыльями повыше.

Гневная кровь плеснулась в щеки Гаврил Гаврилыча. Он стремительно шагнул в сенцы, схватил «переломку» и выстрелом смахнул Карлушиху. На ружейный гром опрометью выбегла из покоев супруга депутата: «Гаврюша, Гаврюша!..»

Но Гаврил Гаврилыч ее не видел и не слышал, не осязал. С растрепанными волосами, худой, взвинченный и неудержимый, он лавировал, приседая по частоколу и всплескивая ладонями, как ворона крыльями, и затравленным голосом передразнивал погибшую Карлушиху: «Приватизация, кар-р! Приватизация, кар-р!..»

— Накаркали!

Заплакала жена председателя постсовета — накаркали, накукарекали, пигмеи кривомозгие!.. И, слава Богу, ваучеры не появились... Когда они выползают ночью из ближних лесов, не токмо пятятся люди — собаки начинают визжать и разумом тренькаться, куры слепнут, а коты заскакивают на телеграфные столбы и, крепко зажмурясь, бросаются оттуда вниз головою.

## *Сиротство демократки*

Никто ей не помог сына воспитывать. Бабушка бедностью заморилась и необидчиво умерла. А мать ее из бедности бабушкиной не выкарабкалась и еще безобидчивее умолкла. Да и что можно поделывать? Разве она рассчитывала свою судьбу на одиночество, на былинку в поле? Ветер подует — былинка постанывает и дребезжит. С мужем-то полегче ей было, но сейчас ей видится так, а, помнит, запыет, зассорится, зауросит — мечтает она поскорее бобылихой, разведенкой, остаться, да сынишку, не укорачивая и не одергивая радость его детскую, растить.

Русские мужики давно дураковатые, а русские бабы только принялись догадываться о их глупости. Принарядится она, белую кофточку запояшет ремнем широким, а черную до колен поднимет юбку, а ноги-то у нее точеные и длинную удались, муж рыло пьяное ослобонит от угрюмости и международного раздумия:

— Ты куда?

— А тебе чего?

— А ты красивая, я вот смотрю, смотрю, красивая!

— Просмотрел уже, спохватился поздно!..

И побежит она к подружке за Лавру. А у подружки у самой муж пятую неделю не бреется и воды пугается — мылся бы, да боится, ирод нечесаный. Так и живет русская молодая семья. Ну, я не утверждаю, дескать, все молодые семьи так живут, не утверждаю, а мало ли подобных семей? Мало ли русских одиноких женщин мыкается с ребеночком, дочурку или сыночка подымают? Кому, думаете, нужны?

Воевать — срочно подавай парней, здоровых и штурмующих, пособить одинокой матери — никогда. Если задаться



вопросом рождаемости русских, нельзя не удивиться: как мы до сих пор не перевелись вообще? Нас не замечают — пока мы не потребуемся очередному генералиссимусу.

Вот и она — у золотой Лавры. Молодая, сильная, легкая на походку и на улыбку, ретивая на работе, веселая в дому, а не ссудил ей и капельку счастья. Одна и одна, да спасибо Господу, сынишка у нее.

Кто она? Рядовая, контролер, вы скажете. А какая же она рядовая, если без ее заключения ни одна машина с места не тронется? Она — настоящий профессионал: отличница по выявлению неточностей укомплектовки деталей и узлов судового оборудования. Она получает зарплату. Кормит себя и сынишку. Институт, студенткой, обучил ее экономить на копейке, а на рубле-то она не загинет...

А тут — обновление: Горбачев с экранов и с трибун прямо взалхлеб трубит о реконструкции страны и системы. Как его не поддержать? Она, демократка, общественница, родила — приотсталала, но готова, передохнув, ускорять процесс догоняния Запада и даже процесс обгоняния затеять. Горбачев знает, понимает, руководит и обещает.

Правда, муж у нее выпивает. Возвращается в испорченном настроении и пытается придраться и наскандалить, приревновать ее, дать пощечину, подпрыгнуть у окошка и поугатать ее: «Выскочу, а тебя засудят — спровоцировала!» Хвастается: Таня в него влюблена, пиротехник и кандидат наук. Наука ее — взрывные порошки создавать, расфасовывать и по оборонным областям рассылать.

Таня способна из бутылки кефира взрывное устройство соорудить: кинешь, об стенку заденет: «Ба-ах!..» А вот она — контролер. Ей и платят в сравнении с Таней чепуху. Но все деньги не заарканить. Ей и пайки дополнительные не разрешают. Муж побреется, выпится, в спортивную форму, трезвый, влезет, дает понять: Таня влюблена в него, Таня — женщина со вкусом и талантами. Порошок рассыпается, взрывается — горожане чихают.

Таня изобретает взрывные порошки, испытывает их, приглася военного эксперта и сотрудников. Иногда приглашает и ее. Но ей тяжело смотреть на шашни мужа и Тани, на



взрывные порошки, на генерала: глушит водку, жрет, а после пыхтит из-за стола, желая станцевать танго. Толстый и неуклюжий генерал. Выпученный, лысый и потный. Над порошками рыло воротит.

Радость ее — сынишка. Ласковый, начитанный и старательный наследник, хотя наследовать уже нечего. Держава распадается, дачи нет, на сберкнижке нуль, а в квартире чего наследовать? Портрет Горбачева? Она, уважая президента, брала портрет на демонстрации.

Наши политологи и наш философы — подлейшие. Воспитывают в девочке женщину, мать: «Ты — равная с мужчиной на заводе, в академии, в семье, в государстве!..» И, равная, пашет, сталь варит, алкоголика питает, дитя, нажитое совместно, растит. Неужели Борис не корит себя: одна она тащит бремя свое и отцовства. Ну как можно обнимать чужую кандидатшу, не помня о собственном ребенке?

Женщину мы воспитали рабой, гойкой. Русского она не понимает, Россию не знает. Детей готова произвести от кого хошь. Да и судить ее мы имеем ли право? Русского мужа превратили в изменника, забулдыгу, безденежного люмпена, а ей на чье плечо склониться в минуту горя? Отец за сына не отвечает, сын — за отца. Дочь за мать не в ответе, а мать — за дочь. С братом брат идею делят... И — некому за Россию отвечать, защитит ее некому. Не генерал же, толстый мордочорот, защитит?

И каждые — себе: военные — себе, гражданские — себе тянут. Растянули народ русский и разъединили. Россию раскроили, предатели. Из великого народа — ералаш смастерили и Родину отобрали у него. Враги. Кто снова соберет нас? И соберет ли?

Она внушала мальчишке: «У тебя мама есть, ты у меня есть, а у нас есть семья — ты, я, квартира, Родина, вот и трудись, как подрастешь и в армии отслужишь. А теперь внушай и готовить к чему? К похоронам. Но за что погиб? И где погиб, на каком фронте и за чьи интересы? Генерал взрывные порошки проверяет и пьет после, обжираясь немецкой тушенкой, а она — сына хоронить.





Посмотришь на сыторожих, нахальноуверенных — прихлынет гнев к сердцу: кто вас наградил этим ордынским правом — себя ощущать выше, умнее, достойнее, нужнее, а перенеся на землю — чванливее, бездарнее, преступнее и невыносимее многих и многих, возбужденных и вызванных к деятельности вами? Господа, еле успевшие вытереть шлепающие губы!..

Хорошо — портрет разодран. И — на демонстрации. Видели сотни людей, обманутых и обобранных циниками двадцатого века, норвегами ставропольских мафий...

\* \* \*

В Сергиевом Посаде, за Лаврой сразу, ее дом. К людям она относилась открыто, весело, с Богом не спорила, а Горбачева уважала выше Христа... Молилась на перестройку, считая: Горбачев поможет русским стать русскими, женщин поднимет из нищеты и кабалы, властью обережет их — русские ребятишки начнут чаще родиться. Без ребятишек семья — не семья и дом — на фундаменте, да не на том.

Но взяли ее сына недавно в армию. Мучили — не говори. Издевались — молчи. Изнасиловали — не жалуйся. Ведь ныне — дети воюющих народов, разгневанных и попранных перестройкой, в армии. Быть ли в казармах миру и согласию? У воюющих народов зло в потомках накапливается.

Никто не заглянул на трагедию женщины, никто не объявился на ее скорбный огонек, а сын-то повесился. Один. Больше никого у нее нету: с мужем разошлись. Да много ли сегодня семей крепких?

Случилась в Сергиевом Посаде демонстрация, голодная и холодная: дров не купишь, угля не купишь, а газ отключили у матери солдата — платить ей за квартиру нечем. И сорвала с древка, кинула портрет Горбачева, портрет президента, под каблуки, мать уничтоженного солдата, русского парня... Оттащили ее в сторону, древко с портретом вывернуть из ладоней не смогли — разорвали. А ее в милиции психиатру показывали — нормальная. Только — ненависть и гнев материнский не дает ей опомниться. Как тут не забрезжат строки?

Завидую мертвым, завидую мертвым,



Они отдалились от русского горя.  
Сейчас бы лежать мне под облаком гордым,  
Сквозь ветер плывущим в родимом просторе.  
О сколько протопало армий по веку,  
Тачанок и танков, гремя, простучало,  
А радости дать одному человеку  
И то не смогли, и трава замолчала.

Мать — молчит. Трава молчит. Россия — молчит. Доколе это?

А о чем теперь и говорить матери-то? Стала она, ждать-поджидать сыночка. Вот привезут, вот позвонят — встречай, хоть в гробу, но свой же, кровный, известный всеми родинками. А не везут и не звонят. Толпы людские разметывать тренируются...

Второй, третий, четвертый, пятый день — не везут и не звонят. И решила мать: подшутили над ней командиры, — телеграмму дали о гибели парня, а парень живой и веселый, служит, Родину бережет и домой не торопится, пока срок не закончится, а закончится — кто его удержит? Солдат отдал положенные годы — сам себе начальник, а матери опора.

Но не звонят и письма от сыночка давно не было. Заказала с воинской частью сама телефон. Да, подтвердили гибель, а разрядки на увоз покойника не оформили. Генерал в командировке в Москве, поди, у Горбачева, негодяй, а разрядка лежит в кармане френчика. Забыл, шашлычник и обжора, — думает мать. К генералам она изменила отношение: страну начали разваливать лысые ленинцы, а генералы им помогали. Она, женщина простая, контролер на комбинате, а не пиротехник по производству взрывных порошков, окончательно разочаровалась в генералах — лысые подонки...

Сядет утречком мать перед зеркалом, в ночной рубашке, свечка и свечка, глаза огнем скорби горят, щеки впали и сухие губы тоскливо подрагивают. И всего-то ей — тридцать семь лет. Молодая и красивая, а муж бросил. Нашел себе не контролера, а кандидата наук: взрывные порошки разбавляет другими порошками, и они еще сильнее взрываются и



коптят. Запах от них, как от свиной гуманитарной тушенки, на мясе замешаны.

Сперва она искала в мужней сумке, основывая благие подозрения на запахе, потом поняла: порошки — в шок вгонять голодных демонстрантов изобретены. А муж — пьяница, никогда ничего к столу не принесет, но — инженер по молекулам, и тоже — взрывным. Снюхались на тайных вооружениях с Таней, а ее с парнишкой бросили. У той совести не обнаружилось: подцепила чужого хозяина. Получает деньги огромные за порошки и за городом раз в месяц пожары и дымы учиняет: пробует боеспособность гуманного изобретения — рассеивать демонстрации. Войны ленинцы проиграли, а рассредоточивать митинги и демонстрации нет им равных.

Иногда, конечно, она вспоминала мужа, юного и застенчивого. Очень русский и очень синеглазый, русский Иванушка, дурачок русский, мечтал, когда еще был честным и романтичным: «Мы поженимся, дом выстроим, ставни разрисуем, карниз, убранный вязью, приторочим, а на коньке золотого петуха закрепим. Пусть люди глядят и завидуют, радуясь счастью и богатству воображения земляков!..»

Обнимал ее среди картофельной ботвы, синими цветами волнующейся на бабушкином огороде, и предупреждал: «Детей надо иметь не меньше трех, а четырех — в самый раз: русские вырождаются, у каждой семьи по одному ребеночку, годится ли подобный порядок?..» Студентом будучи, лекции читал в школах на русские темы, да поплатился. Исключили из комсомола за шовинизм и русофильство. Озлобился и затворился.

Сыночек сиротою рос. Да один и разъединственный сыночек или дочурка растут кем? Не эгоистами, так сиротами. Не сиротами, так шовинистами. Кого им понимать? О ком заботиться? Русская нация поредела, как лес, просеками, просеками ее раздвинули и топорами прошлись по ней, глубоко сверлами пробуравили и следят: не залечит ли раны она, не погустеет ли и не зашумит ли могуче опять?

А с чего ей зашуметь? Ждали, ждали квартиру от завода, дождались, а муж-то и влюбись, а муж-то и уйди из семьи, от



нее и от сынишки. А родила бы ему три-четыре, не влюбился бы, не ушел бы, совесть, чай, замучила бы Иванушку-дурачка? Вот и подвернулся Горбачев: «Усе, усе получить квартиры, усе, усе зажить в отдельных благоустроенных домах!..»

И зажили. Воюем за каждый огород, за каждый участок, за каждый мост на Кавказе. Да только ли на Кавказе? А у генералов — дел привалило по горло: катаются на бронетранспортерах и на танках, самолеты ревут, пушки дулами качают, роскошь, а не судьба. Повезло. Афганистан прохлопали — в родной стране победу им посулили.

Образумь, Иисус Христос,  
Вояк прикухонных!..

Пусть она обычный контролер, мелкая спица в колеснице, но баба она русская: сына вырастила русским. Пушкина учил. Суворовым увлекался. Русские старинные песни слушал — розовел, мужеством и отвагою наливалась душа его пламенная. Крылатым парнем рос. А в детстве спрашивал:

— Мам, мам, а почему главы храмов на шлемы богатырские похожи?

— А храмы, сынуля, и есть русские богатыри! Рубили, рубили их, взрывали, взрывали их, да не теперешним порошком, а толом и динамитом, взрывали, взрывали, а они подрачевались и отряхнули мародеров. Богатыри!..

Сынишка топтал за ней. Торопился. Шагал широко. По-мужски старался ножонки вытягивать. Тоже богатырь. И у Лавры народ толпился. И мимо Лавры демонстрации текли. И хватало места, доставалось простора любому человеку. Живи — не ленись. Пусть не сбылась ранняя мечта ее мужа иметь трех-четырех детей, пусть. Не ее вина. Она родила бы и пятерых, достанься ей муж толковый.

Но и один — воин. Крепыш! Глаза — два кристалла. Грудь крепкая. Добрый. Жаль, нет сестренки у него: поласкала бы его, ему бы пожаловалась. Жаль, братишки у него нет. Братишка нужен: где — заступиться, где — поспорить с ним, дабы поумнел и осноровился. Как без сестренки и без бра-



тишки? Сейчас русский народ, будущий русский народ — сирота, одинокий народ растет, а это плохо. Печаль может одолеть русских, одиночество.

Почему на митингах и на демонстрациях злоства много, даже, прямо сказать, лишнего? А потому — сироты собираются митинговать и на улицах демонстрациями хулиганить. Каждый — один. Каждая — одна. А представь, читатель мой сердечный: на митинг и на демонстрацию идут семьи, семьи? Да, идут не просто жена и муж, а с детьми, по три, по четыре ведут ребенка с собою, а? Представь.

Какой омоновец их ударит? Разве бешеный? Омоновцы и бешеные в отрядах содержатся, но коли митинг или демонстрация — семья, коли народ — семья, коли государство — семья, попробуй ударь: ударишь — башкою собственной заплатишь за удар. А ныне — беззаконие, ныне — воля обижать, громить, позорить. Совесть изранили у людей, смысл бытия извратили.

\* \* \*

Проводила сыночка в армию — Сергиев Посад опустел. Гитара вечером зазвенит во дворе — грустно. Гармошка на празднике заиграет — уткнуться в подушку тянет. Задышится молодая мать — по сыночку скучает, а денег откуда взять на поездку к нему? Утро медленно в ее двери движется, а день еще медленнее течет, вечером же — кричи и пропадай.

Умывается мать утром, а на гвоздике сыночкова курточка висит, локотки поддернуты и до дырочек протерты. Сунется с полотенцем в коридор, а в коридоре ботинки его к стене приткнуты. Начистит, начистит кремом их она, наведет блеск и вновь к стенке приткнет. Блестят, и ей приятнее, привычнее.

В полдень — обедать спешит с комбината. Спешит, экономя минуты, через бабушкин огород бежит. Бабушка давно похоронена. Мать молодой мамы давно похоронена, огород давно чужой: продали, а подсолнухи, как свои, летом ватагой золотою, оравой, солнцеликие и упругие, устремляются за нею по влажной меже, по муравной стежке. По этой стежке бабушка ее с завода ходила, мать ее ходила и она ходит. Рус-



ская стежка, куда бы ни петляла, куда бы ни мчалась, куда бы ни летала, но обязательно вспорхнет на крылечко, а с крылечка упрется в могилу...

Бабушка лежит за Лаврой. Мать лежит за Лаврой. Дед — в братской лежит у Сталинграда. Отец — в братской лежит под Берлином. Горбачев тормозит мертвых воинов. Тормозит и забыться им, успокоиться им, стервец, мешает. А мертвых будоражить запрещено — возмутятся и накажут настыру. Народ за настыру наказать мертвые в силе.

Бежит молодая мать через огород, через золотые подсолнухи на обед, а подсолнухи — рыжие, рыжие, ребятишки: балуются с нею, бодаются, как ягнята, подсакивают и отсакивают, наклоняются и следом косолапят. Она бежит, и они бегут. Они — золотые. И солнце — золотое. И лето, июль — золотой. Только ветерок, знакомый, знакомый, пахнет и спрячется, пахнет и спрячется.

Стежка, стежка, не тут ли, не возле тебя ли, на пяточке, клялся ей муж, мечтал трех-четырех детей воспитать? Где муж? Где ее дети? Сынок ее где, единственный и несравненный? Сообщал: «Мамочка, барханы плывут и воют, огненные тучи песка проносятся над нами и далеко, далеко черный карагач, верченый и крученый бурями, пытается ухватиться корявыми ветвями за твердь, а тверди нету в пустыне, и черный карагач плывет и тает в багряном зареве ада!..»

Ой, затосковала. И к ее тоске замечательный человек прислонился. Русский. Командирован из Магнитки. В Магнитке тоже взрывные порошки готовят. Прислонился и ее угостил. В кафе оказались вместе. Запьянела. Распахнулась. Ключом смело квартиру ему открыла. Гости, не сомневайся, да не обижай ее зря!

Прижималась к нему. Дрожала. Целовала, как своего, как родного, как отца их сыночка. Забеременела. А он в Магнитку вернулся. Думала сестренку или братишку сынку родить. Решила и прояснела. Дни быстрее потекли, гитары по вечерам и гармошки по праздникам веселее заиграли. Но предательство настигло мать молодую. Подсмотрели, уральской жене объяснили. Кто постарался?



И постучалась к ней уральская женщина. И — вторглась. И — осудила. И — доказала ей истину: «Не смей родить, ты ему никто, ты посторонняя и брошенная мужем собственным, ты моему на час была нужна, ты не смей родить, не смей имя порядочного семьянина позорить!..»

Суховатая райкомовская женщина посреди комнаты костляво взмахивала ножевými ладонями, одетая в пеструю кофту и пестрые брюки. Пестрая и худая, громоздкая и смятенная, она пародировала оскорбленную в клетке жирафу и пораженно удивлялась:

— Братика сыну захотела! Чушь. Братик, но от кого? А ежели твой сын, солдат, узнает? А ежели командиры его узнают? Аборт и аборт, иного не положено!..

Растерзанная, поднялась, выпрямилась хозяйка, аккуратно подтолкнула гостью к двери, к двери: «Уйдите прочь!..» И на ключ, беспощадно, на ключ заперла дверь. И рыдать, рыдать. И никого рядом. Мать-сирота. И сын ее — сирота. Жизнь — сирота.

Жизнь у русской мамы отобрана: в ясли не опоздай, на завод не опоздай, в очередь за картошкой, за кефиром, за булкой хлеба, раба, не опоздай. И русская мама сном облагораживает свою жизнь. Загадывает себе сон и Бог награждает ее сном, воскрешая перед нею хорошее, дорогое и нужное для существования и чудесного роздыха.

Вот заснет она, а бабушка ей нашептывает, как молитвы, наизусть воркует: «А ты, расти, моя внуча золотая, расти, моя внуча пригожая, девушкой вырастешь, невесткою станешь, замуж выйдешь за храброго парня, женою верною сделаешься!..»

Вот заснет она, а мать ее приближается к ней и зовет нежно: «У, настрадалась, намучилась и жених без тебя набедовался, посмотри, какой добрый и деликатный к тебе присох? Иди, иди ко мне, ласточка моя, да не кручинься, скорбь не верная, а неудача мгновенная, ты счастливою родилась и счастье не кроется от тебя!..»

И ей в самом деле во сне легко взлеталось, легко она управляла крыльями и взмывала над холмами. На седом холме бабушка дежурит, на зеленом холме мать ее ждет. И она,



ласточка, то к бабушке, то к матери снует и щебечет, а они ловят ее, гладят и запускают в золотое небо и, смеясь, желают счастья.

Во сне она даже прилетала к деду под Сталинград. Ласточка, родная, умная, шустрая, взяла и прилетела. Прилетела, а дедушки не видать. Обелиск над курганом, и тишина. И такая тишина древняя, такая тишина грозная — уши больно, а сердце ласточки напряглось и горько застучало: «Не надо о дедушке скучать, ему трудно!» Но отозвался дед, учуял внучку — простонала могила, и дедушка приветствовал ее: «Здравствуй, моя ласточка, внученька моя милая...»

К отцу же не сумела пробраться. Границы перекрыты, и поезда не скользят по рельсам, а небеса проволокой запутаны, взлетишь — в сети попадешься. Спит она дома, а отец ее, слышит она, ходит ночью около границы, усталый и запыленный, в пилотке и в обмотках, около границы ходит: «Ты видишь меня, дочка моя, сиротка моя, видишь папу, али ты не помнишь меня, золотая ласточка?». Летает она во сне, летает, а тепла живого родных ей людей никак не ощутит, хоть видит их и голоса их явны.

И ее обязывали перерегистрировать разные секретные ящики, приборы, берешь их в руки, а там писк: «Тр-равы!», сердитые. Муж чуть смущается — а кандидатша ни капли: прилипается к нему при законной жене, облизывает его и соринки снимает. А он, баран, курчавой башкой крутит — радуется. Генерал на последнем испытании возле пиротехнической гранаты присутствовал. Доволен: «Убой грандиозный, Танечка!»

Не даю точного адреса моей героини. Живет она за Лаврой, в Сергиевом Посаде. В воскресенье она стоит около часовни, святой водою поит прихожан. Поит и молится, поит и молится. А в Горбачева когда-то верила. Но смерть сына опровергла веру...

А после испытания порошков — собрались. Таня, кандидатша, гладит ее мужа, Борю, идиота. А генерал, она заметила, не за Таней, а за ней охотится. Моет она посуду на кухне специального для приемов дома, а он, генерал, тушенку немецкую слизывает с подбородка и хватить ее за груди, да как





захохочет: «Гирь-ки, а-а!..» Горбачев и Горбачев. Она никогда не забудет: страх набегал на нее во время хохота Горбачева на экране — дьявольский хохот, лишь сильно глупый.

И она — тряпкой, посудной тряпкой, кастрюльной — по роже генералу, по роже, да с нахлестом. Генерал дергается рылом, а тряпка у него на бельмах повисла и приклеилась. Толстомордый. Отскочил от нее, в зал впрыгнул и опять, как Горбачев на съезде партии: «Гирь-а-а!..» И прыснул не к месту. Разве получишь от такого барбоса хорошую весть?

А, может, то и был Горбачев, переодетый? Пятно на лбу, черное, покрасил, замаскировал, а ртом тушеночным шлепал. Да, он и был, сам Горбачев, убедилась мать... Лысые, в костюмах и модных галстуках, а одень их в мундиры — генералы, все ленинцы — генералы.

Едва сынишка подросток — давай в армию его. Да не артачься, а давай здорового и счастливого. Она пересыпала, как песок в ладонях, в уме годы: детясли, детсадик, пионерлагерь, комсомоллагерь, за каждый день и месяц плати, взятку суй не нянечке, а директору, лечи от простуды и дежурь у подушки. Одна и одна. Да и он, сынишка, один. Советская власть, народная власть и кормилица, не замечала парня, а подросток — удивилась: «Почему до сих пор не в армии?».

\* \* \*

После позора с портретом на демонстрации и противной на нем ухмылки Михаила Сергеевича — она изменилась. Прислонилась душою и совестью к Лавре. От Лавры — к собору. От собора — к Богу. Никто ей не помог, никто ее не утешил. Родственников у нее не осталось. Умерли рано. Муж — у кандидатши. С чего, дурак, перебежал? Она — грамотная. Контролирует непрерывно, диплом имеет. И от ее контроля ни коммунисты, ни демократы не чихают...

Виновата немецкая тушенка и Танины взрывные порошки. Наедятся, наглотаются дыма — агрессивные, ищут, кого забодать или, как рыломордый генерал, ущипнуть за груди... А не этот ли тушеночный генерал распоряжается ее сыном? Мстит. Нет, слишком уж плохо тогда. Генерал нажрался русской водки и немецких консервов, уехал Горбачеву доложить



обстановку. А, может, Горбачев лапал ее, переодевшись в шалавого генерала?

Мать погибшего солдата — рядовая мать. Как ее сын — рядовой. Мать усвоила давно: мать спасет и на ноги поднимет дитя, а не советская власть, измучившая нуждою, работой и неправдой русских женщин. Ни одна власть не унизила женщин так, как наша: мужей нищетою полонила, а водкой разрушила. Жен абортами и разводами опустошила и детей отняла у них: дети не видят мать за пересменами и скандалами.

Сейчас она напряглась в горе. Если не знает ее горя человек, отметит: помолодела, постройнела, а здесь — горе, держится мать из чувства боли и великой обязанности похоронить нормально сына, загубленного у нее казарменными бандитами. И она, включив телевизор, вздрагивает: кажется, на экран вылупится Горбачев и ужасно захохочет, как генерал, обожравшийся русской водки и немецкой тушенки.

Путь — к Богу. Не куда-нибудь, а — к Богу. В эти тяжелые траурные дни она быстро приобрела черты покаянности, отрешенности и светлости. Верующая.

На восьмой день, не дождавшись, она отправила телеграмму Горбачеву, невзначай как бы уронив четвертную в закуток на почте, где скромная и тихая девушка не хотела бумагу фиксировать: дескать, грубая... А четвертная упала — и телеграмма, текст, поскромнел. А текст следующий: «Вы сумели сравнить народы, Вы сумеете доставлять родителям гробы с убитыми сыновьями!» И соответствующие инициалы и адрес. И, знаете, на десятый день привезли. Привезли на десятый день молоденькие, как он, солдатики, русые и добрые. Потупились: «Мы на посту находились, а его зажали между коек, их много, а он один, зажали, надругались, он и повесился, а мы на посту находились!» И у них приключения — не за горами...

Гроб расположили на двух табуретках, в комнате. Квартира у матери — комната и кухня. Мать напоила чайком посланцев и проводила. И больше не пожелала ни сочувствий, ни помощи. Гроб и она. Она и гроб. Длинный, крутой, цин-



ковый, запаянный. А в нем — сын. Лежит. Она молчит, и он молчит, а рядом оба: друг возле друга. Ночь лунная, весенняя. За окнами черемуха расцвела и белым платком взмахивает, взмахивает и наклоняется низко, припадая к стеклу. Плачет. Маленьким помнит его. Сама была маленькой, вместе росли. А невесты у него не было. Не успел завести ее.

Мать включит лампочку — тени в углу. Выключит — луна около нее, живая и шевелящаяся. А на балконе — чучело, генерал и генерал. Лысое. Облизывается и тушенкой немецкой пахнет. Не Горбачев ли? И слез нет у женщины. Мать сердцем высушила их. Мать на луну похожа. Живая, но странно шевелящаяся — устала и соображает: как дальше?..

И опустила на колени: «Господи, ты видишь беду мою. Ну пособи мне, грешной, услышать голос дитя, сына родного на миг увидеть, как я, не взглянув на него, с ним расстанусь? Я молю тебя, Бог великий, заступник мой!..» Она прислушалась и вскрикнула.

Треск раздался в квартире. Треск вроде растолкнул стены, ударил по косякам и разразился на кухне. Треск не треск, а дерево застонало и крышка съехала с гроба...

И по плечи показался ее сын. Волосы, пряди вьющиеся, русые и золотятся, а седые, седые, и ресницы, гнутые, девичьи, мигают и синевою, синевою русской поплескивают: «Я шовинист, мама. Я должен умереть. Их много, а я один, и шовинист. Один я, мама... Кругом — песок шумит, пустыня с ветром сорится, а я один среди желтого песка, среди них, мама, и шовинист... Нельзя мне жить. А ты успокойся. Ты роди меня снова. Ты молодая еще, не оставайся одна, погибнешь!..»

Она еще вскрикнула и перекрестилась. Но гроб закрылся. Голос исчез. Мать встала и бледными пальцами коснулась гроба, коснулась лба своего и вздохнула: «Я благодарю тебя, Господи!..»

Черемуха прекратила махать белым платочком. Луна в тучи спряталась. Генерал исчез. А за окном, далеко, далеко, раскинулась и заволновалась желтая пустыня, наполнилась знойными барханами и желтый ветер завыл: «У-у!..» И вдруг



---

мать догадалась, почему ее сын с детства боялся желтого вихря, а в школе читал со сцены, встряхивая русыми кудрями:

Смертным пеплом дыхнут  
Камнегубые, серые груди,  
Накнет коршун-дичун,  
Проползет по бурьяну туман.

И соборная Русь  
Будет  
    в колокол  
        бить  
            крутогрудый,  
И взойдет на престол  
Яроглазый монарх Иоанн!..

Не кинь ее в беде, Господи, одна за нас за всех она страдает...

## *А-я-ай!..*

В траве нашего двора свила гнездо трясогузка. Серая с длинным хвостом, она, при виде меня, каждый раз близко махала крылышками, посвистывала и суетилась, отманывая меня от гнезда. Ей, видимо, казалось, что я, большой и грубый, обнаружу ее гнездо с малыми, еще желторотыми птенцами, и разорю его.

Трясогузка хитрила, то путаясь у меня под ногами, чуть ли добровольно не впархивая в мои ладони, то пригнуваясь, убегала по утоптанной стежке, но мимо гнезда, мимо гнезда. Глядя на нее, я жалел ее. Мать есть мать, думал я. Сама себя готова принести в жертву ради детей. А дети ее, лобастые и большеротые, шевелились в гнезде, прижимались друг к другу. Наблюдая их, я не давал знать трясогузке, что я рассекретил святую тайну.

Но однажды моя жена, ничего не подозревая, широко взмахнула косой, охапка травы отвалилась в сторону. Гнездо обнажилось. Птенцы, чуть подросшие, но еще слабые, испуганно заголосили. Матери их не было дома. Наверно, она улетела за червяками, которыми их так раскормила, неповоротливых и ленивых. Что делать? Мы загоревали. Возвратилась трясогузка. Беда ранила ее. Она пищала, плакала, кружилась над гнездом, не унимаясь. Нас уже не замечала или, свыкшись, понимала наше беспокойство. Словом, к вечеру мы вполне обоюдно освоились, переживая, и даже немного успокоились, мы и синица.

Но чувство виноватости, чувство неотвратимой катастрофы двигалось где-то рядом, росло и явно слышалось. А синица усиливала это наше чувство своими криками, кружениями и своей доверчивостью к нам. Мне казалось — под-



растет скошенная трава, подрастут птенцы, все определится и уравнивается, и мы позабудем печальный случай.

И я, на реально звучащей ноте, отъехал в командировку. Вернулся через три или четыре дня. Гнездо — пусто. Ни птенцов, ни синицы. Лишь нежные перышки — возле гнезда. Птенцов растерзала ворона. Да, хищная старая ворона.

Ворона эта живет у нас давно. Она — предводительница всех разбоев и грабежей. Даже Пушка, умную и бывалую собаку, ворона обводит вокруг пальца. Вывалил я на снег, помню, жареную картошку, кусочки мясные, пусть Пушок поест вдоволь, а ворона тут как тут. Пушок набросился — ворона утекать. Пушок ест — ворона тоже норовит. Но опасно. Пушок зорко следит за ней.

Тогда ворона решила надуть Пушка. Улетела. С минуту ее не было и вот прилетает, но уже вдвоем с сорокой. Пушок в тревоге, а еды еще много. Ворона с одной стороны подступает, сорока — с другой. Пушок бросается за вороной, делает сильный прыжок, а сорока с другой стороны в это время хватается кусок и стрелой уносится прочь.

Потом сорока подступает к Пушку. Пушок терпит, терпит, не выдержав, бросается за сорокой, делает еще сильнее прыжок, а ворона, со своей стороны, в это время хватается кусок и стремительно уносится прочь. За десять, пятнадцать минут ворона и сорока, две эти ведьмы, так измотали Пушка — он сел ошалело на снег рядом с едой и завыл. А они опять подступают с разных сторон. Пушок догадался и быстро, быстро начал глотать то, что осталось у него под носом. А осталось у него гораздо меньше, чем они перетаскали.

Ворона — птица смышленная. Читать, говорят, умеет до девяти. А после девяти голова у нее перенапрягается. Синица вороне — ноль. Да и, в общем-то, синица доверчивая. Дура, можно сказать: кто под клювом у вороны гнездо вьет? Ну, трава. Ну, кусты. Ну, цветы благоухают. А жизнь-то повсюду вон какая жестокая. Того и гляди околпачат, не в магазине, так на базаре, не на базаре, так в газете. Напишут одно, а в яви иное: прочитаешь — сердце поет, а увидишь — как Пушок сядешь и завоешь!..



Много в жизни ворон. И сорок много. Навалились на Пушкиа, измучили и обед у него отобрали. А синица что? Синица для вороны — пустяк. Погоревала, бедная, и пропала.

Ворона, конечно, жестокая, слопала птенцов, но и сама счастья не приобрела, на мушке я ее поласкал немножко, ладно — жалко. А лесник, друг мой, глупостью заболел. Дескать, эх, Василич, американцы подлее ворон. Вылупился на экране с дикторшей Софой Клип Кенни, из Техаса, а на экране в Москве, и советует русским. Советует: ешьте гуманитарные куриные котлеты. Съел первую — запел, вторую съел — танцевать потянуло, а с третьей — и жить весело, и умереть забавно.

Зажмуришься — тропики, тропики, и крохотные колибри, пернатые, уродики крылатые, в ухо насвистывают. За пальмами — цветы, рослые, голубые и розовые, пахнут тройным одеколоном, на бритье нам их привозят, а мы не догадываемся: цветы-то из рая. Вылупился Клип Кенни на нашем экране и предлагает сократить население у нас: из ста пятидесяти миллионов оставить в России тридцать, сорок, а тех закормить гуманитарными куриными котлетами до смерти.

Рожа приопухшая. Пьет, поди, анашу, хамло. И молотит чепуху, как в тундре, в Москве орудует, уколочный плут. А дикторша Софа губу отвесила: «Эк, пожалуйста, эк, пожалуйста!» — и кокетничает, партийная старуха. В прогрессивные высочила: «Гуманитарная помощь, гуманитарная помощь!» У нас в деревне в депутаты ее выдвигают, в городе-то номер сорвался, там граждане поумнее деревенских...

А гость, американец, водит сурной собачьей, волкодав и волкодав, страшнее кобеля, который на Пушкиа в деревне нападает. Лесник и призадумался: «Если по экрану официально советуют сократить куриными котлетами, поесть и, приплясывая, помереть, то что же ожидать от неофициальных рассуждений? Кооперативы измором и деликатесами угробят русских. Кобелина, не затягивая времени, с Пушкиа начал, меня урвать ему не удалось?»

А мы — Пушок, ворона, сорока, синица, гнездо... Какое гнездо тебе? Какая тебе изба? Старая дикторша, партийная демократка, гнуснее вороны каркает радостно над мордастым Клипом Кенни, покушав хорошенько в телевизионном



буфете. А предложи ей гуманитарных котлет — сморщится, напудренная модница.

Приникни к природе — не обманет: нежность и смысл твоему характеру даст, а слово твое светом памяти непобедимой наполнит и на творчество тебя вдохновит.

Действительно — не заметил я, как переживания мои к матери моей устранились, к образу ее, спасительному и безгрешному потянулись:

Мой путь отводит от гнезда  
Синица, трепетная мать.  
Туда бежит или сюда —  
Ее нетрудно и поймать.

Я вспоминаю мать свою  
И снова чувствую вину.  
Она тащила всю семью  
Через бесхлебье и войну.

Война длинна, а ночь темна,  
Из бед, из чьих-то жутких глаз  
Она одна, она одна  
К покою возвращала нас.

И вот уж на закате дня  
Кузнечик замереть спешит,  
А голос птицы у мне  
В груди рыдает и дрожит.

Спасибо, холм, тропа и бор,  
Спасибо, нивы и луга,  
Что не нашли вы до сих пор  
Во мне погромщика-врага.

И я иду, доверясь вам,  
В раздумьях двигаюсь вперед.  
Так месяц-лебедь по волнам  
Родного озера плывет.





Интересно тебе, читатель, знать скорбь мою? Ну и знай, ну и читай дальше. Читателю — читать, а поэту — плакать. Кто беду притормозит?

У лесника-то собака на земле сидит, сытая, а городским собакам теперь хуже, чем людям: для каждой семьи собака — лишний рот. Дороговизна ужасная. Собака — невыгодно. Кошка — невыгодно. Машина — невыгодно. Печка — невыгодно. Дети — невыгодно. И человек — невыгодно. Выгодно — доллар. Выгодно — американец. Все мы, русские, сели в лужу невыгодную!..

Заманят хозяева собаку в электричку, поедут, промчатся пять, шесть станций вместе, а потом хозяин — прыг. Собака, бедная, искать, по вагонам нюхать, как синица, плачет, слезы из глаз, а хозяин, может быть, не жулик, а сам где выпрыгнул, там и, скуля, тоскует. Закуролесили наши начальники и такой нам в жизни кукиш показали — не только в двери вагона, а в окна высотных небоскребов москвичи высигивают с криком: «Будь они прокляты!!..» Концерт.

Брошенные собаки, то колли, то лайки, то боксеры, то сторожевые, то гончие, появляются, печальные, на деревенской улице, бродят, скачут, худеют и, подавленные сиротством, исчезают. Пушок не враждует с ними, делится чем возможно: сухарик — сухариком, косточка — косточкой, да и к воронам и сорокам злобы не питает, умница.

А та, которая горлопанит, айкает, гнездо разорила и птенцов трясогузкиных слопала, та примостилась на трубе сгоревшего соседнего дома и засмотрелась в противоположную даль. Избы русские гореть часто начали. Кавказцы хлынули в Подмосковье, а избы и принялись гореть, к чему бы такое? Сгорит изба у русских — русские уже никогда новую не построят, нищие. А кавказцы быстро покупают у них участок и кирпичный замок растет, хорошеет, — чеченская твердыня...

Засмотрелась ворона — замок поднимается недалеко от нее, а я со своего крыльца и нацелил ружье. Нацелил, а Пушок заметался, заметался и к трубе: лает, лает, жалобно постукивая. А ворона вертит нахальным клювом и до девяти, видно, считает, не торопится убраться. Близко. На мушке сердце ее почуял я и ружье опустил. А ворона: «А-я-яй!..»



А через час Пушок и ворона дружно поедали из тарелки мною наложенную кашу. Ели, не опасаясь и не враждуя, а как бы обмениваясь паузами: дескать, еда не очень, да где взять лучшую, и головы их соприкасались в тарелке. Вот и стреляй в ворону. Вот и суди Пушка. Нет, птицы и звери деликатнее и добрее нас, порядочнее.

Не разоряли бы люди гнезд у птиц, не губили бы жилищ у бобров, не выкуривали бы колючим дымом барсуков из нор, не выгоняли бы медведя из берлоги на мороз — жизнь не стала бы такой опасною и такой беспощадною: от войны до войны поколения вырастают, от боя до боя — путь их, судьба краткая и не ими избранная.

А воспитывай человек детей своих в уважительности и в доброте, в знании да в любви к природе, к существу живому, разве Гитлер мог бы на белый свет появиться? А мы, сабля — башку рубить. А мы, танк — по дворцу шарахать. А мы, атомную бомбу — Хиросиму крушить. Вот и на Чернобыль-то напоролись!..

Отец мой, вспоминаю, как мой сосед, лесник потомственный, умилялся и вздыхал на Урале перед синичкой, перед суетою тревожной ее: «Ах, как бы грубый человек, дети-на непробритая, не наступил на ее крошечек, не раздавил теплых пушистых птенцов! Вьется, бедная, обманывает шалопая, старается запутать следочек собственный к собственному же гнездышку!!.»

Прилетел я однажды из Москвы в Челябинск, включаю магнитофон: «Папа, слушай и наслаждайся звонами пичуг, голосами лесными!» А папа умирать собрался, ранение источило и высушило его: мелкие осколки тридцать четыре года, с 1941-го до 1975-го, сверлили череп ему, жалили, особенно — в непогоду, к метелям или к дождям!..

Магнитофон крутит ленту, а отец мне: «Это — синичка, черногрудка, свистит, но уже июльская, приглушенная. Это — соловей, но записать запоздали, вторая половина июня заканчивается, некоторое размягчение у него в горле, но ты не заметишь. А это — дрозд, вдовствующий, беду, наверно, пережил — разорили, зверь ли напал, но слишком на звук надавливает, понял? А это, сынок, это — журавли, ми-



лые, русские, наши, и — после детенышей, умиротворенно звенят, ишь?..»

Я взглянул на отца. Кости на висках выделились, кожу собою подперли. Нос заострился. А в глазах воскрес огонек, благодарное счастье замерцало, надеждами в душе отца зашевелилось. Вот — синица. Постигни мы ее — поумнели весьма бы, чать?..

А ворона не раз наблюдала за мною, сидя на трубе избы. Наблюдала и готовилась к разбою. А мы на нее не обращали никакого внимания. Синица доверяла нам, а мы синице. А ворона всех нас обвела вокруг пальца, как Пушка, всех обманула.

Я зарядил ружье и решил отомстить вороне. Ворона усекала. Некоторое время ее уносило куда-то вообще. А когда ворона появлялась, то крутила на трубе клювом в разные стороны, зорко вела себя и беспокойно. Я прицеливался — она взлетала. Как-то я успел взять ее на мушку, но курок не спустил. Я уловил, да, опять уловил биение ее сердца. Билось часто. Пойманное мгновением смерти. Ворону словно парализовало. И я снял с груди ружье.

С той поры каждый вечер и каждое утро ворона один раз пролетает над местом, где теплилось трясогузкино гнездо, и голос ее падает в тишину: «А-я-яй! А-я-яй!» Хищная, а раскаивается — столько безвинных душ, значит, погубила!

1986—1993

## *Ты была*

Голубая майская теплынь. Острые запахи цветов и весенней свежести леса. Улицы нарядны и чисты. Metallурги особенно ценят такое время, когда в рубашке не холодно и в костюме не жарко. Чувствуешь себя легко и молодо.

А сегодня не рядовой день. Воскресенье... В парке многолюдно. Едва, едва уловимо запел на дальней дорожке баян. Потом отчетливее и резче зазвучала над березовой рощей любимая мелодия. И вот уже крылато и раздольно льется из края в край наша «Уральская рябинушка». Серьезнеет молодежь. Теплеют глаза. Каждый опасается задеть другого, боится нарушить этот красивый и задумчивый мир...

И только на спортивной площадке шум и крики. Поигрывая бугристым телом, мартеновец Виктор Федоров пестует тяжелую шарообразную гирию. Он вспотел. Дышит часто и сипловато. На него смотрит «противник» и покровительственно, и сочувственно. Противник весит пудов семь. Он с нетерпением ожидает очереди. Но Виктор не сдается. Раз! Еще раз! И штанга падает на землю.

— Молодчина! — поздравляет соперник.

— Да ну? Это же я так... между прочим... Я люблю бокс. Штанга — твоё занятие. Айда, толкай, авось и удивишь кого-нибудь.

Толпа дружно хлопает и хохочет.

А в тот же час во Дворце культуры идет напряженная творческая битва. Поэты читают стихи. В зале гремят пушки, сверкают молнии и кипят пеной дожди... Кто из поэтов согласится на последнее место, все гении... И потому трудно разобраться, кого ругают, кого хвалят. Но вот над столом поднимается юный парень. Голова его взлохмачена. Огром-



ные голубые глаза воинственно поблескивают. Ростом низкий, но коренастый, и голос у парня — хоть уши затыкай.

Спутник юности, ветер,  
Я твой верный собрат.  
Ты один на планете,  
Как и юность, крылат...

— Тише! — возмущается кто-то. — Чего тише? Пусть выкричится, на душе легче будет!.. — Парень смутился.

— А ты не робей! Режь как есть! — поддерживают ребята, и новичок опять воспрянул:

Там, где кружатся метели  
Да свежак струной гудит,  
Втиснув корни в глубь расщелин  
И в объятьях сжав гранит,  
Как могучий богатырь,  
Ель оглядывает ширь.

— Кончай. Плохо. Из женщины Илью Муромца сделал. Ель! Богатырь!.. Темы-то какие древние. Да и книгой очень припахивает.

— Где работаешь?

— Нигде.

— Отчего же так?

— Тунеядец.

— Хы! — удивился критик. — А из тебя может что-то получится. Стихи горячие и сам темпераментный. Давай на завод!

— Познавать жизнь?

— Да нет. Ты и так мудрый...

Тихо, тихо позванивают стройные обновленные тополя. Серебрится веселое мягкое солнце, и до того зеленеет трава, аж глазам больно.

— А ты давно на заводе? — спрашивает новичок Николай Валяев.

— Четыре года.

— А сколько тебе лет?



- Двадцать.  
— Та-а-а-к.  
— А кто же тебе, шестнадцатилетнему, взрослому машину доверил?  
— Люди.  
— Здорово. Ты гордишься, что ты рабочий?  
— Да.  
— А чем объяснишь свой эгоизм?  
— А тем, что тебя учу.  
— Меня? — обиделся он.  
— Да, тебя. Я работаю и учусь, а ты не работаешь и учишься. Все расходы на тебя я же оплачиваю или помогаю государству оплачивать!  
— Ишь ты! Значит, я хуже тебя?  
— Почему же? Просто у меня больше прав на жизнь. Замолчали.

\* \* \*

Январское морозное утро. Скрипит железо, урчащие печи разбрасывают красные снопы зарева. Похожие на танки завалочные машины с грохотом проносятся по цеху. За ними следит молоденький голубоглазый контролер. Спецовка его уже полиняла и повытерлась... С контролером здоровается Виктор Федоров:

- Каковы успехи, поэт?  
— Пишем.  
— А скоро ли потрясешь мир?  
— Когда ты станешь чемпионом Советского Союза. Виктор качает головой и продолжает:  
— Написал бы, как меня оштрафовал мастер на двадцать пять рублей.  
— За что?  
— Вздремнул и тупики с разгона вышиб.  
— А тупики сколько стоят?  
— Рублей сто.  
— И оштрафовать нужно ровно на столько же.  
— Ого! — надвинулся на собеседника боксер.  
— Ну, чего усомнился?



— Хозяйская душа?  
— А ты белоэмигрант, да?  
— Все вы, писаки, въедливые, как дворняги. Лишь бы укусить. У нас, у боксеров, дружба превыше всего.  
— То-то на тренировке сопернику вчера глаз чуть не вынес. Видимо, по-приятельски?  
— Нечаянно.  
— И вздремнул нечаянно?  
— Ух ты! — возмущается Федоров. — Никогда из тебя толку не выйдет!

Но из-за будки выбегает сердитый мастер:

— Опять схлестнулись? Разгону, дьяволы, по разным полюсам!

Спорщики виновато уходят.

\* \* \*

Осенняя дождливая ночь. Бледно светят фонари, покачиваясь на мокрых столбах. Куда пойти? На улице грязно и пустынно. Леденящий ветер прямо рвется под самое сердце. А в комнате тепло, светло и просторно. Николай раскрывает тетрадь:

— Валь, когда ты увидел первую книжку собственных стихов, ты заплакал?

— Нет.

— А я, наверно, заплачу. Ты знаешь, лягу на постель и всю ночь думаю, думаю. И какая она будет? Недавно читал ребятам, хвалили. Новые стихи. Даже Витька Федоров подмигнул и говорит: «Я бы дал тебе первый разряд!..»

Я отвечаю:

— Тут же голову надо, а не бицепсы!..

Он вспылил и начал задираться. На боксерах, говорит, весь мир держится. Еле успокоил. Чудной он. Шуток не признает. А стихи любит.

Иногда у него даже слезы... Понимает, черт. Одно переписал. Собирается отослать своей девчонке.

Николай перелистывает тетрадь и начинает:



Каждый день уходят поезда  
Из цехов в неведомые дали.  
Каждый день увозят поезда  
На платформах слитки нашей стали.  
Каждый день мы ходим на завод,  
Зной железный у печей глотаем.  
Там, где надо, честно льем свой пот  
И геройством это не считаем!..

\* \* \*

За чтением стихов коренастого лирика я следил, не отвлекаясь: болел за друга. А за мной тут же, в кружке литсобратьев, следила и болела тонкая и совершенно худая Зика. Зика теребила меня за ухо, скребла по спине, нервничала и вздыхала, зовя:

— Идем отсюда, ну, идем, идем!

— Куда идем-то? — удивлялся я.

— В лес идем, к соснам идем, к черемуховым кустам идем, идиот!..

Медленно шагая за Зикой по проспекту Metallургов в сторону тайги, я весело смеялся, видя, как Зика вдохновляется и вдохновляется нашим уединением. Волосы ее, длинные, с отливом золотистым, мягкие и ласковые, ласковые, на теплом веселом ветерке взвиваются и сверкают, взвиваются и сверкают. Осыпая то плечи, то юную грудь. А она, Зика, не замечает, летит вперед, увлекая и возбуждая меня:

— Пень ты и пень есть!..

— Почему же я пень, а ты Василиса?..

— Нет, я Зика, золотистая Зика, а Василиса что, сказка, хэ!.. А я Зика, татарка уральская, я тебя люблю, пень ты русский мой!..

И Зика опять, как бы даже торопя, припугивала меня:

— Скорей, скорей в лес, в сосны, в черемуху, я ведь натосковалась о тебе, нарevelась, ждала и ждала, и вот — дождалась!..

Зика говорила на русском языке тоньше и красочнее коренных девушек деревенских русских. У нее получалось не-





жнее и осмысленнее русское слово, проникающее и чарующее.

В лесу мы остановились и крепко обнялись, а крепко обнявшись, еще крепче поцеловались и далее побрели к соснам, к соснам. А в соснах опять обнялись крепко, крепко, обнявшись, вновь крепко поцеловались и далее побрели, прижимаясь друг к другу, заворачивая в густой белопенный черемушник. Зика закрывала глаза, а на ресницах ее искрились и серебрились капельки росные слез.

— Дурачок, ох, ты и дурачок у меня!..

— Причина? — шутил я.

— Не хотел весну посмотреть, на меня чужие парни заглядываются, а ты?

И Зика обиженно верхнюю губу прикусила.

— Я занятый человек, я пишу рассказы, басни, эпиграммы, занятый я, поняла или нет, голова пробковая, занятый, ясно?..

\* \* \*

А лепестки черемуховые осыпались и осыпались на золотистые волосы Зики, вспыхивая, багрянились, розовели, падали на голубое платье ее, скользили по лебединой шее, а распахнутые губы вздрагивали беззащитно и мелко — по точному стуку молодого горячего сердца: сердце — к сердцу!..

Зика вновь, но более наивно и более безвольно, припадала к моему телу своим девчоночьим телом, целовала, обнимала и вновь целовала и вновь обнимала, шепча:

— Хорошо татаркой быть!..

— Чем хорошо-то, а, чем же?

— А русская побоится увести тебя в черемухи белоснежные, русская и забеременеет от тебя, так мухлевать начнет, а я нет, я и забеременею если, так опять сюда приведу тебя, женись на мне, понял?!

Я мотал согласно, кивал, значит, ей башкою, и мы падали с нею медленно и аккуратно в сонную мягкую траву. Зика обвивалась вокруг меня нежно и ласково, как обвивались волосы ее золотистые вокруг шеи ее.



— Зачем тебе литература, глупая писанина эта, баснописец аховый, зачем, кому нужны басни — Крылов есть! А рассказы кому нужны — Шолохов есть. А стихи?.. Послушай, послушай! — сядила на колени ко мне Зика:

Полюби меня крепко,  
Чтоб единой судьбой,  
Словно дерево с веткой,  
Был я связан с тобой.

Полюби непокорно,  
Чтобы — с мукой в борьбе —  
Находил я упорно  
Все тропинки к тебе.

Я хочу, чтоб отныне  
Для меня навсегда  
Ты была, как в пустыне  
Ключевая вода.

- Понял? — пытала Зика.
- Понял! — взбадривался я. И признавался Зике:
- А стихи-то мои.
- Как? — вскакивала Зика...

И мы опять обнимались. И вновь пропадали в зеленых теплых травах, в шуме сосновом, протяжном, в лепестках черемуховых, сверкучих, в синеве, мерцающей грустными думами между землею и небом. Дети земли и леса, щедро замтенные черемуховым белым цветом, счастливицы, замороженные тайнами ликующей природы.

\* \* \*

— Брось литкружок поганый, брось и женись на мне! Детей тебе нарожаю. Кормить тебя с ладоней буду. Ну, талантливый, ну, печатаешься, ну, славу заимеешь, а меня у тебя не будет, Зики золотистой, татарки влюбленной в тебя, у тебя не будет!..



И Зика чуток всплакивала. Всхлипывала чуток, сморщивая забавный смирный носик. А я не мог наглядеться на Зику. Глядел и глядел. Гладил и гладил волосы ее, шею, плечи, грудь и глядел, мечтая: «Доберусь до Москвы, прославлюсь и разбогатею, заявлюсь в Челябинск и увезу мою отважную татарку в столицу!..»

Возвращались мы из тайги вечером. Через парк. Через стадион. Через танцплощадку. Через музыку и песни. Через игры забавные и переплясы. Через Дворец культуры. Боксеры, спортсмены, штангисты, спортсмены, футболисты, спортсмены, бегуны, спортсмены не замечали нас.

А литкружковцы, начинающие прозаики и поэты, пытались беседу затеять с нами, но мы сторонились и спешили. И лишь низкорослый поэт, читавший утром собственные стихи, коренастый Гомер, заметив нас, широко улыбался нам, и мы ему в ответ широко, широко улыбались.

Не бродить, не мять в кустах багряных  
Лебеды  
и не искать следа!..

И возникал перед нами день. Утро. Дворец культуры. Чтение, чтение!..

Если в цехе дел невпроворот,  
Ни себя, ни друга не жалею,  
И в кругу обыденных забот  
Незаметно каждый день старею.  
Но когда исхлещут нас морщины,  
И иссякнут силы до конца,  
Не умрем мы — в спутниках, в турбинах  
Будут биться жаркие сердца!

- Хорошо!..
- Неплохо, живой человек виден, наш одноклассник и товарищ.
- А позиция?
- Позиция настоящая!..



— Еще бы, металл, который мы даем, действительно заменит на всю планету!..

— Расхвастался.

— Нисколько, просто осознаю свое достоинство!..

\* \* \*

Этот воскресный день был таким же, как и семь лет назад, бурным. Голубая майская теплынь. Острые запахи цветов. Свежий весенний трепет упругих тополиных листьев. Далеко, далеко, за парком, едва уловимо пел баян. Казалось, ничего не изменилось. Так же кричала молодежь у спортивной площадки, но только другие юноши состязались в силе. И в нашем Дворце культуры другие новички пробовали свои голоса...

Одни вспоминали первоклассные победы своего предшественника Виктора Федорова, другие уважительно прислушивались к замечаниям молодого, но уже окрепшего поэта, Николая Валяева.

А по центральному проспекту со свистом летела голубая машина. Не знал Николай Валяев, что его друзья, и по заводу и по перу, спешат преподнести ему сборник стихов, только что выпущенный Челябинским книжным издательством!

— Заплачешь?

— Не заплачу.

А у самого дрожат губы, словно у моей Зики.

— Давай обнимемся!

— Давай!

А мать его смотрит на нас и не может, не может не всплакнуть: то ли от радости, то ли от горьких воспоминаний нелегкой и долгой жизни?

\* \* \*

Москва.

Стремительно проносятся такси.

В золотой россыпи огней скользят по реке моторки. На домах и на башнях вьются флаги. Спокойно и горделиво светят кремлевские звезды.

Только что закончил работу семинар молодых русских поэтов. Известные мастера слова немало хорошего сказали о



моем земляке и друге, Николае Валяеве. Настроение у нас восторженное. Ну, как же мы обойдемся без стихов?

— Прочитай о планете! — прошу я Николая.

И снова звучит его приглушенный голос:

Кружись в пространстве,  
Гулкая планета,  
Вращай все шесть своих материков,  
Да только так,  
Чтоб всем хватало света,  
Чтоб вылетали звенья из оков!

— Завидую тебе! — говорю я.

— Почему?

— Ты завтра будешь дома!.. Соберутся друзья. В цехе, наверно, ждут.

— Наверно.

— А я тебе завидую, в Москве учишься, это моя мечта. Как ты думаешь, сбудется?

— Обязательно! — отвечаю ему.

Прощаемся.

Долго смотрю вслед. Думаю о нашем заводе.

Завод, завод!.. Огромный и могучий — качает он сейчас свое немеркнущее пламя. И на сотни верст призывно гудит его добродушный бас.

Завод, завод, он дал нам честность и мужество. Он дал нам самые сильные крылья, крылья жизни!..



**ПЫЛЬ ДА ТУМАН**

*Интересно, чем окончит свой рок русский человек? Рассекли его по республикам и автономиям, уценили, озаложнили — молчит. Деревню его налогами, раскулачиваниями и войнами уничтожили — молчит. В Москве на площадях его топчут и расстреливают — молчит. В телеэкран дикторы и дикторши показывают ему дулю — молчит.*

*Ну где еще подобный народ есть?*

## *Степа Колотун*

Комары в тайге — беда большая. Так жалят, так всасываются в тело — сердце вздрагивает, а кровь зудит и бросается по венам в бега. Ни керосин, ни бензин, ни разные иные мази не помогают. Впиваются — и доводят человека до полной животной ярости или до полного рахитного изнеможения.

И только Степа Колотун, один, пожалуй, на весь Урал, чувствовал себя в тайге спокойно и хорошо, как дома. Но не сразу. В первый день на Степу комары набрасывались. А позже — летели от него, будто их самих жалят, кусают, рвут и обещают уничтожить.

Степа Колотун — человек лет сорока. Русый, дородный, тяжелый. Живот у Степы — бубен. Тугой, резиновый. Степа Колотун любит выпить и крепко закусить. А выпить любит — не экономя. Бутылку — утром. Бутылку — в обед. Бутылку — на ужин. И — ничего. Лишь — розовый и добрый.

Степа Колотун работает конюхом. Лошади ухожены и послушны. Степа не дергает их, не кричит. Вовремя покормит, вовремя к речке направит. Степа понимает природу, подолгу стоит на берегу — трезвый. А, когда хмельной, сильно ударяет ладонями по загорелому животу и глухие африканские звуки, наперегонки, густо катятся по синеве, по древним озерным далям: тук, тук, тук!..

Степа Колотун — шаман. И вообще — интересный мужик. Поел — обязательно соснет часок-другой, а подпил, начинает комаров травить: дремлет, не шевелясь, дремлет, не шевелясь, и молчит в шалаше. Комары глядят на высокий загорелый живот Степы и радуются, мол, вот уж мы сейчас полакомимся, а Степа тоже не дурак, тоже, хоть и якобы дрем-





лет, а на комаров сквозь умный прищур подглядывает и тоже радуется.

Вот самый голодный и самый представительный комар игольчатым тонюсеньким носиком впился в грудь Степы. И — закипела вакханалия. За старшим — все на грудь Степана опускаются, как вертолеты в бою, и давай сосать невинную кровь богатыря. Один десант насытится — поднимается. Насытится — поднимается. И — тут же опускается новый. Степа Колотун терпит. И сквозь умный прищур наблюдает за негодяями, как полководец за врагами. Наблюдает, не выдерживает — подносит себе чарочку осторожно, и опять наблюдает, пока голова Степы, лохматая и огромная, не приникнет нежно к подушке, а очи, синие, синие, как озерная зыбь, не сомкнутся, оказавшись перегруженными зоркостью и непрерывным напряжением. Нервы сдают.

Шумно вскакивая и отряхиваясь от дремоты, Степан Колотун выносит на белой простыне, а отдыхает Степан именно на белой простыне, выносит тысячи погибших комаров — угорают от водки. Некоторые, совершенно ошалелые от градусов, твердо намереваются взлететь, но падают и умирают у ног шамана. Потому гуляние Степы меж золотистых сосен бора или по золотистому пляжу озера — безопасно. Главное комариное войско пало, а выжившие — страшатся и удирают от Степы. Путь перед Степаном Колотуном — чист.

Но не этой историей знаменит Степа. Колотуном его прозвали потому, что, оставляя коней на ночь в лугу, Степа делает три круга, как бы огораживая коней от напасти, зверя и прочего зла. Кони фыркают, а Степа идет и стучит по высокому загорелому животу: тук, тук, тук!

Плещет искристой синевою древнее озеро. За древними горами потухает медное грозное солнце. Угрюмые седые скалы погружаются во мглу. Холодная уральская ночь оковывает пространство. И стоит Степан у темной железной воды: тук, тук, тук! И глухие африканские звуки медленно движутся в темноту, движутся в темноту.

И там, где едва, едва мелькнули звезды и затрепетал юный серебряный месяц, там — на спине хребта, туда и сюда, туда и сюда, маячит большая фигура. Маячит. А кто она?



Маячит, лишь Степан у темной железной воды примется ударять: тук, тук, тук! Маячит, а Степан не робеет и не торопится...

Местные крестьяне да и приезжие рабочие считают странную фигуру снежным человеком. Поскольку Степа Колотун не бросает зря объедки и прочие остатки от кушаний, а равно распределяет их за полкилометра от шалаша на тропе, фигура появляется на спине хребта.

Помнит Степа и 1975 год. Сухой, пыльный, панический. За Челябинском пшеница весной вынырнула из почвы, а дождя нет, вынырнула, а на нее каскад солнечного огня, солнечного красного железа, краснее и мертвеннее кыштымских молний — поседали и лохмато закудрявились хлебные колоски.

Утки из озер исчезли. Соловьи охрипли. Иволги скрылись в чащах и приуныли. А серые вороны рассыпались на малые группки и шныряли по деревням, ища заваливающую пищу, не успевшую скиснуть на коварном и убивающем огне, льющемся остервенело с бело-желтого оловянного неба. Ржавое, оловянное, гнущее небо висело над каменным краем.

В родниках прерывалась вода. Дно затиневалось. Мыши и звери покидали урочища, поляны, наследственные места. Спасались за горами и оврагами, обнаруживая калужины, рукава речек и протоки озер. Речки убавились настолько, что по калужинам люди шагали в галошах и в мелких туфлях. И лишь великие по размерам, древнейшие уральские озера властно серебрились и ходили синими волнами, уставшими от библейской жары.

В Челябинске по народу пронесся азиатский страх: «Кончилась питьевая вода — вымирать начнет город с ночи!..» И за страхом, следом за черным слухом, взревели трактора, бульдозеры, танки, заворочались над озером Увельды ящероподобные экскаваторы. Ударили бомбами динамиты — и озерные родоновые воды хлынули в каналы и трубы.

Берег озера разворотило. Воды шумели и клокотали в проран. Но не суждено им было докатиться до Челябинска: за сотню километров от него воды иссякли и пропали в раскаленной бездне Урала. А цветы и сосны, черемушник и ка-



мыши, птицы и рыбы, мыши и звери, люди и духи на сухом песке очутились. Рты разевают. Озеро в обморок окунулось и до сих пор не очнулось. Вот так!..

А дальше — поворот сибирских рек. А дальше — Чернобыль. А развал СССР? Ну, скажите мне, разве это лишь головопотяпство? Разве это лишь аварии? Нет. Снежный человек, медведь, знает спланированную тайну беды, но у него нет человеческой речи, он не может рассказать нам правду...

Снежный человек? На Урале? И что — на Урале. Но снежного человека нет. Снежный человек есть в легенде, есть он и в воображениях, фантазиях и страхах разных туристов, геологов, лесников, и прочих удивительных талантливостью художества сказителей... Медведь.

Степа Колотун знает: камыш, раненный атомною течью, пламенем смертельным тронутый, погибает, а на второй или третий год вымахивает к лету обильнее тропического бамбука, и цветы иван-да-марья гибнут, а потом набираются корнями сил, упругие и высокие, с отменным веселием вырастают и, обнявшись, прижавшись друг к другу, издали грустят о нас, а подсказать опыт свой нам не могут...

\* \* \*

Великое дело — любовь. Из огня выручит. От болезни спасет. Из могилы поднимет. И уведет, закружит, заколдует, зацелует и в мир пустит, сильным и окрыленным: трудись и войей за собственную долю счастья, да ревнуй ее, уберегшую тебя, и помни. А перед кем склониться медведю? Одинокий и неразговорчивый — мнет осоку у болот, вспугивает уток на озерах, малину смакует по оврагам и к человеку тянется дикими чувствами и таежным рассудком.

Степа Колотун, когда озеро опустеет, орда отдыхающих скроется в автобусах за перевалами и деревнями, канув по большим городам и растворившись, растекшись по квартирным норам, Степа Колотун садится на пеню у берега, достает из футляра балалаечку и, расслабив талантливые пальцы, ударяет по струнам. Балалаечка, аккуратная и юная, как десятиклассница, звенит нетреснутым голоском, а Степа Колотун закусочным басом ей, старательной, помогает:

Балалаечка, звени,



Коротай со мною дни,  
Много звезд над нами бродит,  
Ну а мы с тобой одни.  
Там, за озером, медведь,  
Он не может песни петь,  
Вспоминая о подруге,  
Собирается реветь.

Помнит Степа, в конце июля 1957 года они шли, молодые, красивые, по тротуару в Челябинске. Проспект Металлургов звенел трамваями, гудел автомашинами. И по правую и левую сторону рельсовых путей волновались тихо тополя, вея жаром воздуха и светом яркого солнца. Июль на Южном Урале всегда спокойный и знойный.

Помнит Степа и тревогу, охватившую их ни с того ни с сего: прижалась к нему золотоволосая Светлана, дрожит, слезы на глазах посверкивают. С чего бы? С какой неясной беды или горя?

— Степа, смотри, молнии какие толстые, столбы и столбы телеграфные!.. — И действительно, Степа, озираясь вокруг, заметил, далеко, далеко, над кыштымской яминой, в горах, поднимаются красные бревна, огненные столбы. Поднимаются прямо, без изгибов и трепета, толстые, гладкие, прямые и высокие, раскаленные до красного мерцания. Но мерцание их не живое, а мертвое, глухое, без грома и без ливня, даже ветер умолк. Могильная тишина. Погребальный миг. Свечи храмовые.

Степа покрепче обнял за плечи Свету. И они пошли быстрее и утрюмее. Но быстрота у них не получалась, а торопливость их превращалась в страх, необъяснимый и энергичный. Страх этот пресекал движение ветра, затемнял свет солнца, мутил его, и жестянно потрескивал, поскрипывал в садах и огородах, благоухающих вдоль шоссе, вдоль свободного рабочего проспекта.

Они торопились. Внезапно упала перед ними ночь. Жар сменился прохладой, а прохлада тут же переросла в какой-то непонятный хлесткий холод, режущий лицо и руки, забирающийся под рубашку, душный ледянистою влагой, вызыва-



ющей на теле мурашки. Тревога Светы и его тревога резче означились. И утвердились.

И вдруг обвалилась гроза. Шальная, жестокая, бессмысленная и необъятная. Они заскочили в попавшийся подъезд. Света дрожала и плакала: «Не молния это, не дождь это, чувствуешь, Степа?..» А утром поползли слухи: «В Кыштыме ядерный взрыв бушует. Ядерный взрыв — берегитесь!..»

Сумерки — за вечерней чертой. Лунно. Даже серебристо. Синева посветлела, а тьма сделалась привычной и прозрачной. Шорохи не настораживали, а звуки не пугали. Тишина и серебристая водная гладь усиливали звон балалаечки и печаль человека. Действительно — над Степой Колотуном густо висели теплые уральские звезды. И одетые в легкий туман сосны казались серебряными, выбегая на высокий скалистый берег и отражаясь в серебряной глубине.

Тихо, тихо. Лишь иногда всплескивали крыльями тяжелые серебряные утки, медленно и устало перелетая от бережка к берегу. И там, едва уловимый, на круче маячил медведь. Задерживался. Слушал. И незаметный — исчезал. Но стоило появиться возле Степы Колотуна золотоволосой женщине, снежный человек приближался, приближался, выбирал перед Степой Колотуном и золотистоволосой гостьей пень или круглый валун, опускался на него и жалобно постанывал. Но золотистоволосая отъездила к Степе — кончился праздник...

Увлеченный звоном балалайки, он слушал и постанывал, когда и струны уже не звенели и голос балалаечника умолкал. Постанывал и постанывал. Золотистоволосая женщина когда-то манила его, помахивая белой косынкой. Белая косынка, особенно темною ночью, напоминала распластанную чайку. Снежный человек замороженно следил за взмахами, но с места не трогался, соблюдая нормальное для зверя и человека расстояние.

— Степа, — уверяла женщина, — медведь — мутант, у него шея длиннее, чем у немутанта, голова и уши привлекательнее, а лапы, отпечатки на песке, настоящие, человеческие, гармоничнее твоих... Значит, Степа, медведь выкарабки-



вался из ядерной заразы вместе с людьми, вот и жметса он к нам, не обижая ни нас, ни животных в округе, понял?

— Ядерный, — соглашался охотно Степа Колотун, — и я никого не обижаю!..

— И комары над ним, как над тобою, безнаказанно не вьются! — шутила золотистоволосая.

— Медведь, снежный человек, всегда трезвый, — заключал Степка Колотун, — иначе бы в нем вскипели обиды на людей и он накуролесил бы вдоволь! Люди же испортили ему судьбу?

— Люди, — вздыхала золотистоволосая, — а сторожем ему не устроиться!..

Но Степа Колотун на этот раз один сидел у берега. Звенела балалаечка, тянул горько бас. Мутант не торопился покидать угретый валун. И трудно определить, кому было здесь вечером более одиноко — снежному человеку или Степе Колотуну, которого комары боятся? Оба — покинутые. Медведь похож на Степу, а Степа Колотун похож на медведя. Медведь появляется на хребте. Смотрит со скалы на Степу благодарно. А может — лошадей сторожит?

Как-то разговорились мы со Степой. Доверчивый и добрый, Степа признался:

— Люди думают да и вы думаете, Степан Колотун каждый день пьет и комаров травит?..

— Не каждый?..

— А где деньги-то, каждый день пить?.. Да и пью-то, сказать, от ядерной заразы удираю!.. Про Чернобыль читал?..

— Читал...

— А на Урале, под Челябинском-то, тридцать годочков назад, похлеще Чернобыля рвануло!.. Трава теперь там вымахала, папоротник, ух!.. Шуки в озерах: то — рыло с туловище, то — туловище с уродливое рыло, ясно?.. Пью, выпиваю, водка ядерную заразу выгоняет... А снежный человек — сирота... Бедный зверь...

Степа вздохнул пятернею русые лесные волосы. Золотые почти. День сиял золотой. Золотился озерный песок. Солнце, жаркое и золотое, пылало над миром. Золотые сосны покачивались над лесною тропкою. Четыре цвета в моем



краю — темный, синий, серебряный, золотой. И все четыре — прекрасны.

— А снежный человек мутант, ядерный медведь!..

— Как?

— А так, ядерный медведь!.. Ядерная энергия просочилась везде, а на Урале тем паче. Медведь ягоду ест, рыбу ест, и около нас, браконьеров, губителей природы, шляется и соседится. Земля сберегла медведя, а он выше стал, горше стал, ближе обличьем к человеку стал!.. Беда воспитала зверя. И — дети от него расплодились: разбрелись по планете, ведь сколько бомб взорвано, сколько... и Чернобылей опалено?..

— А вы кто? — спросил я Степана.

— Я зоотехник... Я прячусь от моторов и речей, от хамства прячусь. Сторож я и медведь сторож...

— Сами создали теорию о снежном человеке?

— Нет, та знакомая женщина. Золотистая такая. Лес изучала. Озера изучала. Цветы изучала. Хватила, где-то здесь, ядерного зноя и умерла!..

Степан, сидя в шалаше, протянул чарку:

— Налей!..

Сколько фабрик, заводов, институтов плело провода, точило детали, чертило схемы полета нашего звездного корабля на Марс? И доньше ученые не разгадали: есть ли, была, будет ли когда на Марсе жизнь. А разве нам не больно чувствовать молчаливую черную смерть рядом, за Кыштымом? Но молчали мы, терпели. Государство молчало, великая страна прятала калек в нищих санаториях и закрытых нищих больницах, гробы во тьме перевозила с погибшими — хоронить.

Сто километров поперек и сто вдоль — гудят версты, и ни одна машина, ни один мотоцикл, ни один велосипед не проедет. Пеше человек не прошагает. Рыбак — не рыбаць. Охотник — не охотья. Лесоруб — не вскинть топора. А трава по колено в мае, а грибы похрустывают в августе, а земляника и клубника, а малина и вишня, а смородина и крыжовник, но не тронь, не прикасайся: смертью роса нацежена, смертью хвоя липнет.



А куда подевались хутора и деревни? Века же они промышляли, по будильнику умывались и к станкам торопились, на трактора вскакивали и сеяли, молотили, закрома наполняли. Человек углом отчим, зыбкой материнской здоров. И улица детства, взгорок юности, поле зрелости — память его и доля, слава его и утрата. Спорим, а Чернобыль страшнее или Челябинск? О чем спорим? На Марс звездолет нацеливаем, а под подошвами холмики, холмики, бульдозером срытые...

\* \* \*

Золотоволосая женщина цветы выращивала на обожженной атомом землице, пяточке израненном. Врачевала, горстями слез поливала маки и розы. Маки — заря, взорванная. И розы — взорванная заря. Красный ветер перепархивал от межи до межи, русское страдание плескалось в зенит, а мы на Марсе ищем загинутую цивилизацию. Как внуки нас определяют?

Она, золотоволосая-то, и мертвою пожелала присутствовать среди черной бездны кыштымского взрыва: повелевала на взгорке и закопать ее, а крест наказала большущий, большущий над ней возвести, дабы несчастные молились, а счастливые Бога побаивались.

И случается, с одной стороны креста пригорюнятся медведь, снежный человек, мутант, а с другой стороны креста пригорюнятся Степа Колотун, зоотехник, конюх заядлый. И оба молчат. А о чем и разговаривать им, бобылям осиротелым? Пьяных комаров угощать?

Однажды горюнились они, горюнились, медведь, мутант, и Степа Колотун, по разные стороны большого пронзительного креста, почерневшего и парящего над черным океаном уральской ядерной зоны — над пространством, куда живому существу путь перегороджен... Горюнились, и внезапно обнаружил Степа Колотун: медведь плачет. Зверь, мохнатый и необъятный, ревет, как ребенок, на краешке могилки.

Степа привстал и ласково заговаривал медведя: «А ты, брат, реवेशь, а ее ты не вернешь, а тайгу свою ты не обретешь, сердце сильное надорवेशь, а калека — обуза для человека!..» Медведь запрядал ушами, завозился и поник. И, по-





никший, отряхнулся, обернулся на Степана Колотуна и в бурелом направился. А возле бурелома еще обернулся на Степу, а Степа сам плачет, медведя жалеет.

Медведь покачал башкою — и Степан Колотун покачал башкою. Медведь нечесаный, лохматый — и Степан Колотун нечесаный и лохматый. Оба ревут, уняться не в состоянии. Оба из обыденной колеи природы вышиблены и пущены тосковать о потерянном. Медведь махнул Степе лапой, и Степа медведю лапой махнул, еле разошлись, еле совладали с тоскою.

Но следы их лап резко отпечатались на иле и на песке, даже на крепкой уральской траве следы их запечатлелись. И, в мае это произошло, рано, до сверкания зарницы, золотоволосая женщина из могилки воскресла, а за нею белые лилии вспыхивают, шагнет, а за нею голубые васильки кланяются. И так разукрасила место, где они горюнились, где они прощались, утешаясь общим недугом времени.

И сирень забуранилась, и яблони зажуравлились, курлыкают и в небеса просят: бело на сто верст поперек и на сто верст вдоль бело. А золотоволосая не отдыхает. Ловит на ладонь соловьев, серых и неказистых, подбрасывает, и они, красные, красные, взмывают в синеву и звенят оттуда над нами. Слышите их? Видите их? Это — капли крови русской ищут пристанище, гонимые атомным вздохом черной бездны.

Господи, прости нас и обереги нас, природа!.. Мы цветами не напились, а водкою отравились. Мы к Марсу прикоснулись, а загнувшей планетою убиты: горе ее в нас каплями крови соловьиными звенит.

Встречался я со Степаном редко, но беседы наши доверительно кренились к философии, к осмыслению живого и мертвого на земле. Но как осмыслить и упорядочить в себе тайну? Тайна в любой биографии, в любой поступке, коли подобный поступок, как лунный свет, возносит и серебрит душу твою...

Степа Колотун, по слухам, не женился на золотистоволосой из-за боязни убить ее атомной заразой. Степа не сомневался — он получил при кыштымской атомной аварии инвалидную дозу. И она, золотистоволосая, считала собс-



твенную дозу инвалидной: зачем же им калек родить? Красивые не должны умирать безобразными!

Цветочные и травяные настои не спасли ее. А Степа, опираясь на жуткую русскую водку, не гнется. Весною и летом окапывает могилку, охорашивает. Могилка — рядом, у скалы, где медведь холостой появляется. Степа Колотун не сердится на снежного человека: тому еще тяжелее — люди в скорбного зверя выстрелить способны. Почему медведь без подруги?

Степан Колотун весною и летом дежурит на могилке. Летом алкогольные комары жестоко мешают Степе думать, а холодной осенью Степу пробирает дрожь. Зато зимою — запуржит избушку. Сугробы навалятся на окна. И хрусткие белые снега затормозят ритм его сердца. А вихри, кони и кони, скачут по долинам и холмам — свист и наваждение! Порою приблжится Степану Колотуну — медведь торкается в дверь, но блажь рассеется и лютые вихри ударят крыльями по стеклу.

А выпьет Степа, мягкая круглая песня прикоснется к нему, как ее ладошка:

Позабыт, позаброшен  
С молодых юных лет...

Но молодость уже прошумела, молодость — белые кони, вихри крылатые! Вот и уронили они Степану Колотуну в пышную шевелюру широкое седое перо — молнию уронили. Жжет она память Степы: то балалайкой звенит над синими озерами, то седою вьюгой плачет и хохочет, дура, в огороде, как забуянившая чужая старуха...

## *Брошенные*

Все в деревне чувствовали — дядя Ваня много читает, много знает, человек работающий и честный, но любит выпить. А выпьет — не то говорит, да и не всегда людей для беседы выбирает достойных. Хотя говорит дядя Ваня правду, а кому она теперь нужна, правда-то, если у нашего государства на каждую пятилетку была своя правда, а сейчас те правды не годятся. А общая правда, советская, революционная, оказалась не тем социализмом.

А где же те правды, где та, настоящая правда? Она и есть у дяди Вани. Правда, говорит дядя Ваня, это — стамеска, гвозди, молоток, доски, из которых я шкафы делаю. Правда, говорит он, это — если мне нормально платят за добрый труд. За злой труд — бить надо. А за добрый, если тебя надуют, это — уже неправда. Неправда — речи вождей, скороспелых и бессовестных, замучивших русский народ лозунгами, войнами, судами, налогами и мировым братством... Как будто в мире миллионы людей сидят и ждут, когда русский интернационалист придет к ним и начнет их целовать взасос, как бедных родственников, пожалеет и подарит им птицеферму: ешь свежие яйца и веселых бройлерных кур.

Работает дядя Ваня интересно. Мастерская, во дворе, покрашена в голубой цвет, плывет вроде паруса по деревне. Внутри — просторная, золотистая. Солнце в ней дышит и по углам, смеясь, трепещет крыльями. Золотая мастерская — от солнца и золотых стружек сосны, березы, липы.

И сам дядя Ваня — золотистый. Желтая рубашка. Желтые широкие штаны. Желтые ботинки. Желтые, золотящиеся, короткие волосы на длинно-заостренной, как вытянутый кабачок, голове. Дядя Ваня, слышал я, ушел из партии, ну, как



скажем, из клуба, где ор и разноголосица, или из столовой, где голодно, неуютно и грязно, где даже столы невытертые, люди раздраженные и хотят сильно кушать. Или дядя Ваня вышел из партии, как выходят из кооперативного магазина: взглянув на американские джинсы, по пятьсот рублей штука, и взглянув на сытое немигающее мурло продавца, а за дверьми горячо сплунув: «Негодяи!..»

Жена дяди Вани, Соня, уход не одобрила. Учительница, она привыкла: хвали Ленина, ругай Сталина, хвали Хрущева. Позже — хвали Брежнева, Ленина, поругивай Хрущева. А еще позже — хвали Ленина, молчи про Андропова, хихикай над Черненко.

А ныне — улю-лю-лю: ругай Ленина, Сталина, Хрущева, по желанию, Брежнева, Андропова, Черненко и хвали Горбачева, первого президента СССР, Ленин же не президент, а этот президент, как в США или на Тайване, тоже там богато, у тайванцев, и очередей якобы нет. А у нас — президент, как в США или на Тайване, а очереди, как на муравьиной тропе: батон и тот неси друг за другом...

Ученики прыскали, а Соня не обращала на них внимания, молола марксистскими жерновами патриотическую литературную резину, преподавала замечательно:

Комсомол! Это слово давно  
Произносится мной нараспев,  
Это — партии ранний посев,  
ВКП золотое зерно.  
Старость юность мою заметет, —  
Я до старости чуть не дошел,  
Слышу — мужество в марше идет,  
Оборачиваюсь — Комсомол.

Соня, Софья Александровна, догадывалась: автор данных строк, Михаил Светлов, пошутил, их сочиняя, но и он шутил назвался Светловым, а с рождения — Шейкман, Штокман или Штикман, наверное, в «Тихом доне» или в «Поднятой целине» Шолохова он и вылеплен, его образ витал в ображениях классика.



Дядя Ваня не высмеивал Соню, Софью Александровну, за школьную чушь, но, сдержанно голубя тетю Соню по вечерам, замечал:

— Ты, Соня, почитай для себя чего-нибудь, для себя, не для комсомола и марша. Да и понять как: «мужество в марше идет»? Налей стаканчик, Соня, за тебя, мою тютюлечку, охолону!

Соня, вздыхая, наливала. Соня мрачнела. Соня, по опыту, готовилась к длительному «выходу на орбиту» дяди Вани, Ивана Мироныча, мужа, лиричного и крылатого супруга. В золотистой мастерской замирало золотое солнышко. Приветливый стук замолкал. Приостанавливая бег золотой стружки. И через день разворачивалась иная эпическая картина. Мироныч ли, Мионович ли, а картина разворачивалась.

Дядя Ваня вертел небритой продолговато-кабачковой головой и, сидя на полу комнаты калачиком, бульбулисто опохмелялся, побаюкивая в могучей ладони бутылку с водкой. Жадно, большими глотками, кидал он в свою пылающую душу водку: «Бензин, — повторял он, — бензин проклятый, сжег русский народ подчистую, сжег и памятника нигде не вижу, нигде!..»

Соня жалела мужа. Любила в нем порядочность, доступность, невероятную бунтарскую оппозицию и глухое монгольское терпение. Софья Александровна брала портфельчик, потертый, но красного норова, и быстро двигала ножками в школу. Маленькая, зябкая. И ножки ее, тощенькие и короткие, но жесткие и выносливые, напоминали ножки, выструганные Иваном Миронычем, к широкой банной табуретке или к топчанчику на веранду. Ее даже и прозвали в школе — табуретка.

Оставшись один, Иван Мироныч распечатал вторую бутылку водки, наливал и не закусывал, пил жадно, как в драку, доведенный до отчаяния, лез. Увядая, задремывал зимою на диванчике, летом на топчанчике, подсунув под щеку трогательный пуховичок. А снова бодрствуя, опускался на пол и наливал. Рядом, в первый день запоя, дядя Ваня ставил старинный, с огромной самоварной трубой, граммофон и заво-



дил вальс «На сопках Маньчжурии». Распахивал двери и окна в доме, и мелодия, национально-волнующая, лилась по деревне.

Нищая старушечья улица неосудительно догадывалась: опять дядя Ваня «вышел на орбиту» и потому вальс «На сопках Маньчжурии» самозабвенно лется из распахнутых окон столяра, дяди Вани. А столяр, полузакрыв рыжеватые веки, широкими шагами вымеривал комнату и делал исключительно точные па, как его когда-то тренировали на сержантских курсах, туда и сюда, туда и сюда, и голосом, чуть прижженным, пел:

Та-та-та-та,  
Та-та-та-та,  
Та-та-та-та-та-та,  
Та-та-та-та,  
Та-та та-та та-та-та-та!..

В распахнутых дверях появлялся крепко поддавший пенсионер Каганович, прозвище ему наклеили такое, мило-сердному Аскольду Аскольдовичу Пудикю, голопятому, бокастому и гололобому, смахивающему на распухшую консервную банку с тушонкой, и оба они, кланяясь и улыбаясь, пускались в стремительном и свободно реющем вальсе «На сопках Маньчжурии»... А Пудик в переводе на русский — Пудиков...

Жена Аскольда Аскольдовича Пудика занимала высокие посты в городе Гвардейске: то — директор валяльной фабрики, то — инспектор цеха по производству халвы, властная и убежденная ленинка, она последние годы руководила, и довольно успешно, строительством плодо-овощного комбината, но надорвалась и померла сразу, без предупреждений.

\* \* \*

Весь Гвардейск провожал в последний путь женщину, можно назвать, большевичку, а Соня, Софья Александровна, учительница и жена дяди Вани, подруга Екатерины Васильевны Пудиковой, коллега по бюро райкома КПСС, по кру-



тым решениям и твердому гвардейскому курсу, Соня, числясь в элитном составе актива, произнесла у могилы Пудиковой речь:

— Женщин в Советском Союзе миллионы, но Пудикова Екатерина Васильевна — одна. В партии она с июня 1941 года, с часу фашистского нападения, служила в армии вместе со своим мужем, Аскольдом Аскольдовичем, на Дальнем Востоке, громила самураев и вместе с моим мужем, Иваном Миронычем, награждена боевыми орденами и медалями. Путь ее в партии и на земле — завидный и доблестный путь. Я и мой муж скорбим!

Похоронили Екатерину Васильевну на аллее ветеранов. Кроме семьи Ивана Мироныча у Пудикова вообще никого не осталось. Сын, Жора, рисовал Брежнева и подписывал — «Император всея Руси!..». Продавца портретов по дешевке у посольства поймали, посадили на пять лет. Брежнев помер — сын уехал в Израиль и оттуда шлет раз в год Аскольду Аскольдовичу телеграмму: «Милый папа, поздравляю с праздником 1 Мая, Днем международной солидарности трудящихся!» И все. Привет.

И у Ивана Мироныча сын, Жора. И тоже угодил в тюрьму, при Андропове, на десять лет. Пьяный, схватил китайца в трамвае, вытащил его у донских бань и стал требовать вернуть ему Порт-Артур. Китаец уехал, а Жора Иван Миронычев сидит. Иван Мироныч с тех пор нигде не произносит свою родную фамилию — Образцов. Поскольку образца, как он любит подытожить, не получилось...

Вальс продолжал свободно литься по деревне, и они, Иван Мироныч Образцов и Аскольд Аскольдович Пудик, он же Каганович, наливая и чокаясь, делали осторожно знакомые нам па: туда и сюда, туда и сюда. На них уважительно глядели два черных кобелька, Тузик и Бобик, взятые от одной матери в Гвардейске Соней и Екатериной Васильевной. Их путали, путают и будут путать. Уж очень они одинаковы и дружны. Дружны хозяева, дружили хозяйки, дружны и кобельки. Хозяева танцуют вальс «На сопках Маньчжурии», а



кобельки, довольны старинной музыкой и тем, что им перепадает с хмельного бесконтрольного застолья, подражают хозяевам, изгибаясь на четвереньках...

Лежит на гвардейском кладбище Екатерина Васильевна, отдавшая себя до последней капли крови революционному делу Владимира Ильича Ленина. Учит сельских детей этому же делу ее подруга, Софья Александровна, а их верные товарищи по партии и по труду, Иван Мироныч Образцов и Аскольд Аскольдович Пудик, тоже столяр и тоже в этой же деревне, под Гвардейском, честно и неторопливо вспоминают ратные подвиги.

Рифмованные строки, кроме Софьи Александровны, уважали и столяры. Аскольд Аскольдович легонько встрепывал щеки Ивана Мироныча и жестикулировал имеющимися в наличии конечностями: «Ы-ы-м-м!..»

Еще Державин высмеял осла,  
В Крылове неприязнь к ослу росла,  
Едва медаль повесил Михалков,  
Ослов облаял, гусь, и был таков!..  
Ослы обиделись — забросили арбу  
И в политическую ринулись борьбу.  
Сегодня генералы и послы,  
Министры и премьеры — лишь ослы.  
Капустки к Спасской башне подвезти,  
Да тяги нет:  
В оглоблях, Господи, прости,  
Конструкторы ракет!..  
А сам хозяин городов и сел  
Сидит в Кремле, чуть поскреби — осел.  
Менталитет вождя евреи берегут  
И в Африку тихонечко бегут  
И там, среди макак, грызут скорлупы слов,  
Россия, мол, загонник для ослов.  
Мораль:





Мы не дадим пропасть реформам и трудам,  
Настанет время — съездим по мордам!..

Иван Мироныч искренне, до слез, аплодировал Аскольду Аскольдовичу, вдохновенному и необыкновенному, башковитому, знаменитому, как Мироныч, тертому, битому.

— Ай-яй, Аскольд! — утирался Мироныч платочком.

— Держись молодцом, помрешь мудрецом! — рифмовал артист, Аскольд Аскольдович, друг Мироныча закадычный.

Сентябрьские дни под Гвардейском стоят сухие, теплые, вокруг виднеются сжатые полосы пшеницы и ячменя, ржи и гречихи. Пахнет хлебом, пахнет сеном, пахнет картошкой. Нельзя и невозможно не обожать жизнь, судьбу, Родину. А Родина, вдалбливает ученикам старая Соня, Софья Александровна, Родина — лицо человека. Если человек слышит пульс Родины — человек слышит себя. Беда — ученики Софью Александровну не слышат. Табуретка — и конец пафосу. Табуретка... Пудика прозвали Кагановичем, а Софью Александровну табуреткой.

Но Софья Александровна не спешит нервничать. Не спешит нервничать она и дома, застав еще — как неровно и смешно, понурые и небритые прилаживаются отдохнуть на диван Иван Мироныч и Аскольд Аскольдович. Посередине комнаты хрипит граммофон, застрявший на пластинке тупою иглой, а на пороге спят сытые и досужие Тузик и Бобик. Софья Александровна улавливает диалог:

— Аскольд, если уж ты отказался ехать в Израиль, то куда же мне ехать в Израиль? Пусть меня лучше в тюрьму увезут, мы и там с тобой ножки выпиливать из еловых бревен начнем. А Ленина пусть заберут в Израиль. Пусть у них полежит. Ведь несправедливость какая: Сахарову отвели площадь и музей в Израиле, а Владимиру Ильичу Ленину нет. Разве это по-людски, а, скажи, Аскольд, ну, скажи, брат?

— Не надо в Израиль увозить Ленина, — Аскольд трезвел. — Надо в Израиль отправить весь горох из-под Гвардейска, они много едят гороху, а нам пусть за это пришлют западную птицеферму: включил рубильник, подставил картуз,



у кого он есть, и полон картуз свежих яиц. Только бы не орали на тебя наши подхалимы: «Куда хватаешь, куда хватаешь!..»

Заметив Соно, друзья умолкали и, кувыркаясь, расходились до встречи около граммофона на следующий день. На следующий день Иван Мироныч поматывал головой-кабачком и приглашал за стол Аскольда Аскольдовича. Они опрокидывали по стаканчику, а граммофон на всю деревню в распахнутые двери и окна обрушивал через огромную самоварную трубу «Суворовский вальс»... Друзья не кружились, не делали па, но были еще в состоянии сурово командовать:

- Пр-ря-мо!..
- Отставить!
- Нале-ле-во!..
- Отставить.
- Пр-ря-мо!..
- Шагом арш!..

Летел «Суворовский марш» по деревне, энергично и победно, заполнял избенки, торжественно выплывал за околицу и гремел, неукротимо прорываясь к городу Гвардейску.

Окрестные и соседние старухи не выползали из покосившихся халуп, кое-где на огородах опасно гоношились петухи, отключались на птицефермах рубильники. А «Суворовский марш» тек полноводно и уверенно по району, будоража ратные сердца. Даже кобельки, Тузик и Бобик, перегакивались в междоусобице.

Иван Мироныч выяснял у Аскольда Аскольдовича истину:

— Кто нас, Аскольд, рассорил? Армяне воюют с азербайджанцами, русские с евреями, киргизы с узбеками, а мы с тобой гуляем, два дурака, да? Сын твой в Израиле, а ты в русской деревне — Тракт революции. Какой тракт? Свинья дороге не найдет в хлев, тракт!.. Ну кто рассорил и разорил нас?

— А ты, Иван Мироныч, не ищи кто, ты поезжай к моему сыну в Израиль и устрой им там Тракт революции, и такой, чтобы они там летели с него в четыре веселых стороны, куриные негодяи!



\* \* \*

Граммфон утраивал силы и «Суворовский марш» лился и стучал в немые стекла маленьких деревенских трущоб, в которых жужжали в чуланах тихие, как осенние мухи, обезумевшие от одиночества и безденежья бабушки... Известная ленинка, Екатерина Васильевна Пудик, спала, до капли отдавая собственную горячую кровь делу рабочих и крестьян, спала на кладбище в городе Гвардейске. Соня, ее верная седая подруга, учила ребят в школе преданности. А «Суворовский марш» вторгался в советские цветущие просторы, мобилизуя патриотических граждан на успехи...

Иван Мироныч наклонялся к уху друга:

— Ты что чувствуешь, Аскольд?

— А чувствую я, Ваня, сына у меня увели, а кто увел, не чувствую. И чувствую я, Ваня, что я русский, а сын — еврей. Кто его евреем сделал?

Иван Мироныч вскидывался:

— И мой сын еврей. Порт-Артур хочет отнять у китайцев, жадный, мало ему России? Раздать надо землю, Аскольд, раздать, коли у нас, у солдат, ее отобрали, раздать всю и распылить!..

— Раздадут, Ваня, раздадут! — врачевал его Аскольд Аскольдович.

Иван Мироныч напрягался:

— Слышишь, из пуховичка — что заладила баба?..

— Что?..

— А, опять, проклятая:

Эх, так вашу мать,  
И растак вашу мать,  
Эх, так вас туды,  
И растак вас туды!..

— Да, — соглашался Аскольд Аскольдович, наполняя стаканчики, — в подушке галлюцинационная ведьма замуравалась и частушками нас угощает. Она, Ваня, и сплетню про меня пульнула насчет Кагановича, она!.. — И утомленно cedят друзья русскую убивающую водку. Друзья, лаборатор-



ные инженеры-конструкторы, вышвырнутые цивилизованной конверсией со стратегического предприятия «Марс»...

А Тузик с Бобиком шныряют по деревне, ищут вкусную сервелатную колбасу за оградами роскошных дачных особняков и вилл, выпестованных лебедками и экскаваторами, выхолощенных финскими каменщиками и плотниками, дерзко нанятыми московскими бизнесменами за тюменскую тугоструйную нефть и челябинскую звездную сталь...

Давно земля русская накренилась. И цены вздыбились озверело: на галстук не заработать, а граммофон не купить. Аскольд Аскольдович Пудик потерялся, потерялся математической головой об русский крест Екатерины Васильевны, незабвенной супруги, и, смежив увлажненные ресницы, тронулся в африканский Израиль, где вместо Тузика и Бобика — облезлоухие мартышки, а вместо прелестного и доброго Мироныча — шут гороховый, оттиск с Володи Познера, подскакивает на цирковой сцене, подхлестывая себя черным хвостом по козлиным щиколоткам. Телеэкранный зоопарк.

Подскакивает, бестия, и завистливо бормочет:

Еврей играет на гармошке  
И трезвым голосом поет:  
«Купил бы водки, не картошки,  
Да баба денег не дает».

А русский рад бы и картошки  
Купить, да нету ни рубля,  
И потому он без гармошки  
Выделяет кренделя.

Нам навязали жизнь лихую, —  
Стонать у бедности в клещах.  
Еврей завелся насухую,  
И русский пляшет натошак.

Мы все — доверчивые дети,  
Ну, Брежнев... ладно, был маньяк,  
Так нет, и этому в бужете  
Икру подносят и коньяк.



---

Прорабы дурят нас безбожно,  
Давно сумевшие учесть:  
Сегодня лишь в Кремле и можно  
По-настоящему поесть.

И не должны мы удивляться,  
Что гой на митингах орет,  
Пока министры наедятся,  
Народ замерзнет и помрет.

Еврей успеет догадаться,  
Сбежит, страдалец, в Тель-Авив,  
А русскому куда податься,  
Свои таланты проявив?

Давно земля русская накренилась. Давно учли это счастливички. А нам, несчастным, куда податься, куда?..

1991—1997

## *Адам и Люся*

Адам Гафур никогда ни перед кем не унижал собственной значимости и достоинства, даже перед Владимиром Ильичом Лениным — не унижал. Адам Гафур гораздо лысее Ильича, и голова Адама Гафура раза в четыре объемнее, но Ленин — Ленин, а башку Адама Гафура не замечают или вид делают, что не замечают. Хотя знакомые, лишь Адам Гафур снимет шляпу, дивятся и смотрят на нее вытаращенными глазами.

Голова Адама Гафура, как голова Ленина, — восточная. Высокая — над ушами, с определенной нависью — над глазами. Замечательная, умная голова. И Москва — прекрасный город. Адам Гафур — генеральный директор овощной базы, врытой в территорию столицы за Савеловским вокзалом. Электрички стучат и проносятся пассажиров мимо и мимо, а к Адаму Гафурову приезжает каждый день, утречком, до открытия торговли, Люся, седоватая, вроде зайчихи перед выпадом настоящего снега.

Люся, Людмила Баграновна, чисто русская. Мать зачала ее от председателя подмосковного колхоза Баграна Ивановича Сидорова, завезенного под столицу из Степанакерта в эпоху поднятия Нечерноземья, и Люся, вырастая, попала в руки Адаму Гафурову во время съезда героев русского Нечерноземья...

Вертлявая и кокетливая, Люся вышла на сцену кинотеатра «Новый путь» и запела, чуть подавшись вперед круглым носиком и милым личиком, запела, глубоко и зовуще вздрогнув:

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!



Хор, расположенный за спиной Люси, подхватил десятью голосами, и Люся полетела над залом. Колхозники и колхозницы прослезились, хотя товарищ Сталин не упоминался в тексте, но чувствовался — вскочили, когда Люся колебнулась, едва не нажав на великое имя... Но пронесло, слава Богу. Багран Иванович поманил кивком Адама Гафура и сказал: «Ти русский, и я русский, береги мой посторонний дочь! Мать ее жил мой колхоз, да помер. Моя настоящий жена тругой колхоз, а Люся прадовсом трудиса в Москва, соображай!»

При развале колхоза Багран Иванович не замешкался. Пропустил мясных овец и коров через магазин Люси и, примерный отец, подарил ей, переписал кооперативную квартиру, в которой он держал ее мать, белокурую. Люсе есть на кого быть похожей, зря красится под седую.

Она скоро поменяла деревенскую квартиру на московскую, с пенсионером-пчеловодом, а знакомство деловое с Адамом Гафуром тут же переросло в счастливую дружбу. Адам Гафур — без примеси, чистокровный русский кавказец неизвестной национальности. Временный отец Люси пропал туда, откуда появился в Москве и ее окрестностях. Адам Гафур — из Степанакерта. Знаменитого, теперь печального города. Один убыл — другой прибыл... Не бросают нас.

Вы спросите: при чем Ленин? А действительно, при чем? Если Адам Гафур надевал тройку — костюм с жилетом, и высовывал ладошки, узкие и короткие, смахивающие на мышинные лапки, и вставал в воротах овощехранилища, лобастый и серьезный, сверкая лысиной, знойной, как июльское закатное солнце в азиатской пустыне, продавщицы трепетали и падали с ног: строгий и справедливый, до заикания обслуживающего персонала.

Одна Люся, лежа с ним у себя в московской квартире на тахте, получала от него завтрашнее задание: «Тва грузовоз и ешо тва яблока набером, цена шетырнацать руплей, а перегружают се яблока по шетырнацать руплей и едут вольный торговля, ти зогласэн?»

В неделю раз Люся с четырьмя грузовозами направлялась рано на овощебазу к Савеловскому вокзалу. От Саве-



ловского вокзала, тяжело гудя машинами, к магазину на улице Ильича, почти напротив чугунного памятника Ленину, удивительно близкого фигурой и осанкой Адаму Гафуру — в тройке, и цепкие ладошки в карманах жилета...

Люся ценила в Адаме Гафуре волю и сметку. Адам двигал сразу в Подмосковье несколько замков-саклей: нижний этаж — погреб и гараж, средний этаж — комнаты и залы, верхний — заграничные предметы, произведения искусства: лифчики, туфли, джинсы, дубленки, шляпы, сумки, магнитофоны, телевизоры, холодильники, самовары...

Почему — на верхнем? Затаскивать — сложно? А ворам стаскивать проще? Адам Гафур — мудрец. Скуповат, правда: разве нельзя особняк для Люси приберечь? Девчонкой Адам испытал ее, а особняка богачу жалко... Адам Гафур, уверена Люся, заполнит сакли под Москвою родственниками-бизнесменами, надо ж русским пособить в новых делах! Демократы к нему липнут, администраторы и депутаты: «Привет, Адамчик!»

Но есть у Адама, Люсе известно, тайное горе. Боится Адам Гафур один в особняке оставаться и с Люсей на море гостить боится. В особняке в полночь к нему прокрадывается русский леший, ловит его за пятки и начинает гневно щекотать. Адам сначала поддается на удочку, хихикает, а потом так ржет и потеет — страшно самому слушать. А леший, щекоча, по-кавказски Адама Гафура взбадривает: «Ис-са, и-с-са!..»

А расслабились они с Люсей на пляже в Батуми, Адама горный шурале, ихний леший, поймал за пятки и по-русски как заорет: «О-го-го-го!..» Пляж заволновался и, взлохмаченный, рыло в сторону Адама Гафура повернул: «Заткнись, дурак!..» Люся засмушалась и покраснела. Но Адам кинулся в свободное море и принялся брызгаться вокруг себя, зовя курортников: «Ай, тяржи ява, тяржи ява!..»

А кого держать? И кто намерен держать? Милиции без Адама Гафура забот лишнего, а курортники, бесспорно, свиные: печет солнышко — и довольны. Люсе в утешение — лидерская внешность Адама Гафура. Где-то близко — к Ильичу и Сергеичу. И — юрист. Просто должность помешала Адаму заняться практикой, а диплом имеется...





Должность помешала, и леший с шурале помешали. Люди — глупые: заметят и разболтают. А овощехранилище у Савеловского вокзала никому ничего не расскажет, и Люся, теперь не молодая, понимает горе Адама Гафура, как свое личное. Свыклись. А дальше — Бог судья...

Люся привязалась к Адаму Гафуру, а он привязался к Люсе. Люся, конечно, и без Адама бы прокормилась, продавщица продуктового магазина, но богатой такой, с рейсами на море, на Кавказ и в Крым, пожалуй, не сумела бы сделаться. С четырех машин, участвовавших в операции с яблоками, Адам Гафур отчислял Люсе шесть тысяч в неделю, остальное, Люся и не в состоянии точно определить: сколько Адам Гафур укладывал в кожаный чемодан и, торжественный, под памятник видом, нырял в толпу?..

Адам Гафур выпивал в меру, за черту опускался, но редко. Люся, с розовыми ядрышками грудей, длинными мягкими волосами и теплыми синими глазами, возбуждала его, хмелея от вина и коньяка. Она прижималась и шептала: «Адам, где твоя настоящая Ева? Я у тебя запасная Ева. А настоящая где? Ну-ка, отвечай, Владимир Ильич, вождь трудящихся мира, ну!..»

Адам Гафур попугивался хмельной женщины, но к жене не торопился, восточные мужчины не торопятся от русской женщины. Тем более, закуски разные: сельдь нежная, балыки, помидоры, колбасы и сыры, виноград и яблоки, ах милые яблоки!.. С овощебазы у Савеловского вокзала. Глупо торопиться и Адаму и Еве. И куда торопиться, в ад?..

Музыку они слушали современную. Буйную. Жгучую. И водоворот песен Аллы Пугачевой встряхивал их, голых, хочущих и целующихся. Они, опрокидывая рюмки и жуя бутерброды с икрой, начинали догонять друг друга, хлопать по животу и веселиться. Дети и дети. Со стены на них прищурю посматривал, с портретика, Михаил Сергеевич Горбачев, и тоже — хваткие ладошки в карманах жилета. А снизу, с пола, на Михаила Сергеевича посматривал Адам Гафур, толстый и голый, и тоже — ладошки как бы в карманах жилета. Ильич, Сергеич и Гафур. Первый — памятником, второй — портретом, третий — плотью. Гиганты.



Люся, теряя нить мысли, покачивалась в кресле, у колена Гафура, и заливалась странным смехом, прерывистым и хрипучим, охваченная вдруг сильным и частым кашлем... Голая, вытирая салфеткой слезы, злилась и хулиганила:

— Почем яблоки спустил, гад? — краснела Люся и напругалась.

— По семдесят пять! — признавался Адам Гафур.

— Сволочь! — заключала Люся. Потом опять хохотала и, нежно, нежно прильнув к Адаму Гафуру, сожалела:

— Адамчик, почему ты у меня не Горбачев? Вон, аккуратный и генсек, а ты?..

— Я Лэнын! — смущался Адам Гафур.

— Лэнын, Лэнын, заладил, балда! — возмущалась Люся. — Толку-то от Ленина, Горбачев — иной коленкор: хапай, пока лезет!.. — И хохотала.

Распаяясь, она подскакивала, решительная и хищная, к Адаму Гафуру, валила его навзничь на постели, а позже, абсолютно пьяная и развязная, требовала: «Подставляй лысину, гад! Шлепать хочу!» Адам Гафур, восточный мужчина, не перечил русской женщине, а покорно склонялся.

Раздавались густые и как бы натягивающиеся на круглый барабан шлепки:

— За колхоз, сволочь! За мою деревню, гад! За покойную маму, негодяй! — Лысина Адама набухла красным соком и чесалась. Адам Гафур еле-еле терпел надругательство, но, люта дыша, молчал. А Люся кренилась и кренилась к столу, ниже и ниже — и засыпала. Адам с годами, приловчась, выпархивал из квартиры Люси радостно и легко.

На рассвете Люся возвращалась в сознание, глушила жажду чаем, а судорога омерзения и расплаты вползала в ее тело. Озноб настигал ее и лишал покоя. Ей в полубредовой дреме чудился Коля, рослый молодой сосед, инженер. Люся играла глазами, строила ему симпатичную моську, но Коля отворачивался и громко осуждал:

— Отвяжись, проститутка!

— Я не проститутка! — кричала себе Люся и пыталась подняться с кровати. Но огромный дом замирал, казалось, на заре. И только забытая пластинка шоркала диском и шорка-



ла. Не выключили... Люся тяжело поднималась и поправляла иглу. Пластинка снова заклинала:

Милый, забери меня,  
Забери меня,  
Забери меня!..

Россия — страна оригинальная, и Адам Гафур масштабным разумом отлично понимал: бизнесмен в Москве не должен слыть человеком узкого профиля, государственность, державность издревле — главный элемент русского характера, русской ратной природы. И доброта, доверчивость русская — опять же. Торгуешь фруктами на рынке Адам Гафур — торгуй, набавляешь цену — пожалуйста, набавляй. Сержант, инспектор, поинтересуется — сунешь ему в карман, он повеселеет, порозовеет его тамбовская мордашка, и сам ты, рылом собственным, порозовеешь. Простота удивительная.

Но Адам Гафур внешне — типичный Владимир Ильич. А памятник Ленину, считай, есть памятник Адаму Гафуру. Правда, Ленин почему-то встал без портфеля, но с кепкой в левой ладони. Адам же Гафур носит портфель в правой, подерживает, на всякий случай, портфель с вырученными деньгами, правой ладошкой. Разница?

Хорош русский народ, да времена лихие: то здесь, то там торчат пьедесталы, пустуют. Статуи, фигуры бронзовые, с них убирают ночью и ночью куда-то увозят. Говорят — на переплавку. И обидно сделалось Адаму Гафуру. Можно было из левой ладони Владимира Ильича Ленина изъять рабочую кепку, а в правую ладошку вмонтировать ему портфель бизнесмена, набитый базарной прибылью. Вставил портфель — исчез Ленин, Адам Гафур появился: зачем памятник менять?

Мысли эти суетили и тревожили Адама Гафура в Люсином доме. Дремотно присвистывая носом, Адам Гафур с наслаждением рисовал воображением новый памятник, где на пьедестале сурово обтоптался он и, чуть возвысясь, в западную сторону победно глядит. Глядит, а Люся его, известная до мурашек на спине, Люся кружит у подножия скульптуры. Кружит и виновато перед бронзовым вождем заискивает:



— Узнаешь меня? Ай тебе я чужая?..

— Нэт!.. — гудит бронзовый Адам Гафур.

Возле памятника толпятся таксисты, грузчики, рэкеты, милиционеры. И никто не спрашивает, где Ленин, все уверены, это — Адам Гафур и портфель с «калымом» у Адама Гафура зажат в правой ладошке. А Люся крутится, крутится и вздыхает: шутки ее с Адамом Гафуром кончились, пусть поглазеет внизу, мешанка савеловская.

Коля же, инженер, еще спал дома и не ведал, как Люся на него нацелилась и обижается... Адам Гафур, минуя памятник Владимиру Ильичу Ленину, направлялся к середине площади, где кучно жались боками и толкались такси. Старые шоферы узнавали Адама Гафура, бибикали ему и возле картинно скрипели тормозами.

Адам Гафур никогда не обманывал шоферов: щедро платил тем, какие вывозили со склада по дешевке фрукты, и тем, кому удавалось встретить Адама Гафура от Люси... Похмельный и мрачноватый, Адам Гафур ехал и рассуждал: «Ба-алшой и хороший Москва, руських ма-ного и Люся, женщина руський. Ешо хы-ыватит торговля тут!..»

## *Ее нигде нет*

Мы привыкли думать, все продавщицы — воровки и грубиянки, а ведь не так это. Есть продавщицы честнее и культурнее нас, хотя в общей-то своей массе и мы не очень перегружены воспитанностью и святостью. Разве лишь преподаватели? У нас в Литературном институте любой — Сократ и немножко Тютчев... А в поселке что? Ну, продавщица, Татьяна Ивановна, из продуктового магазина, на голове — пук медных волос, густых и тяжелых. Груды под белым халатом тоскуют о настоящем хозяине. Свой-то мужичок — соплей в трех местах перешибить можно, худенький и ревнивый, бегаёт за ней: «Таня, куда ты? Таня, куда?..» Оглоед несчастный.

А детей, вроде бы и шутя, а наделал ей — трое! Терпит, мыкается Татьяна Ивановна с ними, учит, кормит, обувает, одевает, а маленького сынишку, последыша, сама и в садик водит. Муж, высмерток синий, а зовут Илларионом. Задирает нос. Выпивает, привязывается, когда ничего не получается, к Татьяне Ивановне и бузит. Хочет ударить ее по лицу — не достает. Подпрыгнет — опять не достает. Вынесет из кухни табуретку, подставит ее к боку Татьяны Ивановны, вскочит на табуретку, как петух на калитку, и наслаждается — колотит бабу, родную и бессловесную. Хоть бы закукарекал, пупырь тощий.

И ничего. Живут. Да и не жить ли? Плохо — маленький сынишка в детсадике забирается на табуретку и требует девочку повзрослее, кричит, гвоздь сапожный: «Иди сюда, бить буду!» Отец так, значит, кричит, когда желание закипает в нем побить Татьяну Ивановну, мать, и он, цыпленочек, гене-



тическим палачом растет. Да, ото пса не родится овца и яблоко от яблони далеко не падает. Народ прав.

Осточертеет Татьяне Ивановне семейная атмосфера, закроется она в закутке магазина и набульбулится водки до сумасшествия. Гуляет она день, другой, а в среду опохмелится аккуратно и до вечера мучается нервами: тянет ее когонибудь громко отmaterить, а нельзя — терпит и унижается. А мы — хороши? То — хлеб черствый. То — соль серая. То — водка из нефти. Как будто на водку государство нормальное зерно тратит? А выпьем — не лучше Иллариона, придираемся, жалобы строчим, советской властью угрожаем. А продавцы не глупее нас, знают: все, что имелось ужасного, все сделано, и хуже ничего уже нет у советской власти, не трусь.

Однажды в такую муторную минуту я, наторчавшись в очередях по району в поисках водки, заглянул в закуток Татьяны Ивановны. Продавщица, приподнято разговорчивая, подозрительно румяная, встретила меня широко: «Проходите, ик, садитесь, ик, как приятно глядеть на культурного мужчину, ик! Нас, приличных людей, ик, очень мало в поселке, ик!...»

Мне стало жаль Татьяну Ивановну, солидную и симпатичную. Я не замечал, поскольку редко с ней общался, ее заикания, и вот — печаль. Но Татьяна Ивановна еще повеселела. Откидывая густые медные волосы на плечи, заторопилась из угла в угол, заоткрывала шкафчики, задвигала разные полочки, звякнула рюмками: «Прошу вас, на уважение и на память о встрече!» Я успел обратить внимание на изящные рюмки чистейшего старинного хрусталя. И, куда денешься, выпил.

Мы кратко поговорили о погоде, о наценках на продукты и на все остальное, посетовали, мол, конца наценкам не предвидится, а более грамотных и помогающих нам жить мер правительство не способно найти. И Татьяна Ивановна подытожила: «Будем терпеть, ик!...»

Я спрятал в портфель бутылку водки и ушел домой. С тех пор Татьяна Ивановна всегда здороваётся первая со мной... На улице или в магазине первая улыбнется и здоровается. Я попытался перехватить инициативу — не уда-



лось. Опаздываю. И, показалось мне, Татьяна Ивановна меня смущается. Норовит скорее отпустить товар — и с глаз долой.

И чем дальше уходило время от той нашей встречи, тем сильнее я утверждался в своем открытии. Смущалась меня Татьяна Ивановна. Почему смущалась — угадать трудно. Не влюбилась же? Годы ее не юные, и я — ничего броского в себе не содержу. И, пораскинув о причине странного поведения Татьяны Ивановны, я поделился удивлением с женою.

Три дня жена дулась на меня. Даже когда наш президент долго, как обычно, выступал из Останкина, жена не обменивалась впечатлениями со мною. Поглощала в поданном виде длинную речь президента и замолкла суровее и отдаленнее.

Наконец ее прорвало: «Ты виноват, ты, ходишь к ней выпивать, распространяешь небылицу, будто я тоже встаю на табуретку и ремнем стегаю тебя каждую субботу, как только ты выпьешь! Татьяна Ивановна даже всплакнула, как ее известили. Она считает тебя, хулигана, интеллигентным мужчиной, обижаемым женою, мною, стало быть, и намерена на тебе жениться, во всяком случае такие заскоки за ней наблюдаются. Она ненавидит меня, принимает меня за иностранку, поскольку я одеваюсь в тувинскую кроличью куртку, своего-то ничего у нас нет, и шипит, взвешивая мне лук или макароны!..»

Жена, запылав справедливым негодованием, взяла разбег круто и отчистила меня за эксклюзивные контакты и за виртуальную выпивку с Татьяной Ивановной по-серьезному. И рассказала целую историю. Оказывается, Илларион как-им-то манером узнал про мою выпивку с Татьяной Ивановной и, упрекая ее, ввел в расписание — бить ее по субботам, вскакивая на табуретку не дома, а в магазине, собирая продажовский персонал, знакомых да и заезжих граждан региона.

Подпрыгивает, бьет Татьяну Ивановну и приговаривает: «Это тебе за московского интеллигента, лектора, светского льва, а это тебе за твои хрустальные рюмки с ним!..» Люди, напирая плечом на плечо, лезут, глазают, хохоча, развозят впечатление о концерте по району и по державе. А Илларион обнаглел. Не нарушает заведенный распорядок. Не пропускает ни единой субботы. Бьет — в магазине.



И вот Татьяна Ивановна, кротко неся издевательства супруга, внезапно обнаружила среди глазающих дурных и огульных, замешкавшуюся под разбухшими сумками мою жену. Не шевелясь, пока муж ее при всех бил, она выкроила мгновение и громко спросила у жены:

— Неужели и вы, Ирина Александровна, вскакиваете на табуретку, как вскакивает мой идиот, и колотите своего беззащитного мужа, преподавателя литературного института, как меня колотит Илларион?

Семья русская государством отвергнута. Брошена государством в тартарары. Муж семью не кормит — заработок позорный. Жена запряжена в рабочий хомут. Дети сиротами с рождения расти обречены. А еще хвастаемся, шумим, поучаем соседние страны воспитывать детей, а сами рожать-то их разучились.

На заседании Верховного Совета СССР даром, что ли, выступила одна депутатка о семье? Глупость ее восторг возбудила и показала миру чушь примитивную. У меня, похвлялась она, бабушка узбечка, дед еврей, мать русская, отец эфиоп, муж казах, я немка, а дети — советские. Ну и собирай крохи от всех народов, только, ради Бога, не оскандалься и не оглоушь народы несуразицей своей.

Натворили. То интернационализму требуется шире ворта открыть, то женщине требуется административного жару щедрее дать, в начальники подвинуть. Но никто, ни один вождь, нигде не пожалел мужика, зарабатывающего сто двадцать рублей в месяц за баранкой и двести пятьдесят рублей в месяц у мартена. Никто. Коммунистические идолы. Фарисеи доисторические.

А выступление депутатки миллионными тиражами издали европейские магнаты: глупость ее и нашу распространяли, ай, какая дикость, мол, у них в семье!.. Знаменитую брошюру обеспечили и на русском языке. Казахи вызубрили наизусть некоторые абзацы, а молодую женщину, депутатку, якобы, коллективно поймали и долго, долго любили, дабы забеременела партийная акула более или менее сносным ребенком — казахом, хотя бы наполовину.





А русские мужики, говорят, возмутились: почему наполовину казахом, а не русским полностью? И началась незапротоколированная межнациональная грызня на базе громоздкого интернационального примера для подражания, названного с трибуны Верховного Совета СССР. Кто же нами руководит, ежели и такая, ввергающая нас в этнические усобицы глупость, не наказана и пропагандируется по державе? Низкопробные уроды руководят нами.

Но по георгиевским залам не нам скакать. Мы — люди черной работы, простой закваски. Нам разъясни наши неказистые сомнения, и мы усовестимся. Да и как объяснить? Национальные взрывы природою планируются, а интернациональные ангажированием провоцируют. Хотя, скажу я тебе, читатель мой грустный и философствующий, Илларион-то — русский человек и Татьяна Ивановна — русская женщина, а судьбы взаимной у них не получилось.

Почему не получилось? Кто виноват? Интернациональная наука? Нет. Национальные взрывы? Нет. Виновник — водка. Пей поскромнее Илларион — не запрыгнула бы в случайную машинешку, не затолкнула бы в нее и детей их Татьяна Ивановна. Ну где она, куда запропастилась?

А женился на ней, по слухам, одинокий чечен, благородный бизнесмен и семьянин бережливый. Иллариону местные жители не говорят, но точно: женился на Татьяне Ивановне чечен и завез ее в горное собственное суверенное государство на Кавказе, Ичкерии, Татьяна Ивановна руководит там в магазине, и дети ее в роскошном саду к плодоносным деревьям приставлены: собирают дорогие ягоды и фрукты и грузят их в липовые ящики заложники русские.

Ящики данные чечен, супруг Татьяны Ивановны, новый, брошенной русским Илларионом, вывозит в Москву и распечатывает на Киевском рынке. Из уважения к русским чечен не дерет десяти цен за килограмм персиков, а продает вишню и бананы нормально. И русские пролетарии, люмпены, бегут к нему, занимают очередь в затылок и галдят: «Спасибо Джафару, честному предпринимателю!..»

На Кавказе, по слухам, у Джафара каменный замок под алюминиевой крышей. Крыльцо каменное, высокое. И Тать-



яна Ивановна, в белых расшитых одеждах, в башмачках красных, гусыня важная, выплывает при солнышке и ладошкой машет: «Эй, вы, помощники, сюда!..» И помощники, сыновья Татьяны Ивановны и русские заложники, убежавшие из-под ножей Азии, выполняют ее умные инструкции и перспективные указания. Бизнес увеличивают, товарооборот совершенствуют.

Высоко стоит на каменном крылечке Татьяна Ивановна, забыла, поди, как не доставал ее, стройную, побить по морде пьяный Илларион? И ничего, ежели у Джафара и в Москве Татьяна Ивановна имеется, религия у чечена разрешает: женись — и корми, женись — и корми!.. Да ведь не колотит же Татьяну Ивановну, ни ту, ни вторую, ежели и вторую зовут Татьяной Ивановной, Джафар и к детям без озлобления относится, не чужие работники, а беспрекословно приобретенные и выращенные продолжатели рода и наследства...

Интересно, чем окончит свой рок русский человек? Рассекли его по республикам и автономиям, уценили, озаложили — молчит. Деревню его налогами, раскулачиваниями и войнами уничтожили — молчит. В Москве на площадях его топчут и расстреливают молчит. В телеэкран дикторы и дикторши показывают ему дулю — молчит. Ну, где еще подобный народ есть?

Очнулись мы — во вражьем стане,  
Направо смерть, налево плен,  
И, кажется, теперь не встанет  
Седая Родина с колен.  
Нас оттеснили от истока,  
От сказочной живой воды  
Песчаной бурей востока  
И громом западной орды.  
И потому под небом низким,  
Густы, упрямостью жутки, —  
Идут в атаку обелиски,  
Последние у нас штыки.  
Лети и плачь над миром, выюга,  
Буди детей молитвой, мать,



Славяне целятся друг в друга,  
Уж до могил рукой подать.  
Лицо ладонями прикрою  
И головою звезд коснусь,  
Тебе, грядущему герою,  
Судьбою собственной клянусь:  
«Явись Кутузовым иль Невским  
Наш ратный путь в ночи продлить,  
Сегодня нам, ты видишь, не с кем  
Огонь обиды разделить!..»

В стране — огонь обиды у русских. И в семье — огонь обиды у русских, как же Илларион не отрезвеет? Да и чечена такого благородного на Киевском рынке пока нет. А где Татьяна Ивановна — никто не покажет. Слухи слухами, а жена моя до сих пор не остыла от беседы с ней. Но где она? Не в заложниках ли сама и дети ее?

Слезы говорить о Татьяне Ивановне, но она говорила и говорила. Говорила о невыносимой жестокости Иллариона, о несчастных детях, начинающих портиться, о покупателях, ждущих ее горя и хамящих ей при удобном случае.

Озадаченная искренностью продавщицы, жена моя поспешила поскорее убраться из магазина. Затаилась и задиверсанила у меня за спиною. И — прорвало. Правила игры навязывает. Вбрасывает различные версии. Озвучивает интерпретации. Как в парламенте капстраны.

А что я мог дезавуировать? То, что моя жена не вскакивает на табуретку и не колотит меня? Наивно. Дезавуировать ложь — смешно. Да и жена со своими претензиями — смешна. Татьяна Ивановна умнее нас обоих, выкрутилась из ужасной ситуации. И пусть. Ее же проблемы!.. Илларион?

Илларион вовремя не утомился. Издеваясь хронически над женою, он накинул на шею Татьяне Ивановне грубую веревку и повел ее топить к пруду. Картина произвела впечатление. Ведет он, маленький и сморчкастый, дородную свою жену, а за ними — дети. Старший, средний, младший утираются. Три сынишки у них. Она утирается. А по сторонам — быдло. Ржут. Ерничают. Да и небритые алкоголики ему сочувствуют. Привел.



---

Хвать — табуретки нет, последний раз побить жену. Вернулся за табуреткой. А жена — лицо из снега. Стоит. Ревет. Дети ревут. И тут мимо легковая машина шпарит. За рулем — нечаянно трезвый человек сидит. Опрятный. При галстукке. Татьяна Ивановна срочно проголосовала. Легковая притормозила. Татьяна Ивановна сунула в нее ребятишек, влезла сама — и растворилась в ландшафте. Нету. Вот уже скоро год — ее нигде нету.

Илларион бросил пить, и со страху — ик, ик, а ее нету. Подруги ее и знакомые ее стараются о ней не говорить, а ее нету. Да и я, видите, как поздно узнал о трагедии!..

## Лю-лю

Неужели вправду у нас на Руси в каждом большом селе была своя церковь? Не верю и никогда не поверю. Ведь если в каждом большом селе была своя церковь, то сколько же их было, церквей-то? И неужели наша Россия такая красивая была: купола, купола и звоны?

А сомневаюсь я вот почему. Если, скажем, на самом деле была, тогда какую громадную силищу надо все их, церкви-то, разворотить и уничтожить до исчезновения следа? А где такую силищу взять, где? Это сейчас, решили Волгу ликвидировать, а ну, комсомол, собирайся — плотины строй! Решили БАМ положить, а ну, комсомол, со съезда и — в палатки: женись и роди там простуженных богатырей!..

Но тогда? А ломать церкви без комсомола, представь себе, сотни тысяч церквей, — ломать как? Тут требуется массовый, народный дух и героизм. И много лет взрывать и ломать надо, много. А расстрелы взять, а тюрьмы взять, а войны взять — пропадали в бездне несчастные люди, как птичьи стаи в небе. Пахать некому, а церкви ломать полно народу? То-то теперь: не пашем, ни церквей, ни комсомола.

Конечно, может, в каждом большом селе была своя церковь, может, да теперь ли радоваться этому? Вот, говорят, колхозами, индустриями свели народ с земли, особенно русский народ, коль он почти сплошь городским стал, но а я думаю по-другому.

Свели церкви — и народ свели. Церковь учила, грела, колокольной музыкой домой звала, на Шипке ты, в Париже или в Нижнем Новгороде на ярмарке.

Раз в каждом селе своя церковь, то у каждой церкви и манер свой креститься, молиться, венчать, умерших прово-



жать. Гвоздь в гвоздь не требуется, храм в храм не требуется, колокол в колокол не требуется. А требуется — общая красота!

А ныне? Куда человека позвать, на какую красоту? Земля потрясена и отравлена. Хутор умер. Деревни нет. А села — красный флаг, а под ним председатель сидит. Он тебе, доложу я, куколь этакий, мать не помнит, отца не помнит, дедову плиту запашет — план пуще второй жены любит! Ух, присяжные и поверенные! Бога у них нет, а кнута не бояться, приспособились. Но и у них дело — труба, теснят...

И заметил я, хождения помогли, у каждого храма — могилки, или при храме они, могилки. Вот Россия, аж тысячу лет — крещеная.

Ну, где же найти потерянное? А могилки затоптаны, в поле — закультивированы, в Москве — асфальтом залиты. И поднимается где-нибудь возле метро «Новокузнецкая» церковь, храм настоящий, древний, а кругом — камень и гудрон. Неужели те, погребенные, русские, перед нами провинились глубоко и дерзко? И мы, действительно ли русские мы?

Возле почтамта, вниз по Белинской пробеги, и направо — в храме Международный переговорный дом. Как нам слышать, войдя туда: «Бау, бау, бау?» — негр, дружественный и дорогой парень, в Сенегал телефонит. А рядом: «Пики, пики, пики, пики, и-и-с-сь!» — чудесная артистка, полагаю, кулачком по аппарату колотит, Мадагаскар заказала. А посреди не — у аппарата, через стеклянную кабину, длинноносый итальянец держит в правой руке вялую курносую обезьяночку, а левой трубку ей к роже поднес, а она, басом: «Хула — хуп! Хула — хуп! Хи, хи, хи, ух! Хи, хи, хи, ух! Хула — хуп!»

Гляжу. На стенах — росписи, тени от них... А по залу машет крыльями здоровенный попугай и орет: «Палермо, Палермо!» Ну как не свихнуться? И выскакивает из зала Толя Саркисян, приятель мой, армянин по национальности, евреем пишется, и за плечо:

— Грустишь?

— Грущу.

— Не паникуй, у нас, в Израиле, один песок под ногами оставался, а поднялись?



— Как в Израиле?

— А я, Саня, плюнул на столичный бордель и уехал, рояли чиню!..

Уехал. Рояли там чинит. Толя Саркисян уехал, а ты, Саня Иванов, на бордель смотри и чини за него рояли тут?

Дети хулиганят — обижаемся. Телестудники голых девок нам показывают — обижаемся. Хорошо еще они гранатой нас не взрывают с экрана.

Верю я в Бога или не верю? А неужели я непременно кому-то докладывать должен? Кто узаконил себя таким великим и наднародным: докладывай ему — веришь или не веришь! Он, значит, и есть для всех нас — Бог? А если он организовал такую силу, которая смела наши храмы, то он и есть — наш Бог. А того, настоящего нашего Бога, мы предали. А коли мы настоящего нашего Бога предали, надолго ли нам хватит ненастоящего?

А верю я в Бога — по-своему: не осуждаю верующего, не мешаю ему, не встречаю в его нехитрую судьбу. А осуждаю я осуждающего. Вчера — хвалим, сегодня — судим. Вчера — поем, сегодня — проклинаем. Вчера — похабничаем, сегодня — в святые лезем. Я верю, но по-своему, без опромети и кувыркания с боку на бок, без кукурузы — в смородине, а в кукурузе — без смородины... Надоели интернациональные мичуринцы: с яблоней колорадского жука, для прочности, соединяют, а их уродца выращивают и женят на мухе-цоко-тухе во Дворце молодежи.

И разучивают идейные дяди и тети среди нас, как среди сплошных детских яслей, классику циников:

Бегемотики,  
Обуйте ботики,  
Подтяните животики,  
Разиньте ротки,  
Мы вскидываем дротки;  
Держитесь, идиотики!..

Тошнит. В Подмоскowie у нас кукурузную лабораторию воздвигли, Всесоюзной испытательницей нарекли. Никита Хрущев, лысый, приехал. В белом френче. С ним, в белых



френчах, на пятнадцати легковых, и все лысые. И все — в кукурузное поле. А кукуруза — выше их. И все — исчезли в ней, холеной на правительственном участке, километр на километр. Сахаром ее подкармливали и теплым квасом подбадривали.

Вылезли. Лысые. И ни один на святую яму не перекрестился повинно. Никита помочился у ямы, лысый — все у ямы помочились, лысые. Кто они? И чего им надо от нас на нашей распятой земле? Чего они хотят, наши боги, от взорванной и отравленной нашей России? Уехали. Я встал перед храмовой ямой на колени: «Господи, накажи их!» А чуток позже — Хрущева сняли.

Размышляю. А Толя Саркисян, приятель мой, по паспорту еврей, а по генетике армянин, попрощался и за углом запел:

Эх, дороги,  
Пыль да туман,  
Холода, тревоги  
Да степной бурьян!

А везу я как-то внука в деревню. Внуку три годика. Садимся у Новокузнецкого метро на автобус, а мальчик на церковь кивает головкой и: «Дед, лю-лю! Дед, лю-лю!»

За Москвой размышляю: «Конфетку он называет «лю — лю», значит, ему сладко, хорошо? И храм для него — «лю — лю», значит, сладко, хорошо ему?» Дальше размышляю: «Трехлетнему внучку моему хорошо, а этим, взрывателям, этим гололобым, плохо? Кто разрушал наши церкви, храмы наши? Кому от них, веющим солнечным золотом и звонами, было плохо, кому?» Размышляю.

Автобус миновал Мытищи, Пушкино, Правду, есть станция такая гадкая, — вышли. Дай-ка, думаю, покажу внуку место, где я, помню, застал еще накрененный и ужасно истерзанный храм. На холме, сказать вернее, прижавшись к холму, держался он.

Кровля, золотая, с куполов содрана. Содрана и простая подкровля. И пять куполов — ну, пять скелетов, пять узников, дрожали и дрожали в непогоду, терпели до хрущевской колонизации знакомого колхоза кукурузой. А потом — храм





добульдозерили, а кирпич из фундамента вытащили, подчистую реквизировали на кукурузную лабораторию. Из икон, одноформатных, поильные желоба сколотили. Скот поили.

Толя Саркисян, тогда мы и впервые встретились, приезжал, выбирал, чистил, упаковывал, но я не глядел — стыдно. Да и где русских икон-то нет, разве лишь в Тель-Авиве?.. Несколькo колхозов, с тридцатых и до восьмидесятых, грабили храм и бедокурили в нем. Действительно, русские мы?

Эх, дороги,  
Пыль да туман...

Ну, подвел я к широкой, глубокой яме, заросшей бурьяном и коноплею, внука: «Лю-лю? — говорю. — Лю-лю?..» А внук расширил глазенки, пятится от меня, головкой качает: — Не лю-лю, деда, не лю-лю!

Пытается вывернуться и убежать. Неужели в каждом селе была церковь? Кто уничтожил наши храмы, если внук убегает? Три годика внуку — и убегает от ямы. А сколько же лет было главному разорителю храмов тогда?

В яме среди бурьяна и конопли — водица. Болото не болото, а озерушко, светлое, светлое, хотя, может, и болотце, камышником обрамленное, трепещет, живое, дышит. И внук опять:

— Лю-лю, лю-лю!..

А у болотца, у краешка, серый, одинокий, забытый временем и миром, кулик.

Тонконогий, честный, омытый дождями, обдутый ветрами, кулик. Я-то знаю: он каждое лето здесь. Он или другой, молоденький, потомок тех, седых, пропавших от нас, от нас, дураков и разорителей.

Внук — остолбенел. И кулик — остолбенел. Эх, дороги, дороги, помозговать если, и получается: пыль да туман, пыль да туман!..

## *Странный сосед*

Сосед у меня — бывший охранник. Лагеря на севере степей, заключенных винтовкой подбадривал, чтобы поживее работали и в барак дорогу не забывали. Сосед — был рыжим, а теперь по бокам лысой квадратной головы кусты волос остались, но не седые, а знойномедные. Рыжий был сосед.

А зовут его — Константин Герасимович Брандербургский. Я долго путал соседа с берлинскими Бранденбургскими воротами, а потом привык. Но кое-кто в нашей деревне до сих пор путает Константина Герасимовича с германскими воротами, хотя сосед маленький ростиком, сутулый, мелкоглазый, с длинными вялыми ушами, но чуткими — при всяком шорохе вздрагивают и напрягаются.

Константин Герасимович твердо уверен: Союз разорвали министры, члены Политбюро, начальники строительных трестов, рыбнадзоры, директора, продавцы и ювелирники, кооперируясь в Москве со смуглыми кавказцами и разными бойкими азиатами, охочими до русских соглашательных баб.

Сосед не пропускает ни один воскресный день, обязательно едет на базар, сельский рынок, и приценивается:

- Почем картоша?
- Три...
- Нос утри! — передразнивает толстую торговку Константин Герасимович.
- Почем лук?
- Шесть...
- С тебя еще не слезла шерсть! — ругает он спекулянта.
- Почем мясо?
- Пятьдесят пять...



— По камере плачешь опять? — рифмует Константин Герасимович.

Пенсия у соседа небольшая — двести рублей, сюда и горбачевская компенсация приплюсована, двести рублей.

Константин Герасимович — рядовой охранник. В охранники его призвали уже в 1956 году, и стерег он, строго и честно, воров, торгашей, барышников, бродяг, бандитов, а их у нас — миллионы, кто считал?..

За двадцать пять лет службы сосед потерял веру в человека: люди у него — жулики, а каждый в отдельности — бери и сажай без суда и следствия, есть за какие махинации!.. Константин Герасимович рассуждает:

— Я ворую, ты воруюешь, он ворует, а четвертый, нас трое, а четвертый не хочет? Нет, непременно ворует. Копни его — ворует, а кричит: «Я честный!..» Честные — в могиле. Честные — в США, богатая держава, бесплатно раздает обеды и синтетические салфетки. А у нас?..

И охранник погибает палец:

— Воробьев плут. Медведев плут. Быков плут. Антошин плут. Ерошкин плут. Абдулкин плут!.. — Охранник разгибает пальцы и сурово заключает: — Хрущев тащил. Брежнев тащил. Черненко тащил. Горбачев тащил!..

— А Сталин? — кидали ему задачу.

— Сталин? Сталин не воровал, о Родине пекся, расширял и крепил.

— А Юрий Владимирович Андропов?

— Не воровал, настоящий чекист!..

— А Ленин?

— Ленин? Зачем Ленину воровать? Больной человек... Руководил мало.

Константин Герасимович внешне никогда не изменял себе: опрятно одет, побрит, поглажен, трезв и задумчив. Но многие и не подозревали: думы его — думы огромные, государственные.

И все-таки охранник «срывался» — запивал. Вбегал в магазин, шустрый, тревожный, как бы при погоне за дезертирами, выхватывал из кармана деньги и бросал на прилавок: «Бутылку!» И удалялся. Пил он один. Пил много. Пил



жестоко и прицельно, сощуривая мелкие глазки, сводя рыжие, посыпанные медной пылью реснички, и пил, крякал и пил, утирая губы ладонью:

— Воры. Кругом одни воры. Кругом! — И загибал пальцы, про себя считая воров, простых и высокопоставленных, каждому — загнутый палец... Хихикал и запевал:

Тарам, тю, тю,  
Тарам, тю, тю,  
Я коммунизма не хотю,  
Партийные кусаются,  
Друг дружку брить стараются,  
И потому там лысые  
Не только — белокрысые,  
Указом сверху велено  
Всем походить на Ленина!..

Больше Константин Герасимович ничего наизусть не помнил, а запой длился неделю и две. Песенка звучала в его устах всюду: по дороге к магазину, по дороге из магазина, по тропке к дровнику, по тропке к уборной, пока он не очухивался. А, очухиваясь от водочного пара, начинал бороться с подозрениями: вдруг «засекли» охранника за веселыми стихами, тогда?..

Он волновался, переживал, заглядывал встречному в лицо, выманивая тайну: не подслушал ли тот его?.. Осторожно открывал дверь магазина, осторожно рассчитывался за бутылку и еще осторожнее закрывал дверь. Продавщицы знали — после перегула. И Константин Герасимович Брандербургский знал, он — после перегула, но знать — одно, а окружение — другое. И охранник продолжал подозревать, выяснять, уточнять, процеживать мысленно: соседа, не соседа, знакомого, не знакомого, уточнять и подытоживать.

За разовое пение стихов — штраф. За повторное — повторный штраф. За третье — год. За четвертое, после двух штрафов и отсидки — пять лет, за следующие — накатом, до десяти. А он сколько пел? Трудно дать справку.



На ступеньках булочной алкаши часто затевают потасовку. Хотя охраннику и без них тошно, но...

Глазей и смейся, думай и дивись:  
Два жлоба напились и подрались.

Ломая сучья, драчуны друг друга  
Дубасили прилежно и упруго.

С корней, обезумев, сорвали ели,  
Но сил друг в друге не преодолели.

Тогда один напрягся и со стоном  
Ударил собутыльника батоном

По голове, и варвар приумолк,  
Знать, пекарь в хлебе понимает толк.

Ведь сучья в драке были бесполезны,  
А у батона ребра, как железны!

Имей алкаши мягкие теплые булочки — кулачная не вспыхнула бы, а батоны, гири и гири, ухайдакать человека ими запросто, давай суди новоиспеченных разбойников вместо того, чтобы настоящие батоны печь. Как низко пала держава!..

Слухи ползут: Горбачев собирается освободить всех, всех, без исключения, осужденных — кооперативы из них создать, мощные, наглые, блатные, не удержать ни милицией, ни охраной, ни армией. Президент мастер менять мнение, переворачивать законы, штамповать указы. Указы исчезают, а мнение остается, слухи остаются. И президент — на вышке, на вахте мнений общества СССР.

Константин Герасимович ярко рисовал картину: все ээки, даже тот, рыжий, на него, Костю, похожий, которого он подстрелил, подранил на лесном повале, показалось охраннику, — рыжий за деревья, за деревья и удирает. Выстрелил — рыжий прилег, к земле, к снегу, и хватает ртом снег,



хватает, а кровь из шеи течет и на белом снегу подмораживается.

Рыжий моментально скончался, а второй рыжий, Константин Герасимович Брандербургский, получил внеочередной отпуск, на море погрелся, вес прибавил на кило чепыреста, а сердце ныть научилось — ранил Костя и его, себя ранил... В преступника метил, а и себя ранил. Да и преступник — какой преступник? Украл в колхозе бычка — продал, кутнул. Схватили — арестовали.

Костя ярко рисует картину: охранники, а они почему-то, в основном, рыжие, интернациональные, из грузин, чеченцев, калмыков, русских, но рыжие, за колючей проволокой, а вчерашние зэки — с винтовками, начеку... Интересно?

Следующая картина: охранников из зоны выгоняют указом, а помилованных зэков загоняют указом. И — сказка про белого бычка: зэков указом выгоняют, а охранников указом загоняют. Перестройка. Альтернатива. Приоритет. Контекст. Прерогатива. Общий европейский дом. Человеческие ценности. Регулируемый рынок. Брандербургский ладонями помял голову, и голова приняла квадратную форму — с детства так: помнет — и голова квадратная, ай!..

Жил охранник в домике — один. Пил, нам известно, — один. Закусывал — один. Спал — один. Разговаривал с собакой — один. Кур не держал — петух не беспокоил по ночам. Кошек — не держал. Будильника — не держал. Будильник ему надоел в казарме — тик, тик, тик: поднимайся, винтовку в руки и — становись!..

Ушел на пенсию — свободный от будильника, наряда, винтовки, газет и портретов Ленина. Все ему надоели, особенно — заключенные, ворь, сплошная ворь, паразиты. Константин Герасимович жил бы и жил, если бы не проклятая перестройка: цены в десять и более раз подпрыгнули, а купить нет чего. Деньги шуршат, а веры им никакой: пустые, горбачевские фокусы, знаки, значочки, мелочь.

Народ взбунтовался — на демонстрации ходит, нормально, по два, по три, по четыре люди ходить не желает, валят на улицу тысячами, черт глупый. В Грузии постреливают ребята и сами попадают на мушку. В Прибалтике постре-



ливают и сами попадают на мушку. Да мало ли где пули посвистывают?

Президента — бранят. Президент — бастующих журит. Злоба выбросилась, как пожарный дым, на просторы, а Россия бескрайняя, грозные годы надвигаются. Болтают в народе: за различные анекдоты про лысых и пятнистых увозят, допрашивают, раздевают и в ледяной бассейн окунают, крестят, причащают, а позже на суд, религия же, и судят страшно, как при Ленине и Сталине, дескать, ленинизм и сталинизм — вечное учение!..

Думая о своих проступках и трусая, трусая и снова думая, Константин Герасимович запил так, загулял так — икона в углу его низенького домика обновилась. Да, обновилась. Пил, пил, пил охранник, пил, уже не закуривая, а при выпивке он иногда курил, пил, уже не закусывая, а лишь мурлыча сокрушенно:

Тарам, тю, тю,  
Тарам, тю, тю,  
Я коммунизма не хотю-ю-ю...

Но не успел допеть до слов «И потому там лысые Не только белобрысые, Указом сверху велено Всем походить на Ленина!..» — повалился на диване и захрапел, как отдежурил сутки, как отпахал день землю, как отстучал молотком отбойным в шахте смену.

Ночью открыл глаза, рыжие ресницы открыл — икона горит. Тихо. Темно. Жутко. А икона горит. И от иконы сияние по сторонам. Константин Герасимович дернул голову — не шевелится. Дернул руки — не шевелятся. Дернулся — тело железное. А икона горит, и свет от нее по домику сеется.

И Бог, похожий на Михаила Илларионовича Кутузова, совестит Костю:

«Частушки поешь? А Россию, родную Россию мою, распродают, островами торгуют? Пьешь — встать не можешь? Судить тебя, сукина сына, пора. Ворья дом полный, а ты пьешь. Позор!»

Брандербургский поднялся — перекрестился. А икона горит и нежный свет далеко от себя рассеивает. Горит и све-



тит. Слезы подбежали под горло Константину Герасимовичу, дышать трудно, дрожа и потея, он уловил за окошком слова:

— Он поет про лысых?..

— Он...

— Он гуляет третью неделю?..

— Он...

— Он сочиняет гадости о коммунизме и перестройке?..

— Он...

— Ломайте двери! — приказал кто-то, почудилось Косте...

Рыжий охранник нащупал под подушкой револьвер, а с ним пенсионер никогда не расставался, поднес дуло к носу — пахнет свежим порохом, значит, оружие в порядке. Поднес и на миг увидел себя в сиянии иконы молодым, ладным, рыжим, смелым. Будто снега, снега, а заключенные вырвались из зоны и — по тайге, по тайге, а у него пистолет, замечательное оружие.

А икона светит и горит. Горит и светит. А в двери стучатся, ломаются, кричат. Пот струится по телу охранника. Кровь струится по иконе. Умыть ее некогда: расстреливаем, воюем, судим и опять, воюя, расстреливаем, совесть пачкаем.

Ночь. Звезды. Окошко — пробито звездами. Двери ломают. И — охранник поднялся, встал с дивана, выпрямился. Лысый. Рыжий. Горячечный. Нажал на курок. И — опрокинулся за грохотом, за огнем, за свинцом. Лег — вниз лицом, уткнулся во тьму. А по домику долго комариным звоном песенка:

Трам, тю, тю,

Трам, тю тю,

Я коммунизма не хотю,

Партийные кусаются

Друг дружку брить стараются...

Когда действительно взломали двери — Константин Герасимович Брандербургский лежал на полу. А около него чернел пистолет образца 1937 года...



## *Борец за свободу*

Семен грузный, но не рыхлый, а мускулистый и тяжелый, даст по морде — башку оторвет с плеч. Но сильные люди — добрые люди, в драки не влазят, а ссорами их не пронять. Семен аккуратный, чистенький и радостный, редко грусть на него навеивается, разве с похмелья. Семен не пьяница, не мытарь. Дом у него маленький, заборчиком обнесенный, и калитка выкрашена в белый цвет. Но Семену в доме — как медведю в клетке, тесно.

Семен любит — белое: хотя и малограмотный, а к эстетике тянет его от рождения, природа ему дала очень много. С тремя классами образования Семен догадался окончить автомобильные курсы, водил «МАЗы» по дорогам Подмосковья, ни аварии, ни буйного водочного наезда — тютельница в тютельница, и права не изгажены проколами гаишников.

Ездил за рулем Семен в белой рубашке, в белых брюках и с белым носовым платочком. Ирма, деревенская продавщица, замечала: даже пес, Пушок, на Семена стеснялся брехать. Подкатит Семен к магазину, а Пушок удивляется на вымытого интеллигентного человека и молча поскуливает: «Диковина-то какая, трезвый, а за рулем!..»

Но случилась, Ирма знает, у Семена трагическая драма: жена при родах умерла, унеся в могилу и первенца. Семен женился поздно, уже огрузнев и здорово ума набравшись, вот и на жене, хрупкой и нежной девушке, сказался полный габарит Семена: ум и вес излишний — ребенок застрял, мама умерла, а Сема осиротел.

Ирма заметила: ослеп Семен, заинвалидил. Конечно, видит, но лишь флаги и трибуны, людей знакомых распознает, лозунги читает, но машину, особенно «МАЗ», водить ему не



разрешили. Семен примирился. Огляделся и нанялся беречь Ирмин магазинчик. Магазинчик — пустяк, но поесть и ограбить можно: колбаска, водочка, пиво, кильки, редко, но получает Ирма, а за килькой к ней дяди стучатся, хе, хе, хе, в министерских плащах и на черных «Волгах», не Семину «МАЗу» чета...

Но Ирма женщина, а женщина простреливает мыслью мужчину подальше плаща и черной «Волги», насквозь пронизывает, как в КГБ, хотя и КГБ у нас ушами хлопнул: расформировали, а государство раздали по 2 аулам и регионам. Ирма учуяла в Семене сильную натуру, способную обращать на себя внимание и двигаться к чему-то высокому и нескучному. Правда, Ирме не нравится, что Семен увлекается демонстрациями. Демонстрант. У нас демонстранты — красно-коричневые. Все...

Пусть Семен и любит цвет белый, но все равно Семен — красно-коричневый: так, Ирма слышит каждый вечер, их, демонстрантов, называют картавые дикторши и дикторы телевидения. Ирма — одинокая, детей, пыталась не раз, родить не может: врачи советуют забыть мечту и смириться с положением, но Ирма интуитивно не ошибается, это — мужики ей попадались замухортенные, глотнет из рюмки, сунется, а и заснет на груди у Ирмы, саранча липучая!..

Ирма и пригрела суровой ласковостью Семена. Повезла к начальнику торговой сети — оформила. Повезла к начальнику электросети — оформила. Повезла к начальнику кадровой сети — оформила. И вечером того же дня Семен вышел на новую должность — сторожем. Ирма подфуфырилась маненько: бровки худенькие подклеила погуще, тело худенькое оправила в кофту пошире, ноги пионерские — сапожками осерьезнила. Завивку делать не посоветовали подруги. У Ирмы волосы — летят. Белые. Под цвет, под белое впечатление Семы.

И магазинчик Ирма подфуфырила. Прилавок пластиком покрыла, а стены, пригласила художника-алкаша, пригрозила паразиту, и он за две бутылки чудо сотворил: бабы заходят в магазин, лупят шары на стены — спотыкаются туплей о туплю, а Семен, крокодил сонный, лежит и лежит, переворачиваясь вместе с ружьем с боку на бок, лежит и ни слова не



промовлит Ирме. А заговорит — про демонстрацию. Лежит в закутке.

Ирма понимает: русские мужики — сплошь политические, иначе разве бы они проворонили великую державу? У Ирмы имя — прибалтийское, а сама русская: дали имя в честь нерушимой дружбы между народами России и Прибалтики. А теперь — демонстрации, теперь все — друг против друга. Теперь Ирму не назвали бы Ирмой, а назвали бы ее какой-нибудь Маней или Клавдией. Слава Богу, тогда народы не враждовали, и ее успели так приятно назвать. Ирма искренне радовалась.

Бородатые смуглые люди, как в эпоху революции, табунят народ и гонят его к трибуне. Залазят на струганные доски — ораторствуют: обличают, доказывают, грозят, призывают. Сходят с трибуны — вновь гоняют народ по площадям и улицам, скапливают его возле мостов и станций метро, а небородатые, свиноскулые омовцы, налетают на народ и ранят его, лежащего на асфальте, как нерку на берегу, на перекате.

Сема скрипит зубами, видя это, а об Ирме у него ни одна извилина в мозгу не выгибается: чугунный истукан. Но Ирме нравится политический человек, отважный, устойчивый, крупный вождь. Пусть, думает Ирма, припугнет Сема разных большевистских руководителей, а потом она забеременеет, и Семен не отвертится: мыть надо малыша, кормить надо, укачивать надо, пленку сушить — привет демонстрациям и политике!..

Но Сема Семен, а не кухонный олух. Сема и ухом не ведет. Нравлюсь — нравлюсь: не отказываться же от идеи ради бабы? Сторожит Семен порядочно, исправно, выпивает на должности не часто, блюдет этикет и гармонию. А Ирма — баба искушенная, без Семы выскребет себе мужа али партнера, как теперь полагается. Сторож — весьма революционный гражданин. Сема слышит на митингах и сам цитирует:

Чтоб крепла трудовая Русь,  
одна должна быть почва:  
неразрываемый союз  
крестьянства  
и рабочего.



Не раз мы вместе были, чать:  
лихая  
шла година.  
Рабочих и крестьянства рать  
шагала воедино.

«Обними, Сема, меня!» — хихикала Ирма и убежала по складу магазина между мешками сахара и муки. Семен смущенно розовел. А время накалялось и накалялось. И прорвало огненную полынью. Семен часть свою заложит на баррикадах, но воевать за народное счастье и правду народную не прекратит.

Как-то Ирма, снаряжая Семена на дежурство, оставляя ему бутылочку и закусить в закутке, рядом со складом, позвала, хохоча, Сему на склад и запнулась о мешок с мукою, запнулась, но повалилась в охапку Семе, да причем — на застеленный топчан, встроенный за мешками для передыху и вытягивания в длину себя. Утомясь от ношения всякой привередливой всячины: гуся жареные в пакетах, коньяк французский «Ля-ля-у!», русская картошка в мочальных сетках, подсолнечное масло в котелках последней Отечественной войны.

Запнулась, а Семен очутился на ней — и молчит, медведь мраморный, давит и молчит. Ирме и набуравилась на него... А Семен, глухо выругнувшись, так отлюбил ее, так отлюбил, что Ирме показалось ночью — ребеночек у нее завозился под сердцем. Ирма вскрикнула — ночь. Тишина и под окнами демонстранты флагами плещутся: волна на волну, волна на волну и гребень на гребень!

Подкралась Ирма, глядь в окошко, а Семы нет. Ирма перекрестилась от удовольствия. И ребеночек у нею под сердцем не возится. Догадался — и посапывает, хитрец. Но с тех пор Семен омрачнел. Отвернулся от Ирмы. Днем — у себя. Вечером — в закутке. Ночью — читает. А читает он в очках и кратко. И читает единственного — какого-то Блока. Бетонная фамилия.

Но Семен ее, фамилию, считает политической — Блок!..  
Всюду — блоки.



Рассуждает Семен — заворожит. Доктор наук. Если бы наши Буничи, Арбатовы, Яковлевы, Абалкины не мололи бы ерунду, а читали бы одного Блока, мы давно бы выправили сельское хозяйство и космонавты бы у нас не сгорали в скафандрах да и блочное жилищное строительство продвинулось бы.

Сдержанным стал Семен. Не обращается к Ирме вообще. Нет ее для мыслящего сторожа. Вроде бы они в чужих обратились, вроде бы он ее не прижимал и не давил на топчане, вроде бы фанера под ним, охломоном, не скрипела, а лишь Ирма во всем его напровадировала — развела их суета и неопределенность чувств и прикосновений.

Да вдруг — беда. Магазинчик загорелся. А Ирма к тому времени обозлилась на Семена. Обозлилась, а магазинчикто и загорись. Милиция. Пушок. Слухи. Сплетни. Но не Сема, не Сема. Хотя Ирма — ответственный работник в орсе, и без панибрательства она вышла наперекор буре.

Но теперь — демонстрации и деньги. Чуть кашлянул — протест. Чуть пошевелился — платишь. Россия — не Россия, а западная погребная забегаловка. И того хуже. Базар. Полная приватизация.

Так оскудела наша Россия, так оскудела — нигде ничего нет, кругом только одни деньги. У кого их много, а у кого ни гроша. У кого много — молчат. У кого ни гроша — требуют реформы. Вот и магазинные сторож Семен идет в колонне демонстрантов по районному городу Гвардейску. Идет и кричит:

- Да здравствует реформа!
- Да здравствует! — вторят ему.
- Да здравствует свобода выезда!
- Да здравствует! — вторят ему.
- Коммунистов к ответу!
- К ответу! — вторят ему.

Тучный, взволнованный, с красным лоснящимся лицом, Семен держит над собственной политизированной лысиной плакат: «Долой продавцов и аппаратчиков!» Самочувствие Семена скверное: кровь густеет, сердце пробуксовывает на одиннадцатом ударе, а потом ни с того, ни с сего прыгает в огромной грудной клетке, как чужая кошка в погребу.

Вчера Семен выпил — перехватил. Перехватил — из-за продавщицы. Жадная. Костлявая. К дежурству сто граммов



не выпросишь. А в будке сидишь — одиноко. Разве Пушок завернет? Так и ему жадная продавщица кусочек салца не отрежет! Разговорились, она: «Зачем реформа, я член КПСС, я не ворую!» Не ворует? «А кто, Пушок ворует? Я ворую?».. — уточняет Семен.

Вчера сунула ему в морду бутылку: «Жри!..»

А сегодня — демонстрация в Гвардейске в поддержку перестройки. До перестройки Семен так не пил. Во-первых, водка доставалась дешевле, не имел на нее Семен такого негодования, во-вторых, на прилавках колбаса лежала — закусывал. В-третьих — была альтернатива. Почтовый сторож Иван Петрович не меньше Семена пил. Похоронили. Приоритет — за Семеном. И альтернативы нет. Но дело уперлось в плюрализм — где взять деньги? И текут по Гвардейску демонстрации, и все — на голодный желудок! Да незнакомый бородатенький тип суетится. Перехвачен баррикадным комиссарским ремнем в талии. Маненький. Похож на Якова Михалыча Свердловва. Хрипит легкими: «Рабочий класс! Рабочий класс!» Подзуживает Семена. Семен выругался и выше поднял плакат: «Долой продавцов и аппаратчиков!»

— Чего ты здесь? — удивился, встретив Семена, местный депутат Гвоздев, наблюдавший за порядком на главном проспекте Гвардейска, и тоже, как Семен, лысый, но серьезный мужик.

— Волю выражаю!

— Какую?

— Во! — И Семен указал похмельными глазами на плакат «Долой продавцов и аппаратчиков!».

Местный депутат Гвоздев кивнул в сторону Якова Михалыча:

— Опять за свое?..

Но Семен не понял исторического намека, а глупо обиделся:

— Не пел и не пил я с ним!..

Местный депутат Гвоздев хитро улыбнулся, наклонился к уху Семена и о чем-то прошептал.

Семен размахнулся, бросил на тротуар плакат и, почти трусцой, заторопился в соседний квартал, к магазину. Там, где располагался магазин, пестрела нечесаная утренняя тол-



па. В животе у Семена забулькало. Пот холодный застучал по босому лбу. Испарина, подумал Семен. А толпа будоражилась. В середине толпы по бумаге скрипели карандашами свежевывбритые милиционеры. Семен, приседая на пятки, приблизился и насторожился, вскидывая левое ухо. Оно от рождения у Семена побольше и поквадратнее правого.

— Лови его! — завизжала продавщица, член партии.

— Милиция, он тут! — поддержали голоса.

— Зажимай его сзади! — советовали идиоты.

— В машину его, в машину! — орали бездельники алкаши.

Семену еще заметнее поплошало. Он прерывисто задышал. Серый, теплый пепел, гуляющий над останками родного магазина, зашевелился у него перед гляделками.

— Пил ночью? — спросили дуэтом оба свежевывбритых милиционера.

Семен не был живоглотом: не обсчитывал сельчан и не надувал их за прилавком или еще где-либо. Не обсчитывал не потому, дескать, честный и застенчивый от рождения, нет, просто не умел пользоваться счетами, не допускали его, малообразованного к подобной деликатной штуковине, к знаменитому арифметическому изобретению. А где еще надуть? Какую должность Семен изловчится занять, когда три класса и несколько пустых бочек из-под вина у него за плечами?.. Но университет марксизма-ленинизма сторож окончил в районном политпросвете с отличием и похвальным листком.

Семен умный мужик и оглядистый: лишнего на себя не берет, не превышает, значит, свои данные, однако — мечтать большой охотник. Зажжет фонарь. Свет электрики вырубает на деревне с шести вечера. Напиваются гораздо дурнее Семена и прямо в монтерской будке, спев одну, советскую, другую, старинную, на третьей песне отключаются в полном замирании: мрак течет по избушкам, чернее асфальта течет.

Оглянется на Пушкина Семен, поддаст и забалагурит: «Ученые, Пушок, с виду ученые, а копни — ворье отменное, и грамотности они не очень натуральной: Ленин сказал, Ленин учил, Ленин советовал!..» Семен не слыл начитанным человеком, но продавщица Ирма, скользкая и соленая, как литовская сельдь, не раз прихватывала Семена за углубленным



занятием, баснями Ивана Андреевича Крылова. Семену в детстве подарил отец томик произведений Крылова, надеясь на дальнейшее развитие Семена, но Семен застопорился на подаренной книге и по сию пору буксует на ней, болван, осушая стакан за стаканом и прикрикивая на Ирму:

— Когда бы вверх могла поднять ты рыло,  
Тебе бы видно было,  
Что эти желуди на мне растут!

Сторож по собственному усмотрению занижал, повышал, растягивал и сокращал нетрезвый бас при собаке, намекая Пушку на непорядочность продавщицы, которая и держится лишь на Семене, на его охранной бдительности: ведь раскурочат ее ларек — и привет, вообще магазин закроют. Кому нужен ларек, похожий на вонючую конуру? Теперь — кооперативы, инициативы, прерогативы, но «прерогативы» Семен завращал, завращал на языке и не выговорил.

Не испугался могучий Семен камеры. А решетка, вкопанная и вклепанная в железные косяки и сама железная, даже понравилась похмельному Семену. Хоть и сердце у него чуточек шальнуло, пробуксовало маненько давеча, при аресте его, но Семен дерзкий человек: на митингах орет, у трибун кулачищами размахивает — не ухватишь легко его за мотню.

Решетка, я уже намекал, понравилась: «Какой честный борец за народное дело не сидел в России за решеткой?» — заключил философски Семен и стал ожидать решения собственной участи. Далее и глубже — Семен пристрастился анализировать последние события на его улице

Сторож напрягал мятежный разум: «Пусть я сжег магазин, тетеря, пусть я сжег — зазевался и заснул при огне, но кто сжег деревянное здание поссовета? Здание — свежее, крепкое. Рассчитано — на кабинет председателя, на комнату бухгалтера, на зальчик для трех кассирш. Кто сжег? И для чего сжег? Я на демонстрацию — магазин гореть. Политика? А поссовет вспыхнул без демонстрации. Опять — политика?

Семен имитировал происшествие: закрывал и открывал глаза, подымал и опускал веки, интересно подергивая ресни-





цами, и перед ним пылал, как наяву, зашарпанный руководящий центр города. Пылал хорошо, с четырех сторон сразу, взвивая пламя до звезд: не бензином ли контору опрыснули?

Больно было Семену не за пожар, не за поссовет. Больно было Семену за несправедливость. Немедленно объявив ударную стройку нового поссовета, председатель поссовета затеял и у себя на усадьбе стройку. И выстроил себе хоромы — красные, как новый поссовет, и той же немецкой шинельной черепицей покрытые, и окна — на манер итальянских, с витиеватыми дугами наличниками для воркования голубей и тенькания синиц.

За решеткой Семен окончательно революционизировался: «Кто-то сжег. Кто-то растащил останки. Кто-то, строя новый поссовет, хапнул и для себя на хоромы. Но главная несуразица — поссовет прежний низкий, рассчитывался на пять сотрудников, а новый, каменный, трехэтажный, — на двадцать пять, и каждому сотруднику к подъезду машину подкатывают, а он, Семен, как ходил пеше, так и продолжает пеше тренироваться на демонстрациях».

У, прерогативы!.. Семен помнит — не выговорил. Помнит — не поджег, не подпалил, а язык у него скорчило и засыромятило вокруг данного стеклослога — порезался будто... И, нервничая, сторож хватил еще стакан, до дна хватил, с отмашкой и вскряком.

«Вот, Пушок, Пушочек, Пушкан ты проклятый, а? Воруют все. А жутко воруют местные организаторы масс, незначительные начальники, избранные народом в руководители, как, примерно, их председатель поссовета Селекционеров. Почувяв безответственную перестройку, назаключал разных договоров на создание малых жульнических предприятий, нараздавал участки, навывписывал бланков, квитанций, приглашений, а деревянное здание, контора вспыхнула и сгорела!» — размышляет сторож.

Да, да, Семен караулил магазин облезлый свой и продавщицын ларек, а здание, хоть и деревянное, но солидное, огромное и грозное, при Сталине зэки строили, вспыхнуло. Но как вспыхнуло-то? Семен и хмельной, да трезвый — зор-



кий, на государственной службе. И Пушок с ним, а Пушка не задобрить чужому: облает и до тика доведет.

Часа в два, пожалуй, за ночной пеленою, заметил Семен, фигура подкралась к зданию поссовета. Подкралась к главному входу. И — удар, хрусткий, ломкий и звонкий, и сразу огонь, как в кино сзади танка, занялся — бутылкой с бензином шарахнул шпион, лазутчик, и не председатель, не товарищ ли Селекционеров, а? Уж сильно скукожило железные решетки, железные задвижки и железные сейфы. Железные сейфы перекутило и аж на двор выбросило с распростертыми секретнейшими замками... Что в них находилось — в золу превратилось.

Рано, рано пожарные подъехали, а толку? Скорбная пыль. Прибежала продавщица Ирма, вобла соленая:

— Сема, Сема! — И хихикнула:

Враги сожгли родную хату,  
Стубили всю его семью,  
Куда пойти теперь солдату?

Договариваются — поджигая. Поджигая — договариваются. Оформляют сделки — богатеют. Партапаратчики. Но разбогатеет ли Семен? Кому его собачий ларек нужен? Продавщице? Надоела: «Не пей, Сема, не пей, ты при обязанностях!» Сегодня все — при обязанностях. И тот, кто ворует, и тот, кто при обязанностях.

Конечно, Семен, как политический деятель, как пролетарская единица в массах, осознал: раньше, до августа 1991 года, демонстрации веяли праздником. Городили трибуны посередине проспектов Гвардейска. Шелестели красными флагами и красными знаменами. Сверкали и ревели трубы. Оркестра наяривали. Обязательно проигрывали даже:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною,  
С проклятою ордой.



Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна,  
Идет война народная,  
Священная война.

Семен замечал: некоторые милиционеры, отворачиваясь, плакали, вытирали государственными рукавами кителей щеки. Люди жались ближе к людям — в толпах братство пошевеливалось и воскресало. А теперь? Да, теперь гимны — молчи, флаги и знамена — зачехливайтесь!

Появились толстые разбойные омонцовцы. Спрашивают:

— Ты за революцию?

— За революцию!..

— Бей его, тугоухого большевика, по физиономии!

И — дубинкой, дубинкой, ничего, коли по спине, а коли — по носу, коли по виску?..

Семен содрогнулся однажды: румяный и потный омоновец нагнал, настиг старушечку, вышиб у нее красный флаг из трясущихся ладошечек, приподнял ее, легонькую былинку, сунул во флаг и флагом обмотал, а репортеры снимать, снимать, на экран, на экран, болвана, и хохочут:

— Красно-коричневая!..

— Красно-коричневая!..

Куда дели бабушку? Семен, возвращаясь к незабываемой картине, выругивался в камере и тряс железную решетку, стальными пальцами сжимая и выгибая круглые прутья. Семену казалось: железные прутья надо запастись, пригодятся...

Семен сжал серединный прут решетки и, грустно вздохнув, оторвал его от рамы: «Революцию не делают в белых перчатках!» — проговорил он самому себе. Но в коридоре зашушукали, зашуршали, и тяжелая камера открылась.

— К вам родственники!..

Родственников у Семена, кроме Пушка, никого не имелось. Жена умерла. Мать Семена, военная стахановка, угодила на производстве локомотивов под маховик. Перемололо. Отец погиб на трассе в Германию. Семен никого не ждал в камере. Один. Сидит и разум шлифует. И вдруг?..



Ирма, ликуя, как пионерка, широко дверь отталкивает: «Сема, когда ты возвратнешься? Я вся истужилась и Пушок о тебе по ночам воеет и скучает, как ребенок. Вон, глянь за тюремную решетку!» Семен глянул — Пушок, преданный и печальный, вскидывает на арестантское окошко морду, знакомо потягивая. Сердце Семена забуксовало и заластилось.

Глянул строго Семен на Ирму, а Ирма распахнула полы симпатичного пальтишечка, показывая Семену серебристо-голубое платьице на прямом сухом теле: «Сема, Сема, я сама шила, сама, Сема, как мне к тебе устремиться, ух...» Сторож опять ощутил, сердце его лязгнуло и забуксовало в грудной клетке. И сам он, Семен, сейчас находится в клетке: что придумать для торжества подлинной, а не мнимой свободы?

Семен сдавил пальцами решетку и, побагровев, крутанул ее на выверт и с грохотом обрушил вниз. Ирма вскрикнула и упала в незастегнутом пальто и серебристо-голубом платье, второй раз, охалкой, к Семену, потеряв сознание. «Милый!» — донеслось до помутненного слуха Семы. И только Пушок за тюремным окном, ничего не понимая, прыгал, визжал и веселился, лоскут шерстяной.

Семен не любил расслаблять свой организм. И на обморочные проделки продавщицы ответил мужской сдержанностью: клюнь на женские ухищрения — разводом кончится серьезное мероприятие, отметил про себя сторож. А Ирма вроде прикорнула в объятиях сторожа и совершенно безопасно потягивалась, то распахивая, то запахивая симпатичное пальтишко.

Семен с нутряным постаныванием покачивал Ирму на весу.

- Сема, а кто сжег поссовет?
- Какая тебе разница? — увертывался политик.
- Сема, а поссовет специально хапути подожгли, да?
- Специально, не специально, а зола поссоветовская схожая с нашей золою, магазинной, дерево же кругом, проклятое, дерево и бензин!..

Они расположились на каторжной кушетке-кровати, смахивающей удобствами на магазинный топчан. Семен прямо сидел, постанывая, а Ирма наискось полулежала, пылливой головкою занырнув под плечо Семену.



— Сема, давай поженимся, приватизируем участок магазинный и раскинем маргаринную торговлю!.. Маргарина — завались: Финляндия довоенный маргарин, из заготовок тысяча девятьсот тридцать девятого года, задарма нам поставляет. Тонна дубовых дров — килограмм финского маргарина. А куда нам дубы-то девать, в могилу, чай, не заберем их с собою? А я от тебя Семенчика жду...»

Кто же поджег посовет? А не новые ли, набранные в штат после пожара сотрудники? Им — должность, а председателю — хоромы. Общая атмосфера перестройки и боевых реформ? Семен разгадывал, разгадывал и, доискиваясь, терял нить выслеживания, тонус догадливости: просто махину трагедии не вычислить. Вот, рассуждал сторож, мой магазинчик никому не нужен и не восстанавливают его: рядом — кооперативный, гребет деньгу, а посовет — воскрес, из пепла, как Сталинград, возродился из руин, и действует!..

Пушок под арестантским окном вилял хвостом и торжественно взбрехивал. Лампочка под темным потолком камеры таинственно светила и подмигивала, счастье влюбленных фиксировала. Слава Богу, охрана дремала в коридоре: день-то рassiялся и солнышко гладило золотыми теплыми лучами окрестные просторы.

\* \* \*

Особо Семена удручали нищие. Семен читал газеты, перелистывал разные журналы. До перестройки — метро без нищих. До перестройки — столовые, пожалуйста пообедай. А сейчас? Нищие, летом если, мухи и мухи на рынках, на вокзалах, у палаток и у прилавков, куда мы движемся?

А омовцы? На первомайской демонстрации Гвардейска омовские боровы улюлюкали и свистели дубинками — больницы Гвардейска переполнились изуродованными, израненными. Никого не судят. А его, Семена, в дорогом и милом Гвардейске за худой магазинчик — в камеру? Ну что в магазинчике сгорело? Губная гадкая помада Ирмы? А посовет спалили для личной выгоды — и?.. Тишина смертельная.



А в Москве, поди, творятся преступления почище гвардейских? В Москве ворье — в омовцы, а народ — в демонстранты? Ирма же — сбекренная курица: «Сема, приватизируем магазинный участок!..» Ворчала, ворчала, а, забрюхатев, кокетничает. Советует: «Выдвигаай, Сема, свою кандидатуру в местные администраторы, проскочишь. Вон Жорж, районный рэкетир, по амнистии за убийство выпущен из острога, выдвинул себя в соседнем регионе — уже мэр. Шесть колхозов гнетет и чулочную фабрику приватизировал, а мы с ним в школу, с первого класса, вместе бегали!..

Разогнал хуторскую демонстрацию. А ты, Сема, по демонстрации тоскуешь, и тебя в красный флаг, как ту бабулечку, завернут омовцы, несмотря, что ты сам здоровше и образованнее омовца, завернут и дубинками приструнят, большевикам ныне — худо. Не страдай за народ. Пусть народ тебя, жоака, оценит и попросит на арену!» — гневалась Ирма.

Семену приятно слушать заботы и опасения за него хлопчущей около него наивной женщины. Хоть она Ирма, скупая и жестокая продавщица, а губы красит и серебристо-голубое платье сама пошила перед тюремным свиданием с борцом за права русского человека.

Семен гордо отвечает Ирме:

— А товарищ Блок?..

Вперед, вперед,  
Рабочий народ!

— Пил? — интересуется Ирма.

— Пил.

— Курил?

— Курил.

И милиция допрашивала похоже:

— Пил?

— Пил.

— Курил?

— Курил.

— Поехали в отделение!..



Гундосил мотор. В ноздри Семена, так ему, дремотному, казалось, намекало тюрьмой. Откуда-то пробивался Пушок и лизал Семена в коленку. Семен вспоминал, как он подкармливал Пушка, по ночам наливая себе рюмашечку. Благодарный песик!.. — отмечал Семен и, пошатываясь от усталости, хватался за надоевшую дверцу автомобиля.

Отпугнув песика, к Семену подскакивала Ирма. Она тыкала Семену в упитанный живот никелированным ногтем, как узкой острогою и плакала: «Димансрант, последнюю картошку и консервы, и те враги спалили вместе со зданием, с голоду подыхать затеем?. Димансрант, кто-то разъялся, распился, а ты у меня весь инвалидный!..»

«Со зданием, — передразнил Семен, — здание-то... тебя в нем, дуру, мучить!..» И отвернулся. В другой бы ситуации Семен наступил бы на хвост этой складской невесте за умышленную кличку «димансрант», а сейчас лишь отвернулся от нее и по-детски засеменил за следователем. Издевательство следователей не раздражало Семена — привык. А беременная Ирма продолжала заступаться за Сему: «Мужик от чтения сплнет, фашисты!..»

Каждую пятницу ее Сему сажают в автомобиль. Каждую пятницу Ирма вскидывает в толпе никелированный ноготь, угрожая: «Ну, димансранты, сытые бобры, рот под воду спрятали? А его пытаются, его за вас, хрипунов трусливых, на политический позор готовят?» Ирма бледнела и чувствовала — ребеночек под ее сердцем нервничает. Она принималась про себя баюкать малыша и успокаивалась.

Женщины везде и всегда правы. Глупо сомневаться. Семена задержали вызовами в милицию, протоколами заморили. Спит Семен, а мерещится ему: перо по бумаге шуршит, текст неопровержимых доказательств Семен строчит и милицейских здоровяков изучает. А они — его. И летит время.

Но на золе поссовета никого не задержали. Никого не пригласили, не допросили. Так и надо. Зола должна зиять там, где существовал и руководил Семхозом возле города Гвардейска поссовет. Поразительно. Сядет ли, не сядет ли Семен по суду, но суд грядет. Рэкеты по району катаются на японских «тойотах» и немецких «мерседесах». Катаются и Семену, бредущему из милиции, кукиш показывают.



Зима протужила, провыла вьюгами. Заметенные кресты на кладбище воспрянули. А то горбатились и горбатились под снегом, как под сумой холщовой. Куда нацелились, в какую даль мертвую тронулись? Уже и весна, светлая, шумно-грозовая, ливнем горизонт оторочила, свистнула и промчалась по Семхозу, на тройке за ней не ускакать!

На пепле поссовета — громада, особняк. Не особняк, а великая арендная контора. Флаг, как на демонстрации, на куполе распластывается и хлопает: в ладоши и в ладоши бьет. Кому аплодировать-то? А на кострище магазинчика — Пушок греется, ежели апрельское солнце неважно печет. Да по золе, по золе милые следы сапожек Ирмы. Прибежит — повздыхает, убежит.

И медленно шагает Семен. Поле. Дорога. Влажный асфальт. Машины, машины, но не притормозят, не окликнут. Засутулился Семен, как под тяжелой ношей крест. Забыл про демонстрации. Забыл бородатенького революционера, исчезнувшего в Израиль. Шагает и шагает. Солнце высокое — над ним, а дорога перед ним — длинная, длинная!..



## *Возбужденный Герасимыч*

Пушок мой, собака, такая умная, такая умная. Приезжаю на «Ниве» из Москвы, лежит в начале улицы на куче из песка, встречает светлым лаем, радостным визгом, хвостом крутит, лапами стучит. А, бывало, скакал вокруг меня, приветствуя в деревне. Теперь — не скачет, старый стал, притупился.

Да и видит плохо Пушок. На расстоянии двадцать-тридцать шагов не узнает. Зрение поблекло. Собака не зря к человеку приютилась, собака и сама-то, как сущий живой человек. Дом знает. Деревню знает. Соседей знает. Чужих — подзревает. Сигналит. И стареет — как человек. Пушок теперь — внутренне задумчивый. Семнадцатый год ему. А молодым — бегал, прыгал, устали не чувствовал. Добрый и коммуникабельный.

Да слеповат. И понял я это случайно. Въезжаю в деревню, а Пушка на песке нет. Вместо Пушка на куче песка дед Герасимыч сидит, курит, сучковатой палкой в дорогу тычет:

— Здравствуй, Герасимыч!

— Здравствуй, Василич! Прокати с версту на автомобиле!

Открыл я дверцу. Герасимыч, кряхтя и почти цензурно матерясь, устроился рядом:

— Рули!

— Куда?

— Прокати, прошу, мечтал сыну купить, а все прахом развеяли.

— Кто?

— Развеяли твои министры, твои ученые, твои президенты, твои негодяи!..

Герасимыч, коли я литератор, считал меня вхожим в любую дверь любого державного начальника. Герасимыч даже поцарапывал меня:



— А, голубчик, не посадили, не расстреляли, значит, доверяют. Кому не доверяли — укокошили. Тебе доверяют, на «Ниве» раскатываешься?..

И вырулили мы с ним на шоссе. Герасимыч завозился, нашел удобную позу:

— Гони!

Машина с первой перескочила на вторую, со второй — на третью, с третьей — на четвертую, оставляя, быстрее и быстрее, тощие домики по бокам дороги. Герасимыч не курил. Не шевелил палку, бросив ее около себя. А машина ревели и рвалась в полет. Асфальт блестел, широкий и ровный. Свист и ветер. Легкая пыльца августа вихрилась за нами. Дубы, еще зеленые, будто накренились и с шумом опрокидывались на нас.

— Гони, — прокричал Герасимыч, — гони с толком, дай сердцу захолонуться, а глазам выплакаться, ведь я военный солдат, в мать партийную за туды их и сюды, бурдюки газетные!..

Бурдюками Герасимыч величал политработников: газеты читая, брань держал на уровне печатной, не перегибал суковатой палки.

— Гони, в затуды и засюды их мать!..

Моя «Нива», ошарашенная непривычной яростью гостя и хозяина, птицей взмывала на холм и птицей мелькала через перелески.

Остановились мы у ручья. Маленький, чистый, уворотливый ручеечек тек, призывая, мимо нас. Герасимыч молчал, молчал и вздохнул:

— Я так тек... Чистый, доверчивый... А меня запрудили, пересекли трупами, пушками, приказами, вывозили в русской родной крови, изранили, исковеркали, палку суковатую вручили и вышвырнули на инвалидность, получай в месяц двадцать шесть рублей пенсии, защитник Родины, а при Сталине калоши купить — семь рублей, при Хрущеве — тринадцать рублей, при Брежневеве — пятнадцать рублей, калоши из поддельной резины, искусственные, бесчестные!..

— А при Горбачеве

— А при Михал Сергеичи поддельные калоши стоят пятьдесят девять рублей и три копейки, ровно три копейки!.. А я



же не могу одну калошину забрать, я забираю две, пятьдесят девять рублей и три копейки... А ношу одну. Вторая калошина не нужна. Протез — деревяшка. Во как, журналист-литератор.

— Где тебя ранило, Герасимыч?

— Ранило меня под Ставрополем. Президент наш, поди, и орудия немецкого тогда еще не слышал, а я уже лежал на снегу, в горах, под колесами разбитой артиллерии. Очнулся в белой палатке — десантники подобрали. Президент с немцами нашу победу ликвидировал, а я на снегу лежал. А, может, и лучше: я — лежал, а он — ликвидировал?

Герасимыч отер щетину на щеках и на подбородке. Оперся на суковатую палку, ввинтил ее в землю:

— У, ленинцы!.. И ты — ленинец, а, ленинец?.. Скопил я за пятьдесят лет десять тысяч, кур выращивал, поросят выкармливал, десять тысяч скопил, а их у меня цап на разные повышения, ты едешь на «Ниве», а я внуку хотел «Жигули» приобрести. Ну, прокати меня, Василич, ишшо!..

Герасимыч одернул залатанную гимнастерку, не то солдатскую, не то железнодорожную, не то милицейскую, вылиняла, не разберешь.

— Прокати!.. У тебя две души надежных, моя и Пушкова. Зимой Пушок ждет тебя, боится: стрясись беда с тобою — с голоду кобелек пропадет. И я — Пушок. Я внука жду. Зимой вьюга воеет. Пушок скулит. Деревня мертвая. Кресты рядом, за окном. Саднят... Черные. А забудь меня внук?..

Герасимыч после войны поднял четырех сыновей. Жена его, Марья Тимофеевна, супруга благодарная. Не обижал ее Герасимыч — рожала без перебоя. Но первого сына в Египте, летчика, англичане срезали, второго — американцы, во Вьетнаме, третьего — китайцы, на границе во время нашего скандала с ними, а четвертый, десантник, заблудился в тумане у афганских моджахедов. Нет вестей никаких. Марья Тимофеевна не выдержала и померла. А внук, от старшего, сынишка, умный, семейный, работающий. Огород обиходит и деда, Герасимыча, воспитывает...

Возвращались, беседуя. Герасимыч курил опасную, вонючую, по талонам приобретенную, гуманитарную сигарету.



И на всякий случай, как бы, время от времени караулил взором палку:

— Пушок тебя, Василич, угадывает по мотору. Другая «Нива», такого же покраса, гудит, Пушок и в ус не дует, а твоя... Он разумом свихивается, счастливый. Ты — спаситель его. А мы, собаки, так о нас, наверно, начальники судят, спасителей умеем ценить!.. — Герасимыч пошелушил в пепельнице аккуратно сигарету... — Василич, Пушок твой добряга. Маненьких ребятишек, спящих возле избы в колясках, он охраняет, а больших, светлых душой людей, вообще не трогает. Но и на него зависть зуб точит, помешал ему в интимном, понимаешь, Василич, неприкосновенном деле!..

Ну, ты понял, у Ивы Павловны сучка заграничная?.. На задних лапках па рисует и кучерявой кункой половые возможности Пушка подзадоривает. А Пушок старик. Пушок, значить, не очень, а она, манжечка европейская, гаф, гаф, а сама жметса к нему и кункой, кункой распоряжается. Ну, Василич, какой мужик стерпит? Вот, к слову, ты утерпел бы? Я, Василич, ветеран Отечественной войны, и то, коли у носа вертеть начнет, не гарантирую дисциплины и приличия.

Пушок и вскочил на нее. Раз, раз, раз — оба довольны. А Ива Павловна в окошко зырк и на улицу. Халат на ней синеморевый, из японского штапеля, чирики мехом искусственным оторочены, румынские, а на глупой голове шляпа или чалма, казахская или тувинская торчит, на манер монгольской, и эта русская интернациональная буфетчица, морщась брезгливо, вокруг своей сучки и нашего Пушка запричитала: «Ай, разбойник, высокую породу, «мадам-уф», портит!..»

А Пушок заволновался и опять. — раз, раз, раз и далее, далее, а Ива Павловна, долговязая, растопырила вилкообразные пальцы и орать: «Ай, ай, ай, Пушок мою высокую породу портит!..» И, представляешь, Василич, вонзилась в Пушка и оттаскивать, оттаскивать кобелька, а сучка и тяпни ее за пальцы-то, кривые и заточенные на фабрике.

Кровь брызнула, Ива Павловна зажмурилась и на меня: «Скоты, собак не можете одернуть? Пушок ваш меня чуть не разорвал! Застрелить мало, шваль экую!..» А я и вспылил: «Тебя тяпнула твоя же сучка, а не наш Пушок. Но очутись я



месте Пушка, я бы тебя, московская жирафа, тяпнул похлеще, завистница послеконкурсная!..» У, Василич, как оскорбилась Ива Павловна: «Да я бы с тобой, — на «ты», значит, я бы с тобой в пустыне Гоби рядом кумыс пить не села, во!» Сучка ее обмякла, а Пушок постоял, помолчал, поглядел, послушал Иву Павловну, а что с вывихнутой дачницы взять? Ушел. Она же и до сих пор клеветет на Пушка, укусил. Не он ее укусил, а укусила Иву Павловну ее же козявка заграничная. Не суйся, куда не просят!..

Герасимыча «Нивой» не пленишь и не ошарашивешь: начитанный и технически образованнейший мужик — вилам рожки загнуть, мясорубку прополоскать и ножи заточить, нет ему в деревне равных. Герасимыч всю войну протопал заряжающим гаубицу — механик, я те дам!.. Но философское призвание, талант народный, иногда набекренивает и одолевает ветерана. Езда на «Ниве» ездой, а от жизни не отрывается.

И Герасимыч сызнава заводит:

— Скажи, дорогой, Ива Павловна о породе печется, кровь сучью охраняет и сама документальная дворянка? Недавно одворянилась. А сын ее на телестудии руководителем антенной каланчи назначен, пудель завитушистый, на экран и потявкивает: «Двогянские когни кгепки на Гуси!..» Да, цари тоже «эр» гундосили, Россию и прогнусавили, Василич? Хотя какой дворянин Ивин сын-то? Плевок.

Пушка она опозорила. А, может, и на нее, Василич, вскочил какой-нибудь, без ошейника и бирки, пуделек захолустный — раз, раз, раз, раз и готово: на экране для нас, папуасов русских, дворянинчик заказан, а Пушок, может, гораздо породистее и выгоднее того пуделька?..

Шутка шуткой, но в сократовских открытиях Герасимыча глубина бездонная, приложи-ка его формулы к ситуациям нашим в стране? Всякий кооператор, даже не успев попасть за решетку по махинациям, родословную свою гербом дворянским пропечатывает, а потомится за решеткой — графом из камеры явится. А кто же его сыны — рабы? За чьи барыши сгасли?



Герасимыча раздражало известное ему обстоятельство с Ивой Павловной:

— Василич, не Ива она, а Дельта, отец ее, по фамилии Плавник, контролировал икру на Волге, отнимал у воров и у порядочных рыбаков, звали его по-настоящему — Хером, инспектор Хер и ел, Василич, икру лаптями, а она, жуть, не Ива Павловна, а Дельта Херовна. Разница? И сыночек, дворянин, в нее!..

Герасимыч агрессивно сплевывал. Я же, про себя, загадывал: «А если бы русские меняли свои имена и фамилии, может быть, и они бы работали в дельтах рек инспекторами по икре и начальниками на останкинской каланче? Но русские ленивые: нарекут их именем при рождении, так до смерти и шлепают сандалиями под ними, нерадивые».

Но мы, радивые, мы соображаем и сопротивляемся ключущим нас благородным стервятникам, оккупировавшим судьбу русскую, да как сопротивляемся — в русскую душу их не пускаем и русское слово к ним не льнет, а презирает их:

Нет, не та головная дорога.  
Что с бугра упирается в небо.  
Надо мало иметь, если много  
Сеять хочешь укропа и хлеба.

Над речушкой вороны бились,  
Ну а ястреб сидел негрешимый.  
Ворон с вороном в омут свалились,  
Ястреб кружится, хмырь одержимый.

Ты захапал экраны и сцены.  
Вырвал куш у разинь и лентяев.  
Да, сегодня повысились цены  
На подобных тебе негодяев.

Ты подвижный лакей, а не лирик.  
Извертевшийся, точно гадалка.  
Без тебя заскучала бы в мире  
На базарах торговка-нахалка.



Хоть слывешь ты не самым богатым,  
Если к власти прорвутся поэты,  
Мы назначим тебя адвокатом  
Обанкротенных банков планеты.

Нипочем тебе ахи и охи,  
Ты повсюду под экстранагрузкой.  
Беззаветный карманщик эпохи,  
Прохиндей, под фамилией русской.

Пушок, и тот — постоянный именем и натурой. Не собираюсь же я имя ему сменить и натуру ему перековывать. Животное своими качествами наделено, а человек своими наделен, и разве имеется в мире надобность их переиначивать?

— Пушок, — рассуждал Герасимыч, — видит много «Нив» или не видит, скорее, не видит, поскольку пока ты мотором своим, да, да, своим, не заурчишь, он не поспешит ликовать. А заурчал ты — он ликует. Как я, Василич... Пушок перед тобою виноват — собака. И я перед ленинцами виноват — рядовой. Да, Василич, рядовой член...

Продавщица, воруя, кричит: «Коммунисты, сволочи!..» Ленинцы, пудря советскими духами рыла, кричат: «КПСС разлагается!» А кто — КПСС? КПСС — я. А ленинцы — не КПСС. Они — ленинцы. Они — революционеры и новаторы. Изобретатели нищеты, Василич!..

Герасимыч попросил размяться. Притормозили. Герасимыч высунул деревяшку, жестко ладонями проутюжил ее:

— Липовая, а погоду чувствует, ноет к дождю, к бурану спать мешает!.. — Нос у Герасимыча задет осколком, похож на стеклянную квадратную чернильницу. Синеватый и мерцающий. На лбу Герасимыч желтым табачным пальцем растирает шрам. Осколок чиркнул — красный шрам до сих пор. Но Герасимыч не слабый. Кряжистый и степенный. Дышит, похрипывая. Беседует, кое-когда потягивая талоночную гуманитарную сигарету, американскую или танзанийскую, с обезьяньей конечностью...

А усаживается полочнее в кабине Герасимыч, «Нива» приседает и качается, как лодка на затоне, скользит: тяжелый



инвалид, есть в нем пока и кровь, и упрямство, и вес. Такие и мертвые — сильные. Такие в русскую землю вкопались под Москвою — и не попятись. Таких и обмануть легко. Такие обману не противостоят — журавли слишком устремленною добротою напичканы. Земля...

Герасимыч, помнит, и в партию-то заявил оформиться, торопясь в наступление. На фронте. Парторг усовестил — он и заявил. Друзья заявляют, а ты нет — стыдно? И — заявил. А теперь он — консерватор. А крикуны — демократы. А приватизаторы — ленинцы. Животы на кухню и — ленинцы. Доллары в банк и — ленинцы.

Кто же — не ленинец? Герасимыч — не ленинец. Герасимыч — гвардеец. Герасимыч — крестьянин.

— Гони! — повернулся грубо Герасимыч. И машина снова взлетела на бугор и снова мелькнула молнией вдоль перелеска. Белые березы кланялись и трепетали. А дорога подрагивала и шуршала асфальтом.

И действительно, едва мы свернули на свою улицу, Пушок угадал голос мотора и ринулся к нам. Старый, растрепанный и конфузный, он ковылял навстречу, ковылял нам навстречу.

А в чем он виноват, в чем?..

1986—1991



## Марфа

Бабушка Марфа прожила такой могучий век, приобрела такой душевный и философский опыт, такой гражданский навык одолевать препятствия, что никому с ней не посоперничать: кишка тонка.

Марфу даже расстреливали. Сейчас ей побежал, и причем невероятно быстро, девяносто седьмой годочек, а когда распростерли ее по стенке, ей и двадцати не было: приехал чекист Сигизмунд в Троице-Сергиеву Лавру — и давай на допрос монахинь выдергивать. Зацепил на крючок и Марфу.

— Куда митрополит алмазы спрятал?..

— Церковь алмазы не прячет...

— А где, у кого, скажи, ключи от подземных подвалов золотых?..

— Поди у ваших знакомых, кто изучал эти подвалы...

Устанет Сигизмунд, католик еврейский, поляк чертов, русский москвич, и тыкается в стол буравчатой бороденкою — дремлет, удав революционный, а одним зрачком, горынычевым, косит через прищур на Марфу...

Еще бы! Марфа — красавица. Белолицая. Волосы русые, почти солнечные, а глазища синие, синие, да еще ресницами, длинными и черными, расширены, да еще — в талии Марфу перехватить и Сигизмунду тощеребром возможно: не худа Марфа, а еще — девчонка вроде, есть еще как следует не приучена, а так — и каждый фрукт ей на здоровье, каждая конфетка на симпатию.

Ночь. Петухи утомились кукарекать... Куры не квохчут. Совы перестали угукать. Ворона монастырская спросонья не ворчит, полная тишина и дрема, а Сигизмунд продолжает, постукивая жестяною буравчатой бороденкою о столик цер-



ковный. Дзержинский и Дзержинский. Похож. А вдруг да и сам Феликс, тот Эдмундович-то, сам чекист нефигуральный, а явный, кляузник заморский?

— Ключи где?..

— Вы уже спрашивали...

— Замолчи, стерва!..

Синие глазищи Марфы полыхнули и светом синим, синим, гневным огнем русским, оплеснули Сигизмунда:

— Дьявол костлявый!.. Чахоткин сын!..

Сигизмунд вскинулся, но закашлял, закашлял и побледнел. Она и он. Двое. И ночь. И луна в окно высокое храма смотрит, и тоже — глазищи от ужаса расширены, но не синие, а огненно-золотые, жжет Сигизмунда ими. Куда ему деться, и Сигизмунд, пригорбившись, спрыгнул с табуретки на пол кошкою, чертенком веселым и за груди, за груди Марфу когтями вражьими пожимает — левою рукою, а правой пистолет, револьвер еврейский, любимый их предмет, к шею Марфы стволом, стволом:

— Распну, сука, у!..

Марфа не успела ни перекреститься, ни сотворить коротенькую молитву, даже не успела дух перевести, как напряглась молодыми чувствами обиды и гнева, да так ударила чертенка, московского черта одесского, ударила в живот, так внезапно и ловко — Сигизмунд, дьявол католический, поляк еврейский, русский палач, опрокинулся на спину и с перепугу и недоумения хотел, показалось Марфе, потянуться, расправиться и сонность стряхнуть, но застонал и револьвер выронил... Паук туберкулезный.

Марфа исчезла в ночь. А русскому честному человеку родная природа русская — мать заботливая: тьмою Марфу укрыла, тропинку перед Марфой кинула — беги и не кайся, беги не спотыкайся и не оборачивайся назад. Роса осенняя холодом веет в оскорбленное лицо Марфы, веет и успокаивает. Ветки ольхи и дубняка, берез и сосен загораживают Марфу и заслоняют от погони. А дурной филин хлопает крыльями и вопит: «Разбой!.. Разбой!..»

Марфа не меняла ни биографии, ни имени и поддельных паспортов не покупала, как тысячи и тысячи безвинных рус-



ских людей, пропадая в народе и во времени от проклятых червивых тварей — оккупантов и расстрельников на милой земле отцовской.

Марфа очутилась на Урале. Но не в монастыре, а на озере Белое. Действительно — озеро белое, как вспененная метель, от берега до берега кружится, когда тихо, и приникает к граниту уральскому, к скалам неодолимым уральским. А когда ливень и гроза — Белое озеро искрится и вспыхивает серебристыми вихрями, но не мрачнеет, а как бы жалуется человеку: мол, тяжело — вот и душа русская такая, то светом тебя одаривает, то смеется сама над собою, то слезу уронит она, душа, значит, а Вселенная скорбит, да, да, целая Вселенная скорбью ранена.

И оформилась Марфа рыбачкой. Ладони Марфы погребели и покраснели от чешуи рыбьей. Волосы русые заря красная чуть опажнула, отчего синие глазищи Марфы еще посинели и, как в озере, серебристые искры вспыхнули в них. Даже Сигизмунда позабыла Марфа, лишь стук револьвера, выпавшего из когистой лапы черта, нет, нет и являлся, мерещился Марфе.

Богу Марфа стала молиться еще крепче, но в монастырский мир больше не явилась. Рыбачка и рыбачка. И храмы на Урале еще пуще взрывают, чем в Центральной России. В Центральной России тысячу взорвет Сигизмунд, но хоть один храм из тысячи да останется, а на Урале сто взорвет, из ста ни одного гвоздя не останется: очкастый Свердлов, сознательный пролетарий, самолично проверял и одобрял места, пепелища, где звонили певучими колоколами храмы, и за каждый взорванный храм благодарность объявлял русским продажным Сигизмундам, а сколько их — дураков наших?..

Нет у Марфы никого. Одна Марфа. И потянулась ее душа, доплеснулась, дошептала, прижалась к другой душе, такой же ласковой и сильной, такой же серебристой, как солнечная метель. Влюбилась Марфа в бригадира залетного: то ли из Москвы, то ли из Курска, то ли из Медыни, городка древнерусского, храмового и купольно-колокольного, под затопление отданного оккупантам. Время-то бежало гораздо быстрее, чем ночью бежала Марфа от Сигизмунда.



Вася, тоже русский и тоже прочный и сильный, как буранныварский: горы сдвинет и вершины кедров покачнет. Обнял Марфу:

— Ты меня, Марфа, полюбишь?..

— А как же, Вася?..

— Поцелуешь, Марфа?..

— Да и поцелую, Вася!..

Сам-то Вася застенчивый, вот и, антисоветчик, эксплуатирует доверчивость гражданки СССР, не члена комсомольской ячейки...

Марфа так его целовала, что Вася не выдержал, и они, украдкой, молясь Богу, который находился посередине звезд в распахнутом ночном небе Урала, поженились. Бог разрешил. И заплескалось, кружась, Белое озеро перед ними, русскими и красивыми, добрыми и неутомимыми: жизнь приголубила их на мгновение и освободила от страха и боли перед судьбою.

По озеру Белому под парусом ходили. Моторок-то не знали еще. Но, слава Богу, в передовики-ударники выдвинулись. Рыбачили-то вместе. Бог посылал им в сети рыбу — лодка кренилась, а не буксовала на воде... И Вася, ласковый человек, муж ее настоящий, хозяин храбрый, под парусом голубым идет и затевает на весь край беломраморный:

Наверх вы, товарищи, все по местам,  
Последний парад наступает,  
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,  
Пошады никто не желает!..

Звонит парус — колокол и колокол церковный!.. Волна расплывается у носа лодки и серебристыми плавниками толкается, а Вася и Марфа поют: когда еще попеть-то в такой несурасной и военной жизни?

Но и на Урале вновь начали алмазных врагов искать. И решили уральские Сигизмунды — Вася враг: много рыбы выловил, но не той, которую требовалось выловить для революционного момента.



А кто ее ловил, рыбу-то, не ту, кто?.. Парус голубой звенит. Волна за волною расплывается, а Вася и Марфа поют — разве рыба не пойдет в сети к таким замечательным людям?.. Оказывается не та. ...Щука не та, карась не тот, лещ не тот им, вонючим угрям.

Арестовывал Васю в бараке рабочем Сигизмунд, правда, помоложе того, московского Сигизмунда, но Марфа абсолютно не сомневалась: арестовывал Васю он, Сигизмунд. Арестовал утром в понедельник, а в субботу вечером Васю и еще, и еще много, много рыбаков, красивых русских уральцев, расстреляли: кормить особенно-то нечем и некогда — социализм же строить надо!..

Марфа не успела родить — и Бога благодарила: куда бы она водила сынишку, могилки-то у Василия нет, где его уложили, а наследник, любой, маленький или взрослый, потрогать могилу родителей, ежели они упокоились, желает, а где он ее, Василия могилку, потрогает, где? А родить загадала.

Обиделась Марфа. А тут еще финны решили Сталина наказать: войною на него, якобы добровольно, напали. Был у Марфы золотой крестик, Васей подаренный, и Марфа с такой теплой нежностью носила его возле сердца, вместо монастырского крестика, обыкновенного, носила, да приказал Сигизмунд, расстрелявший Васю, сдать и крестик золотой на вооружение СССР — опору трудящихся масс и боевых пролетариев дружеских стран. И — обидели Марфу. Обидели и замкнули.

Кому ныне известно — прудами и дубравами Царско-Сергиева лавра достигала Москвы. Подхватит дубрава звоны московских церквей и попустует их в листве благодатно-шумной, попустует, покачает да и пустит их, те золотые колокольные звоны, по голубой серебряной воде плескаться и течь к лавре. А лавра сама в колокола ударяет и звоны золотые дубраве могучей шлет, а дубрава по ветру прудом их передает, а серебряные пруды к Москве, к Москве золотой звон гонят. Золотые звоны с золотыми звонами на прудах серебряных встречаются.



И привыкла маленькая Марфа ухом к воде приникать — музыку русскую колокольню-золотую слушать. Да в последнее время Марфа не музыку, а стоны слышит. На берегах прудов, рек и озер проволоку остроколющую конвоиры раскинули, а люди — наивные рыбы: куда ни ткнутся — сети волю им перегораживают...

Под лаврой Марфе как-то показалось — услышала стоны родного отца, замученного душегубами. А на Урале, здесь, на озере, Марфа явно услышала ночью, перед субботой, стоны Василия. Ни луны в небе. Ни росы на траве. Ночь. И ветер. Горы гудят. И вода гудит. Сосны скрипят и, хвоистые, колдуньи и колдуньи, к скалам прижимаются.

Марфа за весла и — в лодку. Щукою тугою, плавники топыря, просверливала и пронзала она волны, тяжелые и холодные, лебедью белой взмыла она над мутными чугунными накатами валов, ревущих и неукротимых. С нося лодки Марфа бросалась на корму, а с кормы вновь на борт, а с борта опять на корму — и лодка повизгивала, затормаживалась и, как гончая собака, срывалась и прыгала в пучину.

Но попробуй остановить женщину, молодую и красивую, храбрую и влюбленную, задумавшую поцеловать любимого прямо в уста обреченные, внезапно голос его слышав со стороны беды и горя, попробуй, ни за что не остановить, да и Господь помогает в дерзких решениях верным и благородным женщинам, сестрам и женам нашим.

Волосы Марфы летели по влажному ветру ночному. Глаза Марфы, огромные и пламенные, жгли непогодную смуту. Она стукнулась лодкою в береговой гранит — а вот и Вася, за колючей проволокой скороспешного лагеря стонет. Марфа, швырнула на дно лодки горячие весла.

— Вася!.. — прошептала она. — Васек!..

И они заползали, заползали, как четвероногие звери, с разных сторон колючей проволоки заползали, целуясь через ржавые иглы и узлы, плача и хохоча, торжествуя и терзаясь, в кровь теплую изрезав губы. Заползали, знакомые и милые, трепеща и теряя последнюю надежду на право еще и еще разочек сблизиться и обняться, раствориться и пропасть им, бессмертьем грозным завихренным и взятым...



Не соображала ничего Марфа, возвращаясь к лодке и загребая веслами, казалось, утихомирившуюся воду. Волн не видела. Только — ночь и ночь. Только — холод и холод. А на своем берегу, около барака, настиг Марфу и перевернул на спину пьяный конвоир:

— Пристрелю, курва блудящая!..

Дрожащую, возбужденную последним свиданием с Любимым, пылающую и бесстрашную, конвоир лишил ее крика о помощи, зажав ей рот кованой пятернею. Марфа вцепилась ему зубами в средний палец, но пятерня была широкой и убийственной, а грудь конвоира была кольчужной и нешевелимой. Конвоир тешился и трезвел... Лапал и восторгался...

Марфа очнулась — одинокая. И озеро — одинокое. И скалы за ним — одинокие. И песня почудилась ей — одинокая, одинокая...

Я невестою стала, захотела стать матерью,  
Но судьба распластала путь не белою скатертью,  
Только слезы и горе, только тьма беспробудная,  
Только злоба в просторе, никому не подсудная...

Марфа не дослушала песню. Кое-как отперла дверь комнаты. Нащупала шкалик уксуса и, припав, до капли, до сухости, сглотнула его, дабы умереть или выжить и сжечь под сердцем ненавистное семя, уроненное в ее душу бесом, преступно дежурившим на тропе молитвы и света: она провалилась, провалилась, провалилась в преисподнюю, а не исчезла из собственного сознания — искалеченная.

Стыдно, нехорошо Марфе канючить и злобиться — ей ли, одной, детей рожать и Васе ее, им ли, одним, не разрешили? Найди по Руси великой низенький домишко, где бы в спокойной манере люди жили-поживали и детей наживали, найдешь? А в домах-то, в хороминах-то, и подавно хозяева несчастные: прежние, богачи, купцы-дворяне или же кулаки-спекулянты — пущены в расход сигизмундами, а новые хозяева — предколхозы, партгруппорги, активисты и специалисты — тоже в начале замечательной эры расстреляны,



следующие — на войнах устуканы, и таким путем движемся, и ныне — в перестрочных сражениях мрем...

У кого кто не воевал: дед, отец, брат, сын? На каждого в каждом поколении давно припасен окоп, вдова, сироты, а на неженатого — невеста синеглазая, черемуха белым цветом горьким осыпанная, на заре одиноко дряхлеющая.

Марфу перегоняли и перегоняли: из монахинь — в рыбачки, из рыбачек — в артельщицы, из артельщиц — в совхозницы, из совхозниц — в акционерши, из акционерш — в арендаторши.

Теперь Марфа — арендаторша: семь на семь квадратных метров барачную комнату собственно-общественную снимает и владельцу Белого озера, племяннику второго Сигизмунда — Сигизмунду третьему, платит Марфа из пенсии ровно столько, чтоб ей оставалось на соль, на хлеб и на чай. Спасибо им всем, вождям нашим — от Ленина до Ельцина, особенно среди них — Горбачеву, главному Сигизмунду завершающегося экспериментального рая. Лысый приватизатор земли могильной...

О нем, о нем, Марфа слышала, пьяный рыбак хрипел:

Первый Сигизмунд — лысый,  
Второй — кучерявый,  
Третий — лысый,  
Четвертый кучерявый,  
Пятый и шестой — гнилые,  
А седьмой — лысый,  
Восьмой — пьянее меня,  
С моста сиганул на закате дня,  
Замерз — не шевелится мотня!..

И слышала Марфа, пещеру в Африке нашли немецкие ученые и американские химики: скалы, сумрачнее уральских, а в скалах — зальчик, а за обнаруженным зальчиком — озерцо. И лежат, вольные, без гробов, мумии, тысячи и тысячи лет, лежат они, наверное, древними лакеями в озерце аккуратно помытые, просушенные на жаре и свободно, как на пляже, без упаковки, замумились, умники базланистые.





Немцы доказывают, мол, лежат вожди, прибранные народами, за миллионы и миллионы лет прорвавшимися к европейской цивилизации, лежат, на острастку нам. Мол, глядите — кайтесь, думайте — не отрекайтесь ни от питекантропов, ни от обезьяны: вожди-то пещерные гориллообразные...

Американцы же вечно лезут учить европейцев и диктуют практическим немцам, мол, не переворачивайте макакоподобных в пещере, не гвоздите по их черепам берлинскими кувалдами, а мы изобрели ядерный раствор, впрыснем — и мумии улыбнутся: «Хе-л-ло, Джон!»

Американцы, известно, бизнесом ошарашенные, уговаривают немецких ученых туристическую фирму построить: попил в ресторане виски над пещерой, спустился — пообщался с древними предками, опять — виски.

А немцы решили соорудить над пещерой кухню и на чугунной глыбе жарить в ней огромные колбасы. Слава Богу, русские сидят голодом — открыли бы райком... Хотя, сообщали газеты, в чудном пантеоне успел побывать русский экстрасенс и о чем-то погундявил с мумиями: неужели об импичменте президенту?

Но Марфа определенно поняла: лежат не древние вожди, не мумии — лежат генеральные секретари ЦК КПСС, правители СССР, тайно вывезенные демократами в дни возмущенных красно-коричневых демонстраций, дабы лишить большевиков у себя на родине вещественной опоры. Есть поддельные паспорта, поняла Марфа, есть поддельные мавзолеи. Марфу не проведешь на мякине: кто ближе всех нас к обезьянам, она еще на допросной встрече с первым Сигизмундом докумекала, а начни хоронить нынешних — Гайдара, Чубайса, Собчака, Попова, Сагалаева, они еще ближе к спящим в пещере... И потому Марфа не сомневалась: древние пещерные вожди — наши вожди, мавзолею нашему предназначались, да новые русские их в Африку забросили, помыли в секретном озере, подфрантили и в затейливом зальчике положили — основатели цивилизации, шуты и шуты гороховые... А у Кремля шутам — бронзовые бюсты... Поддельные паспорта...



А немцы испокон завидуют русской мысли и фантазии, вот и морочат людей, дескать, мы нашли, мы, немцы, установили... Американцы, рвачи, фордовские хапуги, за немцами — мы, физики, мы их воскресим, вождей древнейшего обетования народов. У американцев, мы, как дважды два, перелистали историю их, — ничего, окромя виски и маринованной кукурузной телятины, ничего, нигде: ни на столе, ни в бане, ничего не сверкнуло за два столетия оккупации ими голопузых податливых индейцев. А вьетнамцы им, американцам, намяли холку — они за немцами в Африку и подались, путешественники, олухи, маклаи стоеросовые.

Марфа — русская женщина. Крестьясь, то поникает низко, низко, то виновато раскачивается на скамейке, лодка и лодка, ветхая и утомленная, на тихой бездонной глубине жизни. И как не раскачиваться? Взбаламутили русских строить всем гражданам планеты богатую и веселую жизнь, взбаламутили — русские и поднялись. Строили, строили, почти без лепешки и без крыши над собой, без угла, остались, а те кому строили мы, с разных сторон на нас кинулись:

«Бей русских!..»

«Убивай русских!..»

«Режь русских!..»

«Насилуй русских!..»

Беда могучая приключилась, беда!

Обобрали, обворовали, измучили и опозорили русских, разделили по краям и республикам: где теперь нам вождя, бесстрашного и мудрого, найти, как нам в единый русский ураган собраться?..

Марфа, замкнувшись, чуть, чуть приотшатнулась от людей, грустно дивясь их покорности и терпению. Бич свистит над ними и свистит, а они повздыхают, понегодуют, и за работу, за дело совестьное, им — крохи, они — короба государству и дармоедам державным. Марфа привыкла к ним, людям русским, прощающим и надеющимся на просвет в темном лесу непогоды и революционной чахоточной бдительности.



К Богу Марфа не приблизилась с той трагической ночи. Нет. Марфа осмотрелась, прикинула возможности поправить на мушку взятую судьбу, самой, самой преодолеть черную зону: пыль черную, развеянную в просторах русских. Осмотрелась — приободрилась и твердо шагнула вперед. В чем она виновата?

Не приблизилась Марфа, но вернее и благодарнее душа ее посылала и посылала знаки уважения к Богу и к Богу: он, он ее вывел на тропу существования, независимого и опрятного, даровал ей, слабой и сгорбленной, упругость борцовскую и хозяйство.

Но козу отобрали у Марфы налоговые агенты. Правда, кота не затронули. Кот Иосиф изредка ловил мышей летом на огороде, а в зимние дни и ночи требовал — корми и корми лентя. Иногда без разрешения Марфы кот, барачный Иосиф, названный кем-то до Марфы, стаскивал со сковороды оладышек или с клеенки — плавничок пескариный. Допускал и гораздо серьезнее проступки: выкатывал яичко из решета, лапой ударял, прилабунивался и пил, сладко зажмурясь.

Марфа не опускалась — наказать кота веревкою или голиком, нет, она ценила и обожала кота Иосифа, старика, кочующего с нею. Перед Пасхой Марфа садилась в электричку и уезжала верст за пятнадцать. Выйдя, за платформой она срезала несколько веток можжевельника, чистого и сказочно пахнущего, и зеленым венчиком постегивала неординарного котика, присовокупляя:

— Не блуди зря!.. Не гуляй по шкафам и загнеткам!.. Не кради!..

Кот не сопротивлялся. Марфа не пережимала. И зеленый венчик ходил по спине Иосифа. Не лупить же Марфе честного кота шпорчетой чилигою или хлесткой березою? И за обедом, на Пасху, они оба урчали. Марфа притормаживалась в нападках на Сталина: Сталин — Иосиф и кот ее — Иосиф. Библейские тезки...

Обиды, обиды — куда от них скрыться русскому человеку? Привязались к Василию — не ту рыбу ловит, расстреля-



ли, предатель... А к Марфе, Василия им недостаточно, привязались из-за кота. Сигизмундик второй не тормозил. Его вслед за Василием прихватили — много невинных уничтожил русских людей. Привезли на кладбище и шлепнули, а кладбище объявили подлежащим сносу.. Но не снесли. И нормально людей хоронить на нем запретили. Целинники...

Явился к Марфе грузин. Ремень через плечо. Звездочка на фуражке. Сапоги блестят, носочками поскрипывает, Эммануил Кунадзе:

— Ты, баба, товарищ Сталина оклеветаль, ката позываешь Иосыфом Виссарыоновичим, га? Так-тиваю мат, га? Будэм сстырылят тибя я за Джугашвилли оптом, сразу накаюк, га... Сигизмун увыраг и ти увыраг, и мужк тивоя увыраг, и курыгом — разьединственный увыраг, ти, манашки, га, манашки, отавичай!.. Га.

Марфа едва не заревела, оглоушенная новыми устрашениями, но вспыхнула и гневно упрекнула оперуполномоченного:

— Эммануил Иосифович, вы зачем хвастаетесь, что вы сын Иосифа Виссарионовича Сталина, зачем?.. Мне мои рыбакки говорят, мне мои соседи говорят... Вы сын вождя мирового пролетариата?..

Эммануил Иосифович изогнулся, пританцовывая и жужжа клешнями, как ополоснутый кипятком рак, щеки у него побагрянцевели и — палец к губам, шепотом, шепотом, жалко нахохлясь и жалко растерявшись:

— Марф Иванович, Марф Иванович, рати Бог, рати Бог, Марф Иванович, рати Бог, ви русский мой, настоящий мой грузинский мама, замалщи, дорогой бабушка, а я ви ночь — на поезд и ду-ду, — ду!..

И он, подражая паровозу, дуданул из коридора...

В приозерных деревнях слухи поползли: вроде бы оперуполномоченного отозвали срочно в Тбилиси на повышение. Ползали слухи разные. Будто бы не отзывали, а он добровольно завербовался на Волго-Дон, рыбак... Так или сяк, а грузин исчез. Исчез перед войною, но и после войны, даже в День Победы не объявился. Тезка тезке рознь...



Выволокла бы лодку на сушу, свернула бы голубой парус — и в монастырь, но монастыри закрыты, церкви и храмы взорваны: куда дальше двигаться? Так и дорыбачила, доартелила, доколхозила Марфа до пенсии. Барак — кедровый, советский, народ не жадный, терпеливый, прощающий и прощающий, в бараке живет. Раньше, правда, пужались, при Сталине, а при Ельцине, перед американской его инаугурацией, воры начали стекла из оконных рам уносить на рынок и продавать кооперативщикам: стеклозаводы-то не действуют, а трудящиеся массы митингуют и требуют полочки. Но Марфа — рыбачка. Лодку ее, черную, меньше трепало непогодой — столько Марфа, баба русская, перемогла бед!..

За скалою, за беломраморным утесом уральским, взяла Марфа да и соорудила могилку — Васе, любимому своему, соорудила: натаскала пластов, крест деревянный поставила и так приросла к ней, родной, почти позабыла, что могилка поддельная, и пусть, не паспорт же это, не мавзолей, а могилка Васи, мужа ее, красивого и ласкового, должна же быть у него на Руси могилка?

Время бежит, бежит. Белое озеро кипит, кипит. Голубой парус ее на другой лодке звенит, звенит. И — догадались люди... А у людей расстрелянных родственников-то много: моря, океаны нужны да и парусов не хватит всех укокошенных русских безвинных сыновей и дочерей озвенеть и оплакать!..

Но принялись люди Марфе подражать, принялись они могилы немислимые возводить и вырачивать за Белым озером на Урале: и такой простор заполнили ими — долину великую загородили!.. А Марфа все приходила к могиле Василия, приходила и вполголоса творила молитву ему перед Богом и звездами занебесными:

На Марфу не обижайся.  
Перед врагами не кайся,  
Нас миллионы погубленных,  
Расстрелянных и подрубленных,  
Честных, красивых, крылатых,



Безгрешных и невиноватых,  
Русских людей благородных, —  
Среди воплей народных  
Распятых и уничтоженных,  
Отюремленных и обостроженных  
Изменниками и слюнтями,  
Извергами и негодяями,  
Пусть будут они  
Господом судимы,  
А мы, русские, вечно — непобедимы!..

Седая, высокая, сильная, крестясь и рыдая над могилою Василия своего, однажды она не заметила, как сотни и сотни уральцев, собравшись на поддельном кладбище, незаконном кладбище, Богом для них, несчастных, организованном, сотни и сотни людей, бессмысленно тоскующих о безвинно погибших, начали повторять за нею слова молитвы ее... Но Марфа сочла повторение наваждением.

В лугах раздольных цвела белая черемуха. И небеса белые, белые сливались по горизонту с озером Белым, а белые облака, солнцем разбуженные золотым, касались парусов голубых, в пространстве русском летящих. Ну разве не затрепещет сердце перед бессмертным Иисусом Христом, защитником православным нашим?

И нежданно послышалось Марфе, увлеченной молитвою и склоненной у креста, послышалось, не послышалось, а почудилось точно — длинный, страдающий, мощный, как древний гул океана, хор — за нею, за нею, и слова молитвы ее, неказистой и понятной, вторит и вторит:

Нас миллионы погубленных,  
Расстрелянных и подрубленных,  
Честных, красивых, крылатых,  
Безгрешных и невиноватых,  
Русских людей благородных, —  
Среди воплей народных  
Распятых и уничтоженных!..



Марфа онемела — язык у нее заморозился. И не страх, нет, не страх, а буря прошла по ее душе и, как озеро, заметалась, заволновалась и раздвинулась даль, и за горизонт взор Марфы опустился, а под ним, под горизонтом раздвинутым, кресты и кресты, кресты и кресты, живые, говорящие и бескрайние, русские кресты, и тоже — невиноватые:

«Не оглядывайся назад, Марфа!.. Иди вперед и вперед! Считай и считай нас! Под каждым крестом — муж пригвожденный, за каждым крестом — сын, не рожденный тобою, сестрою, подругой — о, все мы замечены белой вьюгой!..»

Марфа насторожилась — Васин голос? А голос ближе, ближе:

— Марфа, тебя Сигизмунд расстреливал?..

— Расстреливал, Вася, расстреливал!..

— А меня, мужа твоего, убили?..

— Убили, Вася, убили!..

— А огород у тебя отрезали?..

— Отрезали, Вася, отрезали!..

— А козу твоя штрафовали, за колхозную траву, отобрали, Марфа?..

— Отобрали, Вася, отобрали!..

— А ты пенсионная бомжиха, Марфа?..

— Бомжиха, Вася, бомжиха!..

Марфа опомнилась: «А не сошла ли я с ума?.. Али я серьезно с погубленным бесеую мужем?..»

Оглянулась назад — экскаватор, болван чумазый, ров широченный копает и копает и, тарахтя, кресты из долины бескрайней в ров сталкивает и сталкивает. Сталкивает, а в кабине машинист, помоложавее третьего Сигизмунда, механик гаражный, рычаги переключает хитро: «Марфа, мне приказал Хрущев из Политбюро!..»

Но Марфа не сошла с ума. Марфа выпрямилась — и растворился в долине экскаватор, а над долиной засиял и закружился челн золотой, веслами золотыми облака размахивая. И опять Вася обращается к ней:

— Не верь, Марфа, им, никто не заставит скрыть могилки наши и кресты наши столкнуть, ежели сами не пожелаем, НИКТО...



---

— Вася, — закричала Марфа, — зачем я родилась и зачем я русская?..

— И я русский, Марфа, нам не дали детей родить и внуков дожидаться!..

— Не дали, Вася, а как ты меня, седую и сутулую, узнал?..

— А я помню тебя, солнцеволосую, Марфа, и молодую, и никто не заставит меня позабыть тебя, никто!..

Марфа и оглянулась — золотой челн плыл над мертвой долиной, сверкая веслами, но не могла Марфа смотреть на него и слышать, что еще, какие слова, посылал ей Вася.

Слезы и ветер, слезы и ветер мешали окаменелой старухе.



## Турчонок

Все мы забыли. Себя забыли. Природу забыли. Животных забыли. Сынишка мой кричит:

— Папа, утки тонут!

А утки плавают под мостом. А сынишке четвертый год идет!.. Вспомни-ка наше, военное детство? В пять лет — лошадю правишь. Копны возишь. В семь — сам запрягаешь. Супонь, до хомута не доставая, натягиваешь, взобравшись на пень.

А лошади были? Красивые, умные, работающие. Понимали хозяина с полуслова. Вот у нас Турчонок был... Лето вкалывал и зиму вкалывал. А ранней весной ковали его на четыре копыта. Отпускали с кобылами на волю. На сырты, пастись. И сено экономили, и лошади выгуливались на горных лугах. С жеребятами вместе. А чтобы волки и медведи не приставали к ним, ковали на четыре копыта Турчонок, смуглого, тяжелогривого жеребца.

Наш хутор, Ивашла, Ива шла, значит, в окно глянь — горы. С крыльца глянь — горы. На крышу залезь и глянь — кругом горы. Снега большие, обильные, таять начинали поздно. Но там, к вершинам скал поближе, и в марте закипали ущельные ручьи. Сверху — наст, а копни — вода на дне, чистая, крепкая, удалая.

Ранним утром Турчонок твердым шагом со двора направлялся в сторону гор. По спускам, всхолмикам, откосам он уходил и уходил из глаз. Выбирал путь, то покороче, то подлиннее, но к сыртам и к сыртам, где, уже осветленные молодым солнцем, покачиваются ковыли, зеленеют ели, сосны, лиственницы, кедры. Много пищи. Много ветра. Много силы. От земли сила к живому организму направляется...



Уходит Турчонок. За ним — несколько, пять, десять кобыл. Та, которую он обожает, сразу, следом, а другие, как хотят, часто — через стригуна, через малого жеребенка. Никогда малышат взрослые лошади без опеки не оставляют. Уходит Турчонок — за ним кобыла. За кобылой — жеребенок, малыш, пофыркивает. Впереди — ему протаптывают тропу, а позади — подбадривают: мол, давай, давай, тренируйся, учись постигать себя и просторы.

Но сегодня опустела деревня наша, а за деревней и земля вокруг опустела. Людей в города загнали. А город — не деревня: где тут плохие, где тут хорошие — разберись, попробуй. А в деревне — все и каждый человек на виду друг у друга. Потому и хорошего — деревня знает, и плохого — деревня знает. Район того и того знает. Вот и стараются соседи беречь отношения между собою, а деревня на деревню кольями помахать собиралась для шума, парни молодые, когда много их накапливалось, а после войны чего махать: намахали на курганах столько обелисков, чего махать?

Да, машины, не машины — разорение. Люди сошли за межу, за последнюю кайму деревни и растворились в синеве. Коней бросили, коров бросили, гусей и кур бросили. Теперь петух запоеет, а городской парнишка думает — соловей затевает, как те утки, которые в речке тонули... А кони, умные и работающие лошади, в городе не кони, не лошади, а звери. То митинг разгоняют на них, то демонстрацию припрут к зданиям, а лошади при чем здесь? Лошадь науськают — давит людей, гонят ее, совестливую, на человека: калека ли, малоразумный ли, пьяный ли, старец ли — гонят, и она вынуждена сшибать грудью знакомое и теплое, как сама, существо...

Такая и не родит. Зачем ей жеребенок? Да и милиционер или касковый омовец радостно ли будет за жеребеночком ухаживать? Серьезная лошадь деньги ему, оклад повышает, а жеребеночка растить надо, заботиться о нем не меньше, чем о дитеночке. Да и дитят нет в городах, их не больше, чем жеребят. Бабы гарцуют на митингах и на демонстрациях, а русские мужики пьют и опухают мордами, отворачиваясь от встречных трезвых граждан.



Кавказцы во время митингов и демонстраций занимают русскими женщинами: мороженое им в январе покупают, а в июле знойной водкой их угощают возле деревянных демократических трибун. А лошади — лошади: деревенская лошадь на труде холку натирает, деревенская лошадь и войну вынесла на горбу и замечательное мирное советское строительство выдюжила: только вот копыта потрескались от бесконечного упирания ими в грунт дорожный, да плечи болят: тянула и тянула груз-то...

Турчонок не зазнаистый конек, а наоборот — старательный и терпеливый: то председатель набурбонится браги и заснет в санках, а Турчонок в пургу ноздрями заметенный путь домой вынюхивает и торопится, дабы не замерз героически партийный вожак на сельских раздольях. То на Турчонка мальчишку-сопляка кинут — скачи за доктором или похоронку, присланную с фронта, вези вдове, в избу, считай, вези, а в избе ребяшня, как в матрешке, меньше и меньше, выскакивают в сени, в холодные уральские сени, а мальчик-сопляк еще и начнет настегивать Турчонка, торопит...

Настоящая деревенская лошадь — глубоко почитаемая душа, нет в деревне избы, где бы эту лошадь не привечали: дрова — на ней, сено — на ней, мука с мельницы — на ней, соль — на ней, вода, бричка — на ней, кто же ее разучится уважать? Но Турчонок — особый конь. Нигде в районе такого плясуна и артиста не найти. Гармошка заиграла — ему шкаличек самогону, и он затрусил, записедал, завстряховал косматой гривой. А сам — карий. Представь, красота-то ведь редкая. А революционерка Новодворская поклепничает с экраном: «У русских вкуса нет!..»

До войны в конце недели — свадьба. В войну — реже. А после войны еще реже. Но Турчонок — незаменим. Даже частушки пели ему парни в знак высочайшей дружбы к нему, карьке, Турчонку:

Запрягу я карьку скоро,  
Рысака горячего,  
Прокачу тебя я в горы,  
До утеса зрячего.



Конечно, карька жалостливее людей был. И догадливее их был Турчонок. После такой частушки он вскидывал густую гриву, поворачивал форсисто голову и медленно вышаживал, выбивая точеными копытами дробь. Ленты в гриве сверкали и переливались. Гармошка захлебывалась отвагой и жаром. Молодость веселилась. А пожилые ахали и направлялись двигаться вслед санкам, вслед Турчонку, пританцовывающему под звон гармошки, под песни приветные, под частушки-похвастушки, под хлопанье ладоней. Теперь свадьба — партсобрание. Партию запретили, а скучные свадьбы сами вымрут. А зрячий утес ослепнет: за кем подсматривать-то? Когда-то, давно, давно, под ним целовались. Целовались, а утес и прищурился...

Табун, обычно, находили к сенокосу. Постепенно к нему «пристраивались», и на неделе ловили кобылиц и распределяли в бригаду. Стригунков тоже не забывали. Возмужавших и упитанных, их впрягали в волокуши, заставляли трудиться. Жеребята не дремали, суетились, сосали, причмокивая губами, материнское молоко, привыкали толкаться посреди незлобивого народа.

Лошади смышленные, как люди, только честнее. Лишь нечаянно — украдут. Не нахамят. Плохого не совершат. Лишь нечаянно — могут, с перепугу, с подвоха, с неожиданности какой. Или, доведенные зверьем до помрачения, бросятся на тебя. Как люди. Не трогай — смирные...

Порядок у них человеческий, настоящий. Малыш раньше взрослых в брод не сунется, не задержится глупо на дороге. Дисциплина. Без толку не ржет, не отвлекает на себя внимание. А коли Турчонок на него цыкнет, будь здоров — мигом угомонится. В общем — жеребята смешные, как дети, и хитрые, как дети. Знают — что им надо.

Уходит Турчонок — уходят кобылы, жеребята, стригуны. Иные кобылы — беременные. В горах, на сыртах, рожают. Возвратятся назад к сенокосу, радуя нас пегими, рыжими, чалыми баловнями, мохноногими, как Турчонок, и поворотливыми, как бабочки. Последнюю нищую лепешку припрячешь, голодным спать ляжешь, а для них кусочек сбережешь.

Ноздри. Уши. Хвосты. Копытца. А глаза, Боже мой!.. Эх, не разводили бы люди «москвичей», «запорожцев», «жигу-



лей», «лад», этих чумазорылых бестий, может, и до водородной бомбы товарищ Сахаров не додумался бы?

Сейчас и за триста верст копоть долетает. Магнитогорск разбух цехами и фабриками. Дымит. Грохочет. Огненный обжора: несколько сопков проглотил — не наелся. Ну, война, ладно — танки нужны. А сейчас? Но жрет и сейчас. Жрет и дымит. Жрет и дымит. А лошади? Лошади — культурные. Лошади — чистюли. Лошади заботливые и деликатные. Правда — и строгие.

Лошадей своих Ивашла провожала на сырты возбужденно. Бабы пестрели шляпами, махали разрисованными ва-режками. Мужики гортанно курили. Мы, ребятня, шмыгали простуженными носами, устремлялись, промокшие и потные, до четвертой переправы, посочувствовать...

А четвертая — глубинная переправа. Предпоследняя. После пятой, жуткой переправы, лошади отлично знают, — новая трава, уцелевший ковыль, вечное чудо солнца.

Турчонок вставал на скале, на зрячем утесе, и наблюдал, как перебираются вплавь на противоположную сторону потока его подопечные, команда неорганизованная. Кобылы медленно погружаются в кипень, молча отчаливают от скалы, молча и покорно преодолевают преграду. Стригунки ошалело бросаются на волну, ржут, барахтаются и, подталкиваемые опытными кобылами, выскакивают из воды, дрожко и пружинисто. Турчонок наблюдает. Чапай...

Жеребята стараются прыгнуть так, чтобы их прибило буруном к боку матери, и тогда они вместе пересекают стихию. Безопасно и мудро устроен мир, если мы его лично не нарушаем. Я уже говорил: жеребята очень смешные и очень хитрые, как наши дети.

Один, пегий и мохноногий, сынишка Турчонка, не рассчитал. Прыгнул, а мать оказалась далеко от него. Малыша понесло. Перепугался. Поднял переполох. Тонко, тонко повизгивает и кричит. Плывет по шумному и опасному течению вниз. Табун тревожится, а он вопит до облаков.

Вдруг со скалы, широко взмахнув пламенной гривой, как дерзкий черный коршун, метнулся Турчонок. Брызги взвились и яростно засверкали. Белая снежная пена выплеснулась и заклокотала.



Турчонок грудью размял пучинную глыбу, схватил жеребенка за холку зубами и почти вышвырнул горемыку на берег. Малыш конфузливо засеменил к матери, а Турчонок ткнул его мордой в крупик: не промахивайся. Пятая переправа еще тяжелее, еще опаснее, хотя и последняя.

Потрясенные и довольные, мы возвращались, не сомневаясь: Турчонок не подведет и на пятой переправе. Спеша с кручи, мы громко награждали его неподдельной похвалой, искренней и восхищенной любовью детства.

Странно, четверть века живу я в Подмосковье, а позабыть Урал не могу. И все тут — близкое, все тут — русское, родное, да не этак, да меньше и убористее. Тут — поле, а на Урале — даль, тут лес, а на Урале — тайга. Даже сосны тут робко пахнут, а на Урале смола мерцает и в ноздри бодростью буравит. Азия...

Правда, церквушки и церкви, храмики и храмы тут, в Подмосковье, как русские балалайки, да как русские балалайки, того и случится — зазвенят и серебряными струнами запоют. А на Урале и соборы — больше. На Урале — бугорки, а тут они за высоченные горы сойдут. На Урале даже и крапива длиннее. А зеленый лук — сабля настоящая!..

На Урале — детство мое и Турчонок общий, колхозный. А тут где Турчонку развернуться? Но милая Россия — везде она единственная, везде синеокая и к сердцу больно, больно приникающая: обида в ней заскоружла великая, вот и плачет она красными гроздьями рябин с холмов славянских, нас к сыновней верности призывая.

В конце мая отец мне и шепчет, дабы мать не разоблачила:

— Валь, а Валь, хочешь на Турчонка и на неизвестных тебе жеребят полюбоваться?

А наверху, на круглых спинах гор, на сыртах ковыльных, трава голубая к свету подалась, папоротник дышит языческой влагой, рощи дубовые крепко гудят и тучи низко над ними проползают. Чудится, небо с землею соединяется и сейчас к нам соскользнет солнышко, на голубую траву, и на тонких точеных копытцах, как появившийся жеребенок, слабо закачается.

Натыкаемся на раскрошенную подковами бересту, на камни, исчирканные Турчонком, на голубые стебли, разруб-



ленные и вмятые в рыхлую почву. Идем, а лошадей нет. Спешим, а лошадей нет. Почти бежим, а лошадей нет. Ключик серебряный миновали. Туман, серебряный, междускальный, миновали, еще на высоту стезжкой вскарабкались — зеленый свет и синий брызнули в четыре стороны и белым светом ослепили нас.

Грозное ржание раздалось на высоте. И четырьмя серебряными подковами, роня искры в четыре стороны, перед нами вздыбился и осадился, вздыбился и осадился Турчонок. Зубы оскалил и нюхает, ловит сине-зеленую пьяную зыбь, весну горную, уральскую, волю русскую в даях заевропейских...

Вспоминаю... Моя Ивашла беспощадно уничтожена революциями, войнами, раскулачиваниями и налогами. Избу непокосившуюся не найти. Столба телеграфного неискривленного не приметить. Философы — коммунары. Самовозвеличиванием занялись. В искусство лезем. Челядь неумытая...

Вас к Пушкину и к Лермонтову муза  
Зовет,

Есенин чудится средь нив.  
А в чувствах яд, аж вянет кукуруза,  
Перед Хрущевым листья уронив.

Да, вы у нас отвержены веками,  
Не потому ль, особо на Руси,  
Пощелкали железными курками,  
Позверствовали, Господи, спаси!

И лишь ему — охрану к изголовью,  
Но, жаль, не досказав державных слов,  
Как пес, людскою захлебнулся кровью,  
В седом Кремле неистовый Свердлов.

Задумаюсь, едва глаза прикрою, —  
Веди меня, расистская тропа,  
Туда, где взбухли гибельной горою  
Проклеванные пулей черепа.



Губами, перемазанными в сале,  
Стихи читали дамам и потом,  
Таких, как я, о сколько вы списали  
В расход перед оврагом и прудом?!

По казням безнаказанным собратья,  
Смотрите, с храмов стасших деревень  
Кресты, как заржавелые проклятья,  
На вашу падают чужую тень.

От Бери к Бухарину и дальше,  
К Ягоде, Кагановичу, вперед,  
Вас, каменные делатели фальши,  
Смерть не берет  
и правда не берет!

Артелили, колхозили, электрифицировали, механизировали, химизировали, совхозили, совнархозили: от Владимира Ильича Ленина и до Бориса Николаевича Ельцина закатывали рукава и распоряжались русской деревней, селом русским и уступчивыми людьми русскими, пока не зашаталась окончательно изба русская и не рухнула в неть.

Новодворская обзывает русских пьяницами, лентяями, дебилами, фашистами, ублюдками, всхрюкивая: «Кому нужен такой народ?» Она всхрюкивает, а хуторская свинья за Москвою обижается: «И я толстая, и я умею всхрюкивать, но я не революционерка и тех, кто меня кормит и поит, не оскорбляю!..»

Да, да, да, да, животные нередко воспитаннее и приличнее людей, но суд над революционеркой, затянувшийся на месяцы и месяцы, раскручивает имя революционерки по необъятным просторам России — в заслугу ей приспособливают ее ненависть к русскому народу?

Но Ивашла — красавица Ивашла моя. И карька, Турченок — крылатый конь мой. И жеребята — снегири на белом снегу мои... Теплые, гомонливые, любопытствуя, на ветровые вершины гор вскарабкиваются, ржанием родниково-тонюсеньким грубый мир от страшных движений остерегая.





Цветы наших мест  
Для наших невест,  
Цветы ваших мест  
Для ваших невест!

Зачем свинье на человека дуться и зачем же человеку с животным тяжбу иметь? Свинья свинью чувствует по всхрюку, а человек человека — по способности уважать и прощать. Обоюдные нравы...

Отец мой очень умный: ни собаки, ни ружья с собою не взял — разметал бы собаку Турчонок, а привкус пороха взбесил бы жоака табунного, не подпустил бы к себе нас Турчонок. В гуляниях по горным долинам, по лесным трющобам, по скалистым водопадам лошади напарываются на рысей, волков, медведей, разбойников бородатых, шакалов тюремных, потому и жоак — ярый.

Я не узнал Турчонка. И пегий и карий. И карий и не карий. Весь горит и сверкает на сине-зеленой вершине гор. И солнце золотит его могучую грудь и серебристым ветром гриву ему пошевеливает: сказка явная. И храпит Турчонок, и со свистом зеленая трава из-под серебряных подков похрустывает в четыре стороны голубыми всполохами.

Но отец ему:

— Ай, бессовестный, дурачок подкованный, шалопай драчливый, хозяина игнорируешь, оборзел как, во я тебя, плясун свадебный, опояшу! — И отец к ногам передним, к ногам — путать или распутывать плясуна вроде. И, удивительно, Турчонок обмяк, пенными губами коснулся плеча отца и немножечко пободал, пободал папу.

Фыркнул и успокоился возле нас. Отец же, охорашивая подержанную фуфайку, застеснявшись, слезу вытер и разбудил мое очарование:

— Чего заморозился, коня погладь!

...И я гладил Турчонка, почесывал ему налитые силою мускулы, тербил чуткие уши, серебряные косички плел в его ковыльной гриве.

Очнулся от сказки — нас в кольцо обтянули кобылицы, затихли родственно и не жуют голубую траву, а жеребята прячутся за ними, но выглядывают из-за них, нас изучают и,



подражая жожаку, фыркают и пытаются копытцами стебли расшвыривать, да не получается у них. Знакомые жеребята подросли и посерьезнели, а новые, сыртовые, зорко караулили поведение кобылиц, готовые скакнуть по их сигналу в дебри.

Домой возвращались мы угрюмо. Устали. Обувь накисло водою. Да и какая в те времена в деревне обувь? Зашнуровываешь ботинок, а он растопырит, как вареный налим, шпильки деревянные, зубы и зубы, торчат из обшорканной подошвы. Но — обувь, да еще и кожаная!.. Начистишь ее сажею, на масле замешанной, до городского блеска. Начистишь и шагаешь по деревне, а товарищи сопровождают: «Где купил, где купил?..» Туз патентованный.

Отец угрюмился, угрюмился и, по дороге домой, мне пожаловался:

— Плохи дела, сынок, Турчонок нервный, узду, пусть мы и ее не брали, но не даст он ни при каких обстоятельствах на себя надеть, его пробовали обротать, я догадываюсь, воры. И зверь на него напал, несколько раз атаковал его, но фланги смыкали кобылицы и Турчонок в лоб наносил удар за ударом по противнику!..

Отец, я уже тебе, читатель, брат мой деревенский, о России, как я грешный, денно и ночью пекущийся, говорил: отец берег фронттовую солдатскую фуфайку, ранение с ним вместе испытывшую под Волховом, починенную и строевую, и сапоги на отце — армейские, хлюпают, аж грязь, как от копыт Турчонка, в четыре стороны выстреливает.

— Ты, сынок, — развивал стратегию отец, — никому ни слова!.. Сосед наш, дядя Костя, женит Шурку, Турчонку жениха и невесту везти расписываться в сельсовет надо. И по улице, по нашей Ивашле, молодых прокатить надо, приплясывая и вея гривую: как быть, сынок, загвоздка?..

За ужином осторожно мама наполняла рюмочку самогоном, предварительно цыкнув на меня:

— Возисси ложкой по тарелке, как молотком по наковальне, долбишь, выпить спокойно, с устатку, отцу не дашь, а Турчонок, один на один, со зверьми и каторжниками воюить!..

Отец благодарно опрокидывал чарку, попихивая под столом мою ступню, в шерстяном носке, своею ступнею, в шерстяном носке, и подмигивал мне.



А через неделю гул всполошил мою Ивашлу. Ребятишки, крича, наперегонки летели к рассыпчатой горе, а бабы, стуча скалками по ведрам и сковородкам, семенили за ребятишками. Мужики, особенно инвалиды, фронтовики вчерашние, палили из ружей и скрипели костылями, подтверждая матом вынужденную общую атаку...

И только отец закрывал лицо ладонями и открывал, закрывал и открывал:

— Поздно, сынок, поздно, секунды решат судьбу Турчонка, секунды!

...А по зелено-голубому склону рассыпчатой горы, домашней, ивашлинской, прадедовской горы, перепрыгивая рытвины и валуны, мчались с жалобным стоном жеребят. Тонкие ноги их сверкали, как велосипедные спицы. Мчались к заоколичной пашне. За ними, с топотом и визгом, скакали гуртом кобылицы, волною, волною — к плетням. Беда. Но Турчонка не было.

И вот на самую макушку рассыпчатой горы, на ковыльную еланку вынырнули две бешеные фигуры, две тени. Вынырнули и размежевались: Турчонок в правую сторону — и на дыбы. Медведь в левую сторону — и на дыбы. Метров триста до них от Ивашлы, но они распаленные, давно, значит, сражаются, нас не слышат, собою погибельно заняты.

И вскинулись, и вздрогнули, и галопом затаранила туша на тушу, и, сгоряча, поменялись: Турчонок на левую сторону — и снова на дыбки, а медведь на правую сторону — и снова на дыбки. И опять галопом, галопом, опять, но притормозились и на задницах, на задницах наехали враг на врага. Медведь не успел подцепить за брюхо Турчонка и пробороздил ему золотисто-серебристый бок, отстегнув, как полу у фуфайки, широкий клоч шкуры.

И опять поменялись: медведь — налево, Турчонок — направо, и Турчонок взвился ястребом серым, коршуном черным, соколом сизым, орлом гремучим и настиг струсившего медведя у кромки горы, настиг и занес над медвежьей, адовой, крокодилей пастью каменные копыта с заточенными серебристыми шипами. Занес, выжилился и... Но вильнул матерый зверина, а жеребец рухнул по гранитным, сыпучим огненным плитам в бездну.



По скалам отвесным, по кустам чилиги, симбарики и подосиннику нежному, зеленой траве равному, шабаркался погибший Турчонок с кручи, разбиваясь и кровью истекая. Воинская энергия праведного гнева до пашни докатила Турчонка и прибуксовало тело в комель четырех берез — положило.

Баб мужики не пропустили к березам: горя и слез достаточно, а рыдать без толку — привычка не очень полезная. Не пропустил Шурка, жених, к березам и нас, ребятню: мол, ваше горе и слезы в планах у капиталистов имеются, до свадьбы и вы навоюетесь, и добровольцами, и честными призывниками. Шурка из Кореи демобилизовался...

Маленький, по теплым летним дням, когда солнце заливаю жар-птицей повиснет над Ивашлою, я исчезал к тем четырем березам. Белые, они печально шумели зеленой листвою, и по белым стволам их музыкальным, как свечи, красный сок загустелыми струями сочился, растворяясь под зеленою травю. И мне, без сомнения, верилось: то красная кровь моего любимого Турчонка проливается, а потом красными цветами, на огородах, маками заревыми вспыхивает в голубых сумерках.

К осени отец на макушке рассыпчатой горы поставил звонкий сосновый крест. И посоветовал мужикам не красть его. Крест скоро на солнышке позолотел и теперь сам в четыре стороны светит.

Трудно сказать: Турчонок погиб или ивашлинец, на Руси лошадь испокон, как человек, вкалывает. Вот и Турчонок ратным подвигом запечатлился в деревне моей позабытой...

## Философ

Все в нашем дворе знают: Акимыч — философ. И страдает он только из-за своего недюжинного ума и государственной пронизательности, Бог дал ему талант такой... Акимыч еще не старый, но и молодым не назовешь, пятьдесят, наверно, шесть, пятьдесят семь ему, не больше, но голова — огромное, чем у Маркса, и гораздо лысее. Гигант.

Акимыч среднего роста. Коренастый и мускулистый. По утрам работает на турнике, в неделю раз, иногда два — ныряет в ледяной проруби в Москве-реке и натирает башку махровым полотенцем до пурпурного покраснения. Смуглый, ни единой сединки на висках, на затылке, а через лоб и мимо ушей бегут около двадцати пушинок-волосинок, черные, как нефтяные нити.

Акимыч — русский, но выдает себя за кавказца, а кавказец ныне ходит за любую загорелую нацию. Кавказец — и привет!.. Акимыч когда-то, лет двадцать назад, преподавал в институте марксистско-ленинскую теорию, а в семидесятых годах рассорился на ученом совете и заявил: теории, мол, нет, а есть профанация, и есть могучая демагогическая борода, под которой прячутся члены Политбюро и даже Мавзолей. Мол, иначе — Мавзолей Ильича и заспанные бюсты, воткнутые у Кремля, сдуло бы давно.

После выступления Акимыча председателя ученого совета ударил длинный паралич, а заведующий кафедрой философии скончался прямо на заседании. Заведующего кафедрой Петра Семеныча, рябоватого и сурового, на третий день похоронили на аллее почета Коломенского кладбища, а директор института Нил Евдокимыч, председатель ученого совета, до сих пор, вот уже около двадцати лет, сидит у окош-



ка, у себя дома, слезится и, заметив прохожих, делает ладонями плавные вздутые движения, изображая кустистую Марксову бороду, вроде она растет у него, и опять он слезится, слезится. Язык у него отказался двигаться, а мышление, старое и прочное, в полном порядке. Вот и слезится, на новое мышление не переключась.

Акимыч, совестливый и деловой, считает себя страшно виноватым перед покойным Петром Семенычем и перед живым, но слезящимся, Нилом Евдокимычем. В праздник поминовения Акимыч приезжает на Коломенское кладбище и кладет дешевенький букетик на могилку заведующего кафедрой марксистско-ленинской теории, к слезящемуся председателю ученого совета, бывшему таковым до паралича, является лично, пожимает ладонь несчастного и подает ему пачку индийского чая. Ныне чай жутко дорогой, да и достает чай Акимыч у зевак, аплодирующих на краешке проруби, когда в проруби купаются моржи.

Моржи не могут купаться без внимания народа. Скучно им. И когда на льду шумит и аплодирует народ — моржам весело и гордо, и плавается им легко, без вздрагивания и зубовного цоканья. Иногда по Москве-реке, слышал Акимыч, медленно и торжественно проплывает мэр столицы России Попов, мариупольский еврей, сообщают израильтяне, а за ним — очень тоже медленно и тоже очень торжественно — Лужков. А волны, говорят очевидцы, ласковые, сальные, ну аппетитные, значит, вокруг них, вокруг них и дальше текут и расширяются, текут и расширяются, поглощая и популярную прорубь. А два моржа, Попов и Лужков, настоящие моржи, упитанно фыркают и народу подмигивают. Демократы же, богатейшие люди. Чего им кочевряжиться?

А народ — дурак. Сам подмигивает, хотя моржи цакают зубами от холода, а народ цакает зубами от голода — прекрасно. И — плывут. Женщины машут помятыми платками, мужчины — облезлыми шапками, молодежь улюлюкает и свистит. Но Акимыч не любит улюлюкающих: безответственные. Он пробовал, устроившись после института преподавать теорию марксизма-ленинизма в ГПТУ, пробовал улюлюкать и возражать на дискуссиях с зампомхозчасти, де-



мократу ГПТУ Пупулису, но Пупулис надулся, и Акимыча вывели из ГПТУ за старое мышление. Пупулис — партийный биограф Маркса, но обновил мышление — перестроечный таракан.

В застойную эпоху Акимыча вывели и в перестроечную эпоху вывели. А разве у него старое мышление? Акимыч доказывал ученикам своим: «Никакого марксизма нет. Есть накопленный капитал, астрономический капитал, у рулевых КПСС и у рулевых страны, данный капитал немедленно не реализуешь, и развернули перестройку: я покупаю, приватизирую стадион, спортивную команду, забор, трибуны, а ты вытаращивай на меня глаза, если денег нет. Как на льду — гляди на моржей, гляди и слушай, фыркают или плывут культурно. Ясно?»

Акимыча попросили из ГПТУ, даже невзирая на то, что в ГПТУ никто не умер от уроков Акимыча и никого не ударил паралич, но попросили. Философия...

Ну и плывут по реке два жирных моржа, гладких, теплых, тяжелых и внушительных, а люди бегут вдаль, за моржами по льду бегут, и приветствуют демократов, либеральных деятелей, не пугающихся восторга.

Рассказываю я тебе, читатель мой неизменный, о моржах сальных, а в глазах моих — вороны, черные вороны, стаи воронов черных. И я не убоюсь птиц зловещих, как?

Черный ворон с лишаем во лбу,  
Над Россией горькою летает.  
То в тумане, за морями тает,  
То сидит на сталинском гробу.

Черный ворон влез на Мавзолей,  
Красные припудривает брови.  
Не толпа гудит, а море крови,  
Русский ветер закружился злей.

Лишь оперся ворон о крыло,  
Оторвался от полей немилых —  
Вспыхнул свет на воинских могилах,  
Птицу в страхе набок повело.



Стая, стая черная ему  
Каркает, родимая Россия,  
Ты встаешь, предательство осия,  
Не суля пощады никому.

Черный ворон, клюв не раскрывай,  
Не следи за русским стуком сердца,  
Никуда тебе от нас не деться, —  
В скифских долах, ветер, завывай.

Папа римский подымает крест  
Или ворон высоко летает,  
А лишай во лбу его не тает...  
Стаи, стаи черные — окрест!

Перед заплывом моржей дежурные снабженцы из тресков выбрасывали на лед, в палатки, разные продукты и выпивку — щедро торговали тем, чего в магазине и с фонарем не отыщешь.

Акимыч не упускал случая: по нормальной цене приобретал чай у зевак, с терпимой переплатой. Всюду — грабеж.

В минуты проплывания моржей, Попова Гавриила Харитоновича и Лужкова Юрия Михайловича, с той и этой стороны проруби, считай реки, пестрели палатки, дымились шашлыки, вкусно пахли свежие румяные пончики и сверкала в русских непобедимых стаканах водка. Толпа ликовала. Моржи проплывали. Вожди древней Москвы, славянского города, князья наши русские. Один — мариупольский еврей, другой — пока не знаю: подождем немножко. Словом, путь — из варяг в греки!

Акимыч не хапужистый человек, свободный философ. Он выбирал поудобнее позу на бугорке и обращался к народу:

«Уважаемые москвичи! Москва нищая. Мышам и то не хватает где покушать, а собаки, те худеют, кошкам невероятно трудно: Москва — нищая Москва!..»

Зеваки хлопали, орали, буйно реагируя на большевистскую речь Акимыча. И Акимыч продолжал, совершенно голый — перед москвичами, лишь в трусах, непонятного цвета





и модели, Акимыч — морж настоящий, без алкогольного подогрева: «Друзья! Москвичи! Граждане!.. Эти, плывущие мимо нас моржи, оба жулики: богатейшие типы, миллионеры, а за чей счет? За чью приватизацию, спрашиваю вас? Вор плывет за вором, два вора по одной реке и в одном направлении плывут! Им — вода, а нам — беда!» — изловчался философ.

Из толпы выскакивали молодые ребята, хватали Акимыча, быстро одевали и Акимыч надолго исчезал из уважаемого трудящегося народа. Но тут, в последний заплыв моржей, Акимыча не схватили, а напротив — Акимыч угодил в герои. Голый и серьезный, Акимыч декларативно предложил массам:

Первый морж пузат  
И второй пузат,  
Эх бы, стукнуть их,  
Толстых, зад об зад!

И вдруг толпа зашевелилась, заколыхалась и начала раскручиваться, как шайба, стремительно подкатываясь к проруби, к реке. Акимыч кинулся вперед, голый, в трусах, непонятного цвета и модели. Акимыч, как я отмечал, коренастый, мускулистый и закаленный на ветрах накачек, брани, выговоров и увольнений — храбрый. Ясно, не диссидент: Запад таких не принимает, да, да, такие на Запад и не торопятся.

Подбегает — не верит картине, трагедия: в середине Москвы-реки образовалась всвистывающая воронка, яма. И в ней — Гавриил Харитонович, даже без трусов, Адам и Адам, вращается, вращается, распластаный и молчаливый, затылком вверх. А на нем, в седле словно, джигитует Лужков и руками плавные вздутые, хе, движения, изображая Марксову пышную бороду, делает, плавные вздутые движения. А воронка воет, яма, глубокая и погибельная, остальные моржи, моржихи и моржата с берегов, ежась, наблюдают, а прыгнуть не хотят или стесняются. Интеллигенция, капризничает...

Не мудрствуй, а решай, гласит философское изречение. Акимыч прыгнул в яму, и воронка, спираль и спираль, за-



винтила его в ледяную воду. Подплыв к благородным моржам, Акимыч ухватил за шею Лужкова, но Лужков боднулся и выскользнул из пальцев Акимыча, нежнокожий черт, а Гавриил Харитонович, распластаный, вращался и вращался, увлекая на дно и Акимыча. Морж на морже сидит и моржом погоняет: кикиморы!

Акимыч не привык менять убеждения. Хватанул еще по шее Лужкова, а сам лихо поднырнул под Харитоновича и, поймав его за твердую замерзшую тютюльку, поволок по волнам к берегу, не оглядываясь на Лужкова: утонет — тони, но не мешай спасать мэра! Заместителя нового найдут, а мэра и в Париже непросто найти, а в Москве — честных-то руководителей вообще нету, не считая Харитоновича... Акимыч — наивный и рассеянный, но аккуратный труженик.

Волокет Акимыч, а мэр молчит, как будто он не мэр, а мешок с рязанской свеклой, набрякший и непригодный. И думает философски Акимыч: «Господи, за что ты меня караешь? Заведующий кафедрой теории марксизма-ленинизма в могиле лежит, а Гавриил Харитонович на мне едет из ямы. Тоже, говорят, бывший заведующий кафедрой теории марксизма-ленинизма. А бывший директор моего института, Нил Евдокимович, парализован и руками плавные вздутые движения делает, Марксову бороду изображая, и Лужков теперь парализованному Нилу Евдокимычу подражает!..»

Какие-то бойкие голые парни мгновенно подхватили из воды приволоченного Гавриила Харитоновича и удобно усадили его на ковер. За ним — подхватили запыхавшегося Акимыча, строго поставили на ноги около ковра Харитоновича, а Лужков продолжал в яме спиралью, по воронке, крутиться и руками делать плавные бородатые движения... Без бороды и утонуть не желают?

Гавриил Харитонович на ковре сидит и молчит, а Лужков на воронке сидит и молчит. Акимыч рядом помалкивает. Когда же рассеялся общественный гвалт и утомонилось ликование, к Акимычу прижался незнакомый старый морж и в ухо выпалил:

— Ты че,плыли-то чучела, деревянные чучела, болваны!..



«Макеты?..» — пронеслось в мозгу Акимыча.

А следующий зевака, не морж, в другое ухо Акимычу:

— Ты спас вождей, а тебя убить могут сейчас же, на месте, вот мой телефон, звони, обеспечу молоком и чаем!..

Акимыч сперва не сообразил, а позже чуток труханул и направился к любимому «Карлу Марксу», Нилу Евдокимовичу, который с утра ждал Акимыча у окошка и делал руками плавные движения, изображая густую эпохальную бороду. Клиника...

Шагнул Акимыч, а из толпы не зевака, не морж, а настоящий, аж закавказский, торговец:

— Ты зыпас правительство Москва?..

— Я? — удивился Акимыч.

— Ты мой трух, бират мой. — И торговец приподнял над собой жареного поросенка. — Беры! — улыбнулся Акимычу. И звонко поцеловал в пятак поросенка. — Беры, он качественный, жареный свинья, — заключил язычник, застегивая каракулеву шубу и тонко позвякивая золотыми кольцами. — Беры!..

«Неужели какой-то умелец сидит у истока Москвы-реки и выстругивает их, этих еловых болванов?» — размышляет философ по дороге к Нилу Евдокимовичу, бывшему председателю ученого совета.

А если их всех выстругать и сразу пустить вниз по реке?

1991—1992

## *Сновидение*

На весь поселок Заветы Ильича, плененный Москвою, была одна продавщица — Люба. Стройная, элегантная, она скорее походила или на приличную вузовскую преподавательницу танцев, или на бывшего районного инструктора КПСС, а ныне — служащую преуспевающего кооператива. Те, где можно, брали, и эти, где можно, берут, только у посторонних зубы цакают...

Одевалась Люба по моде: без крика, но с должным вкусом и ценою — работа на виду. В поселке Заветы Ильича все давно привыкли к Любе, все давно знали: берет. С килограмма картошки — пятьдесят граммов. С килограмма сыра — пятьдесят семь граммов. Правда, сыра теперь нет — только в Армении... С килограмма коровьего масла — сорок четыре грамма. А сахар — тридцать, тридцать пять граммов. Сметана — четыре бутылки кефира на ведро: получается ничего, ешь и легонько вспоминаешь про кефир, а так — сметана, пожалуйста. Колбаса — редкость, потому с килограмма — до шестидесяти граммов берет.

Взгляд у Любы голубой, милый, но пристальный: сразу определит, насколько нагреть можно. Застенчивый взгляд и умный, не сю-сю, му-сю, а работа. Идет Любе голубое: голубая кофта, голубой халатик, улыбка голубая и — обсчитывай. Да за что ругать Любу? Она честная. Берет — напрямую. А не гнет свободные цены. Ведь теперь — купит подлец пиво по два рубля за штуку в магазине, а за углом — свободная цена: пять рублей, и рядом с ним уютный портретик Горбачева, тронь его, мерзавца, он возле президента орудует!..

А Любе жить надо, молодая и муж молодой, здоровый такой полкан, жрет и себя уважает. Торчит из-за спины



Любы, наблюдает: кто задерется — за воротник и долой. Очередь не задерживается, благодарна супругу Любы. Да у нас и убить разрешат в очереди, лишь бы двигаться вперед и вперед к прилавку. Одичали. И есть нечего. Лук, одинокий и горький, лежит — не покупают. И водки нет.

Люба улыбается — в голубом. Белозубая, верткая, смысленная, манит... И заходит старик. Сутулый, дряхлый, пегий, как вылинял: правая сторона головы — седая, а левая сторона — рыжая. И говорит странно:

— Здравствуйте, товарищ продавец! — Надевает желтые очки и повторяет: — Здравствуйте, товарищ продавец!..

У Любы холодеет язык и начинается нервный жар, хотя на улице осень и влажный туманец.

— Здравствуйте! — улыбается Люба.

— Мне взвесьте с килограммчик картошечки и пучок лучку!

— Очень горький! — предостерегает сутулого старца Люба.

— Я и сам не сладкий! — отпихивает ее горбун.

Люба ловко бросает на весы картошку, а потом пытается ссыпать ее в сумку, подставленную стариком, но пегий возражает:

— Минуточку, минуточку, товарищ продавец, минуточку!

Старик пристально просверливает горячим зрчком-буравчиком продавщицу:

— Пятьдесят граммов взвесьте отдельно, товарищ продавец!

У Любы подрагивают руки и подламываются колени — взвешивает ровно пятьдесят граммов, картофелинку...

— Отложите ее на прилавок, товарищ продавец! — командует дед. И просит килограмм сыра.

Люба ищет круг сыра, а вместо сыра ей чудится чья-то неприятная лысая голова, отрубленная вроде топором и ночью подброшенная ей, Любе, на склад: мол, доторгуешься, доколупаешься, стервоза!..

Люба наклоняется к сырной голове и берет нож.



Нож-то Люба берет, а старик:

— Пошевеливайтесь, товарищ продавец, я тоже вам не из пивной, я занятый гражданин, не тяните время!

Любе впервые неуютно за прилавком, таким знакомым и дорогим, неуютно и страшно.

Она чего-то боится, а чего — не поймет пока. А старик налегает и налегает. Взвесила, отхватив от лысой головы килограмм, а дед сурово:

— Товарищ продавец, взвесьте пятьдесят семь граммов отдельно!

Люба вконец растерялась и даже простудно фыркнула носиком, не от испуга, не от гнева, а от внезапной ангины, ужалившей Любу в самую ноздрю, чих простудный приблизился — дела ее, значит, плохи: как ревизор — так нервный тик начинается у Любы или же — аллергия, что случается у ее подруги, Зины, при тряске половиков, ковров и занавесок — сомалийская аллергия: сухая и свирепая, подлее русского тика и ангины...

Отложила пятьдесят семь граммов сыру на прилавке, еле, еле взвесив: куриная как бы слепота настигла и застала ее — могила. А пегий просит килограмм коровьего масла. Люба, переборов разруху в теле и в душе, плюхнула черпак, точно — килограмм, а пегий:

— Взвесьте теперь отсюда ровно сорок четыре грамма, если у вас нет специальных весов, позор, сорок четыре грамма, прошу, товарищ продавец!

Ложкою, ножом, вилочкой Люба наложила на листочек белой бумаги сорок четыре грамма и нервно опустила на прилавок. А свирепый старик распрямил сутулость да как гаркнет:

— И килограмм сахару, товарищ продавец!

У Любы уркнуло в животе, но проворные руки не подвели хозяйку: раз — и килограмм сахара готов, а старик:

— Тридцать пять граммов изымите, товарищ продавец, и присоедините их к тем! — Показал кивком лошадиным на прилавок.

Люба, уже не чувствуя себя, не ощущая конечностей своих, изымает, взвешивает ровно тридцать пять граммов



сахару и присоединяет к горсточке продуктов, изъятых ранее из килограммовых заказов.

— Килограмм колбасы! — приказывает дед.

И Люба, оглядываясь и зовя, на всякий непредсказуемый случай, мужа, Саню, здоровенного кобеля, отирающегося за стеною прилавка, вечно жующего и чавкающего, тоскующего от безделья болвана, но при галстукe, мордастый лентяй.

А дед:

— И отделить требую, товарищ продавец, шестьдесят граммов, отделить!

Люба кое-что поняла, догадалась, к чему и куда клонит и уведет ее, порядочную женщину и честную продавщицу, этот, мало кому известный проходимец, поняла, вспомнила и пуще, чем при первых минутах встречи с этим гнусным лешим, с этим, поди, членом КПРФ, запотела, и в животе у нее, как в американском магнитофоне, плавно зашелестела лента: странная мелодия зазвучала, ритмически сродни популярному шлягеру «Джон, не уезжай, не оставляй меня наедине с чертом!».

Люба еще оглянулась по сторонам и немножко вскрикнула, прижмутив чуть-чуть голубые ясные глазки. Вскрикнула и подсматривает: какотреагирует пегий? А пегий — ждет шестьдесят граммов. Взвесила и почти рухнула за прилавок, щелкая натренированным языком и томясь преступно-политической ситуацией. Прибежал Саня, опрыснул ее водой и грозно топнул на пегого:

— Ну, ускребывай отсель, хрен изогнутый!

Но старик будто не слышал. Еще суровой гымкнул верхней губою, подтолкнулся к прилавку потеснее и как взвизгнет:

— Вешайте, то есть подайте сейчас же ведро сметаны, товарищ продавец, ведро, обяываю, ведро!..

Люба окончательно разоблачила хитреца и провокатора. Обхватив ладонями и поддерживая свой музыкальный живот, скакнула из-за прилавка. Но жуткий нелюдской голос железно осадил ее. В голосе столько гремело гнева и воли, столько горело знамен и осуждения, Любе казалось — трескается под нею, как в горах Таджикистана, земля, и она про-



валивается в пылающую бездну экономического пространства СНГ.

Проваливается, а там, в пылающей бездне, Саня — нетверезо помахивает ей грязным пальцем: «Дура ты, дура, со старым идиотом договориться не сумела, меня губишь и сама свечою испепеляешься!»

Люба закачалась, вернувшись на истошный голос пегого дьявола, у прилавка, закачалась и поставила перед пегим орангутаном цинковое ведро сметаны, правда, не сегодняшней, а недельной, свежей, можно сказать, другие-то недельную сметану годами не видят — более пожилая сметана сойдет, где взять такую-то, недельную сметану, всем, где? Поставила, а дед:

— Влейте в нее три бутылки кефира!

Люба, краснея, давление, гипертония мгновенно зацапала ее, — вылила в сметану три бутылки кефира. Вылила, а седопегий старик, вскинув пегоседею головушку, принуждает ее, уже голосом покойника, жутким и неодолимым:

— Товарищ продавец, вы должны все теперь съесть, излишки, отобранные вами у трудящихся, съесть, включая ведро сметаны!

И, сволочь, прищкнул:

— Двадцать минут даю на процедуру! — Вытаскивает из аккуратно проглаженных брюк старинные часы, марки «Хуан-бу», китайские, точные, вытаскивает и: — Начинай!..

Люба пятится, а какая-то партийная сила поворачивает ее к изытым продуктам и наклоняет мордой к ведру. Пятится, а какая-то социалистическая революционная сила поворачивает ее к продуктам и намеревается окунуть ее мордой в сметанное ведро. Как ей быть?

На шум липнет народ. Появляются знакомые, вникают в магазинное событие и разевают рты. Саня, замечает Люба, из роскошного русского мужика превратился в телеэкранного Володю Познера и засеменял, засеменял с микрофоном, цепenea и загадочно задумываясь, за спиною супруги. Да и Люба в себе самой перемены обнаружила: не на инструктора райкома КПСС теперь, не на стройную преподавательницу





вуза или балета похожа она, а на банальную нахальную торговку, воровку, с глазами, подернутыми коммерческим туманом и перестроечной лукавостью: «Где, — вскрикнула Люба, — мои голубые очи?» И, делать нечего, быстро, быстро перемолотила крепкими молодыми зубами изъятые на прилавков продукты. Перемолотила и затаилась: вдруг старик-то забудет про кефирную сметану?..

Люба замедлилась и напряглась. А пегий колонист наклонился над прилавком, да как залает из могилы, из ада, а, может, и с оппозиционных высот, с памятника Владимиру Ильичу Ленину, откуда ей, простой воровке, знать, как залает:

— Не губите свежую сметану, ешьте, пока она не прокисла!

Сутулый, дряхлый, нищий, а в отутюженных сереньких брюках и в серенькой отутюженной курточке, серенькие полуботинки и серенький галстучек при серенькой выстиранной и отутюженной сорочке — муравей, сродственный Володе Познеру, забегал, забегал по магазину:

— Ешьте сметану, кому говорю, ешьте сметану, иначе я трудящихся позову и акт общественный составлю!

Люба налегает и налегает... Саня на помощь явился. Люба, около ведра с левой стороны, а Саня около ведра с правой стороны, и оба налегают. Стыдно, а кушать необходимо. Пегий леший, зараза советская, бегаёт по магазину, как муравей по жареной огромной сковороде или Володя Познер по сцене, и орет:

— Ешьте сметану!.. Ешьте сметану!.. Ешьте сметану!..

Видит Люба в боку ведра, который она лизала, Санино собачье отражение сверкнуло: «Помоги, Господи!» — скрытно взмолилась дама. Взмолилась и вспомнила себя босоногой девочкой, деревенской наивной простушкой. Дождик закололапит по улице, а Любашка, крохотулечка светлая, с хворостинкой, за ним. Саню, отраженного в боку ведра, вспомнила, давнего, давнего, монтера, нежного и мускулистого: на свадьбе он рядом с Любой сидит, работающий и веселый. А тут — бок ведра лижет, трус и ханыга, штатный выпивоха, прилавочный зверь и дармоед. Да, две стороны, правая и левая, у медали, две!..



А дед прикинулся огненным драконом. Бьет раскаленным хвостом по прилавку и деньгами сорит: «Ешьте сметану кефирную, а я заплачу и вас проучу!» У Любы носик в грубой нашей сметане, а ведь симпатичный, французженкин носик!.. А у Сани морда полностью выважена в сметану и спиртным кефиром пахнет. Грустно и недостойно им перед москвичами, обывателями соседними. В столице-то без них жулья — целые массы и коммунисты с митинга на митинг перекочевывают, ая-яй!..

Вспомнила Люба мать, знаменитую продавщицу, возле Черемушкинского рынка погибшую вместе с другом в автокатастрофе. Мать за рулем собственной «Волги» перекресток не заметила и врезалась в грузовик. У Любы не «Волга» пока, но «Жигули» есть. И друг есть — чемпион, снайпер, не сравнить его с пузатым Саней. Мать толстела, и Люба толстеет. Исподволь. И Саня толстеет. А снайпер — изящный и не скупой: вещь понравилась — не жметя. Угощает и обнимает Любу. А толстый Саня, муж, издевается над Любой, монтер вонючий:

Ты в мать, и этому ты рада:  
Задев браслетиком весы,  
На рубль обставила ты брата  
На килограмме колбасы.

И твой поклонник — марафонец,  
Его не победил никто,  
Переплатил тебе червонец  
За очень модное пальто.

Перед глазами васьки, фроськи  
Мелькают за торговой тьмой,  
Когда пузатые авоськи  
Ты, толстая, несешь домой.

Но толще мать и благородней,  
Ты, в общем-то, щенок при ней.



Она, хитрее и народней,  
Обжудливала нас умней.

И не насмелилась обвесить  
На рубль, тут риск довольно лих.  
Копейку с каждого, по десять -  
Через двоих, через троих!..

А ты не знаешь укорота,  
Стучишь браслетиком, постой.  
Во всем стабильность и порода  
Нужна, а не эффект пустой!..

Это — в поселке Заветы Ильича, а в Москве — почти не балуются подобными фокусами: в Москве воры капризные и широкоохватные, мультимиллиардерные господа.

И вспомнила Люба, как юная она и не жадная, а щедрая и песенная, впервые встала за прилавок. Она улыбнется — ей улыбнутся. Она ласково ответит — ее ласково поблагодарят. И Саня возле нее не торчал, не ревновал, подозревая, а тянул провода по лужниковской линии электрических мачт, светом от Сани веяло, а сейчас?..

Вспомнила Люба и снайпера. Продается: то от «Промбанка» бежит в команде, то от «Газпрома» соревнуется. Теперь — в личной охране Гайдара подскакивает, богатей!.. А кому Гайдар нужен? Его, крысолова плешивого, никто и убить не захочет. Тьфу. А тоже, как ее Саша, монтер, стихи, говорят, но не девкам, не жене, а Брежневу сочинял. Чирей ельцинский. Паразит.

Вспомнила Люба и нехорошее: генетическое воровство и наследственный обман вспомнила. Сердце ее затосковало по справедливой порядочности и заболело. Вспомнила Люба и счетовода из артели инвалидов «Витязи России», Иону Ионовича Скрипова, контролера и коллективиста, защитника бедных и калек, выстругивающих дорогие гробы в артели для отстреливаемых бизнесменов. Предупреждал он Любу:



---

«Не воруйте, товарищ продавец, в молодости, будете завидно замечательны в старости!..» А не воровать — нищенствовать?

Люба вкусно потянулась и, потрясенная, проснулась в каменном просторном особняке. У плеча ее дышал армянским коньяком противный Саня, сожрал несколько зеленых пучков, менеджер, а на неубранном столе в роскошных английских тарелках спали байкальские омули, подзапеченные на вологодской утренней тающей сметане, которую не в цинковых ведрах, а в голубых, как глаза у Любы, стеклянных флягах уносят составы по международным голубым рельсам.

И куда все идет?..

1993

## *Ох, уж эти мне ученые!..*

У нас в хозинституте ученый такой был: громадного роста, лысый, руки чуток приспущены, а кривые ноги — на-раскоряку. Днем с ним встречаться неприятно, а в сумерках опасно: «Ну, здр-р-равс-с-ствуй, ор-р-рел!» И на тебя, рыкая озверело, надвигается и надвигается, пока ты с тротуара не спятишься на обочину проспекта, где и автомобилю тебя за-просто задавить или поломать ребра. Орангутан тропический, из Анголы, а, может, из ЮАР, больно агрессивный и на-скокливый. Хотя читал по эстетике лекции, очень увлекался, прижмуривая веки, Игорем Северяниным:

Монашенки бесшумны и черны.  
Прозрачны взоры. Восковые лики.  
Куда земные дели вы сердца?  
Обету — в скорби данному — верны,  
Какие вы в крови смирили клики?  
Куда соблазн убрали из лица?

Студенты молчали, а студентки, накурившись итиловых сигар, мрачно силились догадаться о подтексте в «ликах», «кликах» и «смирении», поскольку они, угоревшие и драчли-вые, сами, встречая Орангутана на тротуаре, порывисто тес-нили преподавателя эстетики аж сразу на середину затоп-ленной машинами улицы. И по-вороньи хором каркали: «Инауугурация!» «Инауугурация!» «Инауугурация!». Вакхан-ки, каналы перестроечные!..

Горбато изогнувшись, Орангутан, вроде на четырех мох-натых лапах, мягко и аккуратно перебежал следующую поло-вину дороги и, выглядывая за газетным киоском, провожал



воровато, но благополучно своих удивительных воспитанниц. Большой знаток русской поэзии, классический эстет, а вот похож на орангутана, да и произошел несомненно от него. Ну родила его, конечно, орангутаниха, а затеял его, дылду, самец, орангутан...

И в нашем же институте доцент околачивался, Бобиком прозванный за неугомонное взбредивание и периодическое поскуливание. Вскинет лапки на кафедру и давай взбредивать, перемежая бредню поскуливанием: «В США негры бурлят!.. Пролетариат Франции булыжники швыряет в богатев!.. Смерть эксплуататорам!..» И начинает подвывать, подскуливать, надувая собачью сурну и щеками попыхивая. Нос — черный. Уши — в тревожном поднятии. Лапками по кафедре ударяет: «Гаф-ф!.. Гаф-ф!.. Гаф-ф!..»

Некоторые лихие студенты и студентки, под предлогом в уборную, серьезно надеялись обнаружить у политэконома за спиною собачий хвост. Но Бобик хвоста действительно не имел. И продолжал с кафедры упоенно и долдонисто гафкать идейного Маяковского:

Разве гром бывает немостою болен?!  
Разве сдержишь смерч,  
чтоб вихрем не кипел?!  
Нет!  
Не ослабеет Ленинская воля  
В миллионносыльной воле РКП.

Прозвища Орангутан и Бобик соответствовали корифеям: эстету и политэконому. Но Орангутан — менее заводной. А Бобик — хвост, наверное, и торчал под пиджаком у него в минуты окрыленности и озарения. Замечательные педагоги. Умницы. Пусть — первого заказал орангутан, а второго — бобик. Первый — из далекой Африки, а второй — дворянка: пензенский али кунцевский, какая нам с вами разница?.. «Инауугурация!..»

Академики глупее их, Орангутана и Бобика, утверждаю я: до сих пор не поняли — каждый человек, рядовой даже гражданин России, шофер там, сантехник ли, а преподава-



тель вуза безусловно, каждый неопровержимо наследует, общаясь в массах, и развивает гены и характер своего неизвестного производителя. Иначе — жизнь умрет.

Зачем орангутан палку в лапу берет? Не колотить же ею, палкою, жену, орангутаниху, а сшибать кокосовые орехи с пальмы, сшибать и, чмокая сладостно губами, влагу ледяную тянуть на тропическом зное. И бобик — кинь ему кость: сцапает, виляя хвостом, не политэконом же!.. Дворянковые собаки — отменные псы, профессора безымянные. А мы, люди, морду нахохливаем перед ними, перед родителями собственными, гении сиротливые.

Вот супруга моего соседа по огороду, например: не знаю, был ее исторический прародитель петухом, не был, но курица, обыкновенная квоча, была прародительницей у нее. Ткнется в грядку Полина Евсеевна весной, а глубокой осенью только и поднимет навозное рыло на мужа:

— Куда ты пропадал все лето, алкоголик несчастный, а?

— Никуда не пропадал, дома сидел, Льва Толстого конспектировал, ведь сентябрь на носу, а ты, старая рябуха, со своим укропчиком возишься!..

— А че ты ешь, че, спрашиваю?.. Кормлю тебя, пьяницу, свежую зеленью, а ты и спасибо забываешь молвить, башка похмельная!..

И целый летний день у них — лирические мотивы. Он терпит, терпит да как загуляет — через дощатый заборчик самогонный дух струится, искрясь и заманивая... Коротенький. Тощенький. Сморщенный. Заносчивый и академичный, но не академик: весом легковат, до ампула не дорос, имидж не величавый, а суеты много и шуршания травяного.

А захмелеет, буза в нем воскресает. Кулачишками водит по столу, карандашом скрипит по-мышинному, теорию художественную обогащает и в хозинституте озвучить собирается. Надуется, вскобенится, заершится, и на Льва Толстого: а чиво, мол, он открыл нового в общественном сознании? Мы, дескать Высшие партийные школы при ЦК КПСС кончали и то не закичились, делим крышу и ложе с огородницами!.. «Инауугурация!..»



Трусцою, трусцою, вприпрыжечку, вприпрыжечку засеменит от супруги, от лопаты и граблей ее крепких, зашуршит крапивою, опять подпрыгнет, ойкая, и, шумно шурша по сену, уткнется в подушку в сарайчике и занырнет под одеяльце, знакомое и ласковое. Мелко, мелко скрипнет зубками и заснет. Полина Евсеевна потрет, потрет ему ушки и вернется к грядкам, унылая и замученная заботами по хозяйству.

А муж Полины Евсеевны Петр Петрович, имя и отчество-то какое, Петр Петрович, утречком побреет мосечку, огладится мокрым полотенчиком, поодеколонится, галстучишко завяжет на шейке, вздрогнет мышинными плечиками и на ту же кафедру, Орангутана и Бобика, кафедру в аудитории, вкогтится, седенький, пушистенький и юркий. Мышь — точное определение пожаловано ему влюбленными в него студентами, мыши и он, мышь, произведены на свет древнею, древнею крупною мышью, затерявшейся во временах экзотических.

А Полина Евсеевна — курицына дочь. Курица огородная. Случалось — она выталкивала голою коленкою Петю, Петра Петровича, из кровати, перегарного и потного, веющего на нее овсяной крупю: грыз, закусывая вино грузинское, виноградное, которое обожал товарищ Сталин, «Кинзмараули» прохладное и в продолговатой бутылке.

Мышь не обижался. Нырял в сарайчике под одеяло и музыкально посапывал через минуту, две, три. «Инауугурация!..» «Инауугурация!..»

Полина Евсеевна с отвращением наклонялась над Мышью, прислушивалась: сопит и не содрогается, насекомое! К завтраку Мышь полоскался возле тазика, хихикая: «Поля, я вчера тебя укусил?» А у Полины Евсеевны на ресницах поблескивали слезы. Сорок лет она окружена шуршанием, перегаром и куриным пометом, сорок лет. Сорок лет Петя заползает под одеяло, прячется между шкафами, исчезает в щелястых стенах, пропадает в ларьках и погребках, шурша сухими перышками лука и чеснока. Мышь поганая.

Обычно после скандала Мышь собирал в свободной комнатке института Орангутана и Бобика, поллитру вынимал из портфеля:





— Я Мышь, ты Орангутан, а ты Бобик!.. Выпьем за свя-  
тые имена наши!..

— За здоровье, Петрович! — отвечал Орангутан.

— За мир в семье! — подхватывал Бобик.

Иногда нагрывал ректор института, Максим Романо-  
вич. Орангутан чуть кивал и наливал себе рюмку. Бобик лас-  
ково скулил. А Мышь сверкал коготками и весело семенял  
вокруг компьютерной подставки: «Догони меня, Романыч,  
догони меня, Романыч!» Ректор краснел и захлопывал дверь.  
Мышь победно отряхивался: «Я слабый человек. Я большой  
человек. Пошутил — и готово: оправдался, и ректору не в  
укор, а в дружбу. Я с Полей подобным образом неурядицы  
гашу. Не жди претензий, а ликвидируй их покорностью. И  
ты — православнее батюшки...»

Животные простились до следующего замечательного  
раза. Мышь, пошуршав занавесками и оберточную бумагою  
с чешуею, смахивал хлебные крошки с компьютерной под-  
ставки и, прикладываясь в раскачистом пути к «ратным  
стограммовкам» на «открытых кафе», с маршевыми песнями  
являлся к супруге:

Три танкиста, три веселых друга,  
Экипаж машины боевой!..

Веселие, отважность — издавна авторитет славянства.  
Полина Евсеевна сочувствовала славянскому племени. Рус-  
ская, славянка, и муж ее поддерживает славу бранную нашу,  
а Мышь, мышка полевая, шуршливая и шустрая. И вскипела  
Полина Евсеевна, огородница и равная ему, Петечке, препо-  
даватель иностранного языка, английского, в МГУ, а не в хо-  
зинституте, чьи выпускники и преподаватели только и зна-  
ют — зубрить чужие изыскания и формулы, гомики одутло-  
ватые!.. «Инауугурация!» «Инауугурация!..»

Орангутан, Бобик, Мышь. Хамы. И — лауреаты. Ученые.  
Лекции читают. И опять она услышала шуршание, шурша-  
ние, шуршание. И длинный, длинный, белесо-бечеватый  
хвост зашуршал ослепляюще за спиною мужа, Пети, дурного



Петра Петровича, лишь повалился он, обнаженный, на кровать...

Полина Евсеевна вскрикнула. Атлетически сжала рычаг чугунной сковороды. Вытянулась на пальчиках ступней. Глубоко вздохнула. И, как при ударе по крокодилу, треснула тяжелой сковородою по нетрезвому затылку Петю. Петр Петрович, специалист по творчеству Льва Николаевича Толстого, вякнул на странном наречии, брыкнул и надолго забылся...

На зорьке он очнулся. Прокашлялся. Вытер на теле кровь, растекшуюся с макушки, и перепуганно заметил: жена его, Полина Евсеевна, без сорочки, Ева и Ева, меряет расстояние от угла и до угла в комнате солдатскими сапогами, сосредоточенно декламируя:

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!

Полина Евсеевна мечтала о прежних годах: зарплата нормальная, метро праздничное. Преподаватели культурные. Студенты спортивные.

В редкие минуты самоанализа и супруг преподавательницы МГУ, Мышь, ложился на спину и, минорно пошевеливая хвостом на кровати, мечтательно смежал веки: «Горбачев меня спас, да, Михал Сергеич меня спас. Ведь окажись в руках Полины иная сковорода, чугунная, мне — каюк!.. А при Сталине все сковороды монтировались из чистого чугуна, тяжелые, черные: бац — и ноги протянул. Круглые, формовочно-утрамбованные, даже звука не издают при гневном опускании на голову».

И себе в назидание Мышь быстро, быстро принимался шевелить послушным хвостом: «А паровозы при Сталине, «Ф. Д.», Феликс Дзержинский, ой, на Киевском вокзале загрохочет, а в Бузулуке у татар чайные чашки выпархивают из шкафов. А «Иосиф Сталин», паровоз, — разве удалось бы чеченцу подорвать махину? В Берлин вкатился — затормозить



не успели его, бронтозавра чугунного!.. И — Победа над Гитлером обеспечена!..»

«Во всех преобразованиях, — продолжал итожить супруг преподавательницы МГУ, — есть свой исключительный резон: «Феликс Дзержинский» и «Иосиф Сталин» протаранили фашизм, и в данный проран хлынул в дурную Европу ленинского типа социализм, но сковороды лить в доменных и в мартеновских цехах из магнитогорского чугуна — извините, перехлест!»

Мышь возбуждался, потягивался, шуршал: «А Горбачев начал чугун экономить. Правильно. Начал сковороды лить из алюминия, разные — круглые, тарелковые, квадратные. Чуть прикоснись — звенит, как гитара, на стенке повешенная на гвоздь. Вот Поля ударила ею меня, нетрезвого, по бошой макушке, звон поплыл по квартире, но без ЧП. Конверсия!..»

И он вновь потягивался и возбуждался, вслух обосновывая письмо Борису Николаевичу Ельцину о запрещении вообще изделий чугунных для кухонь — от газовой плиты и заканчивая сковородою. Инаугурация — полная и конверсия — полная, чему их учила Высшая Партийная Школа.

Но в разгаре вдохновенных мечтаний Мыша на подоконнике внезапно появлялся домашний кот Лаврентий, топорща усы и аппетитно мяукая. Мышь взбрыкивал и вместе с розовыми лапками и обшорканным хвостом исчезал под смятою подушкой. Тишина воцарялась необыкновенная. Лишнего ни у кого, конечно, не шуршало в кармане, но и мышей, конечно, не разводили в хозинституте, а сеяли свеклу, горох, кукурузу, пшеницу, а грызунов по лабораториям распределяли, а теперь аудитории кооперативами захламлены и приватизированы, как вся Россия поделена на воровские зоны, а паханы в министерствах и в Кремле куш рэкетируют...

Полина Евсеевна громко печалилась: «Муж мой теперь — Мышь, а Сергей Сергеевич — Орангутан, а Николай Николаевич — Бобик. А какие изумительные имена и отчества у них в паспортах? Сергей Сергеевич, Николай Николаевич, ну и мой Петр Петрович, мышь поганый, при советс-



кой-то власти пятерки хватало ему, насекомому, на целый месяц бражничать, а теперь?..»

Полина Евсеевна давно в МГУ доперла: мы — американцы, мы и труд свой оцениваем долларом. Только мы — американцы четвертого сорта — вкалываем не за доллары, а за центы... Рубим родимые леса им, чужим, варим сталь, ткем ситцы, изобретаем аппараты и прочие деликатесные кушанья. Изобретаем, а они, бобы, не бобики, не мышцы, не орангутаны, а бобы, они пожирают нашу кровь и запивают ее серебряною водою из Байкала... Мы для американцев — пыль крупная, инауугурация!..

В хозинституте, в университете, в такси, в переулках, на площадях, в театрах, в редакциях, на радио и телевидении орали: «Инауугурация, инауугурация, инауугурация, инауугурация, инауугурация-а!» А ведь и сегодня еще в институтах искусство кратко дается, в общеобразовательных дозах, но идиотам ни в чем проку не найти. «Инауугурация!..»

\* \* \*

Петя, ударенный по макушке сковородою, вытирал не кровь, а прокисшие на хранении помидоры... Поля страшила супруга оригинальным способом, а он, мышшь, и тряся, жалобясь Орангутану и Бобику на немытую сковороду, подзенькивая рюмкою в предзнаменовании нового президента, инауугурации Владимира Владимировича Путина. Напились, а на троне — галлюционарные Ельцин и Гайдар: физиономиями они — Мамут и Абрамович, а программю они — Ельцин и Гайдар. Значит, и по паспортам они — Ельцин и Гайдар? А их физиономии — прозвища, рисунки, художественная фантазия. Лев Толстой. Комедия.

1 кг. колбасы — 86 рублей.

Мешок цемента — 45 рублей.

Ботинки мужские — 1281 рубль.

5 дудочек зеленого луку — 9 рублей.

И пузырьчек бромю — 111 рублей.

Чем огородик заштaketить? Травою? А везде — воры. Кто — особняки крадет. Кто — калитки ветхие. Крадут все и покупают все. Богатые — у богатых. Нищие — у них. Все кра-



дут и все покупают. А за квартиру платить? Из пенсии? Из оклада? О, мы — не негры, мы — не индейцы, мы — русские обобранные чукчи: шибко умные!.. Мы — центы. Центы — мы!..

Полина Евсеевна глядела на небритого похвального Мыша, Петю, супруга дорогого, и на английском вдалбливала ему в помидорную макушку: «Мы за год с тобою, дурная инаугурация, так она обзывала Петю, за год с тобою на гроб не заработаем, доску-то не укупить, а цены растут и растут, но без объявлений, тихою сапою. А ты, Мышь, шуршишь и шуршишь. Уже и Сибирь прошуршали. Уже и Крым прошуршали. Русский народ прошуршали. А теперь и Россию прошуршиваем, не территориями, так арендами!..»

И вдруг тетя Поля нехорошо осклбилась и побледнела, произнеся на чистом и могучем, прекрасном и свободном русском языке:

Приморили суки, приморили,  
Отобрали волюшку мою!..

Смертельно перепуганная мышь забилась усиками под плинтус, а противный хвост спрятать не успела, судорожно пошевеливая им. Полина Евсеевна обратила внимание на кончик хвоста, шелушащийся крупичною пылью, и медленно, медленно отняла от паразита глаза, широкие и горькие, глаза вдовы и мученицы... Какая бы крестьянка из нее получилась!..

А я накануне инаугурации ночью в Подмоскovie слышал угрожающее ржание жеребца, подаренного туркмен-башою Ельцину. Вырвавшись из стойла, смастеренного из дерева редчайшей породы, завезенного из Республики Слоновая Кость, он несся галопом по великим просторам знаменитой усадьбы врача Святослава Федорова и ржал: «Инаугурация!..» «Инаугурация!..»

Мыши пропадали в норах. Собаки с визгом откатывались по канавам. А в зоопарках России орангутанам, в клет-



как запертым, сладко мерещились песчаные горячие пляжи,  
исцелованные белокрылыми морскими чайками...

Ну кто не поверит в сказку  
И кто не приникнет к порогу детства,  
И кто, кто  
круто не распрямитя  
Во гневе священном и в любви непобедимой?!

Кот — вне правописания по русскому языку и не изъясняется на английском. И ему, как велит опыт, до фонаря — почему то с маленькой, то с большой буквы начинается мышиное имя. Кот переплюнет образованнейших индивидов, внезапных и неподражаемых? Смешно.

И еще: кот Лаврентий укатывается со смеху, про себя, когда не мышь, а Петр Петрович, законный хозяин кухни, спальни, квартиры, хозяин, тревожный и низенький, почти одинаково равный коту, озираясь по сторонам, высокомерно поднаклоняясь, иронизирует по адресу ректора, на сто процентов защищенный от доноса вынужденной молчаливостью кота. Мышь ерахорится:

Он поклянется и предаст,  
Покается и яму роет.  
Обыкновенный педераст,  
А из себя фигуру строит!..

И, ополоснув Романовича, ректора, заочно помоями, Петр Петрович, мятежная крохотуля, имитировал, надуваясь и руки в бока, громоздкого и рокочущего Владимира Владимировича Маяковского. Супружеская пара, Мышь и Полина Евсеевна. Орангутан и Бобик очарованы гордой независимостью поэта.

И Лаврентий тверд и незыблем в традиционно укоренных постулатах и обычаях обожаемой им державы. И когда надоест ему, когда абсолютно уже не вмоготу это назойливо-омерзительное шуршание, это заобойное напильниковое прогрызание фанеры, эти бессонные и маниакаль-



---

ные усердия серой твари, кот принимает вызов и берет ратную ответственность полностью на себя. Приникнув на кухне грудью к обшарпанному урюпинскому линолеуму, разрисованному погибшими бенгальскими хризантемами, Лаврентий замирает у норы в партизанском дозоре, томительном и беспощадном. И возникни тут серая мучная, сверху носиком, тварь, кот с блеском прокомпостирует ее, даже и пискнуть ей будет некогда.

Мы не европейцы, а евразийцы. Не в кирпичных виллах обитаем, где о яшмовый наличник и коготь ненароком переломаешь. Нет, у нас никакой подлюке не отмолиться и от возмездья справедливого не улизнуть!..

2000

## *Березка*

Кто, постарев, не тоскует и не вспоминает о молодости? Разве лишь глупый человек. А умный — идет, бежит, летит, шагает ли медленно, поторапливается ли мудро, движется ли, ровно и успешно, а только — параллельно со временем, годам своим не вопреки, а рядом с ними, в согласии с ними, ну как бы в обнимку с ними.

Тогда и не отстанешь от лет собственных, угрюмиться и злобствовать не будешь, да и вперед текущих годов не примчишься, а примчишься — запыхавшимся дураком людям покажешься: куда, мол, он скакал, ровесники его еще за поворотом дороги, а он, мол, один, как заяц перепуганный, выпрыгнул на тракт и дрожит, озираясь, одинокий и ушастый... Деликатность и мера — не подведут.

Вот и бабушка Ира — умница: ровно держится, поседела — не хандрит, устала — на Канары на «Ту» серебристом не улепетывает. От себя самой никуда не денешься. Бабушка Ира копается в огороде. Весною — рыхлит землю под грядки. Лопата посверкивает в ее уютных руках, грабельки мелькают и мелькают, бархатя и прихорашивая черные квадраты, на которых споро зазеленеет лук и картошка, чеснок и капуста, укроп и салат. А вокруг — трава, и такая зеленая, такая искристая, такая — теплом изумрудным зовет, свежестью древнею душу греет, аж хочется полежать на ней, прикрыв глаза на веселом солнышке.

Но когда бабушке Ире лежать? Барсик, пестрый и хитрый кот, за ней по грядкам ныряет, по траве за ней артистически, словно по театральной сцене, фигурирует, хвостом помахивая, удовольствием пьян, а тут же требует есть, бестолковая тварь, но симпатичный и аппетитом не страдает: кинь





рыбки — уберет, кинь мясца — с благодарностью умнет, а ежели котлету — урча, уплетает и после поет на весь огород, шеveledя благополучными усами. Кот — палец не клади в рот.

А ведь бабушка Ира в молодости-то красавицей слыла, потому и сейчас она — замечательная бабушка: тело ее — крепкое, волосы — белоснежные, густые, а глаза — большущие и светло-голубоватые, на тебя посмотрят — ты и рад ее доброте и честности, глаза у бабушки Иры — невестины очи, ничуть не потускнели с юности, нисколько не заузились, а наоборот — расширились и ромашково округлились под веющими ресницами, посмотрит еще раз на тебя работающая бабушка Ира, улыбнется — и ты за лопату схватишься, и ты грядки начнешь квадратить и рисовать художественно по черному лону огорода. И свет в ее глазах, свет искренний и независимый, приятный и верный свет, и суетиться бабушке Ире не перед кем!..

Работа — пожалуйста: копай и копай. Пенсия — пожалуйста: на неделю хватит, а там — кумекай и берегись голода и нищеты!.. Это раньше пенсии начисляли — можешь водочки попробовать и пельменей искушать, а при демократах глупости быстро закончились: заводы — новым русским, значит, израильским и американским хозяевам, а голый рубль — советским ударникам, строителям Братской ГЭС и космического Байконура, так их, так их, мать их за гриву, монтажников и сталеваров, слесарей и комбайнеров любимого СССРа, так их, чтоб не надеялись на вкусные пирожки и вьетнамский чай, сволочи трудолюбивые!

Бизнес и вчерашних членов Политбюро не щадит: депутат Лукьянов в Думу приезжает на персональной машине, а штаны на нем обшорканные и, я подозреваю, с аккуратными заплатами на коленках, а раньше он в Георгиевском зале Кремля Верховным Советом СССР руководил, штаны отутюженные подпоясывал — рубчики острые, порезаться не грех. Но бабушка Ира не тоскует о большой пенсии и богатых социальных условиях. Богатство — иго. А при богатстве высокий чин — кабала.

Пока Чубайс торговал цветами на перронах Ленинграда и возле ночных ресторанов Ленинграда — лицо Чубайса не



вызывало опасений у его сограждан. Рыжий, с конопашками и лишайчиками, удмуртский или же еврейский садовод, или, допустим, пчелами очарован и вместе с жужжащими насекомыми мед собирает, пират перестроечный, а взялся выцарапывать у народа фабрики и плотины, уголь и газообразное топливо — разбух, миллиардер олигарховый, и рожу перекосорылило, красный, и зрачки отягчились, как золотые доллары, включишь ток — направо плятятся, выключишь ток — налево поползли, а добавишь напряжения — щелкают в орбитах и щелкают, навроде крючков у пузатого бумажника, харя — раздувшееся портмоне!..

Бабушка Ира в девичестве заплетенную косу на плечах переливала и солнечно переворачивала: коса золотилась и брызгала дружелюбными искорками, качественная и длинная, да на конце у косы бант золотился, возбужденный к пыланию солнышком летним, а парни впивались в Иру, крутя лохматистыми башками, но приставать не смели. Тогда и ребята себя вели достойно. Нынче же — караул: парень учиться не жаждет, а доллары подавай, хоть лифчики с Наины Иосифовны стирать готов — дай доллары! А девушки — нет их: наглотавшиеся табаку стервы, юлят у ботинок француза, китайца, негра, ложатся с ними — свиньи и свиньи, а доллар целуют и обсасывают, причмокивая.

Нет, богатство — чубаевщина. Богатство — ограбление честных и верных. Богатство — предательство материнских заповедей!.. Чубайс давно уже на сыроватый глиняный горшок смахивает, да и вообще они, Гайдар, Федоров, Березовский, Шахрай, Станкевич, Явлинский — горшки глиняные, на аляповатой колодке скроенные и охлопанные, точно их незаконно впотьмах нарожала, ретиво похрюкивая, Новодворская, да.

А маленькая Ира появилась и прильнула к титьке в Таджикистане, у папы и мамы, симпатичных и осужденных, вкальывающих на каменных грядках, но расконвоированных и свободных, пусть и подпавших под обвинение в убийстве Сергея Мироновича Кирова, громадного коммунистического деятеля и вожака пролетарских масс. Мама и папа Иры — грамотные, интеллигентно пахали и сеяли за Петроградом



их родители, а они доучивались, поженясь, и даже не слышали о гибели любимца ленинской партии, и, поди ж ты, угодили в убийцы...

Маленькая Ира нашлепывала на голову мусульманскую тюбетейку и купалась в арыке, пущенном зеками в пески и барханы, купалась и благодарила Иосифа Виссарионовича Сталина за счастливое детство, понимая, что мама и папа ее зря завезены сюда гранит долбить. И зеки знали — сидят и долбят гранит Ирины мама и папа несправедливо: а кто сидел и долбил гранит справедливо? И Сталин не знал. Знали Дзержинский и Ягода, Ежов и Берия, но и они запутались, на пулю шаловливую напоролись. От расстрела к расстрелу лидеры СССР и партии приобретали опыт и удалялись:

Молодым везде у нас дорога,  
Старикам везде у нас почет!..

Папа и мама Иры сильно поседели и, реабилитированные, переехали в Челябинск, переехали — тут и понравилась Ируша грядущему дедушке Вале. Валя тоже губу намастил на Иру. Ира и начала завлекать хулиганистого соседа: высунется в барачную форточку и подслеживает за дедусей. А дедуся — чуб кудрявистый, жесты молниеносные и стихи сочиняет ей от имени друга, рыжего и нагловатого, и, совпадение, — цветочками приторговывающего на могилках и возле кафе, точь-в-точь — как Чубайс в Ленинграде... Но Ира не кинулась ему на шею — не каждая девушка норовит за бизнесмена приторочиться.

А дедушка Валя, юный и стройный, хулиганил и хулиганил, а, хулиганя, и объяснился Ире:

У тебя хорошие глаза,  
У тебя длинная коса,  
Не коса, а впрямь плетенка лука, —  
Члену ВЛКСМ сплошная мука!

Интеллигентные папа и мама Иры, порешившие любимца ленинской партии Сергея Мироновича Кирова, имели у



окошка огородик, с коего бабушка Ира, уральская красавица, и подкармливала овощами неугомонного жениха, дедушку Валу: швыряя в него, как в гудящую молотилку, огуречики и морковку. Свадьбу сыграли. Красота и молодость их на вдохновенных фотографиях им на память осталась, ой и красивые, красивые, кто из них красивее — кажется, бабушка Ира!..

Бабушка Ира — шаг по огороду, и кот Барсик — шаг по огороду, бабушка Ира — на диван, и кот Барсик — на диван, бабушка Ира — на кухню, и кот Барсик на кухню... А за Барсиком — внучок Валентин, в честь дедушки Вали назван. А за внучком Валентином — внученька Ксюша: «Бабушка, бабушка, я тебя очень люблю, а меня папа с мамой на Дон отправляют!» ...Валентин, внук, от старшего бабушкиного сына, а Ксюша, внученька, от младшего сына. Внук хитрее Барсика: к бабушке ластится, ластится, а родители нагрянут — пропадает с ними. И сестра его, старшая внучка наша, пропала: свадьбу ей справили — она и ожидать ребенка взялась... Ускорение — модная вещь.

Бабушка Ира на прабабушку, а дедушка Валя на прадедушку тянут. И — вытянут: в Москве — самые седые, и в деревне подмосковной — седее их не отыщешь! Но седина — не бизнес, много на ней не зашибить. Следы маленькой Иры в Таджикистане затерялись, а следы дедушки Вали в Челябинске пургою засыпало. Зимы-то на Урале трескучие, снежные. Завоет ветер. Буран забесится. Стукнет путник поздний в калитку, а за калиткой вьюга: плачет она, плачет и серебряным горем на тропу родную осыпается, а мы с бабушкой Ирой думаем — иней сизый или белый, белый туман с волос наших струится?!

И попросила бабушка Ира у Господа Бога семечку, запеленала ее почвою — расти и шуми над нами трепетно-зелеными листьями!.. Шуми над юностью и над сединою нашей, над внуками и правнуками нашими шуми, мы же в голосах ливней и в курлыканиях журавлей прозвеним.

Листва звенит зеленая. Трава зеленая плещет, бедный колокол звенит. И небо звенит голубое. А золотой звон солнца льется над журавлями. И золотистая дорога в поле, как



---

золотая невестина коса, спешит и вплетается в холмы и перелески. А березка наша выросла, приподнялась, красавица, и тоненький звон ее вник в шум золотой и поплыл, поплыл в золотые дали русские!..

И я был в молодости светел,  
И я знавал восторга вал.  
И через годы лишь заметил,  
Как пыл тот мудро миновал.  
Теперь, когда утихнут грозы,  
Я, далеко не пессимист,  
Стремлюсь понять, зачем с березы  
Так горько опадает лист.  
Сознанием пронзая дали,  
Шепчу ужасные слова:  
«Виски в снегу, а на Урале  
Звенит все та же синева!..»  
И город юн под небесами,  
И я смятенья не таю, —  
Вот эта девушка глазами  
Похожая на ту, мою.  
Не в благах прыти многолетней  
Достоинство, не в грудях книг.  
О, я не первый, не последний  
Вдруг перед вечностью поник.  
Виски в снегу, но те же трели  
И бури катятся подряд.  
И лишь враги не постарели  
И не исчезнул в мире яд.

1984—1999

## *Набалдашник Дмитрия*

Улица наша узкая, кривая и канавистая. Если две легковушки на ней встретятся, одной приходится включать заднюю скорость и катиться обратно, пока другая не выскочит вперед. Но в деревне у нас и автомобилей-то нет. После Горбачева и его перестройки забуксовали у русских людей автомобили. Теперь автомобили держат кавказцы, смуглые земляки Михаила Сергеевича, и я. Жаль старую «Ниву»: столько лет она возила меня — и продать? Голодать готов, но «Ниву» не продам.

Не продает же свою богатырскую машину с крытым зеленым кузовом, на ребристых вечных колесах, с прицепом, длинным и могучим, не продает же ее Олег Павлович Бурдаков. Бурда — зовут его так в деревне. На нашей улице Бурда появился в первые месяцы прорабского бума, когда Михаил Сергеевич учился произносить шестичасовые речи, и люди не предполагали, что эти речи завершатся развалом СССР.

Но Бурдаков Олег Павлович, видимо, знал. И торопился. Быстро купил у нас деревянную избу, срыл ее, прах вычистил и на месте избы воздвиг каменный особняк. Каменный особняк обнес железной оградой с чугунными узорчатыми воротами, прихватил земли на выбеге собственного огорода к лесу, и тот, лесной прирезанный кусок, втиснул под железную ограду, но без ворот, а наглухо и, задумавшись, успокоился. Бурда меняет, торгует, посредничает.

За рулем Бурда не сидит. Выбритый, выглаженный, седой. Шевелюра поярковая, симпатичная. Нос не аляпистый, но мужской, и не туповатый нос, без монголизации. Лоб хороший: высокий и недурной. Да и ум у Олега Павловича Бурдакова неплохой. Читает. О политике рассуждает. Улыбается.



Всегда поздоровается. Руки не подаст, но «здравствуйте» бросит мягко и улыбнется.

Вот только глаза у Бурды неприятные: выпяченные из лица, замкнутые в себе и величиною с куриные яйца. Холодные и чужие. Отталкивающие глаза. Вроде Олег Павлович Бурдаков занял их у кого-то на время, как, допустим, очки, да забыл вернуть...

И получается, лицо Бурды, заметное и мыслящее, широко действует в народе, а глаза гармонизировать с лицом не хотят. Насторожились, выпятились и зыркают: кого бы им обидеть и расстроить?

Да и Бурда, Олег Павлович Бурдаков, у них, у глаз-то, на поводе находится. Зыркнул, а он и набросится на соседа. Зыркнул, а он тут как тут: схамит, напраслину буркнет. Жестокий и неязвимый, гад.

А богатырская машина прицепная, четыре раза в день, не прячься, как многие, а храбро, воня бензином, вползает в чугунные ворота, и солдаты, белокурые парни, из Рязани, пожалуй, совестливые, таскают в подвалы особняка упакованные холодильники, диваны, пылесосы фирмы «Халь-Гоп», немецкие, с круглыми, как глаза у Бурды, фонарями, надутые и холеные, гладкие и тяжелые. Таскают солдаты и продукты: ящики с банками консервными, бараньи туши — откусить тянет, коричневое поджаристое мясо, замороженные индейки и сверкающих жирком из целлофановых пакетов поросят.

Таскают солдаты, а Олег Павлович Бурдаков следит за организацией труда: двери в подвалы чтоб отряли вовремя, песочку на стезжку подшвырнули, да не ударили б, нерадивые, уголкем или не помяли б технику немецко-русского предприятия «Халь-Гоп». «Халь» — немцы, монтируют и свинчивают, а «Гоп» — русские, реализуют и опять заказывают.

И стоит возле коломбины Олег Павлович Бурдаков, приземистый и фонароглазый Бурда, с полуоткрытым раздраженным ртом, сам похожий на пузатый лаковый фирмы «Халь-Гоп». Стоит и посасывает воздух: шипит и повизгивает: ребят военных подгоняет, словно Бурду к электричеству розеткой подключили, краснеет и повизгивает, бокастый и прочный.



Хитрые крестьяне говорят: якобы у Бурды есть мафия, рассылающая товары по селам и городам, и якобы есть у Бурды несколько особняков, где командуют дети, давно взрослые, а на берегу Черного моря особняк — распоряжается им жена Бурды. Вечером играет гостям на рояле, а с утра как Бурда, гоняет солдат в подвалы с ящиками. И у жены — коломбина с длинным, как хвост у стрекозы, прицепом...

Бурда не полковник, не генерал. Бурда даже в армии и недели не служил. Но солдат уважает. Честные. Не боятся халь-гоповских ящиков, голодные, а не откусывают буженину и не разгрызают консервных банок. И за работу ничего не берут. Берет генерал. И не дорого — пару свиных вырезок и несколько бутылок водки. Чепуха. Раньше, при Горбачеве, генерал брал дешевле, но как уволили Горбачева с президентов, генерал надбавил тарифы: да, везде мошенники!

Бурда — бизнесмен. Он — за реформы и демократию. И жена его — за реформы, черноморская Виктория Ауэзовна, культурная женщина, шепчет горячо ему по ночам. А приближаются физически они, сердцами, на Новый год и на 8 Марта. Остальное — борьба за процветание фирмы «Халь-Гоп».

Но, бросив пальцы по клавишам, Виктория шепчет Бурде: «Их либен!» — Значит: «Я тебя люблю!..» Кукла старая. Билет, на, самолете, до нее стоит семьсот рублей. Олег Павлович прилетит, а она: «Олежа, ты пылесос и пылесос!..» Ну, разве можно терпеть мужчине насмешки брэнчащей старухи? Новый год и 8 Марта, достаточно!..

Старая-то Виктория Ауэзовна старая, а напоминает интеллигентностью Раису Максимовну Горбачеву. Та, чать не забыли: «Русская живопись!», «Русская музыка!», «Русская культура!..» А на третьем слове обязательно чушь сгородит. И Виктория Ауэзовна — на третьем слове сморозит глупость. Рассуждает, рассуждает Олег Павлович и вдруг обнаруживает: «Да, жены похожи наши. И мы с ним похожи. Он — пылесос и пылесос. Но меня называют пылесосом, а его нет; почему?»

Нет людей, не знающих собственного прозвища на Руси!  
Нет людей, не знающих и цены себе. Пригласи Михаил Сер-





геевич главным специалистом, перестройщиком, в Кремль его, Бурду, эх, уже на межконтинентальном уровне Россия и Германия превратились бы в компанию «Халь-Гоп» или «Гоп-Халь». Горбачев окружил себя слабыми и слишком вороватыми типами, не чувствующими Россию, а лебезящими перед Израилем.

Нужна национальная смекалка, национальная удаль, постоянная национальная функция души, способная, при необходимости, перерастать в подвижничество и в героический подвиг во имя Отечества. Точность, деловитость, высокая профпрактика и неусыпность воображения нужны. Талант — обилие тех профилей и вдохновения, — рассуждал Бурда, женатый на еврейке антисемит...

Бурда — демократ, поскольку до перестройки избирался, назначался и утверждался авторитетнейшими инстанциями партторгом ЦЕНТРУРАНПРОМА. Тысячи и тысячи судеб у него в пятерне умещалось, фабрики располагались, заводы министерства, и он: «К 1 Мая выполним и перевыполним!», «К 7 ноября выполним и перевыполним!..» Комиссар долин и гор, Орджоникидзе перестройки.

Но усомнился в Горбачеве, генсеке, а бизнесом и приватизацией очаровался. Бурда сегодня проклинает социализм, но Ленина не трогает: перевернись базар — с Ленина коммунисты могут ступень за ступенью, двинуться вверх... Бурда — философ.

Хотя с Ленина-то и завалились партийцы: изобрели, нарисовали себе и нам Бурду и поколениям завещали. Как поколение — так Бурда. Без Бурды-то революционеры лучше поднимутся. Ведь не облизывай ретивцы Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева — не проморгали бы и предательства Горбачева. Затмил им свет Бурда...

Олег Павлович радовался исчезновению лозунгов, уставов и дисциплины. Бизнес — свобода. Бизнес — искусство. И Бурда возвратился к увлечению, к счастью далеких юношеских порывов: к сочинению романа.

Перевалив на пятую сотню страниц, Бурда заволновался и решил показать рукопись мне. Утром, июльским солнечным, выбритый и выглаженный, в сером костюме, седой,



благородный, Олег Павлович Бурдаков постучался... Улыбнулся мило и вымолвил хрипловато:

— Не осуждайте. Совета жажду. Когда прийти?

— Дней через пятнадцать.

— А нельзя через десять?

— Можно! — смутился я.

— А через три? — сурово улыбнулся Бурда.

— Через пятнадцать! — отсек я назойливого автора.

Кому как, а мне в июле не везет. Месяц июль — месяц моих неурядиц и мучений. То «Ниву» ограбят, вывернут тяги, то заболēju, то Горбачев опубликует очередной «закон» — волосы дыбом...

\* \* \*

А роман «Спонсоры» Олег Павлович приволок мне еще при Горбачеве, и, страдая сильной лихорадкой, аллергией, вызываемой пухом одуванчиков, я добросовестно принялся за чтение. Бурда, слышал я, тоже страдает «одуванчиковой лихорадкой», но высасывает ее из себя пылесосом фирмы «Халь-Гоп», и хвороба с него, как с гуся вода...

С карандашом, помечая несурзаицы, подчеркивая неграмотности, исправляя ужасные ошибки, пыхтел я, дичал я, проклинал судьбу я над книгой Бурды. Злился: «Ну, как лысый, косноязыкий, лживый, наглый, политиканствующий, непременно — сочинитель, непременно — классик. Бурда не лысый, но претендует на роман, а Михаил Сергеевич издает романические фантазии и деньги валютную сгребает, премии зашибает!..»

Постучал в калитку Бурда. Внимательный — студент при собеседовании: и кивает, и на крыльце подкланивается, а у калитки благодарит. На замечания — ни звука. В избу не зазвать. Благоговение и: «Разрешите еще прийти, как дочитывать роман?» Я, проведив Олега Павловича, говорю жене: «Человек, ишь, нежный, пусть я и ухлопал, конечно, две недели, но зато настоящего друга приобрел!..»

Жена моя, не его жена, Виктория Ауэзовна, и не Раиса Максимовна, а нормальная мать и бабушка уже, не перечит мне, но замечает: «Нежный, очень нежный. В магазине продавали муку по сорок рублей за килограмм. Муки-то не дают.



Деревня и займи очередь. Каждому ребенку, каждой тете синими чернилами на ладошке означили номер. А подрулил к магазину с воинами на коломбине Бурда и по свободной цене мешки покидал на прицеп. Очередь и ахнуть не успела. Устроил голод твой романист!..»

— А директор магазина?

— Смуглявая жучка. Восторженно поскулила и пропала на складе!

— А потом?

— А потом семь рублей бублик, на меду. Бурда оптом, киску сдал.

— Покупают?

— А куда деться? — опечалилась жена.

В августе я еще раз проштудировал рукопись Бурды и четко проредактировал ее, рассчитывая на одаренного лит-обработчика, который и довершит «Спонсоров»... Я понимал: возможно, Бурда нанял за солидную сумму и «летописца», а теперь постепенно шлифует текст, но пообещав Бурде в июле «пособить», я не имел нравственного права отречься от рукописи в августе.

Олег Павлович, выбритый, выглаженный, овевая меня сквозистой улыбкой, опять кивал и пятился от крыльца, кивал и пятился. Что-то в этой улыбке, в этом семенящем упячивании было знакомое для меня. Было что-то знакомое и в глазах, выпяченных, фонарно мигающих. Пятился и кивал. Пятился и кивал, улыбаясь. И я вспомнил: так улыбался и пятился от нас китайский провокатор, выстреливший на Даманском в живот лейтенанту Стрельникову... Из орущей толпы вылез, улыбаясь, пятился, пятился, прищурился и выстрелил. Упячивание и выпячивание — не русская хитрость.

Да, сколько веды утекло? Вода течет, а провокаторы ликуют. Но я больше не пригожусь Бурде. Я не сумел увильнуть от натиска наглеца, потому выполнил обещание. Привет... Мало ли еще меня обманут? Да и болею. По ночам — шум в сердце. Вздрагивает сердце и полошится. А как ему, бедному, не вздрагивать?



На Руси обитель писателя — журавлиное болото. Жалостливый — минует, а безжалостный подкрадется и бабахнет: крылья переломает и гнездо разорит, детенышей осиротит. А тут — обманул?.. Ну, прочитал, ну, перепахал, ну... Великую державу объегорил жулик и свалил, а меня разве обманули? Добровольно принудили.

Взаправдашние-то литераторы — хорошие. Удружи им на копейку — век обязаны. Взаправдашние-то писатели — журавли на болоте. Есть вдохновение — звенят. Нет вдохновения — тоскуют. Но никому не мешают. Никого не угнетают, не отягощают собою... Ноет сердце и ноет. Беду ли чувствует? Случись беда — кроме «Нивы» моей никто никому и не поможет. Ни мотоцикла, ни автомобиля, телефона в деревне и то нет.

Сажу за столом. А в двери колотят. Выбегаю. Смеркается на дворе. Стучит дедушка Дмитрич, сконфужен и напуган:

— Василич, корова картофелину заглотнула и подавилась, не проскочишь ли ты в район за ветеринаром, а? Василич, у нас кормилица погибнет и мы с бабкой погибнем, молочком живы! — Дед зашелестел сторублевкой: — На бензин, сынок, сейчас бензин дороже сливок!..

Фуфайка на Дмитриче с пыжами, в дырки вата лезет. Картуз, первопятiletошный, сукно великолепное, надежное, линяет, а не портится, еще можно носить и носить. Картуз, как гимнастерка на фронтовике, вечный. Сапоги кирзовые, крепкие, но оббитые на деде.

Завели «Ниву» и тронулись. Тронулись, нормальное настроение, взбодрились, а на краю улицы, посередине — колomboина. Бурда выгружает холодильники, пылесосы, диваны. Солдаты бегают из кузова и в подвал, из прицепа и в подвал. Солдаты бегают, белокурые, а Олег Павлович, седой, стоит, руководит операцией. Фонарь горит на столбе.

Торможу, не сомневаясь:

— Чуток, Олег Павлович, на метр к воротам или от ворот на метр, дерните!

— Зачем? — сухо и недовольно проворчал Бурда.



— Корова подавилась у Дмитрича, за ветеринаром спешим, на метр, Олег Павлович, на метр!..

— Выгрузим, успеете!

— Как? Ведь чуть, ну какая вам разница? — встрял шофер. И я вижу, он собирается тронуть коломбину. Но Олег Павлович предупреждает: — Я распоряжаюсь, а не ты! Подождут. Не гоношись!.. — Шофер замкнулся.

Мой Дмитрич, устремившийся со мною показать квартиру ветврача, сник, сжался и закашлялся, доставая из фуфайки табак и газету. А я, огорошенный и униженный, почувствовал, как закипает кровь в моих жилах и мгновенно рождается ураган гнева. Дело будет... Но, внезапно осененный, почти кричу: «Дмитрич, застегни ремни!»

Автомобиль отбросило назад, еще отбросило, и я включаю скорость, переключаю, нажимаю на газ и еще нажимаю и, рассчитав на лету расстояние от коломбины до канавы, до рва, еще нажимаю на газ и «Нива» моя родная, как гончая собака, привстает на задние и прыгает наискось через канаву. Ров нырнул под брюхо ей и мы в дыму и реве — на колее улицы...

Дмитрич, легко ушибив лоб о стекло, стряхивает со штангин и с фуфайки махорку, зажав клочок газеты в кулаке. Кулаком стряхивает. Матерится:

— Ну его в кизду! Димакрат ефанный! А, Василич?!.

Сверкнули фары. Завращался штопор бетонки. Ветер загудел и завихрил мглу за нами. Дмитрич умолк, и я умолк. Свист и шум. Но вот и райцентр. Ветврач скорехонько, с вонючей сумкой и склянками в чемоданчике, занял место Дмитрича, а дед переполз вглубь, и «Нива» резво покатила обратно. Дмитрич так и не успел закурить и продолжал материться за моей спиной, но глуше и менее качественно. Сбавил темп.

Корову Дмитрича спасли. И дед успокоился. Но успокоился ненадолго. Тихонько тукает в дверь, порасходовав на заботы несколько дней:

— Василич, открой! — Открываю. Дмитрич в подержанном плаще, но плащ праздничный, аккуратный и торжественный. Рубаха клетчатая, свежая. Брюки на дедушке офи-



церского покроя, прапорские, наверно, но внушительные. И выбрит Дмитрич уютней и ласковей Бурды. Шагнул в комнату, бутылку на стол:

— Деньги ты не берешь, Василич, а выпить, чать, не откажиси?

— Не откажусь... С дедом выпить — в рай попасть!..

— Почему так? — заподозрил Дмитрич.

— А нет вас, дедов, нет, вас перестреляли, поморили, вытравили!..

Выпили. Дмитрич молчал, молчал и брякнул:

— Таких дедов, как Бурда, не стреляют, таким чины дают. А за меня, Дмитрича, тебе, сынок, спасибо! Сдохла бы королева — мы с бабкой сдохли бы. На пенсию-то советских вшей угощать только, а димакраты в баню-то по-христиански ходють или нехристи?..

Еще выпили. И Дмитрич изрек: «Русской русского не выручить, топить русской русского, а на Горбачева обижаемси, на Бурдакова обижаемси, дурни!.. Их воспитали — нас морочить, а нас воспитали — терпеть, че обижаться? Значить, с дедом тебе хорошо?» — и он отвернулся, закашлялся и отвернулся...

Бурда решил переодеть солдат в синие китайские халаты и сам в халат синий решил из серого костюма перелезть — камуфляж: дескать, мы — все тут стекольщики, и наше ремесло — рамы в порядок приводить, окна укомплектовывать. Но одурачить ли надолго народ? Халаты — халатами, а солдатиков русских и в китайском обмундировании заметить легко.

Святые очами, Богородицыны дети, на правду нам дадены.

Это у генерала, Бурды, глаза выворочены, как фары у бэтэра. Ночью, значит, горели, горели, фыркали, фыркали и напоролись на сучковатый набалдашник Дмитрича. Россия — не Афганистан. У нас под любым забором оказать неожиданное сопротивление могут. Ветераны-то кое-где еще имеются, по деревням вымиранием рассредоточенные. Бурда скрывал звание. Под кооперативщика, частника, предпринимателя косил...



Но зачем генералу Бурдакову, бизнесмену Бурде, роман? Писателем прослыть воспылал? Интересно. В русском народе, как ты его ни корежь, ни мучай, ни расстреливай, а уважение к слову повыше неба, покрепче тоски по жемчугу или золоту, даже к чину на Руси слабже уважение, нежели к честному слову.

А когда слово твое за людей страданию подвергается — цены подобное слово не имеет вообще: в запрещенных черновиках из края в край по Отечеству гуляет и наизусть заучивается русскими, жаждущими в застольях ошарашивающей их свежей истины, которую они давно перетерпели, прокляли и забыли, а теперь, интеллигентно чокаясь мокрыми стаканами, плачут, встречая ее, ту истину, как невесту, Господом с облаков им опускаемую. Изверги.

И Бурдакову, генералу Бурде, коломбины — мало. Жареных индюшек и запеченых в сдобе осетров — мало, многоэтажного особняка, замка европейского, тоже — мало. И Виктории Ауэзовны ему — мало. Дмитрич замечал: по ночам из кабины коломбины девки высовываются, уезжая...

Но, к счастью, роман Бурды — слабая книга. И жить Бурде — богато. Русский писатель, ежели он не генерал — бедный, а не бедный — не шикует, скромно держится. А ныне — брошенный, страдалец идейный, за русский народ борется, а и синего халата ему Бурда не подарит.

\* \* \*

С ужасом я узнал: седой-то хозяин, с прядями по лбу, не ученый, не депутат, не предприниматель-кооператор, а типичный генерал, да, да, русский теперешний генерал. Банальный хапуга. Приватизатор. Он — БТР, а ему — кирпич. Он — пушку, а ему — кран, стропила натягивать. Он — аммонал, рыбу или кого-то глушить, а ему районное начальство — жести. Генерал штурмом, болтают, свергал в Афганистане президента Амина. Чуть ли, болтают мещане деревенские, не подстрелил племенного моджахедского вождя. Разбойник, а не генерал.

Теперь у генерала на усадьбе русские солдатики потеют: копают для него грядки, сажают яблони, поливают кусты крыжовника, привитые между грядок заранее. Солдатики —



китайцы и китайцы, все в костюмчиках одинакового покроя и лютикового цвета. Цвета френча Мао. Жаль, нет у нас Мао: покрушить бы рыночников!

Генерал почти известный полководец. Не числом брал победу на войне с Афганистаном, а умением. И тут, у себя на усадьбе, под легендарною Москвою, генерал умение так и выказывает, так и выказывает, непроизвольно, талант в нем бурлит — не утихомириться... Очки на нос, хотя и зрение орлиное, туфли ободранные надвинул, кепку алкашную — артист, бедный человек. И дует усадьбу, надувает, раздувает — царская. А в усадьбу баб с черными кавказцами веселиться тайно завозит. Без солдат, а с менеджерами. Бардак.

Эх, имел бы я деньги, купил бы я себе генеральский мундир, новый китель, новые брюки, погоны золотые, рубашку, галстук, все бы с иголочки и — к стекольщику: «Смирно, екарная гнида, допрошу и лично к стенке примеряю!..» Зашуршал бы штанинами полководец, а? Зашуршал. Но деньги у полководца, а у матерей, проводивших сыночков в Афганистан, в бабьих мыслях и вздохах — могилы: полководец один выехал из Афгана, на танке ехал, не торопился — не напороться на мину бы, вражью, моджахедовскую. Берег себя стратег!..

Да, солдаты — штукатуры и садоводы, а генерал — стекольщик, дворник, сторож. Мурло. Люди изменились не к лучшему. Ролями поменялись дети России. Генералы — рэкеты. А рэкеты — генералы. И только рядовые — рядовые. И Россия — Россия: плачет мать наша, а слезы ей вытереть некому.

Настоящее русское слово, как теперь и настоящий русский человек — редкий человек, аж цены не имеет!.. Ну, Бурда развернул стройку, развернул торговлю, развернул международные партнерские, на паритетных началах, сделки, а деревне есть ли прок?

Бабка Афанасиха по заокочичному леску хворост собирала, топить избу нечем, да ладно топить, чайку скипятить нечем, собирала хворост и ногою в заросшую могилку чью-то провалилась — подвывихнулась. На коляске бабкиной и привезли старухи бабку в избу. Подвывихнула, везут бабки





бабку, а коломбина Бурды, генерала, героя, вернувшегося в Россию из Афганистана полководца, коломбина опять загородила улицу. Пока ее, пузатую коломбину, не ослобонили — бабка Афанасиха охала, буксуя в грязи, как буксует современный вор на мотоцикле, умыкнувший кур из глухого сарая, болотом залитого.

Коляска с Афанасихой буксует, а Виктория Ауэзовна, пышная, прилетевшая погостить к мужу, вертя кормою перед солдатиками, командует старушкам:

— Рулите, старушки, влево! Влево рулите!

— Вправо, вправо, ну, рывком, рывком! — понукает старушек и сам Бурда. А из живота коломбины, как по автоматическому конвейеру, плывут и плывут запакованные вещи, туши, балыки, овощи, фрукты. Из брюхастой коломбины — в брюхастый подвал плывут. Бездна. Как на даче у члена Политбюро: социалистическая демократия в действии!..

Дмитрич оперся на клюку, набалдашник дубовый, болванистый и увесистый — свинью перешибет. Оперся, Дмитрич, участник боев за Москву и за Берлин, воин древний, инвалид непобедимый, покачивает и покачивает русской доблестной головою, а о чем думает, нам не узнать. Мы, русские, печалью не делимся, злобу не таим, а подвиги совершаем поодиночке, потому Бурда нам и путь перегораживает брюхастой коломбиной, обжорно вырыгивающей то жареных гусей, то запеченных осетров. Солдатики слюнки глотают, а старушки и коляску с бабкой Афанасихой сдвинуть с места не могут, буксует и буксует в колдобине, а ветеран храбростью томится.

У Дмитрича странная манера: вечером, выходя за водою или просто к соседям, брал набалдашник. Дед выстругивал набалдашник старательно, из дубового корня, с завитком и наподобие трости. А странная манера — оставлял набалдашник возле калитки. Стеснялся ли Дмитрич являться вооруженным, иная ли причина, но реальная — хулиганы, воруе. У колодца грабят, раздевают, в туалетах женщин подстерегают бизнесмены...



Да и работал Дмитрич, считай, полвека — молотобойцем. Кувалда — привычной куска хлеба. Дмитрич неказистый и щуплый, но замах — погибельный. А тут, пробираясь от меня, чуток поддамши, по дождю и грязи, дед обнаружил впереди жуткое чудовище. Расположилось оно поперек улицы у канавы. У рва, того рва, нырнувшего под брюхо «Нивы», и Дмитричу ни туда, ни сюда. Оно, чудовище на четвереньках и посапывает. Показалось.

Дождичек моросит. Осень. Темно и тоскливо. А чудовище не шевелится, и Дмитрич, с меланхолии перестроился на мат: «Сторонись!..» Но чудовище потопталось четырьмя конечностями и засопело. Дед приготовился к страшному замаху. На фронте ему выдавали сто пятьдесят для атаки. И сейчас Дмитрич возбужден и жаждет вражьей крови.

Дождичек моросит и снежком пахнет. Одиноко и напряженно. И никогда не предполагал дед оказаться пленным на собственном участке, у родного очага. Окружение не окружение, но слюни завяжи: время не в нашу, а их пользу, русские выщипаны: топни — удирают, а здесь чудовище явно засопело и поползло на него. Поползло, перегибаясь и удлиняясь. Морской змей? Лохнесе...

Водку из Дмитрича вышибло. Свирепея фронтовой справедливостью, дед подался вверх и едва ли не из-за спины, с растяжкой и солдатским удовлетворением, опустил набалдашник. Чудовище дернулось, ткнулось и развалилось на две распутных фигуры... Открылся путь. Кусты заерошились. И в канаве закувыркалась луна.

Русская грязь кого не проглотит? Это корова подавилась картофелиной. А наша русская грязь бронепоезда немецкие засасывала насмерть. Утром — ни звука. Дед зорко прошелся — тишина. Удалился в поле — полный порядок. Ничто не свидетельствовало о вчерашнем сражении на берегу рва. И у канавы — никаких признаков, никаких следов. Русская тайна — великая тайна!..

Ничего не подозревала старуха, ни о чем не догадывалась корова. Куры кудахтали. Собаки лаяли. Печи топились. И по робкому преддизмью за особняком стелился вкусный дымок. Я досуха вытер «Ниву» и запер ее в гараже до весны.



Языческая незыблемость — основа России. И только Олег Павлович Бурдаков изменился. Всех нас оповещает, гоня коломбину, а выгружая пакеты, пылесосы и ящики фирмы «Халь-Гоп», вывешивает на капоте плакатик «Понадобится — отдерну!». Усы выхолил Олег Павлович, густые и щеголеватые. Но при Дмитриче порхает и суетится, снова уже в белом халате, как Руцкой, на огуречных грядках в Израиле или же Ельцин в продмаге Москвы. Помните?

Поди и кровь еврейская тоже имеется в Бурде? Очень талантливый: на рынке соревнуется, конкурирует и книги пишет. Супруга Олега Павловича прикатила: «Покажите мне Дмитрича, крестьянина!» Я показал деда Виктории Ауэзовне, поморщилась: «Чиго русского нашли в нем?..» А я подумал: «И в нас чиго русского? Мы, русские, известно — татары, а какие татары — не русские?..» И вдобавок подумал: «А не тебя ли, пляжную хавронью, с Бурдой или прапорщиком иным огреб дед дубовым набалдашником?»

Но дед покашливал, волоча на санках солону, плескал водицей, неся ведро. День поздно появлялся из лесу и рано исчезал в нем. Ночью звезды, как теплые алмазные цыплята, проклевывали небесную пелену, и свет их, мерцающий и непокоренный, проникал в каждое скромное окошко, в каждую слабую душу.

## *Дедушка мой*

Дедушка мой Александр Александрович Сорокин — аккуратный был человек. Возьмет зеркало, складное, сядет на скамейку и подстригает усы. Долго, с большим знанием дела и настоящим почтением к себе. Усы у него — не пышные, но достойные. Нос прямой. Лоб чистый, с приятными умными морщинами. Волосы туго на затылок зачесаны.

Когда дедушка одевался в рубашку, косоворотку, он подходил на древнего римлянина, из учебника по истории, на скульптуру... Честный до щепетильности. Чужого копейки не примет. Долг с лихвой выплатит. И угостит. Нищим подавал щедро, но не вникал в них, за исключением погорельцев или искалеченных. Здоровых нищих кормил обедом, стыдил и выпроваживал:

— Эк, хряк, теплый, иди, иди, работай, на завод!

Никто на него не обижался, но все на хуторе побаивались его. Язык у дедушки — бритва, а сила — мерина из ухаба вместе с возом вытащил, а на другой день продал: «Избаляется, таскай да таскай!» Бабушка не возражала. Вечно надеялась на хозяина и на непобедимость его натуры. Ценил Александр Александрович в людях — толк, в скотине — пользу, в природе — красоту.

Сеять просо, пшеницу, лук или картошку сажать — бабы ивашинские и мужики гуртом, как на собрание, вваливались к Александру Александровичу:

— Александрыч?

— Слушаю.

— Че сеять пора, че сажать можно?



Александрыч поднимал глаза к небу, таинственно перебирал пальцы, то на правой, то на левой ладонях, нюхал щепоть земли из-под ног, подкидывал ее, проверял, как рассыплется, сразу или с-подволь, и смело объявлял:

— Все можно, слава богу!..

Пчеловод-то он пчеловод, хуторянин-то хуторянин, а главная его государственная профессия — лесник. Отец его был — лесник, дед его был — лесник и прадед его был — лесник. Господи, че я, че, да и ведь даже мой отец — лесник. Сорокины, мы — лесники и пчеловоды.

Ляжет первый снежок, дед шинель оденет, руку между пуговиц, ладонь, засунет, шапку-ушанку, со звездочкой, подвострит — и с правой стороны хутора до конца, а потом с левой стороны до конца хутора прошагает: дрова завезены и распилены, порядок необыкновенный. Некоторые мужики ему:

— Александрыч, спасибо!..

А некоторые, самогон поклевавшие ночью, потупливались долу:

— Завтра попилю березы, попилю, дед-папаша!..

— Шевелись, шевелись! — величаво напутствовал дед, и шагал далее. А по косогору над хутором Ивашлоу в данные же минуты шагал самодовольный медведь, мол, ты, Александрыч, хозяин на хуторе, а я в тайге.

Бабка традиционно пророчила:

— Ты с ним добром не разойдесси!..

Иногда дед брал меня с собою в лес. Задирали седую голову под высоченным кедром:

— Внучек, внучек, кедр-то облака задевает кудрями! — И поглаживал великана по бокам. Медведь двигался миролюбиво за нами и копировал деда: галошеобразными лапами старательно шлепал по дереву.

Весною дед завораживался белым пламенем цветущей черемухи. «И-и, внучек, внучек, она белый жемчуг роняет, белый жемчуг. А белые лебеди собирают его на белых зорях и в белые реки Африки золотой роняют!» — утверждал он. Удивительно похоже щелкал по-соловьиному, заставляя хрипатых соловьев зазвенеть хором.



С гор сбегаящие сосенки, посаженные им когда-то на четыре стороны, называл художественно: хвоистыми водопадами... И если бы я ныне произнес ему обожаемые слова Горбачева — «паритет», «приоритет», «парадигма», дед глотнул бы таблетку «от давления» и пощупал бы у меня лоб: не затемпературил ли я?.. Кланялся дед гранитным скалам и холмам родоначальным. Растворялся в озерных маренах серебристых. А за вьюгою белопарусной плыл бы, наверное, и плыл в челне долбленом.

И зверя дедушка уважал. Без ссоры не трогал. Без покушения отпускал на свободу. Гуляй и плодись, еще встретимся и взаимно пригодимся. Дед запоминал зверя, зверь запоминал деда. А занимался Александр Александрович, особенно в старости, пчеловодством. Бабушка Евдокия помогала ему. Дымарь сухой трухой начиняла. Сетку на спине затягивала. Но отличалась от дедушки назойливой неуступчивостью, как всякая капризная женщина. Начинила дымарь, завязала сетку — отвернулась и за бабьи заботы принялась: тесто месить, масло бить, пирожки печь. Правда, бабушка Евдокия нас, внучат, не обделяла гостинцами, но дедушка относился к нам значительнее.

На авторитет Александра Александровича трудилась вся семья. Отец, мать и мы пятеро, их внуки, да и те, трое, погибших в малолетстве братиков наших, трудились на авторитет дедушки, но вроде бы — заочно... Если хмурился Александр Александрович — настораживались. А цыкнет — на печь залезали и, пока не позовет, грелись до пота. Отец и мать старались не встречать в противоречия с дедушкой. Дедушка учил нас жить, ругал за ошибки, обеспечивал на зиму золотящимся медом.

Улей, пенек, колоду, выдолбленную из липы, толстой, как баобаб, дедушка с отцом поднимали на высоченную листовенницу, мочальными веревками прочно прикручивали к стволу. В колоду тут же вселялись дикие пчелы, и начиналась дьявольская круговерть: на поле — и в улей, на поле — и в улей. Золотым дождем вспыхивали под солнцем пчелы. И



мед золотился на солнце. И солнце золотилось. Золотились хлеба.

— Красота! — бодрился Александр Александрович и карбалкался на лиственницу, в сетке, с фонарем, и дымарь курит у пояса, где висит и специальный широкий нож — мед подрезать...

Подрежет дедушка мед — опустит в широкий чиячок, посудину деревянную. Подрежет — опустит в чиячок. На дворе стемнеет. Солнышко закатится. Похолодает. От речки туман по лощинам поползет. Звезды проклюнутся из синевы. А дедушка подрезает. А дедушка подрезает. Забывшись, оторванный от земли, подымливает тлеющей трухой и чиячок наполняет.

Авторитет у Александра Александровича большой. Семья большая. Меду много. И дедушка упоенно пчеловодит.

Тишина. Ветерок зыбкий и покой в Ивашле и в мире зыбкий. Трава засыпает. Цветы ежатся и пчелы спать хотят.

И вздумал как-то приблизиться к лиственнице неизвестный медведь. Обошел у комля ее, а она в два или три раза толще улья, прислушался. Слышит — шебуршение легкое наверху. Сам зашебуршился. Морду вскидывает — ничего не видит. Ветви лиственницы густые, разлапистые — тьма. Медведь притаился и начал ждать. Ждал, ждал и так заждался, как бы и стоя, вздремнул. А дедушка в этот миг усомнился в чем-то и неловко повернулся на плоско вытесанных сучьях, заскользил и с чиячком, дымарем, ножом, в сетке, и еще крепкий, упал на медведя.

Медведь прыгнул метра на четыре в сторону от лиственницы и на себе пронес туда Александра Александровича, пока тот не свалился со зверя и нечаянно не махнул ему по физиономии присвистнувшим дымарем. Медведь сильно перепугался от грохнувшей над ним беды, затрясся — попытался вскочить, распрямиться, но обмякли у него мохнатые ноги, он сел и, как обиженный ребенок, завыл, тараша сверкающие зрачки в сторону пчеловода.



Тем временем дед успел сориентироваться на местности, служил в лесниках, и, сознательно, хватил гостя второй раз по морде дымарем. Медведь закачался, заорал и спрятался за лиственницу. Спрятавшись, начал еще беззащитнее орать и оттуда выглядывать. Тогда дедушка под покровом ночи подполз по-пластунски к лиственнице, выбрал момент и дернул с таким отчаянием зверя за короткий хвост, что тот, обхватив башку передними лапами, со стоном прыгнул в бездну.

Далеко за огородом трещал ольховник, взметывались в ночи кусты симбарики и катился по оврагу погибельный крик. А утром дедушка отправился пораньше по следу разбойника. След кружил у ближней тайги, потом свернул к паесеке, ломая молоденькие рябинки и березки, потом четко побежал к лиственнице, но, не достигнув ее шагов на двадцать, тридцать, запнулся. Медведь рухнул и скончался. Сердце разорвалось. Зверь и лежал потрясенный, обхватив голову передними лапами. А дедушка спасся...

Уезд наш, Преображенский, числился в составе Оренбургской губернии, когда меня еще и на свете не значилось. А позже, при очередном разделе России, район, переименованный в Зилаирский, пхнули в Башкирию. Но сколько ни переходила территория туда и обратно, авторитет моего дедушки не угасал. А по случаю с медведем Александр Александрович выдвинулся вообще. Даже после войны узнают чужие шоферы — я внук того деда, который медведя до смерти испугал, прокатят на машине.

Лишь бабушка Евдокия, порой перегибая в конфликтах с Александром Александровичем, корила:

— Ты медведя насмерть испугал, а я тебе че, изведешь и похоронишь!

Дедушка от подобных слов терялся. Замыкался и мрачнел. А мне советовал:

— Не канитель бабушку сегодня, она устала!..

Бетонные трассы, авиарейсы, отравленные реки, развороченные горы, уничтоженные леса разлучили с животными





---

нас, оравнодушили и притупили нам чувство и слух. За околицей — вороны, ленивее кур. В городе — каждую секунду машина на тебя наезжает.

Но, живя в столице, я посещаю зоопарк. Толкаюсь у клетки с медведем. Медведь в Москве странный. Дашь ему конфетку — другую давай. Дашь другую — третью требует. Наглый. Сердце у него не разорвется. А вдруг он праправнук дедушкиного медведя?

А часто ли мы слышим иволгу? Помню, дедушка говорил мне: «У, серых-то птиц не сосчитать!.. А иволга — зеленая. Вот как ее природа любит!..» А медведь в зоопарке, как мы в городе, скучный. Одиноко ему. Да, в Москве не только зеленую, и серую-то иволгу не увидишь.



**СТАРТ ЧУДОВИЦ**

*Госсекретарь США Мадлен Олбрайт — старая агрессивная Лохнесе, она, гремя водою по жабрам, проносится в океане мимо Билла и Моники, угрожая безопасности капстран, омываемых морями. Ревнует бабника или шалит, сказать трудно.*

*Сегодня едва ли не каждое живое существо помешано на лихорадочной зависти и на собачьем сексе... О чем и речь. Я пишу так, как вижу и чувствую, а не выдумываю и не фантазирую: и без выдумки легко рехнуться честно трудящемуся человеку.*

*Реальность экзотичнее небыли, безнадежнее сказки и веселее шута горохового: ухахочешься до сдвига в интеллигентном лбу. Накуролесили Лохнесе — он, она, оно...*

*Зачем выдумывать? Зачем фантазировать? Хватай их покрепче за уши, хвостатых грызунов перестройки, и волокни не мешкая на суд нашей героической общественности!..*

## *Сказание о Лохнесе*

*Эта повесть в пяти частях — занятная и поэтическая картина: герой повести Спартак Еремеевич Воротилов оказался Борисом Николаевичем Ельциным, а его Наина Иосифовна — супругой Леонида Ильича Брежнева, Викторией Голдберг якобы...*

### *Часть первая*

#### **ЛОХНЕСС, МАРЬЯ И ЕРМОЛАИЧ**

В Кремле дебилы захватили вора,  
А вор успел уволить прокурора...

Грош цена тебе, несравненный читатель мой, если ты не способен перескакнуть из одной эпохи в другую, от дурного лидера к гениальному, от тоталитарного счастья к демократическому... И так далее — пушистым хвостом обмахивая перила по крутой и захватывающей дух лестнице перестройки. Гикнули на тебя, обалдуя, и ты понесся, хунхуз!

Марья никогда не перечила мужу. Устанет Иван Ермолаич, закроет в гараже «Волгу» и домой, домой — к теплому столу, к нежной супруге, к жене Марье, чья скатерть чиста и приветлива, чье лицо мило и благородно, чьи заботы проворны и недокучны. Иван Ермолаич доволен судьбою, а в начальники он не собирался лезть: шофер — царь и раб, командир и солдат, а начальник — синтетическая мырма. Вызвали его наверх — сажай и вези. Отпустили — сажай и опять вези, дубину...



Марья в меру набожная. В меру начитанная. А про Лохнесе Марья накапливала фактов по строчке, из газет и книг, журналов и календарей, обильно продающихся в киосках и на лотках. Любопытствуй. Да и привидение Марья испытала, углубясь в непрерывные поиски дополнительных подлинностей, касающихся новоявленных чудовищ. С ума и на ум, с ума и на ум разгадки о них и о них. И причудилось Марье на ранней зорьке утренней:

— Начальник-то мужа твоего Спартак Еремеевич Воротилов блудит, Марья, али не блудит, доложи Лохнесе подробно и без предвзятостей!..

— А ты кто? — оторопела Марья.

— Я?.. Лохнесе, я слежу за поведением крупных чиновников, и, ежели они обижают жен и прелюбодействуют, я их, по решению и рекомендации тайного подводного комитета, кастрирую и должности лишаю!..

— А ты врач? — удивилась Марья и спряталась под одеяло.

— Я врач и психолог, я зорко наблюдаю, как люди, переравав самих себя, требуют от близких и знакомых того же, сея смуту, злобу, несчастье и страх. Обязательно кастрирую Еремейча, обязательно!..

Марья перетрусила, даже и мужу не обмолвилась о Лохнесе, но трусь не трусь, молчи не молчи, а секрета бесконечного нет.

Плохи русские дела,  
В города и веси  
Из Нью-Йорка заплывла  
Нас пугать Лохнесе.

Иван Ермолаевич, седой и крепкий, в этом году решил отпраздновать День Победы на воле, на свободе, отдохнуть от «Волги» и от ее Спартака Еремеевича. Май был необычно светел и жарок. Кругом в саду зеленела трава, молодая и быстрая. Налились упругим соком яблони. Торопились расцвести вишни. Хорошо. И собака, Пушок, рядом. Медбрат: гладишь его — снимает стрессы...



По голубому легкому шлангу со свистом струилась весенняя вода, пущенная в трубы. А Иван Ермолаевич — поливать землю большой охотник. Тут — огурцы, подавай водички, тут — лук, не откажется, тут и петрушка просит. Чудо — эта самая водичка! Из чего она? В сотый раз кумекает Иван Ермолаевич, а понять не в состоянии. Вот, например, водка, все ясно — спирт. А вода? Какие-то молекулы! Молекулы, а человек и природа — на воде существуют. Акулы и киты, Лохнесе и крокодилы, но паче их Лохнесе!

Иногда Иван Ермолаевич свои философские открытия направлял на Пушка. Живет, говорил он, и ничего. Ни гриппа у него не случается, ни радикулита. А подерется — мигом забудет и успокоится, не то, что мы — люди. Зачнем плевать — годы не управимся. А закончим — о новой войне печемся, как бы не проиграть ее, как бы не попасться врагам на удочку, не оказаться в дураках. И пошло: и те и мы штампуем ракеты и опять ракеты. По радио — ракеты. В газетах — ракеты. По телевидению — ракеты. А ракета — кукла мертвая, ракете вода не нужна... Неужели, разводил руками Иван Ермолаевич, у Рейгана нет личного участка, садика? Бросил бы нашим Горбачевым он помыкать, без его капиталистических помыканий Горбачев — капторгаш. Прекратил бы Рейган учить, бросил бы он болтать про ракеты, поливал бы себе редиску... Поди — огромная дача. Плантация. Заклинило мужика на ракетах.

Иван Ермолаевич прислушался, опустил на траву голубой шланг. Из помятого и ржавого репродуктора, что болтался на покосившемся столбе за изгородью, булькало и выпадало:

Па-а-люби меня,  
Слышишь, па-а-люби,  
Па-а-ллюби!

Певица прокуренно хрипела и категорически требовала полюбить ее... И находятся добровольцы — любят?!

Да, озадачился Иван Ермолаевич, полюби такую! И жизнь твоя, и здоровье твое пропадет за неделю. Полюби ее...



И он попытался представить артистку, нарисовать для себя воображением, но передернулся, поморщился и заорал на Пушкиа:

— Пшел прочь!

Пушок, ошарашенный внезапным гневом хозяина, отскочил и громко, с какой-то даже обидной завистливостью принялся лаять на репродуктор. Обнаружив, и, по-своему поняв «дуэль» собаки и артистки, Иван Ермолаевич расхохотался и накрыл столик.

Веранда, где он организовал столик, свежела соломенной фанерой, сияла одним маленьким окошечком, наполненным майским солнцем. Мир в маленьком домике. Мир на маленькой веранде. Мир в душе у Ивана Ермолаевича. Он вывалил из тарелки утреннюю кашу в алюминиевую чашку Пушкиа. Налил чарку, синевагую, тонкого стекла рюмку, помедлил и произнес:

— За Москву-матушку ! Не сдали мы ее! — Потыкал вилкой в жареную картошку, пожевал, покачал головой, наполнил рюмку и вновь произнес, разглядывая стены веранды, заклеенные плакатами войны, с которых рвутся в атаку солдаты и матросы, произнес: — За Победу!

В репродукторе завозились, запыхтели. Кто-то сердито крякнул, и строго полилась пронзительная, далекая солдатская мелодия, и зарыдали слова:

Гаснет в тесной печурке огонь.  
На поленьях смола, как слеза.  
И поет мне в землянке гармонь  
Про улыбку твою и глаза.

Влажные искорки засверкали на рыжих ресницах Ивана Ермолаевича. Рябоватое лицо его чуть запунцевело. Маленькие уши зашевелились. Он дернул пятерней седые короткие волосы и смущенно заулыбался: «Черт!» Ивану Ермолаевичу, неизвестно почему, снова представилась артистка. Толстая, широколицая, она хлопала огромными, алюминиевыми, как чашка Пушкиа, зенками и вертела перед носом Ивана Ермолаевича ладонями. Толстые и мокрые пальцы ее сплошь



унизаны золотыми перстнями и кольцами. Перехваченные между суставами, они лоснились наподобие качественных сарделек. В мочках вспыхивали серьги. Фу, пакость, возмутился Иван Ермолаевич, вот если бы в войну такие продавщицы пели нам такие песни? Немцы бы до Кушки дошли...

Пушок долизал кашу и в открытую дверь преданно устался на хозяина. Благодарный и сытый кобелек расслабился, блаженствовал, и мягкая, длинная шерсть на нем, как спелый ковыль, кустилась и распускалась. А Лохнесе? Стеклянная рыба чешуя...

— За убитых! — и синеватая стеклянная рюмка взлетела над столиком. Тост «За убитых», обычно третий тост Ивана Ермолаевича, ответственный и последний. Последний потому, что Иван Ермолаевич больше трех рюмок не пил, не терпел охотников умножать тосты, убежденно считая пьяниц наиболее опасными, чем даже уголовники. Пьяница, заключал он, только ныне — пьяница, а завтра — прогульщик, послезавтра — вор, а дальше — уголовник. Похмельные сюсюканья или крики, пусть даже восторженно-безвредные, приводили его в бешенство: не мог он выносить ненормальности в человеке, хмеля. Хмель, горюнился он, в кровь от родителей к детям идет! Кто же, значит, данные родители? Аморалы... Водочные, значит, кастраты.

А ответственным тост был потому, что Иван Ермолаевич числил в убитых не только тех, лежащих в братских могилах по дороженьке — от Москвы до Берлина, а и тех, умерших через годы и годы, по разным селам и городам, от ран. А так как погибли в большинстве молодые — Иван Ермолаевич кладет еще на каждого из них по три детенка. По три, конечно, по три! Ведь те-то ребята не так цивилизованны, как сегодняшние — родят одного, баста! У тех-то по три было бы! Япония, великая русская Япония — под землю, закручинился Иван Ермолаевич. Даже — побольше, чем Япония... Россия в себя ужимается и ужимается...

На пенсию собирается. Без работы, уверен он, не отупеет и не заболевает. Да и возраста ему не много, пятьдесят восемь.

Жена Марья, добрая. Садик. Пушок. Шланг, голубой, нидерландский. Из модного материала «аля пупс», растолкова-





ла ему Линга Ильинична, супруга торгпреда. За сорок девять рублей продала она Ивану Ермолаевичу голубой шланг «аля пупс», около сорока девяти метров длиною. Правда, Иван Ермолаевич через пять лет увидел в хозяйственном магазине города Задорного шланг, удав и удав, извивается и заковыристо петлит, как в тропиках, и тоже около сорока девяти метров длиною. Материал ну точь-в-точь «аля пупс», но зеленый, и худенькая, пока начинающая, продавщица прыснула:

— Хи, «аля пупс», да никакой вам не «аля пупс», а делают зеленые шланги за пивным баром. Цех есть, алкаши вкалывают и перевоспитываются налегке. Вроде приюта для них, а зеленые шланги — успокоение, и стоят девять рублей метр.

Иван Ермолаевич вспомнил репродукторную певичку, толстую певицу с перстнями и кольцами на пальцах и серьгами в мочках, вспомнил хитрую Лингу Ильиничну, у которой на даче пять японских магнитофонов и три мозамбикских мясорубки, вспомнил родного Пушкиа и процедил:

— Сам я «аля пупс»!..

Хоть путь от Сталина до Ельцина прошел,  
Но счастья Ермолаич не нашел.

В гараже Ивана Ермолаевича никто по имени не называл, а величали просто Ермолаичем. И доходчивей, и кратче. А работал Иван Ермолаевич — маятник маятником. Потомственный шофер, он ценил профессию молча. Почти ни с кем не балясничал о ней, но в бригаде знали: нет лучше специалиста. Слухом пианиста, композитора определял он «заболевание» мотора, «заедание» шестеренки, изношенность контакта или свечи.

Город Задорный, где проживал Иван Ермолаевич, справедливо получил себе заносчивое имя. Делались тут разные разности. Воротилов, например, строил изящные финские домики. Раскладные избушки. Мог завернуть его трест и ого-го какую махину, с резными железными оградами усадьбу, с теннисными площадками, с баньками, милее скворечников, с качелюшками нескрипучими, с водоколонками,



мостиками и каналами. Действовали в Задорном и фабрики. Обувная. Тачала керзовые сапожки под настоящий хром, не различишь. И вид у сапог, и цена — настоящие... Булочную закрыли на ремонт. Двое пьяниц разодрались у ее дверей, и один, помоложе, рассек череп старшему батонном. Пьяницы, как у них закрыли булочную, переселились в разрушенную церковь, напротив. Но и в церкви драки — не диковинка. Иной раз и удаль оттуда доносится до центральной площади города Задорного. Вот недавно завернули слесари-водопроводчики с полочки, стукнулись гранеными стаканами за святыми полуразбитыми стенами у ослепшего и ободранного иконостаса и затанули:

Из-за острова на стрежень,  
На простор речной волны,  
Эх, выплывают расписные  
Стеньки Разина челны.

Пели честно, никто не халтурил. Весь город слышал. Иван Ермолаевич как раз привозил в горком на совещание Спартака Еремеевича. Все шоферы на горкомовской площади слушали. Даже сам Спартак Еремеевич чуток прихватил. Буркнул: «Подожди, не включай... Как поют, сволочи! Евнухи и евнухи тенористые!..»

Певцов милиция не берет. Берет драчунов. Особенно — когда пиво. Да и срамят церковь. Куда пойдешь? Под забор? Кругом — строительство. Одну и ту же дорогу ежемесячно асфальтом заливают. Толпятся люди. Вот и опорожняются «по нужде» в церкви. Где пьют, там и льют. Красные дьяволята!.. Социалистические мочегоны...

Спасибо случаю, садик у Ивана Ермолаевича далеко. А дача Спартака Еремеевича еще дальше. Иначе с ума сойти нетрудно. Если бы в сонные годы застоя, когда батон стоил восемнадцать копеек, а литр молока стоил двадцать копеек, и мы, не довольные доглядатайствами парторгов, нехотя брели из гаражей и цехов на праздничные демонстрации, Ивану Ермолаевичу показали бы Мадлен Олбрайт в экран, читающую стихи, патлатую древнеиудейскую курву, спасен-



ную от гитлеровцев и выращенную сербами, а теперь бомбящую сербов, теперь — читающую между взрывами «томагавков» и гремящими волнами пожаров, разве поверил бы Ермолаич в то, что Олбрайт — человек, женщина, старуха? Нет, не поверил бы!.. Такие мокрицы в те времена не выползали на экраны, а выползали рейганы, но их наши ракетчики и генералы быстро усмиряли, пока Горбачев и Ельцин не взяли Кремль...

А чем же забавляет убитых бомбами сербских детишек и покалеченных сербских мам, мечущихся среди минных осколков и погибающих от удушливых газов, напалма и химических реакций, чем? Олбрайт, патлатая пума, читает им, размозженным, стихи Сергея Есенина:

В багровом зареве закат шипуч и пенен,  
Березки белые горят в своих венцах.  
Приветствует мой стих молодых царевен  
И кротость юную в их ласковых сердцах.

Читает — на сербском, умеет!.. Молитву читать — Бог парализует, за есенинскую молитву Бог, авось, простит?.. Это не цинизм американской правительственной крысы. Это — суть иудейская: предать самое святое, самое близкое, самое дорогое у людей, надеющихся на Бога.

Фашистка Олбрайт. Кровавая развратница правил и законов на земле, в доме, в семье, в своей и в чужой стране. А где ее страна?..

Есенин — пророк: он еще в первой четверти двадцатого века о ней, об Олбрайт, гневно высказался:

Что ты смотришь синими брызгами  
Или в морду хошь?

Эх, Ермолаич, Ермолаич, давно предали нас горбачевы и ельцины!..

Евреям и с евреями надо быть осторожными, как нам, русским, с русскими: не все евреи не страдают России и не все русские страдают за нее. Писатель Тополь, еврей, предупреждает олигарха и банкира Березовского, дабы тот не очень



увлекался разорением русского народа и командирскими мостиками в России — взял и снял Примакова, а где свежего приличного еврея взять? Русские евреи, разобидевшись на богачей, обобравших их и нас, записались в очередь и уехали в Израиль социализм и равенство строить. Их кибуцы не чета нашим колхозам.

Выпьют они там — казачьи песни и пляски затевают, а у нас что, сам черт не поймет, какие мелодии гундюят и пародируют на стадионах и площадях, Крым подарили украинцам. А почему не нашим русским евреям? Тепло. Они бы из Израиля и нагрянули в Крым. Так нет, бери, хохлы, а вы, русские евреи, ждите и облизывайтесь!.. Хорошо ли мы по линии дружбы и возрождения России движемся? Выберут русские евреи в президенты Израиля русского израильского еврея — и Россия с удовольствием обизраильтятся. Арабы могли бы помудрее себя вести: хватит воевать за земли исконные, мы вон сколько по ветру пустили — в Москве от наплыва иноверцев подташнивает. Кабала взрывная.

Ежели Израиль вознесет над русским народом и над Россией свою могучую ладонь, никто нас не утратит и не обманет. Некому... А разные биллы клинтоны и мадлены олбрайты заткнутся в норах мышинных и шуршать перестанут. Зачем Ельцину галдеть: «Мы, россияне, мы патриоты великой страны, России, огромной и сильной!..» Зачем? Неужели Израиль менее достоин представлять нас, защищать нас, учить нас и отвечать за нас перед нами, перед Россией и перед мировым сообществом ныне? Израильтяне исполняют наши русские песни и пляски, а мы с вами глупо медлим и кочевряжемся: петь и плясать нам на идише пора!..

Мы же заартачились и чужие песни не поем, чужие пляски не демонстрируем, а свои давно позабыли, расисты курские, фашисты рязанские еще и еврейского философа Тополя тужимся опровергнуть. Карлики.

Мы начали тянуть на Маркса, этакую глыбу,  
А он, бедняжка, до самой смерти рыбу,  
Одну лишь рыбу ел,  
Ну, слышал я, и с мойвы офуел.



Отгрохал «Капитал» и снял с России пробу,  
Империи кранты, но и знобит Европу,  
Хотя котлеты жрет и с черепахой суп,  
А вот с тех пор — не попадает зуб на зуб,  
Да и Америка в межрасовых ухабах,  
Аж даже Клинтон погорел на бабах,  
Неужто сэра мучили поллюции,  
Как жертву нашей гордой революции?  
И лишь подпрыгивают радостно китайцы,  
Поймав себя за собственные яйсы.  
Маркс верный друг простых людей труда,  
Жаль, очень дорогая борода:  
Ведь сколько надо сил, чтобы такую лонить,  
Не менее ведра уйдет — одеколонить,  
И шляпу полную знакомых, не знакомых  
Собрать в нее возможно насекомых.  
Итог:  
Под ней ЦК КПСС, предав Отчизну, пал,  
А свет идей победоносных не пропал,  
Недаром возле памятника раздается вой —  
То бьются ленинцы о мрамор головой.

Прорабов реорганизации СССР дал народам страны ЦК КПСС, он и Главного Архитектора Перестройки подарил нам, скрепя сердце, потому что Михаил Сергеевич Горбачев нужен был и мировому пролетариату не меньше, чем нужен был нам, его законопослушным соотечественникам, по-цып-лячьи раскрывающим клювы на шведскую сосиску...

Марья, жена Ивана Ермолаевича, не была шибко грамотною женщиною, но и необразованною бабою тоже не была. Она еще девчонкою веснушчатой слышала про колоссальную катастрофу в Кремле русском. Будто в нем обитала Лохнесе, справедливое и грозное существо, неусыпно подбадривающее и караулящее честность в стране и в народах России, да вторглось в русский Кремль ее как бы двойниковое отражение, ненавидящее Лохнесе и заботу о нас. Кто-то произвел подлог. Выпустил на добрую Лохнесе эту ящерицу, якобы — колдующую тетку члена Политбюро Александра Николаевича Яковлева: страх и смерть!



Драка произошла между ними — с куполов золотых падали кресты мимо Мавзолея, а часовые, стерегущие Владимира Ильича Ленина, вздрагивали и хватались за револьверы. Но в зале, где заседают после демонстрации вожди, царил паника и замешательство. Чекисты только не растерялись: крутили магнитофонную запись данного сражения и ждали, олухи, указаний. А указаний так и не получили. Скрежет и вихрь свалили несколько серебристых елей у зубчатой стены, но никто, ни один член Политбюро, не приструнил вторгнувшуюся палачиху, зверину под маскою благотворительницы, и никто, ни один член Политбюро не осмелился сообщить о трагическом перевороте в Кремле народам России, СССР и всего трудящегося пролетариата. Контрреволюция возобладала.

Подменили всех, всех, всех!.. И центрального бровастого подменили, и вокруг центрального бровастого всех, всех подменили: носят на демонстрациях портреты, в Кремль ездят начальники из областей и районов. А величайшие аферы, подмены, значит, никто, ни один дурачок, не замечает, хоть и по народам бежит издавна молва.

Марья с Иваном Ермолаевичем на политическую тему не беседует: на кухне печет — молчит про бой между Лохнессями, картошку чистит — молчит. Ермолаич — бывший солдат, фронтовик: вспылит — наделает погрому и Спартаку Еремеевичу, и прочим руководителям стройтреста, проворонившим в Красном Кремле нормальную ауру...

Каждый человек, хоть мужчина, хоть женщина, если раздуматься, — чуток, чуток, но ведает не только про свои собственные тайны, но и про тайны близких. Нина, супруга Спартака Еремеевича, слышала о зигзагах и помрачительных приключениях мужа. Наблюдала и помалкивала. Ну, Тоня с портретом Еремееича... Ну, Лохнесе скончалась... Ну?

А Лохнесе, в самом деле, устало, борясь и сражаясь на фронтах человеческого бытия, устало и ночью задремало под мостом в омуте. Спит Лохнесе, но слышит боевой бас мужика, севшего на перило моста и взбрыкивающего по-бараньи ногами, сгибая и разгибая их в коленях:



Бр-р-оня крепка и танки наши быстры,  
И люди наши мужества полны,  
В строю стоят советские танкисты,  
Своей великой Родины сыны!..

— Свалишься! — насторожило акробата утонченное чудовище.

— А тебе, курве, какое страдание из-за меня, выпившего, а? — И правая нога акробата снова подвзбрыкнула, но левая, левая не успела, и он, косматый и распахнутый до брюк, закувыркался, заорал, заматерился, громко и неповторимо, и плюхнулся в середину омота.

Высовываясь и ныряя в темную жижу, чихая и отплевываясь на сторону, акробат растерялся:

— Тону!.. Товарищи, я тону!..

— Черт с тобою, тони, алкоголик недотыканный! — шевельнула хвостом Лохнесе и сладко завалилась на другой бок. Пусть тонет червяк. А червяк, уловив живое шевеление, подгрел к носу Лохнесе, не поняв с хмеля, кто перед ним, поднатужился и всю мешочную глубиною брезентовых легких не дыхнул, а дыханул чудовищу в пасть. Замер и, держась поплавком, выжидает. Вдруг Лохнесе взлетела над грязным омутом, ударило ластой о ласту и, взвизгнув, кануло на дно.

Позже Нине, супруге Спартака Еремеевича, сообщили: при вскрытии тела Лохнесе — у чудовища обнаружили инфаркт и алкогольное отравление: не сдержался Борис Николаевич Ельцин — лишку дыхнул!..

У Линги Ильиничны пальцы все-таки менее сардельковые, чем у продавщиц и у певицы, иногда высовывающейся из радиорупора на телевизорный экран, хотя они, продавщица и супруга торгпреда да и певица, — купленные барыжничеством и обсчетами населения стервы, выпьют и затевают, надоевшую, кто — по радио, кто — за столом:

Слышишь, па-а-любви,  
Па-а-любви!

Искусствоведы — кругом подмена!.. И в Мавзолее — подмена!.. Лежащий в хрустальном саркофаге — гений, стра-



далец за русский народ и за трудящийся пролетариат земного шара, живший до саркофага, — Ленин, выселяющий людей, арестовывавший, расстреливавший, даже Царя кокнувший с царенком, царицей и царевнами, лежит, разломивший империю и ее территорию, слитную, необъятную и русскую. Чингисхан.

Русскую Лохнесе подменили. Из Кремля Лжелохнесе изгнала ее. И подмена восторжествовала. Сталин клялся служить народу — не уцелел на клятве. Хрущев — скукурузился и заматюгался. Брежнев — из-за сардельковых бровей реальную жизнь на бронированной «Чайке» пробибикал. Андропов поклялся, но поздно — здоровье покинуло его еще до клятвы. А Черненко и клятву путем не произнес — хрипнул и помер.

Горбачев клялся-то клялся верностью к СССР, но тайно продолжал шпионить и передал взрывное устройство Ельцину: тот — покончил с СССР и доканывает Россию. По народу частушка о нем плутает:

Бабка Нюра на стерне  
Ельцина прибила,  
И теперь в моей стране  
Скучно — без дебила!..

Многие убеждены: Ельцин — третье Лохнесе, но не как первое, защищающее русский народ, а как второе, подложное и жестокое, и сосущее коньяк и водку, как Лжелохнесе — мыльную банную муть. Он и Лжелохнесе — опасные млекопитающие: не выбились в животные!..

А на ярославской земле народился бесенок с четырехугольной головою, подхрамывал, завидя взрослых, высовывал, прищелкивая о небо, язык и дразнился: приставлял пальчики к ушам, изображал чертика, и убегал по лесной тропинке, пропадая в капустных грядках. То был — грядущий член Политбюро ЦК КПСС Яковлев Александр Николаевич, лютый прораб и торговец землею русской, крестами и обелисками русскими.





Ярославцы стыдятся его имени, не признаются, что он родился на их ратоборной земле: утверждают — по его поганому следу проползли крысиные табуны и в труху перетерли ребяческие ступни изменника, отраженные на траве, около цветов, на золе, около костра, и в доме.

Все говорят: «А Яковлев шпион»..  
Хотя политбюровец штатный он,  
Философ, академик, вобщем, все советские регалии  
Висят на нем, как на чечене патронташ, до талии,  
А совести нема, теперь сей Телепредседатель  
Лыс, колченог, почти забыт, предатель,  
Лишь кто-нибудь, от удивленья пылок,  
При встрече поплюет ученому в затылок.  
И вы представьте, скользкая мокрица  
Способна даже этим возгордиться:  
Мне, дескать, начихать на злобные подробности,  
А я один такой из Ярославской области!..  
Но ярославцы спорят: «Нет, второй,  
Был Губельман\* еще, расстреливать герой,  
Соборы разрушать мастак большой,  
Его мы, как тебя, прозвали нежно — вшой!»  
Итог:  
Да, насекомое, да, приползло из клана,  
И пострашней хромого Тамерлана.

Никогда не покажут тебе ярославцы деревню ордынца, гнездо его.

Был бы Пушок человеком, сколько бы он тайн мог выдать обществу, осевшему в нафуфыренных виллах, коттеджах и особняках, осевшему, но жарящему, по вечерам и по ночам, лунным к туманным, шашлыки, разливающему шампанское и коньяк, вина и водку? Но тайны холеного быта нужны холеному обществу, а не Ивану Ермолаевичу, работающему хозяину Пушка, и не соседям шофера...

Пушок — бегавшая шерстистая энциклопедия! Пушок и о Спартаке Еремеевиче знает приключений гораздо больше,

---

\* Емельян Ярославский.



чем водитель Воротилова, Иван Ермолаевич, но Пушок натурою в хозяина: молчит и молчит, как молчит на народе Иван Ермолаевич и верная супруга его, оба молчат, а Спартак Еремеевич молодится и развлекается.

Ночь. Июль. Роса. Луга веют солнцем, скатившемся за горизонт, а в небе дремотно шевелятся жужжащие, греющие душу, звезды. Поэзия. Спартак Еремеевич, покачиваясь и блаженно пойкивая, хмельной, держит Тоню, секретаршу белесую, за голую титечку и целует, поворачивая, то титечку, то самое Тоню, целует и вкусно порыкивает, а Тоня изгибается и музыкальной ладошкой отстраняет, отстраняет тигра, а тот звериной мордою утопает в завезенной женщине...

Никого. Они и Пушок, случайно заскочивший на усадьбу шефа. Ладошка Тони — хрупкая и длинная. А у Спартака Еремеевича не ладонь, а черный черпак: лелеет, поглаживает, похлопывает, покручивает он уютные титечки секретарши, как вынутую из начальственного портфеля согревшуюся бутылку, врачуя, попестывает ее, а распечатать не хочет, недавно, значит, пил — приелось!..

А секретарша кудерьками ерахорит, животишко обнаженное втягивает и на него, на него, на Спартака Еремеевича Воротилова, норовит застрячь: на шее, на плечах, на груди, на брюхе его, вздутом шашлыками и алкоголем, да и за пупок Спартака Еремеевича Тоня зацепиться гожа еще. А Еремеевич бульдог в отсутствиях...

Ермолаич воевал с немцами, а Спартак Еремеевич нет. Ермолаич старше и осмотрительнее, а уж сегодня — подслепый и глухой: столько времени пророкотало?! Ермолаич пугает Еремееича с Ельциным. А Ельцин пьет с канцлером ФРГ Колем на Байкале водку, оба стучают стаканами, как заправские алкаши в разрушенном храме города Задорного...

Па-а-люби меня,  
Слышишь, па-а-люби,  
Па-а-люби!

Время, время, ты сконтачило певицу и президента, да еще где!..



А орден маршальский для Пугачевой Аллы  
Откуда-то принес кремлевский блудослов,  
Та с радости могла б перекричать хоть сто ослов,  
Но этого старухе показалось мало.  
Открыла форточку — и снова зал трясти,  
Не оторвет Киркоров сам ее от косяка,  
На «Скорой помощи» решили в ЦКБ шалаву отвезти  
И спрятать в карантин от молодого босяка:  
Пусть без супруги белые кальсоны он потрет,  
А та звенит наградою в палате и орет.  
А та вдруг морду высунет сейчас из мглы —  
В Азербайджане сдохнут и последние ослы!..  
Но, к счастью, суперзвезда в плену икот  
Забыла про правительственный скот.  
Итог:  
Когда же наш Гарант спустил указ в толпу,  
Даян перевернулся в цинковом гробу.

Будь терпеливее и проницательнее, читатель мой необыкновенный, и ты поймешь: время лица меняет у ворюг и у руководителей, меняет лица у актеров и генералов, но время не в силах изменить в них душу и совесть, если их душа и совесть не тоскуют о правде и Боге!..

Пушок — собака, понятливая и натренированная: к Пушку тоже навевается дачная сучка, в пегих крапинах, точках, смазливая ведьма, Пушку и удержаться невозможно. Когда садик пуст, он подскакивает и подскакивает, а барышня его, дачная сучка, улавливает момент и угождает Пушку. Контактируются.

Зовут ее Капа. Пушок к застрял однажды на ней, как застряла на Спартаке Еремеевиче Тоня, но Иван Ермолаевич специально не заметил Пушка и Капу, застрявших в аварийном положении за сараем садика: Иван Ермолаевич — настоящий пролетарий и не болтун.

И Пушок не слышит, как порывается Спартак Еремеевич и как постанывает в такт руководителю секретарша Тоня, допрашивая:

— Любишь меня?..

— Мым-да-а! — рычит начальник.



- А жена где? — беспокоится секретарша.
- В больницу охлопотал, подлечиться.
- Ай, бандит! — учащает дыхание Тоня...

На середине усадьбы — фонтанчик, омуток серебристый, обрамленный красным гранитиком, — прелесть. Около фонтанчика — политическая фигурка: галстук — и рука вверх выброшена, то ли спортсмен, то ли вождь. Когда-то усадьба принадлежала какому-то члену ЦК или члену Политбюро, и мраморный вождек — неотъемлемая деталь высокоидейного климата Подмосковья... Строгость — опора державы.

Разнагишавшись перед подъемом на балкон, Тоня, бухая, повесила алый лифчик, подарочек Спартака Еремеевича, на холодную бошку прифонтанного памятного чепчик и чепчик, а Спартак Еремеевич, не менее бухой, перекинул через плечо мраморного жоака синие китайские трусы, безразмерные — накидка буревестника революции...

Пушок поглядел на Тоню, на Спартака Еремеевича, на фонтан, на мраморную фигурку, под лифчиком и трусами, и протяжно завыл...

## *Часть вторая*

### **ЛОХНЕССЕ, НАИНА И ЕРЕМЕЕВИЧ**

Что Моника в Европе натворила:

Один мосты бомбит, другой с них падает, дурило.

Нищая и святая Россия, куда ты, куда ты стремилась, шагала, ехала, катилась, летела? Республики СССР отшатнулись от тебя, их заставили предать тебя, работающую и заботливую, политбюровские холоуи и зверуны, вчерашние утверждатели марксизма и ленинизма, трубадуры социалистического нерасторжимого бракосочетания и революционной неудержимой ассимиляции племен и народов, говоров и наречий...



Где они, проповедники неукоснительной праведности партпрограмм? Теперь они — вожди суверенных стран, государств, держав, регионов, округов, околотков, переулков и мокрых нор, в которых они прячут уворованных девушек, недобитых солдат, изохульствованных мальчишек.

Пустыни Средней Азии — изрубцованы траками танков. Горы Кавказа — искромсаны осколками снарядов. А в пустые мышинные хибарки и халупки, в безоконные избы русские, во двory, разгороженные и полынью заросшие, бегут изнужденные, рябые от страха и старости, давешние комсомольские посланцы, инженеры и каменщики, бульдозеристы и плотники СССР, несколько лет назад певшие:

Едут новоселы  
По земле целинной!..

Куда они, синеглазые и доверчивые парни и девушки, куда они уехали и к чему они приехали: к сгнившим сараям, к заброшенным огородам, гонимые боевиками, обобранные жуликами, преданные цековскими иудами, затыкавшими русский рот жидовским интернационализмом. Иван Ермолаевич и его Марья до тошноты налюбовались обрюзгшими мордами хрущевых и брежневых, а к итогу жизни — лохнессовой мордой Спартака Еремеевича или же Бориса Николаевича, не менее лохнессовой харею, утробно пропившую и проевшую Россию!..

Аристотель, аристократический кобель, нравственно выше их, вожаков широких народных масс!.. А Пушок — излишне сомневаться: честный пес, сравнить ли его с Еремеечем или же с Николаичем?.. Даже суки, сучки, Капа, Моника и Тоня, порядочнее и надежнее лидеров!..

Иван Ермолаевич по кровавым трассам доехал до Берлина за баранкой и после войны тридцать седьмой год едет за баранкой. Пусть не боевая «полуторка», а «Волга», но за баранкой.

Ведь не обязательно же служить командиром, начальником, руководителем. Нужно профессию ценить и знать — рассуждал Иван Ермолаевич. Вот вожу я директора Стройт-



реста Воротилова Спартака Еремеевича. Дядя — сто двадцать и еще один килограмм. В министерстве навалился на перила, курил у винтовой лестницы, рухнули стойки вместе с решетками. Ладно, произошло на втором этаже, и падать-то некуда. Ох бы и грохнулся! В «Волгу» погрузится — еле ползет «Волга». А так — неплохой человек. Получает паек. Курит. Ругается. На заседаниях Иван Ермолаевич слышит из приемной — Спартак Еремеевич бубнит один, выдвигает задачи один, решает их тут же один и распускает совещание один.

Имел бы он садик — добрее бы стал. А то — тоже дача. Огромная, скушная и государственная. Жена тощая. Нина. Не трудится. Водит на поводке кругломордого бульдога, самоуверенного и ленивого. Пушок ему сто очков даст, Аристотелю!..

Воротилов Спартак Еремеевич не балует личного шофера, хоть и отчествами они близки. Но уж, не думай, никто не спутает Еремеевича с Ермолаевичем. Правда, иные и перед шофером директора лебезят, заискивают, виляют. Но попадаются и гордые. Даже не кивнут навстречу. Апостолы независимые.

Мужик, Спартак Еремеевич, сносный. К женщинам не пристаёт, то ли честный, то ли жены боится, то ли очень тяжелый. Не пристаёт. Окромья Тони... Подчиненных зря не наказывает, но держит в кулаке. Порядок везде. Жаль — спорить здоров. Из-за Ленина, из-за Сталина, из-за Хрущева, из-за Брежнева, из-за пустяка лезет на скандал.

И речи обожает запузывать. Иван Ермолаевич посоветовал ему прекратить возить молодоженов Задорного «венчаться» к облезлому глиняному медведю на развилке шоссе Задорный — Алозерск, а еще по выходным дням заставлять его, Ивана Ермолаевича, катать женихов и невест то спереди, то сзади этого поганого медведя. Спартак Еремеевич булыжно разнервничался. Привез две свадьбы. Двинул речь на сорок минут. Сфотографировался с народом возле шелудивого медведя. С молодыми семьями. И уехал. А паршивый медведь, глухонемой идиот, как стоял, так и стоит. Какой от него толк? Ни красоты, ни ласки нету. Жалко буду-



щих ребяташек-то! Без музыки и обычаев появляются... Глухонемые созидатели равенства?

У Ивана Ермолаевича детей нет. Нет и у Спартака Еремеевича. Есть, и опровергает Иван Ермолаевич, — нет.

Вырастили Асю, красавицу, в институт определили. Осмотрелась, получила диплом врача, вышла за кубинца и живет теперь под Гаваной. Не ездит домой. Занята ужасно. За Асей вырастили Ксюшу, красавица, еще лучше Аси, в институт определили. Педагогом хотела стать. Диплом в зубы — и в Индию махнула. Родила троих, но уже — индийцы. Начал было возражать, куда те: все люди едины. Все братья. Братья-то братья, но зачем ехать так далеко?.. Калмыки и нанайцы рядом.

Жена веселая, а больная. Купили садик. Тружусь. Иван Ермолаевич подумал о сыне Спартака Еремеевича, Ванюше. Вздохнул. Далек он сейчас. В Копенгагене. Доктор-экономист. Книгу-трактат написал о Лохнесе, чудовище водяном. Ученый. Разволновался Иван Ермолаевич. Будь я министром, я наделял бы горожан цыплятами, кроликами, индюшатами, наделял бы заводских людей со дня рождения земель. На тебе кусок родной землицы. Расти. Мужай. Наследуй на общее наше устремление. Не бегай. Не заглядывай в чужие квартиры и чужие магазины. Хе, хе. Не ищи зверей в чужих водоемах. Работал, работал, на садик денег приберет Иван Ермолаевич, а окромя Пушка никого нет на земле?.. Марья — не в счет. Марья в нем аукает и цветет.

А вот, отклонился Иван Ермолаевич, — Линга Ильинична, она ведь тоже как бы за иностранцем замужем, хотя к за русского вышла. Без конца — за граница. Дома не бывает. Также что продавщицы-певицы, только умная. У той ворованные кольца, серьги, перстни, а у этой — честно приобретенные мясорубки, шубы, магнитофоны. Запуталась в барахле кукла ватная.

Иван Ермолаевич посмотрел на часы. Без пятнадцати шесть. Скоро закончится рабочий день. Выйдет Спартак Еремеевич на крыльцо конторы и махнет рукой: «На дачу!..»

Он вылез из кабины вороной «Волги». Взял тряпку. Протер стекла, фары, номера машины. Дуданул и, радостный,



опять сел за баранку. Машина — скрипка. Точеная, крылатая. Птица, а не машина. Как начальникам не реять?

А вот и хозяин. Большой. Посапывающий. Ядреный. Пахнущий сигаретами и дозированно-административным коньяком. Располагается поудобнее.

— Ваня, где и с кем отмечал ты Девятое мая?

— В саду, один.

— Как один?

— Жена болеет. Друзей почти не осталось. Один. Мы ведь в нашем возрасте потихоньку в противоположную сторону движемся.

— Ну, ну, — кивнул Спартак Еремеевич Воротилов, — а на даче никого?

— Песик. Пушком зовут. Песик.

— И у тебя песик? — огорчился Спартак Еремеевич. — Разные мы с тобой, а бобыли оба. Где наши дети? Мой, не могу разобраться, чем там занимается. Лохнесе... Отвык от родной земли. А твои?

— Мои еще хуже!

— Кто же их учит равнодушию?

— Не равнодушию! Человечности, значит, уважительности и так далее...

Замолчали.

Машина катилась бесшумно по теплему асфальту. Солнце сияло высоко и щедро. День все еще не собирался уходить, а разрастался и ширился. До вечера далеко. Дорога ровная, широкая, зовущая радостью и обновлением холмов и перелесков. Спартак Еремеевич Воротилов как бы державно задремал позади, за спиной Ивана Ермолаевича. Ушел в свое, грустное и неподвижное. Иван Ермолаевич поднадавил «газку», и «Волга» понеслась, оставляя за собой взгорки, качающиеся на малом ветерке березки, к пламенеющим синим долинам, вперед, к сизовато-белым вздымающимся, как снега, облакам. С детства Иван Ермолаевич наделен странным чувством — читать родимый край, понимать его и слышать. Особенно когда навстречу развернутся древние русские могилы, печальные и мудрые, непостижимые в своей тайне — передавать живому живое... На крестах и обелисках Россия распята...





— Край ты мой, — воспрянул Иван Ермолаевич, — сколько я проколесил по Европе, сколько я повидал сел и городов чужих, а нигде не выбрало сердце для себя покоя, кроме как тут! Мне кажется, умершие знают меня, они даже сейчас понимают, о чем я тужу, что я зажигаю у себя в душе. А зажигаю я свет. Он сошел ко мне в сердце со звезд над тихим лугом, перелился в меня из материнских очей, овеялся нежным вздохом с молодых губ моей жены, Марии, которая так хотела детей, хотела родить трех, четырех, больше и пухлей, и для себя это, для себя!.. А не капиталистам и генералам.

Сердце его застучало. Он еще пружинистее надавил «газку». И вороная «Волга», свистя и задыхаясь, выбросила из-под крыл верстовые столбы, загудела и вытянулась. Зачем родится человек? Остаться чем-то или в ком-то? Но не просто «чем-то» или в «ком-то», а в ясном, понятно-близком и родном, как речь матери, ревность любимой, как вон та зеленая и яростная трава на бугре; погибнет, а голос ее пургою шумит!..

Незаметно в память Ивана Ермолаевича вошел и задержался надолго фронтовой друг Костя Брусникин.

Высокий, стройный лейтенант. Студент-филолог. Храбрый и неукротимый, он стрелял из винтовки по вражеской цели, кидал в немцев гранаты, ходил в атаки со штыком. Среди юных парней он высмотрел и приблизил к себе именно Ивана Ермолаевича, Ваню. В короткие затишья Костя читал ему наизусть стихи Есенина. Читал, вскакивая, срывая с вихра шапку:

— Ваня, Ваня, если доживу, вернусь, буду учить детей России. России, понимаешь ты? России! Русскому, русскому! Дорогому, дорогому! Вот о чем я думаю, Ваня! Надо осознать — кто ты, тогда ничего тебе не страшно. Ты — уже бессмертен! — И ворожил, прищуриваясь до вздоха, до благоговения и слез:

Несказанное, синее, нежное,  
Тих мой край после бурь, после гроз,  
И души моей поле безбрежное  
Дышит запахом меда и роз.



Теплее становится на снегу, в окопе. Тише. Торжественнее и уютнее. Смерть тобою зачарована...

Машина летела, а Иван Ермолаевич бормотал про себя знакомые щемящие строки, бормотал и встряхивал коротко стриженной седой головой.

— Ты о чем? Опять стихи? — взбодрился директор.

— Опять.

— Не шофером надо было родиться, а писателем.

— Писатели разные бывают. Ершистые. Налимистые. Лохнессевые. Вот погибший друг мой, Костя, о котором я тебе рассказывал, был писателем, поэтом. А твой друг, романист Эдгар Фомич Алмазов — не писатель!..

— Почему же это так сурово?

— Потому, значит, что похож он не на писателя, а на тебя Еремеевич, на типичного служаку-рубачу, барина. Видел, сколько у него разных бляшек, побрякушек и чинов? Он и ходит-то как ты. Одолжение нам, чумазым пороссятам, делает.

— А как я хожу?

— Надменно-губернаторски, ног не чую и людей не видя.

— Партийный бай? Князь?

— Мулла... Но мулле Коран испытывает на истину в мечетях, а ты? Тридцать с лишним лет я тебя, Спартак Еремеевич, вожу. Тридцать с лишним лет тебе подают завтрак, обед и ужин, журналы. Солнце закатится. Луна догорит и опять — обед, ужин, журналы, газеты и вино. Тридцать с лишним лет ты в депутатах, в должностях, в жокаках. Что ты помнишь? Ты себя не помнишь, не только остальных. Ты ведь ничуть не сомневаешься в том, что ты — звезда, ты нужен, ты, только ты! Тебе — положено! Тебе — разрешено! Тебе — требуется! Но ты — бюрократ, совдеятник, так сказать, вшибала. А писатель мученика замещает на Руси.

— Замолчи! — заорал Спартак Еремеевич. — Ты, кажется, потерял всякую меру и всякое приличие. Терпенье мое кончается!..

— Спасибо...

Автомобиль подбежал к железным воротам. Дежурный, дед, в линялом эмвэдэшном мундире, привычно распахнул



калитку. Спартак Еремеевич мстительно высморкался перед сторожевой будкой в сторону персональной «Волги» и медленно исчез за оградой. Особый русский. Горло, не моргнув, перегрызет.

Гаранта в ЦКБ свезли на «мерседесе»,  
Открыли дверцу — в нем сидит Лохнесе...

Пушок, виды выдавший дворняга, остался один возле крохотного домика Ивана Ермолаевича. Он хорошо освоил — через несколько дней и ночей сюда опять возвратится добрый и работающий хозяин. Будет наполнять алюминиевую чашку вкусной кашей, будет выносить ему куриные косточки и конфеты. А пока он, завершив то, что ему оставили, гонял ветер по соседним дачам. Его никто не пугал, не бил. Он давно был ничей и в то же время — общий. Но привязался Пушок больше всего к Ивану Ермолаевичу. И его домик, легкий и солнечный, Пушок считал своим и неотделимым. Пушок не завидовал породистым псам, не завидовал Пушок их закормленной судьбе, цепям их и воротам.

Неодинаковые вокруг дома. Есть, и очень много таких, как дощатый, оббитый изнутри дешевой фанерой домик Ивана Ермолаевича. Пятачок земли. Кустики. Деревца. Есть попримичней. А есть солидные. Высокая ограда. Высокое крыльцо. Высокая крыша. Красное или серебристое железо. Высокие окна. С башенками и башнями, колоннадками и колоннадами, речушками и озерами. Балкончики. Балконы. Два и даже три этажа. Над забором проволока. У ворот часовые. Подтянутые. В солдатской форме. Новенькие. Не то, что дед в линялом эмвэдэшном мундире. Деда Пушок видел однажды. Иван Ермолаевич ездил с Пушком на автобусе к своему директору на дачу. Возил ему какое-то снадобье. А тут никто без разрешения не зайдет. Даже Пушка, смиренного, и, можно сказать, совершенно безвредного, ловят, норовят захватить и что-то сделать плохое. Полная тишина. Пустыньность. Редкое нарушение спокойствия обитателей роскошных домов — гостями или жирными, пузатыми их «зилами».



Сложно определить Пушку, где, в каком доме, роскошном или бедном, дадут сытнее поесть. Чаше в бедном ему перепадает. В богатых — свои кобели, заграничной породы, рослые, с верблюда, как у Спартака Еремеевича, бугай, аж на него самого похожий. А кличут песиком.

Иногда за оградами роскошных домов гуляет много красивых молодых женщин и мужчин. Говорят. Хохочут. Поют. Одежда на них не то, что на Иване Ермолаевиче. Кожа. Шелка. На забавных застежках, крючках. Пушок хоть и собака, дворняга, но не такой глупый, чтобы не отличить, чья одежда изящней, чья еда слаще — Ивана Ермолаевича или этих, гуляющих за плотными оградами. А и сейчас в Москве картина традиционная...

Прославленные ворьими делами,  
Жиды кружат в Кремле над куполами,  
Шуршит помет по кровле, по карнизу  
И попадает на башку каган-Борису.  
А тот кричит: «Я курса не меняю,  
Хотя и сам на всю страну воняю!..»  
И Думе он, как вшивого котенка,  
В премьеры предлагает нового жиденка.  
И вы представьте — шустрый этот жид,  
Портки поддернувши, на царский трон бежит.  
Гайдара мало, Коха нам и Уринзона?  
Уж лучше бы короновать Немцова иль Кобзона,  
Иль Женю Гангнуса с Коротичем короновать.  
Гаранта — Коржакову поручить! — свалить в кровать  
По решению Совета Федерации,  
Шунтации подвергнуть и кастрации,  
Законом запретить к нему любую жалость,  
Дабы тварюга впредь не размножалась,  
А слушала бы сутки напролет,  
Как по ее ушам течет израильский помет.  
Итог:  
Избрать царицами наполовину:  
Хунхузы — Таньку, а жиды — Наину,  
Вот будет чудо-то, кого ты ни спроси,  
Кикиморы такой не помнят на Руси!..



Наина Иосифовна, молва гуляет,— оренбургская казачка, израильтянка, значит. А Танька несколько автомобилей моментально освоила, подаренных ей за скромность и красоту иудейскую Борисом Абрамовичем Березовским, а он, Борис Абрамович Березовский сегодня — ум, честь, совесть нашей перестроечной эпохи!.. Старт чудовищ.

Но русская Лохнесе не сдается на милость спекулянтам, лгунам, грабителям, садистам, предателям и прорабствующим политикам. Нападает внезапно, мстит за униженных и оскорбленных русских людей, подозревая в Спартаке Еремеевиче — Бориса Николаевича Ельцина, и устрашает его, а ежели и ошибается, ничего, пусть, иначе — из Спартака Еремеевича Воротилова вызреет четвертое Лохнесе, минуя Бориса Николаевича Ельцина, вылупится и вызреет похлеще второго и третьего. Им, бронтозаврам, дай лишь поблажки: колокольню Ивана Великого проглотят и хвостом не шевельнут, юродивые троглодиты!..

И набирают себе в штаты таких же: вилястые, фокусистые, а обернутся из начальников, из бубнящих ораторов, блудливые, обернутся в Капок, сучек приусадебных, или бульдогов мордастых, обернутся — беги от них из родного дома, из России, ими оккупированной и терзаемой. Фамилии у них русские, а морды собачьи!.. Не Кремль, а зоопарк. И наша русская благородная Лохнесе вынуждена пользоваться заграницей.

Может быть, чекист Примаков госпитализирует их, вытрезвит Бориса Николаевича и вылечит тех, виляющих по Кремлю сук и бульдогов, к соитию стремящихся, да израсходованных на длинных железнодорожных трассах в Москву? Но в народе и о Примакове плутает частушка:

Полюбила Примакова,  
На диване с ним легла.  
Слышу — толку никакого,  
Кабы знала, не дала!..

Нина, супруга Спартака Еремеевича Воротилова, уверяет нас: «Нет, Лохнесе одно, наше, доброе и честное, а остальные — пародии на ее мужа, Спартака Еремеевича, начальни-



ка стройтреста, или на Ельцина Бориса Николаевича, бывшего начальника стройтреста!..» Сократ, а не баба. И узнает она их по запаху: от Еремеича несет коньяком и водкой и от Николаича несет коньяком и водкой. От Еремеича — на матраце, а от Николаича — через экран. И расстояние — не по меха!..

Иван Ермолаич и Марья видели: в кинотеатре «Новатор», что почти у Кремля, в зале, переполненном народом, празднично одетым и обутым, дамы — на каблучках, мужчины — на подошвах, платья, веющие духами, а костюмы, пахнущие зажиточностью и перспективой, в зале поднялся на звездную трибуну Гайдар:

— Мы, россияне, ликвидируем коммуны с их обещаниями!.. Мы, демократы, построим компактную небольшую Россию!.. Мы, экономисты и политики, превратим России в цивилизованную страну, равную западным странам!.. Мы России авторитет на мировой арене упрочим, да, да!..

— Кто мы?.. Вы кто?.. И были вы где?.. Куда партбилеты дели?.. — требовательно прозвучал голос через наодеколенные башки и головки.

— Я... я... я... Зачем кричать?.. Зачем кричать?.. — пискнул Гайдар. И заерзал, заерзал по трибуне, но раздался оглушительный хлопок, и Ермолаичу с Марьей показалось — с низкого лишаистого лобика Гайдара сорвало внутреннюю заглушку, вышибло паром, как вышибает самоварную крышку или вентиль из батарейной трубы, долго ржавевшей на свободе, за курятником или за свинарником в нерадивом колхозе.

Зеваки в зале заволновались, а пар, посвистывая и расточаясь, валил из ушей Егора Тимуровича Гайдара, свирепо надувшегося и приготовившегося лопнуть. Но не дал умереть народ своему кумиру. Появился сантехник, подобрал за трибуную вышибленную паром с низкого гайдаровского лобика заглушку и закрутил ее на положенном уровне.

Уши Гайдара провисли, перестали трепыхать в зал горячим паром и массы избирателей грядущих заплодировали будущему президенту России!.. И как не заплодировать: он расстреливал Дом Советов!.. Поверни очи, Немцов — герой, Явлинский — герой, Лужков — герой, Черномырдин — ге-



рой, Грачев — герой, Ельцин — герой, даже слюноязыкая Миткова — герой, на экране она — жар-птица: не уступит ни Моне, ни Тоне, ни Наине, ни Олбрайт!.. Есть женщины в русских селеньях!..

Марью и Ермолаича не облапошить. Ермолаича и Марью не оплести.

Кто говорит, мол, он шпиен, кто утверждает — выкрест,  
А он в Кремле сидит среди жидов и рад,  
Политбюровский высмерток, антихрист,  
Он из СССР соорудил нам ад.  
Себе приватизировал дворцы и виллы,  
А нам в аренду, негодяй, сует могилы.  
Крым прокутил Кучме, а Каспий, понимаешь, баю,  
Махан жующему эстету, Назарбаю,  
Для нас из США, первейших категорий,  
За золото привез ужасный крематорий.  
Тряхнет башкой, глотнет две, три, четыре стопки  
И давит, композитор, на электрокнопки:  
Нос у Гаранта, мы же не ослепли,  
Как в черноземе, в человечьем пепле,  
Глянь, паря харя!..  
Итог:  
Господи, я не обидел муху,  
Ну, а ему-то дай ты оплеуху,  
Чтоб он, визжа, крутя хвостом, не в шутку  
Вновь под Свердловском заскочил в собачью будку!..

И название обители — собачье. И с моста в канаву ша-  
рахнулся. И с Чечнею кровавую карусель запустил — десят-  
ки тысяч русских парней уничтожил, матерей и отцов осиро-  
тил, невест заставил скорбеть в одиночестве и непокое. Буд-  
ка — хутор, деревня ли, село. Будка-харя, урыльник, русские  
люди так называют воровскую морду...

В русских семьях теперь — один ребенок: разве возмож-  
но палачам сохранить его? Как не затеять бойню, дабы по-  
дождать возмужания парнишки, — и взять в плен его, уни-  
зить мать и отца его, славу и дух русских унижить?! Фашис-  
ты, они — за штурвалами России.



Задумайся над баснями, мой друг,  
И станет мир еще смешней вокруг.

Пушок ухо держит востро. Не суется, не настырничает. Не хамит. Лаять тут вообще бесполезно и крайне опасно. Один его приятель, Яшка, взял, дурак, и залаял. Цыкнули, а он пуще залаял. Цыкнули еще — лает. Вызвали какую-то дребезжалку, похожую на очень квадратный гроб с тракторным радиатором, и схватили Яшку. Машина откинула крышку, Яшка тявкнул — и уже нигде пятый год не появляется.

Говорят, видели на одном нетрезвом танцоре мохнатую шапку, сильно и родственно похожую на Яшку... Говорят, но сам Пушок не видел. Потому — лучше молчать. Шерсть — не чешуя...

Пушок не заметил, как заскочил на парадное крыльцо огромного дома, отделанного красным гранитом или же мрамором снизу. Навстречу ему выбежал ребенок. Бежит, а в ладошке — красная рыбина.

— Ня, ня, — кричит мальчонок. — Возьми!

И Пушок не растерялся, цапнул. Ел он эту рыбину на завалинке домика Ивана Ермолаевича и не мог наесться, такая вкусная — ноздри горят. Не то что бычки из пруда. Ими иногда кормит его Иван Ермолаевич — хек и хек.

Съел всю. Даже, наверное, съел еще бы несколько, но кончилась. И захотел он пить. Но воды нигде не нашел. Вечер искал. Ночь искал. Рано утром искал. Нет воды. Ни ведерка, ни кружки, ни стакана. Нет. Разные картины за это время наблюдал Пушок. Утром — увозили толстого дядю на работу. Машины. Машины. «Зилы». Впереди три, позади три. Считал сам. По бокам — черные «зилы». Важный дядя. А к вечеру дядю привезла «Волга». Без охраны. Одна. Такая же, на какой возит Иван Ермолаевич Спартака Еремеевича. Всю ночь горел свет в роскошном доме важного дяди, а утром, рано-рано, подъехала та, похожая на квадратный гроб с тракторным радиатором, откинула крышку и четыре молодых парня опустили важного дядю ей в брюхо. И пропал важный дядя, навсегда пропал, как Яшка. Наверное, тоже не к месту тявкнул. Ретивая опрометчивость.







Из ЦКБ Гаранта в Кремль ввезли на «мерседесе»,  
Вгляделись в рыло, он — опять Лохнесе...

Директор треста Спартак Еремеевич Воротилов натруженно и справедливо спал. Волосатая грудь его время от времени вздымалась, как сибирский тулуп, и, казалось, майка вот-вот разорвется по швам от натяга. Партийный бутуз.

Каленокаменный храп сотрясал дачу. Подпрыгивали тарелки в шкафу на полках. Дребезжал в прихожей холодильник. В гостиной зале покачивалась розоподобная люстра.

И снилось Спартаку Еремеевичу такое, от чего на мгновение он притаивал дыхание, а потом снова обрушивал скрежущий всхрап на усадьбу. Так спят идейно здоровые начальники. Стахановец... Марксистам снятся личные дачи, снятся кабинеты в Кремле, снятся изящные женщины и президентские резиденции...

Нашла бы Моника в Россию краткий путь,  
Гаранта завалила бы себе на грудь,  
Попробовала бы мотню ему реанимировать,  
Чтоб прекратил Наину деформировать  
И, в темпе половой активизации,  
Отрекся бы от капитализации,  
Во имя Ильича и социализации,  
Вплоть до создания в Кремле аж парторганизации!  
Но ведь нарежется, свинья, и в башне пролежит,  
А с Монею переспит двойник с Чупы, карельский жид,  
И выбросит ее за Мавзолей, как гадкого утенка,  
Она ж обидится, и не у нас, а в США родит жиденка,  
Их, слышал я, в Нью-Йорке маловато,  
Но девка тут ни в чем не виновата.  
Итог:  
Гарант очухается, пасть оскалит  
И всю хулу на Клинтона он свалит,  
О, бедный Билл,  
Уж лучше бы ты пил!..



Маленьким-то я был — на скалу закарабкивался. Гляну вниз, подо мною небо: орел сверкает крылами, широко и вольно круги прочерчивая по синеве: «А-г-р-р-у!.. А-г-р-р-у!..» — перекликается он с горными силачами когтистолапыми. «А-г-р-р-у!.. А-г-р-р-у!..» — отвечают они. Удивительные голоса их! Природа — в них. Гроза — в них. Ливень — в них. И отвага — в них. Орлом стать хотелось, тяжелогрудым и грозным, Родину нашу, крестами да обелисками, как храм свечами, заставленную, окликнуть и под крыло взять, измученную.

Другой-то, такой усталой, России нигде и ни у кого нет!.. Верните мне ее!..

Отдайте ее, отдайте мне!..

Как-то Марья повела Ивана Ермолаича за ягодами в лес, а лес да и местность вся не очень детально им знакома: дальше собственного садика они и не высовывались — люди стали злыми и внезапными... То раму в их избушке высадят и стекла разобьют, то калитку расшатают и с петель сорвут, бросив ее в канаву, едва отыщешь и удивисься умению русскому, хулиганов русских, крушить и пакостить.

Грибов мало попадалось, брели и брели, раздвигая заросли грязного леса, разминая грязную траву, и набрели между двумя холмиками на два кладбища. Их — двое. И кладбищ — двое. Справа по боку песчаному холмика — железные планки, крест-накрест приваренные, похожие на ужасные гвозди, вбиты в каменистый грунт — номера, номера, цифры, цифры по ним, и слева — планки, похожие на ужасные гвозди, вбиты в каменистый грунт, и тоже пронумерованы и цифры, цифры, цифры по ним пущены в поколения и в столетия, не подсчитать!..

Справа — русские люди, воины, умершие в госпиталях Великой Отечественной и погребенные здесь, под Москвою, дальневосточники, сибиряки, уральцы, а слева — немцы, нашедшие последнее пристанище в России: дрались и перлись за расширением, за утверждением веса и могущества Германии: получили — утвердились, лежат. В мае над ними чужие ливни холодно сверкают, а в январе над ними грозная буря



снегами кидается на полмира. А дома, в Лейпциге или в Хамбурге, помнят братьев и отцов. За что бились, за что дрались?..

Марья на колени — и реветь, молиться. А Иван Ермолаич прислонился к дубу, бледный: «Марья, за дощатую юрту нашу дрались, мы, а они — за левый холмик, за номера и цифры, их подытожат и увезут, а нашим, русским, лежать, Маша, тут бесконечно, кому они нужны, Маша, Спартаку Воротилкову или Борису Николаевичу Ельцину? Мы и себе, Марья, давно не нужны, давно сами от себя отказались!»

Обнявшись, как юные, они брели и брели молча между двумя холмиками, Марья плакала и молилась, а Иван вздыхал и вздыхал...

### *Часть третья*

## ЛОХНЕССЕ, МОНИКА, БИЛЛ КЛИНТОН

У Клинтона-то мочи не хватило,  
Вот был бы в Белом Доме Чикатило...

Недавно идиотическое чудовище Лжелохнесе в кремлевский кровавый бассейн загребало разухабистую одесскую воровскую молодежь. Встряхиваясь чешуистым телом на экране, хвалило головорезов: «Я за них отвечаю!.. Никто на планете без моего разрешения не имеет права и волоса в их кучерявых чубчиках тронуть!.. Мозги у них ужасно умные, мозги, да, да, мозги!» Эстет... Утонченный хмырь.

И недавно же это же чудовище повело по мыльному лону вод пьяною ластою — лысый Гайдар вылетел на раскаленный песок московского элитного пляжа и топырит жабры, воздух ловит, прожорливый ротан. А знаменитый, в законе, Чубайс? Взмахнуло чудовище ластою — в Кремле сидит Анатолий Борисович, шлепнуло Лжелохнесе тою же ластою — из Кремля опять, как выстрелили Толю, банкира международного!.. И лишь нижегородцы, новаторские «по-



томки» Минина, Немцов и Кириенко, до сих пор еще копошатся на жемчужном берегу в мокрой изумрудной жиже: молчат, словно Лохнесе их и не вышвыривало. Назначений ожидают новых. Сколько их, лысых и кучерявых, звучных и картавых, наглых и бездарных, произраильских и проамериканских, забурбуливалось и отбурбуливалось: то — в бассейн, то — из бассейна?!.

А чудовище, Лжелохнесе, лежит: рылом уткнулось в ЦКБ, а хвостом — в Спасские ворота, мамаистая акула, шевельнулось — и Виктор Степанович Черномырдин очутился на банальной суше. Ведь — богатеи, а без должности охраняемой остаться пугаются, киллеры подковерные!..

А чего Черномырдину робеть? За его спиною, из кабинета, видно кладбище расстрелянных. Даже могилки настоящих у восставших еще нет. Виктор Степаныч-то вместе с другими «полководцами» расстрелял безвинных, а к могилкам их, пока символическим, спиною повернулся: стыдно прямо глаза поднять? Конституционник. Совхозяйственник.

На окаянную Думу орет:

— Коммунисты!.. Переворот!..

А в США...

Билл не сумел, как надо, трахнуть Моника,  
Дал клавиш ей помусолить — и молчок.  
Купил бы шлюхе тульскую гармонику,  
Так нет, обиделся, бомбит иракцев, дурачок.  
Мол, ежели и далее не трахну ни одну —  
Славянам объявлю смертельную войну.  
С ним заодно на сербов рвется в бой  
Премьер британский, пудель голубой.  
Со страху уронив на Шредера фекалии,  
В компанию к ним влез глава правительства Италии,  
Ширак ввязался в гнусную войну,  
Наверное, как Билл, не трахнул ни одну,  
А Моника лежит в Израиле и плачет:  
«Зачем бомбить, коль клавиш давно уж не маячит,  
Им, циникам, опять нужны контрасты,  
Во че творят над нами педерасты!»



Святая Моника, а наш Главком, спроси у бабки Нани, —  
Свой клавесин посеял где-то в бане  
И в ЦКБ, небритый образина,  
Без армии сидит он и без клавесина!..  
Итог:  
В Кремле две секретарши, лесбиянки,  
Хихикают Гаранту в спину: «Янки,  
Хоть вытащи их, мытых, из бассейна, —  
Говно перед отвагою Хусейна!»

Эх, зачем я поэт, да еще — такой русский, кажется — все зря погибшие и зря замученные люди русские стучатся в душу мою: «Пусти!.. Пусти!..» А она, душа моя, полным-полна страданиями ихними, слезами ихними, для своих-то страданий у меня и уголочка уже не осталось. Умру, так в могиле долго Иисуса Христа благодарить намерен...

Какой переворот?.. Какие коммунисты?.. Коммунист — Билл Клинтон, большевик суперменный. Крутанул бровью — Явлинский перед ним, пионер и пионер, докладывает, подзаикаясь!.. Крутанул бровью — Генеральный Зюганов прижал к философскому лбу ладонь и отчитывается о сделанном, честно и подробно, с комсомольской искренностью и задором!.. Крутанул бровью президент США — генерал Лебедь запенил бурун у ног Билла!.. Не Билл, а Феликс Эдмундович!.. Комиссар!..

Эх, нашелся бы хоть один — настоящий русский полковник: саданул бы по мутной колымаге, выплескивающей на трудолюбивый русский народ, да и не только русский, а на благородные народы России, — миллионотонную водочную отраву, уничтожающую рабочего — у станка, старика — в очереди за хлебом, ребенка — во чреве матери, ну, эх, нашелся бы лейтенант, бурятский Каддафи, татарский Насер, еврейский Богдан Хмельницкий — пишут, дескать, еврей он мариупольский, а нашелся бы и саданул!.. У, засемили бы тараканы, известью посыпанные!..

А то, слышите, истерично визжит мадам Жириновский. «Меня не хотят!.. Меня не хотят!.. Сволочи!» — гневается лидер ЛДПР. А чего ему визжать и гневаться? Старая дева — и



есть старая дева!.. Да и в Кремле долго пахло нафталинными духами Тэтчер. Госпожа пятно на челе Горбачева пыталась оттереть импортным одеколоном, не получилось: пятнистое чело мелькнуло на продажном экране, а пятнистый лошажий череп на Куликовом Поле — для обозрения русичам, не изменившим Христу и праведному звону меча каленого!.. Ратники есть — жаль, князя бесстрашного нету!.. Не на Спартака же Еремеича уповать?

Матерь бессмертная,  
Богородица пресвятая,  
Наступи на поганые языки  
Лицедеям, фарисеям,  
Банкирам и министрам,  
Комментаторам и дикторшам,  
Сеющим в душу русскую  
Грех и омерзение!..  
Богородица великая,  
Защитница жен и невест русских,  
Накажи золотозобого голопузого Гайдара,  
Утихомирь взбесившегося Черномырдина,  
Зажми клюв кукарекающему Явлинскому...

Пусть они упрутся мыслями в кресты, в кресты, в могилы, в могилы, в кладбище безвинных, восставших, но расстрелянных ими, ими, ими, окопавшимися за бочоночным брюхом Лохнесе!.. Освободи нас, людей хлебопашных, от ленивых генералов, дай нам, людям, в очередях измученным, гвардейского лейтенанта: он — Дальний Восток сбережет от китайского заполнения, Сибирь за долларовые долги не отдаст янки, деньги запретит печатать в Чичьме и Мелеузе, Торжке и Анапе!.. Он — русских вспомнит, по СНГ раскиданных и забытых!..

Пахнет нафталинными духами, пахнет. В Кремле пахнет. И Лжелохнесе лежит: рылом уткнулось в ЦКБ, а хвостом — в Спасские ворота!.. Недееспособно чудовище: и, к счастью, из Америки не Моника едет, а вторая Тэтчер — гражданка Олбрайт!.. Некоторые кричат: «Олбрайт!..» Некоторые кричат: «Олбрайт!..» Где истина, товарищи депутаты?



Как вам не позорно, люди русские, иметь подобную холуям оппозицию? Как вам не позорно, люди русские, иметь подобных холуям генералов? Как вам не позорно, люди русские, терпеть бред дикторши Светланы Сорокиной, свежо схожей дарханым обличьем с Председателем Великого Народного Хурала Монголии Батмунхом Цэдэнбалом, но в свое время призывавшей: «Стреляйте красно-коричневых революционеров!..»

Как вам не позорно, люди русские, терпеть кляузные эмоции диктора Евгения Киселева и его дергающейся подружки Митковой, без них телецентр давно превращен в антирусское сексостойбище, смердящее по областям и республикам России, а с ними — дышать вообще нечем: понашкодили на земле немилой, вот и мерещатся им в курином яйце — русский фашист и в чесночной котлете — русский фашист!.. Фашисты фашистов ищут? Почему рот замкнули вожди оппозиции, нравится им — как распинают мерзавцы русский народ? Чем еще дать по зубам русскому народу, какой еще несправедливостью огреть его, каким пойлом еще оплеснуть его, — война и спасителя?!

И мы, писатели русские, елозим по трибунам, шоркая пенсионерными джинсами и тряся лишаистыми бородками: «Утлое стадо православных сохранится от убоя, малое, и нам в сие стадо утлое угодить и выжить надо, угодить и выжить, угодить и выжить!..» Коллективисты.

Какому Богу изменник угодит? Христос не поощрял изменников! Ну, спрашиваю вас, вас, одинаково лобызающих Иуду и Христа, спрашиваю: какому Богу угодит предатель?.. Христа и реформатор не объегорит! Мы, русские люди, упустив газеты и радио, телеэкран и толпу, ввергли себя в удивление и неприязнь, виноватость и обиду со стороны соседей, братьев национальных наших, а мы же — единая Россия, славноязыкая, славноратная. Россия, Россия, золотая, крылатая, взлетающая солнцем ясноснопылающим в зенит мир согреть и человека утешить!.

Навстречу мне с холма звенит багряно  
Знакомая рябиновая гроздь.





А по стране, покачиваясь пьяно,  
Сквозь нас бредут бесхлебие и злость.  
Я жил и пел, я плакал и молился,  
И никогда не думалось о том, —  
Как пожалеть, что я на свет родился  
Иль оказаться в море за бортом?  
Душа мозжит в смятениях и ранах,  
Подстрелянная вдруг на вираже...  
Сурово спят Матросовы в курганах,  
И не воскреснут Минины уже.  
По вечерам окутывает дали  
Чужая несговорчивая мгла.  
И потому аж до зари рыдали  
И утверждали гнев колокола.  
Гнетет меня железная усталость,  
И крик мой застревает на звезде:  
«О, ничего нам, русским, не осталось,  
Распятым на страдальческом кресте!»  
Скорбит земля деревнями пустыми  
И долларовым давится дождем...  
Но мы придем пророками седыми  
И витязями жданными придем.  
Мы воины отрядов неподвластных,  
Мы лжецарям обиды не простим:  
И отомстим за матерей несчастных  
И за невест плененных отомстим!

Легко ожесточиться и стрелы иронии в действующих нацеливать. Но Зюганов чуть припозднившихся героев на варварском суде защищал. А дерзкий командарм Лебедь две братоубийственных войны укоротил. И генерал Николаев черные алкогольные составы, катящиеся на русский народ, в горах Кавказа тормознул. А кающийся Лужков зря ли у Храма Христа Спасителя опекун? И губернатор Кондратенко, как перед Куликовым Полем Дмитрий Донской, дружины непоколебимые окликает. И-и-и-х!..

Едва коснулись локотком локотка витии России — и в премьерях академик. Зачем же к Биллу Клинтону поспешать



нам, разным, но единым — по России и Полю Куликову? Америка — Америке. А Россия — России. С нами Христос. И Богородица, мать русская, с нами. Довольно?

И путь русский — перед нами течет, кремнистый и долгий, тяжкий через Голгофу, через расстрелянных и убитых, оклеветанных и замученных, течет через украденных и проданных, изнасилованных и замурованных в подвалах — ма-  
ньяками, в песках — казнителями.

А чудовище, Лжелохнесе, в кровавом бассейне прислушивается тревожно, а могота иссякает. Скоро, скоро перестанет оно в океанах корабли наши крушить, а по рубежам нашим перестанет куски седой земли русской чугунной ластою откалывать и диким каркающим стаям кровь нашу свер-  
кучую разбрасывать!..

Земля седая наша,  
И путь наш седой и каменный, —  
Ночь опустилась над нами,  
Огромная и слепая.  
Но там, на слиянии  
Пространств русских  
И русских небес ярозвездных,  
Свет-Богородица,  
Мать русская наша,  
Одна, в белых одеждах, стоит:  
То ли к смерти она приготовилась,  
То ли нас на Победу  
Благословить вышла!..

Правда и неправда. Красота и безобразие. Жизнь и смерть. А мы, русские, — правдивы. А мы, русские, — прекрасны. А мы, русские, — бессмертны. Вперед!.. Вперед!..

Где наши прадеды? В Севастополе и на Шипке — под обелисками! А где наши деды? На Сахалине и на Хасане — под обелисками! Где наши отцы? Под Москвою и под Сталинградом, под Варшавой и под Берлином — в могилах братских, в курганах братских под обелисками! И дети наши в Праге и в Кабуле, в Таджикистане и в Чечне — под обелисками, под обелисками, под обелисками!



Не мешайте нам, русским, справедливыми быть, красивыми быть, честными быть, бессмертными быть, не мешайте!..

Авдей усек, что канцлер Коль  
Весьма не уважает алкоголь,  
И сам решил, рыбака на Байкале,  
Свой красный нос не полоскать вином в бокале.  
Простился с Кодем, ай, не утерпел,  
Надрался под Хабаровском и опупел:  
Дельфинить стал, гремя водой по синим ветхим яйцам,  
Разжалобился, полреки вдруг подарил китайцам,  
Мол, я с шунтами здоровей былого,  
И пескаря приплюсовал им из улова,  
Чечню пообещал, чем взволновал до слез,  
А далее такую ахинею нес!..  
С тех пор острят хабаровчане хмуро:  
«Кому бы сбагрить старого савраса,  
Оставил всех без Крыма и Кавказа,  
Сам без яиц, а мы уже с ним без Амура,  
Дались ему шунты, рыбалка и туман,  
Пропьет и Волгу-матушку, болван!»  
Итог:  
Ну а Гарант хрипит на берегу хунхузу: «Ко-оль,  
Позволь по третьей тяпнуть, а, позволь!..  
А настоящий Коль сидит и слушает их в Бонне,  
Записанных чекистом на магнитофоне.

Не через десять, так через двадцать лет Москва делается чужим городом для русских, столицей чужою, а, может быть, и государство наше, народом русским построенное и скрепленное, осиротеет раньше без русских, чем русские осиротеют в Москве, древней столице русских.

Христос нашел, полюбил и посеял нас между другими народами, он, бессмертный Христос, и укажет путь нам, русским, к спасению: нас распинают, а мы поднимаемся, травят, а мы воскресаем!..



Стремление выбиться в передовые, в первые — священное стремление нераядового патриота: деятеля, рабочего, учителя и врача, доярки и медсестры. Все мы — сестры и братья!.. Нам, России, завидуют. Ревность и зависть — у врагов наших. И поэт Владимир Маяковский учит:

Жил-был король английский,  
Весь в горностай-мехах.  
Раз пил он с содой виски.  
Вдруг —  
Скок к нему блоха.  
Блоха?  
Ха-ха-ха-ха!  
Блоха кричит: «Хотите?  
Большевиков сотру!  
Лишь только заплатите  
Побольше мне за труд!»  
За труд? Блохи?  
Хи-хи-хи-хи!  
Король разлился в ласке.  
Его любезней нет.  
Дал орден ей Подвязки  
И целый воз монет.  
Монет?  
Блохе?  
Хе-хе-хе-хе!

Блохи, насекомые, паразиты, дармоеды, мироеды, банкиры и капиталисты не забывают про нас, отважных и непобедимых, строящих справедливость на земном шаре. Чудовища рыщут, ползают и плавают у рубежей Отчизны. Мы обязаны крепнуть и расти.

И надо ж такому приключиться! Забрэжилось и Еремевичу.

Да, и вот — стоит он, будто бы на трибуне родного городка Задорного. Стоит — среди корешей, соратников. Флаги багрянятся и трепещут. Играет духовой военный оркестр, медный, прочный. А по бокам, на стенах зданий, окружаю-



щих площадь, развешены портреты его товарищей—наставников. Лица на этих портретах разные. Есть настолько лысые как вылизанные коровой. Есть — чубатые. Но все внушительные и все обожаемые. А в центре самое главное лицо. Невысокий, конечно, но ничего, прибранный зачесом лоб. Нос — ничего, правда, несколько подмят, подпорчен как бы. Но — брови! Ни у кого не приходилось Спартаку Еремеевичу Воротилкову видеть таких никогда.

Прошел Спартак Еремеевич, как и его шофер, Ваня, от Москвы до Берлина, а бровей таких и однажды не встречал. Брови работают и на тех, кто стоит рядом со Спартаком Еремеевичем Воротилковым на трибуне города Задорного. С бровей как бы начинается общесоюзный полет и движение. Слияние наций...

Крылато летят знамена. Восторженно плещутся на ветру плакаты. Реет музыка. Искрятся на солнце никелем трубы оркестра... Радуются солдаты. Радуется милиция. Радуется город Задорный. На лацкане каждого портретного лица — награды. И не простые, а золотые. По две — и даже по три. Блестят. И лица блестят. И награды блестят. И площадь города Задорного блестит. Но главный блеск, повелительно—мудрый и вечный, исходит с простого русского пиджака главного лица, главного портрета, который разместился на главном месте, в центре других главных лиц и главных портретов. Такой блеск, такое сияние духовное! А звезды, Спартак Еремеевич чувствует каждой жилкой, льют на его строительную душу, корешей, соратников и на весь его строительный трест ободрительный экстаз: мол, живи, трудись, радуйся! Звезды. Их на русском пиджаке, как в ясно морозный август на небе. Вселенная...

Спартак Еремеевич Воротилков был, можно сказать, в самом соколином полете. И ничто его из этого райского сна, из этой как бы сладчайшей оратории праздника не могло бы выхватить. Храп его падал с кровати на пол. С пола докатывался до холодильника, вспугивал люстру и снова позвякивал в тарелках. А люстра жалобно подрагивала, вспыхивала и удивлялась.



Колонны проходили за колоннами. Звенел оркестр. Жизнь клокотала и мчалась в грядущее, туда, куда простым и смертным пути заказаны. В это грядущее прорываются самые кристально честные борцы и те — коллективно. А позже, за ними, — трудящиеся массы, но укомплектованно, шеренгами, отрядами, классами. Тут — не дремай сам и не гневи блюстителей порядка. Задача ясна. Поторапливайся.

Но вдруг храп прекратился и замер. Перестала покачиваться люстра. Прекратили звякать в шкафу тарелки. Замолчал в прихожей холодильник. Протяжно и утробно визжа, Спартак Еремеевич вскочил с кровати и начал на четвереньках пятиться к дверям. Визг директора треста разбудил все вещи, все предметы. Все начало шуметь, тормозиться, издавать невероятные исковерканные звуки. С вывороченными белками и со вздыбленными кучерявыми волосами Спартак Еремеевич напоминал потрясенного африканского идола, почти Отелло. Потный, тяжелый, дрожащий, он спрашивал:

— Ты кто?

— Я? Лохнесе. Я прибыла из Шотландии, через Нидерланды в Японское море, а теперь — в Задорный. Буду делать у вас небольшой Мозамбик. Я Лохнесе. Я — оно, он и она!..

Чудовище вылезло немножко, по шею, из воды идохнуло. Сразу же вокруг трибуны почернели портреты. Чернота еще и еще погустела. Погустел и центральный, главный портрет. Главное лицо с бровями. С бровями-сардельками, но в более жемчужных и бесценных драгоценностях, нежели толстые пальцы толстой певицы и продавщицы. В бровях полыхали рубины, изумруды, жемчуга. Главное лицо теперь напоминало Спартаку Еремеевичу вождя недавно обнаруженного дикого племени. Но то лицо — бедное лицо. Почернели все на трибуне. Почернели все, кто шагал, радостный и праздничный, в шеренгах, отрядах, колоннах города Задорного. Почернел рабочий класс, почернели крестьяне. Почернели духовики, почернели милиционеры. И только трубы сверкали никелем. Почернел и сам Спартак Еремеевич Воротиллов, директор треста.

А Лохнесе наступало:

— Куда возишь в закрытых машинах тес? Куда дел изразцы и керамику? Кому бесплатно построил дворцы? Говори!



Чернели, чернели портреты, а потом такое на них нашло. Стали покрываться они иголками дикобразов. Иголками стальной масти. Длинными, острыми, да еще и заточенными на кончиках, тронь — наколешь палец. Глянул вокруг Спартак Еремеевич и осел. Струсил. А дикобраз, который с правого краю, и заговорил:

— Не трусь. Я же инспектор Главка, мы с тобой семгу ели под водку, забыл?

А второй, который с левого краю, перебивает крайнего правого:

— Еремеевич, чья это такая крамольная песня из церкви доносится? Ты меня забыл? Я твой друг, писатель Эдгар Фомич Алмазов. Речи за тебя сочиняю. Поищи в кармане. Поищи.

Остальные молчат. Ждут, что посоветует главный. Его-то и угадал Спартак Еремеевич, хотя он и больше всех дикобразом сделался. Председатель, точно председатель объединения трестов! Спартак Еремеевич тоже с ним пил, в молодости, затем — дороги разошлись. Председатель круто в гору пошел. Но изредка вспоминал Спартака Еремеевича. Больше — когда дело касалось его дочки, или зятя, или сынка, или дядьки, двоюродного или троюродного брата...

А Лохнесе — Лохнесе. Как даст передней ластой — исчез крайний правый. Как даст задней ластой — исчез крайний левый. И председатель, центральный, главное лицо, начинает качаться. Все онемели, молчат. Море бушует. Ветер поднялся над городом Задорным. Спартак Еремеевич почему-то в предсмертный миг вспомнил свою белесую секретаршу Тоню, которая где-то сейчас там, среди народа, и, может, даже с его, Спартака Еремеевича Воротилова, портретом на тонком и музыкальном плече идет. Демонстрация же. Единение же. С народом же...

Неужели и она почернела? Африка! Ни жены под рукой, ни бульдога. Пес жену караулит, а Еремеевич и защитит некому.

А Лохнесе заулюлюкало, зафыркало, бац хвостищем, удавим или крокодилым, по широкой шляпе Спартака Еремеевича. Шляпа улетела. И слышит Спартак Еремеевич Воротилов, как на его трезвой голове вырастают, поскрипы-



вая, иглы дикобраза. Вырастают и поскрипывают. Вырастают и поскрипывают.

Башка Лохнесе сильно напоминает квадратный гроб с тракторным радиатором, откуда, помнит Пушок, не вернулся ни Яшка, друг Пушка, ни важный дядя, по слухам, друг председателя, главного лица среди портретов и главных лиц на трибуне города Задорного. Не мавзолей же для важного дяди арендовать?

Спартак Еремеевич собрал волю и отчеканил:

— Что ты лезешь в мои внутренние дела? Я фронтовик. Плыви в Нидерланды по-хорошему. Сынок у меня там, сынок! Хочешь, я и тебе достану тесу? Бамбуку надо? — уже освоюсь, спросил Спартак Еремеевич, — Самовар золотой или ласту золотую подарю, хочешь? И уплывай, пожалуйста, в Копенгаген!

Но Лохнесе зашатало, запенило морские волны, пододвинуло их прямо к трибуне:

— Чьим детям и внукам ты строил катера и бани? Отвечай!

Директору треста показалось, что Лохнесе не челюсти раскрывает, а приподнимает квадратную крышку гроба, взбрыкивает и тарыхтит. Пропал, подумал он.

А Лохнесе продолжало:

— Ты много разворовал. Я плаваю по морям, по океанам, заныриваю в реки, в озера, могу увеличиваться и уменьшаться и появляться даже в дачных и квартирных бассейнах, которые ты понастроил этим черным лицам, скрываясь от народа, стыдясь самого себя, дрожа перед законом. Раб — и строишь рабам! Хозяева страны так преступно себя не ведут. Я знаю на земле всех воров, и тех, портреты которых носят на отполированных черенках демонстранты, и тех, которые еще не выслужились до портретов. Но сужу я всех одинаково, всех! — Лохнесе, заметил директор треста, успокоилось.

И Спартак Еремеевич тут же воспользовался. Он сунул руку в пижаму и выхватил из кармана глянцевый листик бумаги. Развернул. Разгладил. Вздыхнул. Подраспряился. На-





дел очки и мысленно поблагодарил покойного теперь друга-писателя, и зачитал:

— Глубокоуважаемая госпожа Лохнесе!

И глубокоуважаемые гости, дамы и господа!

Свободные и счастливые граждане города Задорного рады приветствовать Вас на своей вольнолюбивой земле. По поручению Совета депутатов трудящихся и от имени всего Задорненского района говорю вам: «Добро пожаловать в наши края! Вы сможете познакомиться с жизнью и бытом рабочих и сельчан!»

Спартаку Еремеевичу на миг почудилось, что он — глубокий и талантливый, обласканный регалиями и складный, как Расул Гамзатов, бессменный и всеми любимый, как председатель, главное лицо среди портретов и среди главных лиц. Сделал паузу. Значительную. Выжидательно прислушался. А может, и чудовище Лохнесе человек? Ведь и у Лохнесе, по копать, так найдутся ошибки. Ну, ни воровство, так взятка, ни взятка, так национальный подарок — перстень али самовар, али какая чушь. Хотя Лохнесе перстни не носит, чай не пьет... Не целуется.

Но закипела вокруг трибуны вода морская. Вздрыбились и замахали гривами ледяные темные волны. Заворочалась пена. Тучи поползли над горизонтом. Потемнело. А Лохнесе ближе, ближе подплывает, разевает крышку квадратного гроба — челюсть, а вся остальная часть ее туловища в воде, и приказывает:

— Залезай, негодник, в рот ко мне, да поживее, залезай!

— Я не виноват! — упирается Спартак Еремеевич. — Они виноваты, — показывает он на портреты.

А Лохнесе ближе, ближе... И пропади она пропадом, как тяпнет! И Спартак Еремеевич очнулся. Рядом — ни жены, ни Тони, секретарша среди демонстрантов, ни бульдога-песика. Один. И только что побывавшая тут Лохнесе. Пахнет скандалом и чешуею.

Воротило, бледный и надтреснутый, хотел принять холодный душ, но побоялся — ванна... Полежал. Встал. Сделал семь настоящих приседаний и побрился. Включив приемник, он окончательно убедился, что губительный сон мино-



вал, что жизнь вернулась к нему, реальная и знакомая, песней знаменитой звезды радио и экрана:

Па-а-люби меня,  
Слышишь, па-а-люби меня,  
Па-а-люби!  
Хочешь меня,  
Хочешь, хочешь?..

На центральной площади города Задорного разбирали сколоченные к празднику трибуны. Снимали портреты. Увозили флаги. Свертывали плакаты. Тощая супруга Спартак Еремеевича Нина водила возле рынка на поводке тупомордого и глупого бульдога. Таскает зверюгу за собою, а муж балуется... Шалопай.

Веселая Марья, жена Ивана Ермолаевича, мать Аси и Ксюши, бабушка индийским ребятишкам, прихварывала сердцем. В сад не поехала. Юная продавщица, открывшая Ивану Ермолаевичу цех, где алкаши делают зеленые шланги и поправляются, мечтала стать плотной, гладкой продавщицей, на сардельковых пальцах чтоб увесисто звенели кольца и в ушах чтоб цилиндрически сверкали серьги. И чтоб, как певицу, любили и любили ее!..

Пушок не ошибался — знал, что наступает суббота, и надо встречать Ивана Ермолаевича рано. Заявится он к домику с первой электричкой. А мог бы с последней: куда ветерану скакать?

Лохнесе, попрощавшись с городом Задорным, повернула к Японскому морю и через Шотландию взяла курс на Данию и Копенгаген. Спартак Еремеевич Воротиллов, осмотрев пристально усадьбу, заглянув за все заборы, издали обшаря взором купальный бассейн, взволнованный и ошарашенный, ушел к друзьям поиграть в домино. Лохнесе — он, оно, она, не разгадать!..

Электричка, суматошная и подвижная, набирала скорость, отсчитывала станцию за станцией по дороге к садику Ивана Ермолаевича. А Иван Ермолаевич, в простиранной и проглаженной полосатой рубашке, с узелками и сумками,



посиживал себе да подумывал у окошка. Солнце. Ветерочек. Рай.

Вспомнил он благодарно Лингу Ильиничну, ее японские магнитофоны и мозамбикские мясорубки. Вспомнил и голубой нидерландский шланг «аля пупс», и кровные сорок девять рублей, но не пожалел: шланг-то, он догадывается, наш, но не зеленый, а голубой. А Ивану Ермолаевичу не деньги надо, а шланг. По деньгам — забота. Иван Ермолаевич отвоёвался, отработался, годик осталось до пенсии. Шофер — не бог весть какой чин. Уйдет вовремя. Не министр. Это министру нельзя уходить вовремя или еще какому громадному деятелю. Без них не только страна замрет, но и колесо у «Волги» не закрутится.

Вагон чуть поматывало. А так — нормально. Двигается и двигается вперед. Правда, раньше электричка от города Задорного до станции «Цвети планета» ходила сорок три минуты, а теперь час. Но ведь народу прибывает. Вон что творится при посадке. Ноги ломают. Мешки и портфели путают, вышибают, детишки теряются, от родителей отстают. Странно устроена человеческая жизнь. На работу — втискивайся в автобус. На отдых — втискивайся в вагон. Не успел — опоздал. И так везде. И так — многие и многие десятилетия. Опоздаем — угонят державу!..

Ивана Ермолаевича опять охватило раздумье. Вон, от мечал он, сидит у дверей передних бывший солдат. Настороженный. Осунувшийся. Горький. Весь — в себе. Едет, как на посту стоит. Не просмотреть. Не опоздать — выскочить. Иначе — заметут, затиснут и вытолкнут не там, где надо. А — инвалид. Костыль у плеча. Вон — бабуся одинокая. Муж, точно знает Иван Ермолаевич, погиб в первые дни войны. Да и сыновья небось в братской у Смоленска. Дочка, одна или две, кое-как повыходили замуж, потом поразвелись, вырастили по ребенку и растворились не в Сибири, так в Таджикистане, не на великой стройке, так на легендарной целине. А бабуся везет из города Задорного в родную избенку свинцово-сизый стальной батончик да известковой твердости сметанку. И рада. Слава Богу. Не уксус везет.

А вон замечталась — юродивая. Лицо отрешенное, отрешенное. И ничего в нем нет — только видна печальная пус-



тыня, и все. Чахлая, как вырванная из корня вишня, у него в садике хулиганами. Не отольешь, не отходишь. Так и увянет. И тоже рада. Смахивают беззащитностью и утратами они друг на дружку.

Поматывает вагон. Поматывает. И думает Иван Ермолаевич о себе, о людях, о Пушки, о Спартаке Еремеевиче. Ничего человек, ничего. Есть куда хуже. Вон развалился тузина. Один занял целое сиденье. Копия — Спартак Еремеевич Воротилов. Только глаза маленькие, злые, как два черных назозных жука, в орбитах ползают и жужжат. Наверное, тоже на «ЗИЛе» ездил, да прогорел, теперь — в общем вагоне. На пенсию не должен вовремя уйти, не больше шестидесяти восьми или семидесяти трех ему, не больше. А кто же добровольно ныне с поста уходит? Из персонального «ЗИЛа» мало кто пересаживается добровольно в общий вагон, мало. Добровольцы — редкие ископаемые!..

— Эй, философ! — крикнул на Ивана Ермолаевича молодой и наглый парень. — Ну-ка, подвинься, побыстрее, еще, еще, ну!

Иван Ермолаевич стушевался, съежился, сделался маленьким и капризным. Путешествующие вепри.

— Давай, давай, — орал парень, — двигай, двигай его на окно, авось вылетит!

Иван Ермолаевич покраснел. Что же это? Войну прошел, Москву не сдал. Что же?

Компания, два парня и две девицы, мусоля сигареты на языках, даванули — Иван Ермолаевич, как хорошо обшорканный мяч, выскользнул и завертелся между сидений. Никто не заметил этого. Никто не одернул хулиганов. Никто не посочувствовал Ивану Ермолаевичу, старому солдату и старому шоферу.

Долговязая девица вытащила из «походного» мешка гитару, закинула голую и неприятную ногу на вторую, не менее неприятную, и, по-мужски затянувшись вонючим дымом, гаркнула:

Па-а-люби меня,  
Слышишь, па-а-люби,  
Па-а-люби!



Иван Ермолаевич остолбенел. Вот как. И такие есть? Не толстые, но невероятно противные. Он перестал сердиться. Пусть его вышвырнули. Он глядел на них, будущих отцов и матерей, и спрашивал себя молча: а кого же они нам родят? Кого они принесут в этот мир? Кого приведут к ручью? Кого позовут послушать ликующую березку? Но вот он сжал свои страсти. Что же я на все и на всех-то? Земля есть. Жизнь есть. Вон мальчуган — бутуз, на коленях у молодайки, вытанцовывает, смеется, заливается. Тюльпан и только!

Электричка залягала, заухала и остановилась. Иван Ермолаевич выбежал на воздух, не слыша тяжеленного многоузлого багажа на спине: «Наконец-то!»

— Хелло! — заорал ему в окошко вагона все тот же парень, — Лохнессе! Будь здоров! Лохнессе!.. — Но он уже не услышал. Он приступом, по-гвардейски, одолел бугорок над станцией, торопливо просеменил по утопанной тропинке между старинными липами вырубленного и растасканного на дрова парка, миновал полусгоревшее отделение связи, секунду задержал наметанный взгляд на телефонной будке, корпус которой был измят, изувечен, стекла выбиты, а сам аппарат исчеркан матершинными словами и угрозами. «Эх, работал бы сейчас телефон — позвонил бы в железнодорожную милицию!» — сожалел Иван Ермолаевич.

А вот и садик. Домик. Заборик. Калиточка. Брызнул в лицо грустный и неувядаемый запах сирени. Тихо тронула сердце старая, широкоплечая яблоня, задержавшаяся тут еще от чьего-то бывшего хозяйства. Иван Ермолаевич знает: никогда не надо торопиться выкорчевывать зеленую яблоню. Она придает всему саду серьезно-человеческий вид, устойчивую осанистость. И молодые яблони стараются дотянуться до нее, сравняться и зацвести. Юность и красота неистребимы.

Красота не родится ежедневно и ежегодно. Ее надо колыбелить, растить и оберегать. Есть сады старые, а как пьяно прорубленная делянка: ни порядка, ни вида, вкривь да вкось, да все изогнуто и некулемо, все завалено хворостом, затыкано пнями. А пни-пеньки жалеть не надо. Пень есть пень. Это и Пушок, не только Иван Ермолаевич, знает. И вез-



де должна быть честность. И у Ивана Ермолаевича — своя. У Пушка — своя. А у всех вместе — своя. В целом — похожая. Почти — одинаковая.

А яблоня — цвела. Благоухала. Звала к жизни. К действию. К памяти. Она словно крик ночных журавлей, устало пролетающих над лугом или деревенькой, или над таким вот, как у Ивана Ермолаевича, садиком. Ермолаевич их услышал, будто вдруг почувствовал легкий укол в сердце, толчок, но врачующе-ласковый, как давний голос матери. И всем существом своим ощутил шелест их крыл, напоминающий шелест липы или березы или широкий и теплый шелест речной волны после дождя, когда земля устанет от ветра и солнца.

Что такое журавлиный крик?

Это сигнал из космоса, из Вселенной. Сигнал — не горюй, брат, ты жив, ты думаешь и стремишься. Это — привет тебе, внукам твоим. Костя Брусникин, погибший поэт, шлет привет свой журавлиный Ермолаичу. Костя, Костя!.. Ты мечтал родить много детей, мечтал учить их России, России учить, дабы, Иван Ермолаич подтвердит, не убежали они в разные африкано-американские края, где не только человеку, но и обезьянкам жарко. Слава Богу — Марья у Ермолаича есть, добрая, верная, назначенная специально для исполнения его скромных желаний, и назначена Господом: солдата Бог не обделил благодарностью, а Марья и поняла свою бабью задачу. Цены ей нет!..

Сегодня все лезут во фронтовики, даже Еремеич наговорил на себя кучу подвигов батальных, а самому палец указательный оторвал им украденный со склада снаряд, оторвал, а Еремеич и тыкает, озлясь, культею в морду народу обманутому и, заключив тайный сговор с нашими генералами, американскими тайными подданными, расстреливает безвинных и безоружных людей русских, если они попросят у Ельцина не раздаривать русские земли за взятки, не перечислять в западные банки их горькие трудсбережения! Ельцин — псевдонимный Воротилов...

Шофер Иван Ермолаич ничего толкового не мыслит от него получить: ни пенсии, ни уважения, ни присмотра хо-



зьяйского. Собачье мурло, гавкающее на ветеранов армии и завода, на ветеранов полей и фабрик. Детей русских ненавидит: за учебу — плати, за лекарства — плати, за детсадик — плати! Да какие деньжищи плати! А где их найти, деньги-то? Россию, изверг, навзничь опрокинул — и насилует ее, насилует на глазах у нас, фронтовиков седых, насилует ее на глазах у детей и внуков, насилует ее перед крестами и обелисками нашими, отечный Иуда!.. Он — Чикатило. И Клинтон — Чикатило.

Ермолаич не зоолог, но знает: из подогретых солнышком морских вод сначала выскочили на сушу бронтозавры, потом гориллы, потом вараны и крокодилы, за ними — Лохнессе, потом Адольф Гитлер, потом Клинтон и Ельцин, а потом Олбрайт, Наина Иосифовна и Моника... Бабы, визжа и фыркающая, последними вылезали за Аллой Пугачевой из воды и за ее белокальсонным Филиппчиком Киркоровым, последними.

### *Часть четвертая*

## **ЛОХНЕССЕ, ЕЛЬЦИН, ОЛБРАЙТ**

В Кремле так и не понял пьяный боров,  
Кто Алла Пугачева, кто Киркоров...

Линга Ильинична, жена полпреда, торгующая шлангами и чепуховым записывающим оборудованием, уверена: Спартак Еремеевич Воротиллов давно скончался в городе Задорном при неожиданном испуге, как дернула его, пьяного, Лохнессе за левую ногу, а, вскочив с криком на правую, Еремеевич не удержался и ударился о подоконник сонным виском. Коммунисты, похоронив тайно руководителя, нашли подставного, почти идентичного, но гораздо моложе. А дурной народ не заметит, заметит — не догадается об афере, русский простофиля. Кругом — кастраты...



Линга Ильинична помогала советской разведке, пребывая с мужем за границей: она уверена — Рейган Рональд — Лохнесс и Джордж Буш — обыкновенный Лохнесс, потому и нашего оболдуя, Горбачева, они запросто объегорили и СССР у него раскромсали, а ему подарили модный носовой платочек — сморкаться и лысиною потеть. Линга Ильинична, покинув разведку и политику, осознала: и Ельцин — Лохнесс, а настоящий Борис Николаевич похоронен под Свердловском. Погиб, не успев опохмелиться, хотя и подставной — ужасный пьяница, а не бабник. Гляньте на Наину — искорявило ее, изморщило, как Аллу Пугачеву, когда Киркоров по командировкам катается: матрац некому подогреть!.. Импотенты.

Рузвельт был Лохнессом, и Черчилль был Лохнессом, а Сталин — нет: Рузвельт и Черчилль — надували нас, объегоривали, армии собственные бомбардировщиками да истребителями сопровождали, солдат берегли, лукавили, а Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин воевал честнейшим образом — около тридцати миллионов воинов русских легло в братские могилы в Европе и в Азии. Из любой европейской державы, из любой азиатской страны, закрой горькие очи, и по обелискам путь до своей косоугой избы нащупаешь и нигде не потеряешься, вот этак честно и так беспощадно товарищ Сталин сражался с врагами Союза Советских Социалистических Республик. Равных Сталину не найти.

Да, Ельцин и Клинтон — Лохнессы, только Билл Монику по Белому дому гоняет, приватизировать жаждет, а нашего и кастрировать не надо.

Авдей подвыпил с Клинтоном и на привале  
Затеял речь с американцем о морали:  
«Ты НАТО в сторону России расширяешь,  
По бабам, пишут про тебя, отчаянно ширяешь,  
Хоть внешне безобиднее котенка,  
А вот, поди ж, заделал негритенка!»  
«Завидуешь? — Билл рассмеялся. — Значит,  
У самого пистоль уж не маячит,





И ты среди Наин и Сар  
Реформу проворонил, комиссар!..»  
И принялись сжирать икру и патиссоны  
Марксистско-сионистские масоны.  
Тут дама, из гостей, воскликнула: «Ах, Билл,  
Да разве ты не знаешь, он debil,  
Он на Урале двадцать лет бетон башкой долбил!..»  
Итог:  
А в Израиле, помня эту фразу,  
Раввин изрек: «Найти сию заразу  
И, упразднив над нею нежность Билла,  
Сурово наказать ее за нашего дебила!..»

Грустно мне. Гляну в поле — там синий тощий туман и мелкоглазые русские избенки. Иконы в тараканьих да мышиных шуршаниях, горницы, до Петра I освященные, с божничками, вознесенными на углы, а домики — кто их надстраивал и украшал? Реформы и войны. Войны и реформы. Светят в мое русское сердце лики Богородиц и лики бабушек, сестер этих болезных Богородиц: не пойму — кто из них небеснее и врачевательнее. На этих святобессмертных ликах Русь милая веками удерживается, муки и собственную судьбу превозмогает.

Русское горе не одинокое: сытым и хищным от него неуютно и страшно, а бедные и обманутые правоту и силу в нем слышат.

Газеты и радио, экраны и комитеты, разные политбюро и правительства сообщают своим народам, мол, вчера в шесть часов и семнадцать минут в Москве или в Пекине скончался выдающийся деятель и так далее, и тому подобное... А в жизни — все наоборот: заплывла Лохнесе к Брежневу на даче в бассейн, он зенки разомкнул, купаясь, Лохнеседохнула — тот и отдал концы!..

И с китайским Мао Лохнесе аналогично поступило: фыркнуло на Председателя КНР, когда вождь залезал в ванну, изумрудом и жемчугом отполированную, кормчий и ткнулся мимо — головою об вихотку. А Сулова Михал Андreichа, значит, ленинца непререкаемого, чудовище вообще



испугало. Андреич лежал на закрытом и охраняемом пляже в Сочи, а Лохнесе, выбравшись из моря, тихонечко ему, дремавшему старичку, в ухо «шы-ы-ыш», Андреича и скрючило. Отнесли...

Долго уркал в воде Пельше. Я, дескать, слежу за партией, веду дисциплину и прочность идейную блюду в КПСС, а ты кто и откуда ты заплыла, американская субмарина, где, на каком пункте какого пролива тебя пропустили, разберусь. Начал бурлить в бассейне, под Москвою, и угрожать. Латышский стрелок. Владимира Ильича помнил и Леонида Ильича обожал. Верткий, прибалт!.. Лилипутный краб.

Лохнесе и пошутило: подцепило Арвида Яновича на ласту, качнуло и уронило в центре бассейна — он и не вынырнул со дна!.. Артисты. А Спартак Еремеевич — ребенок. Готов прижаться к Лохнесе и покаяться, да и проступки у него мелочные: тес махнул, кирпич махнул, секретаршу поласкал за дверьми кабинета закрытыми, а кто не торговал казенным добром, кто к симпатичной бабе не приближался на опасное расстояние? Арвид Янович, пупырь партийный, и то — чик-чирик — и незаконно дикторша от него забеременела, рассекретило тайну еще в Копенгагене Лохнесе, но чудовищу просто не до тайн, на каждом шагу — борьба и усилия!..

За какие грехи и несурaziцы Лохнесе их, святых, поколебало?

За шпионаж, за славные ль свершенья  
На Шеварднадзе снова покушенья?  
Но, шелестя червонцами кредита,  
Бандиты шерсть не портят у бандита:  
Гранатомет ударил прямо в лоб,  
Весь «мерседес» разворотил, а жлоб  
Сидит, пороховой окутан тьмой,  
Портфелем морду вытер — и домой.  
В экран кацо кричит: «Наверняка  
Теракты надо мной — Москвы рука!..»  
А ненавистна эта образина  
Для каждого мингрела и грузина.



И есть палач на гнусного изменника и вора,  
Да нету в СНГ судьи и прокурора  
Приговорить мерзавца к высшей мере  
Или втолкнуть его за кованые двери  
И, с верой в торжество эпохи кумачевой,  
Женить совместно с Ельциным на Алле Пугачевой,  
Чтоб схлопотал инфаркт политбюровский  
тот и этот боров!

Итог:  
Пускай со сцен закукарекает Киркоров,  
Поддернувши свои атласные, вонючие штаны,  
У карты гадами разрушенной страны.

На великом индийском борце за независимость Индии штаны были тоже белыми, но не атласными, а хлопчатобумажными, простыми, как на индийцах-крестьянах, и он, великий индиец Неру, защищал бедных братьев по нации и стране. А этот белокальсонный атласный кукарекатель мешает нам, русским людям, дышать и жить: смрадом похоти и разложения он заполняет сцену и театр, дух гнили и базарного обмана струится от него в просторы поработанной России...

Нина, жена Воротилова, — тощая, и Тоня — здоровая и хулиганистая. Нину сопровождает бульдог — Аристотель, Тоню сопровождает — Спартак Еремеевич. А веселую Марью, жену Ивана Ермолаевича, иногда сопровождает шустрый Пушок. Нина и Марья дружат, но не на равных паях: жена начальника — жена начальника, а жена шофера — жена шофера: каждый сверчок знай свой шесток!.. А равенства и на кладбищах нет.

Но встретились, и Нина жалуется Марье: «Тонька, сексуальная стерва, набухалась водки и лифчик Микояну на морду повесила. А мой Спартак трусы на нее натянул. Приехала, глянула — срам!.. Хорошо — никого на усадьбе. Только Микоян у фонтана... Спартак-то, Марья, развратней Аристотеля. Капа, вильнув от Пушка, так и присасывается к Аристотелю, так и льнет. Разреши ей, сучке, она портрет бульдога, как Тонька портрет Еремеевича, на демонстрацию понесет!..»



Марья обиделась на Пушка: «Капа, потаскуха, подкараулит Пушка за сараем или за уборной, и к нему, к нему вертухайкой, попой, прижимается, а Пушок, дурак, и подскакивает на нее, ошастливленный!..»

— Все мужики такие балбесы! — буркнула Нина.

— Не все. Мой Ваня однолюбый! — возразила Марья.

— Однолюбый, пока по носу вертухайкой не задела. Мужик — свинья! — И Нина обернулась. А перед ними, рядом на газончике Капа терлась мохнатою вертухайкой об электрические ноздри бульдога, Аристотеля, воспламененного бесцеремонным сексом сучки. Пушок завистливо повизгивал, но не приближался, пощелкивая по сухим клыкам жадным языком.

— Лифчик на бошку Микояна повесить?.. Жуть! — жаловалась Нина. Выяснилось: комиссар по торговым делам Анастас Иванович Микоян сам отваял собственную фигуру и водрузил ее возле фонтана, в те рьяные времена занимая усадьбу, теперь унаследованную Воротиловым. И сказка продолжается. Каково Лохнесе пребывать среди людей и животных?..

Па-а-люби меня!..

Ермолаич тихо и с негодованием отшвыривал из памяти образ Спартака Еремеевича Воротилова: Ельцин он или не Ельцин, но надоед, но опостылел и развеялся из жизни и судьбы Ермолаича его начальник и собеседник — когда их машина реяла над равниной, взлетала на холм и пикировала в ложбины, позвякивая полураскрытым ветровым оконным стеклом. Не автомобиль, а закадычный кореш, второй Ермолаич и второй человек, уважающий скорость, прямоту и долю рабочую, ни перед кем не ломающий колен. Такому горько, но такому и радостно.

Потеряет человек себя — найдут его многие: бессловесного слугу скорехонько из него слепят и вычеркнут из людского параграфа.

Болтают демократы, провокаторы,  
Плохие, дескать, коммунисты губернаторы,



Как мы, обманывают и воруют,  
И в банях с девками не реже озоруют.  
Я не согласен, губернатор красный  
Как раз для демократов и опасный,  
Иная поведения модель:  
Летает он в Париж — испробовать бордель,  
И не у Ельцина в Барвихе строит дачу,  
А в Уругвае, и еще, впридачу, —  
На Волге и Оке, где много угрей и нектару,  
Назло мошеннику, трехгубому Гайдару,  
Что обобрал крестьян да и рабочих, аферист,  
Наш — скромный интернационалист!..  
И третий дом его в Крыму, в четыре этажа,  
Не выше черномырдинского гаража.  
В борьбе за счастье масс средь нас вожак возник,  
Кристалльной чистоты, как Федоров, глазник!  
Итог:  
Жди ленинцев с утра, жди с вечера до вечера,  
Жаль, нет страны — в Кремле им делать нечего.

Капа та еще старательница: нет на дачах солидного кобеля — Капа крутит вертухайкой Пушку, раззадоривая его, балду и наксуаливая, а покажись Аристотель, бульдог Еремеича, Капа начинает выпендриваться и крутить вертухайкой, строя глазки бульдогу, чем недопустимо оскорбляет достоинство порядочного дворняги.

Да и не всем породистыми быть: кому-то и в дворнягах прозябать суждено, но потаскушке ли догадаться об истине? Нина, супруга Воротилова, честная женщина, вот и ненавидит она подлиз, бабочек, подпархивающих под администраторские животы чужих мужиков. Капу супруга Спартака Еремеевича однажды решила отравить. Сунула ей кусок пирога, приготовленного на тараканьем не пахнущем яде, а Капа, стерва, швырнула сурною и в сторону. Закочевряжилась.

Супруга Еремеича забыла про пирог с досады, а Воротилов как раз и настигстряпню, возвратившись домой с должности тяжкой. Настиг и съел, не подозревая, главную половину, замочив ее пивом и водкой. На следующий день, утром,



супруга хватать — пирог исчез. Она — в спальню к мужу, всклоченная. А муж, Спартак Еремеевич Воротилов, присядку на физзарядке выполняет, веселый:

— Нинок, а пирог-то вчера отличный у тебя получился, умница!

— Весь докончил? — тревожно осведомилась жена...

— Весь. Не оставлять же экую вкуснятину!

В кухне супруга Еремееича, убирая объемистое блюдо, на котором хранился начиненный ядом пирог, ойкнула: под кромкою блюда густо копошились околочуренные тараканы, основная их часть не шевелилась — мертвые. А Спартака Еремеевича спасла звезда удачи. Хаму и яд до фени!

Не от яда, а намного раньше, супруга уверена, Воротилов стал чего-то страшиться и взрывать на подушке. О Лохнесе Нине стал глупость пороть. Из газет и журналов снимки Лохнесе вырезает и секретарше, полагает Нина, увозит, дубина стоеросовая. После смерти Леонида Ильича Брежнева над всеми нами стихия висит...

Гарант надрался водки, ой, нарезался,  
Аж не заметил сам, как вдруг обхезался,  
Лежит и клянчит: «Помогите снять штаны!..»  
А Коржаков ему, лакеи, мол, нужны.  
Наина встряла, дескать, да, эстету здесь не место,  
Сказала и зарделась вся, невеста и невеста.  
Гарант обсох и после случая такого  
Вобче из армии уволил Коржакова.  
Свердловский большевик, и умирая,  
Не мог стерпеть идейного раздрая.  
А за Москвой, в Барвихе, с перепойки  
Неделю тек вонючий запах перестройки.  
Военные нюхнули экспозицию  
И перешли в глухую оппозицию.  
Униженные грубостью Верховного бизона,  
В министры требуют Иосифа Кобзона,  
И он, хотя и хорошо поеть,  
Но этим сукам спуску не даеть.



Итог:

Казнители Дворца Советов знать должны —  
С них тоже будет некому снимать штаны!..

Сукой стать — не обязательно в ширинке у Билла Клинтона копаться, можно клятву нарушить, присягу верности, данную тобою Союзу Советских Социалистических Республик: нацелить танковые дула в бастующий кровный народ, обворованный кремлевскими жуликами, и расстрелять народ вместе с Дворцом Советов.

«Огонь!..»

«Огонь!..»

Двадцать восемь БТРов насчитал я, окруживших восставших рабочих, израненных и безоружных. Кровавые цветы горели на мраморе белом!..

Лохнесе не дура, к Лаврентию Павловичу Берия чудовище и на метр не подруливало — кавказской национальности субъект. А к товарищу Сталину — и задумки в голове Лохнесе не заискрилось, годы и годы в Красном Кремле бесмертный грузин правил, ни морское, ни земное чудовище на соратника Владимира Ильича Ленина не посягнуло. Попробуй, посягни — в Тихом океане сети закинут, а на Колыме их вытянут — не улизнешь!..

И чудовище, трепеща, процитировало:

И врагу никогда не приснится,  
Чтоб склонилась твоя голова,  
Дорогая моя Столица,  
Золотая моя Москва!

Для города Задорного Спартак Еремеевич — Иосиф Виссарионович Сталин, правда, в уменьшенном варианте, но Сталин: хотя товарищ Сталин никогда и грамма чужого не взял, копейки чужой не положил к себе в карман. Чудовище, конечно, слышало — в молодости Джугашвили банк грабнул, за народ, переживая, мучаясь нищетою народною, и партии деньги требовались на митинги и революции. Спартак же Еремеевич крадет зря, крадет и нечестными деньгами сорит, строительный маньяк!..



При Сталине разве дикторша забеременела бы от прибалта? И Арвид Янович не захорохорился бы, не сунулся бы туда, куда партия не рекомендует!.. А умер товарищ Сталин — торгоши и воры нагрязнули в райкомы, горкомы, рестораны, ЦК, на фабриках и на заводах норы себе понарыли — рухнет СССР, а Россия и сама развалится. Одиноко Лохнесе.

Ударит ветер. Заворочается буря в океане. Волны, холодные и неумолимые, от берега до берега толкуются. Ревущие гребни путь преградят Лохнесе. Одиноко ей в океане тревог и непогоды.

Журавли курлыкали и рыдали. И едва ли не рыдал с ними Иван Ермолаевич: русский человек без сочувствия — архивист.

Соскучилось, натосковалось наше русское Лохнесе о Красном Кремле, надоели ему чужие воды и острова, страны, чужие и неясные. Ночью, когда Москва спит и охрана у Спасских ворот спит, наше Лохнесе тихохонько приблизилось, вынырнув из реки, слушает Куранты... А Лжелохнесе хамски нашей:

— Кто тебя в Кремль приглашал? Я тут хозяйка!

— Дай поглядеть на Кремль, Куранты послушать, надоела чужая сторона, страны чужие надоели, я, Лохнесе, патриотка!..

— И я, Лохнесе, патриотка. Если я не улучшу судьбу России, я заплыву в метрополитен имени Лазаря Моисеевича Кагановича и лягу на рельсы! — припугнуло Лжелохнесе бывшую хозяйку Красного Кремля.

— Не ложись! — взмолилось наше русское Лохнесе. И добавило: — Ты ведь такая дурная и несуразная, через тебя и электропоезд не переедет, аварию сделаешь трагическую, жертвы будут!

Но Лжелохнесе продолжило, воняя алкоголем:

— Не лягу на рельсы? Ты шта-а-а?.. Разбежусь и с моста брошусь вниз головой, ежели не улучшу судьбу вверенного мне государства!

— И с моста, смотри, не прыгай, и не бросайся вниз головой, твоя голова пустая, а взрыв произойдет громче атом-





ного, половина москвичей из окон, голыми, на тротуары повывают, обескураженные!

— Может, Гайдара попросить, у него мозги жутко умные, и хлопок не такой гулкий получится, а? Али попросить Черномырдина? Как?

— От Гайдара еще больше распространится вони, но не алкогольной вони, а настоящей, и москвичей, сонных, еще больше повывлетит из окон! Попроси Черномырдина!.. Тебе проще знать — кто из них умнее!..

— Олрайт! — обрадовалось Лжелохнесе и повернулось башкой к ЦКБ. ЦКБ. ВКП/б/. КПСС. ЦК КПСС. ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС. РСФСР. СССР. СНГ.

На сцену выползла облезлая старуха,  
А крутит кункою — куда те молодуха.  
Перестройке слава!  
Героям перестройки слава, слава, слава!..

Десять лет я думаю: а что же все это значит, —  
Начальство жиреет над скопищами рабов,  
А Россия полураспята то пьет, то смеется, то плачет,  
А евреи заняты перетаскиванием гробов.  
Царя с детьми расстреляли, теперь почетно хоронят,  
Ленина омавзолеяли, теперь требуют унести,  
А русский Иван разинул рот, дурачок, и воронит,  
Лень ему, барину, с дерева саранчу отрясти!  
Сванидзе и Новодворская — телевизионная погань,  
Любой паразит обут нашим трудом и одет,  
Даже Радзинский для русских —  
Как Николай Васильевич Гоголь,  
Но кто он, выплюнутый гондоном, ликующий мухоед?  
Вот и лежу я, с похмелья, щетину, обросши, не брею:  
Далее некуда ехать нам, некуда плыть.  
Итог:  
Господи, помоги мне снова родиться, но только евреем,  
Поскольку уже невозможно  
в России нам русскими быть!



Капа, хоть и подзадоривала Аристотеля и Пушка, но они-то не занимали должностей президентских и забот у них планетарных не было. А Моника капризнее Капы, сучки околоточной, — повисла на клавиесин Биллу, поговорить ему по телефону не дала толком с конгрессменами, а речь-то они вели о войнах с Ираком и Югославией.

Миротворцы же. Вот и расвирепел хозяин США, слово Моника чуток прикусила ему пипетку, клавиесин, вдруг заорал Билл, вытаращась: «Бомбить!.. Взрывать!.. Жечь!.. Парализовать!..» Эх, Лохнесс, Лохнесс. Да и наш Лохнесс опупел, свихнувшись на гуманитарной помощи сербам и албанцам Косово: сам белужий бок грызет и мусульманский бешбармак заглатывает, а пострадавшим — гребешки куриные с ощипанной птицефабрики!.. Красно-коричневый олигарх.

Слух о кастрировании гуляющих руководителей предприятий и крупных начальников по бабам в России, я думаю, слух — психотропное оружие в руках у той части государственных мужей, которая еще надеется жизнь, личность и мораль в России ввести в сносное русло: ведь далее терпеть эротическое сумасшествие в стране позорно и опасно. Тушик.

Жидовские мастера искусств русских дурочек вытаскивают на экран, дают им по десятке и заставляют их часа по четыре ставить себе под голые животы какие-то кирзовые прокладки, не пропускающие влагу на свободу, ставят и приседают, ставят и приседают, извиваясь телом, кренясь и подрагивая, как покойная ныне Капа, когда на ней упражняется Аристотель или Пушок. До сотни раз шалавы русские за шершавую десятку вертухают задницами по телевидению. Есть среди них юные, есть молодые, а есть и старые — обдерганные за уши сохатые лосихи...

Одна, смахивающая на Наину Иосифовну, облезлая уже, как цинковое ведро, заброшенное в огородную траву, вертухаила, вертухаила, и вдруг штанишки ее вместе с бельишком с отощавшей задницы-то прямо в экран и слетели!.. Останкинский зал упал и начал кататься в хохоте, а те, кто случайно смутился — разбежались. Пенсионеры стыдить ее окружили, а пропартийная часть зала подняла плакаты «Смерть сионизму!» и толпою двинулась по проспекту Мира, крича:



«Ленин с нами!.. «Ленин с нами!», «Прочь руки от народного достояния!..» Наревешься.

Нина, верная супруга Спартака Еремеевича Воротилова, убеждена, что ее ловко подменили на Наину Иосифовну и внедрили в сознание и память малограмотной массе у нас. В Америке подобная афера не увенчалась бы успехом, а у нас, в порабощенной России, всякая гадость расцветает. Нина доподлинно знает и тех, кто Еремеевича ее подменил и отнес на кладбище, знает, но молчит: Колыма научила русских мечтателей сдержанности и взаимовыгодному неведению. Сплошные спасатели...

Русский увидит — чечены русского бьют, отвернется и месяц один на один с самим собою радуется: повезло — ничего не заметил!

Странно. Исчез Спартак Еремеевич из города Задорного, а в Кремле появился Борис Николаевич Ельцин. Оба похожи, этот на того, а тот на этого, две капли воды менее похожи, чем два бугая, прораба и политика, в несчастной России, почти столетье уже увлекающейся революциями и народными вожаками, вождями, кормчими и прочими рулевыми капитанами.

Марья и Ермолаич — никто. А те — рулевые. И Тоня уже не секретарь Спартака Еремеевича Воротилова, а помощник по обороне Бориса Николаевича Ельцина. Похожа на Старовойтову, казачку еврейскую, развитую и цивилизованную, а помощник по обороне. И Ельцин Борис Николаевич похож на Воротилова Спартака Еремеевича, а президент Российской Федерации, России, считай и не заикайся, голь несусветная, да слушайся державного хозяина и заруби: Лохнесс и Лохнесе — тоже в США изобретены, в цехах компьютерных чертежи и схемы приготовлены, а отливали данных чудовищ, кикимор чугунных, в Техасе, чешую же с них соскребали под Магнитогорском, тайно, за доллары, всовывая нахрапные зеленые бумажки в спецовки дурным стахановцам, проворонившим водоплавающих зверюг на героической земле металлургов, уральцев моих лопоухих...

И Ельцин уралец, хотя Спартак Еремеевич Воротилов из Подмоскovie, из городишка Задорного. А Ельцин — из Бутки, или — из будки, но из уральской: Будка будке — рознь,



хотя будка Спартака Еремеевича Воротилова ни в чем не уступит будке Бориса Николаевича Ельцина, они оба — два бутуза, два крутых прораба железобетонных штукювин. Марья и Ермолаич в моменты смятений и всеобщей гражданской депрессии считают их дрессировщиками Лохнесса и Лохнесси. Америке-то чего: смонтировала и сунула их в океан уродовать людей русских. А наши русские холуи и рады услужать в кабинетах и на тронах. Лохнесси и распоясались...

Да, Моника с Биллом и с Хиллари одну подянку заварили: молву и азарт вздыбили, а теперь книги сочиняют про оральные секс и гонят на сберкнижки миллионы, дураков-то у нас и в мире — бездна: вот чем заканчиваются похождения неуловимых лохнессей. Грабеж и кровати.

Охранники говорят, докладывали генералу Коржакову, главному телоблюстителю Ельцина, что на месте, на зеленой траве, возле американского Белого Дома, где тянули виски Билл Клинтон и Борис Ельцин, очень много, когда президенты ушли, серебрилось и сверкало острой и тяжелой чешуи, рыбьей — не рыбьей, а чешуя, неоспоримо, с обеих Лохнессе, с чудовищ. О чем они беседовали, хищные рептилии, никому неизвестно.

Но Билл, после того, как покопалась у него в ширинке Моника, начал остервенело бомбить Ирак и сейчас истребляет сербов. Манекен. Лохнесс яристый. Мотоциклетные его буки вспыхивают и гаснут. Бомбы и ракеты мимо него, болвана чугунного, проносятся, испепеляя дома и больницы. И детей не щадит, шваль голубая, импотент мерзопакостный, разгневанный и обнаглевший: педераст XX столетия, сухой обсосанный Иуда Искариот...

И в России Лохнесс не лучше. Опыяненные кровавыми сражениями, чеченцы насиловали русских ангелоглазых мальчишек, сдирали с них, с живых, кожу и кричащий кровавый ротик затыкали им волосатым фаллосом. Лохнесс варьирует и продолжает Лохнесса. Антихристы, два антихриста, свинцом, штыком, гранатой, бомбой, ракетой, пороховым дымом и пожарной гарью захлебывают арабов и европейцев. Рыло — в рыло, плавник — в плавник, чешуя — в чешую!.. Смертью веет от них. Веет моргом. Хамы.



Не Адольф Гитлер на трибуне, а Билл Клинтон. Не Билл Клинтон, сипя, приказывает убивать, а фюрер, президент США, недоносок, выхаркнутый из черного материнского чрева, сексуальный червяк, скорченный половым недугом, заразной вялостью подплатьевого сексота и карлика.

И наш — жабры растопырил: издыхает, изрезанный хирургическими дратвенными ножами. Палач и распутник. Торгаш и предатель кровавый.

Ни Хиллари, ни Моника, ни Наина, ни Татьяна не спасутся ни в народе, ни в бомбоубежище, ни в храме. Чудовищ настигнет чудовище — гроб квадратный: склеп вертухаистой Капы и сексуального Аристотеля!.. Лохнесс пожрет Лохнесса. А Лохнессе задушит Лохнессе. Над ними, погаными и губорылыми, кара Бога мечом звенит, кованым и священным.

Ну, Клинтон, что?.. Везде — свои ухабы:  
Тут надо выбирать — держава или бабы,  
Однако же — считается за шик,  
Когда рулит страной не алкоголик, а мужик!..  
Жаль, но для нашей-то, стреляющей из танков жабы,  
Какие бабы там, какие там державы?  
Сидит в Карелии и квакчет на болоте,  
А земли русские захапали враги.  
О, мы при этом пьяном бегемоте  
И сами подпадем под сделки и торги.  
А от России, скажем, через год  
Болото грязное останется и бегемот.  
Итог:  
Куда пойдём, да и кому поверим,  
Столкнувшись тет-а-тет  
с похмельным африканским зверем?!

В Африке президент — надувал щеки, пузырился, форму военную обожал натягивать, китель, галифе, фуражку, чем не генерал или не маршал?.. И соотечественники его старались ему угодить: кто мог, шили себе ратную одежду и разгуливали по раскаленным от солнца тропическим тротуарам... Монарх в приподнятом настроении и страна на подъ-



еме. И заехал к монарху отметить рюмочкой подъем германский посол, шницельный такой, яблочный такой, тортовый такой — монарх не выдержал аппетитной пытки: зажарил посла и съел.

А вот мадам Олбрайт раскатывается по Африке и не помнит, что безохранного германского посла монарх сожрал, а неужели ее свободолюбивые африканцы не могут слопать? Изнасиловать, она твердо знает, — не смогут, поздно, а слопать?.. Но и рядовые африканцы кого попало не едят и не жарят на сковороде: разве густо залить Олбрайт чесночным соусом, но и тогда не каждая конголезская свинья откусывает изысканного лохнесского блюда.

Нина, жена Еремеича, сидела около усадебного фонтана одна и, печально глядя на мраморного Анастаса Ивановича, мыслила: «Крупные руководители и живут крупно — долго и в почете державном!» Нина часто слышит — будто и заболел крупный начальник, да не умрет: то — операция ему на почке, то — пересадка сердца трудяге, то — легкое ему возвращают ребеночное или от свиньи...

Вздрагивая, Нина, как ей подробно рассказали, представила себе улицу в Москве, здание, в котором вырезают детские сердечки, селезеночки там и разные другие организмы, дабы вставить, вставить их пожилому начальнику, партийному демократу или же свободному реформатору на здоровье, словом, негодяю из негодяев. Детей воруют или добровольно продают для ремонта проходимцев. Эх, Лохнесе, Лохнесе!..

Нине жаль детишек, пусть не своих, но сильно жаль. И приветствует Нина, русская понятливая женщина, новый метод лечения крупных руководителей — пересадочку им свиных органов: печени, кишок и всего, что заболит у руководителя или политического деятеля. Нина даже хохотнула, вычитав — мол, части, запчасти, так сказать, великолепно адаптируются свиные в руководителе, но есть неувязка: отдельные дурные привычки пациент присваивает себе от свиньи, например, лезть, всюду напористо толкаться. Нина видела, как один очень крупный руководитель вместо «Здравствуйте, господа!», распахнув, после операции, дверь в собственный кабинет, громко хрюкнул собравшимся его



встретить!.. Но, опять же, мыслит женщина, скотам так и надо!..

Нина считает: заболел у Тони желчный пузырь — только от свиньи и подойдет ей, не у ребеночка же отбирать для нее, бульдожьей невесты?.. Да и Спартаку, заболел у него желудок, подойдет, и как по заказу подойдет, желудок от борова: пьет враз полторы бутылки, а заедает пирогом, начиная с правого угла и доканывает на левом. Нина не сомневается — Новодворская много здоровья взяла себе у хавроний. Ведь такой гуманный политик не согласится гробить детишек?

Имею ли я право, поэт русский, хаять Ленина и Сталина, Хрущева и Брежнева, Андропова и Черненко, Горбачева и Ельцина? Нет, не имею. Я имею право — лишь слушать их, читать их, если даже не они написали, а за них написал кто-то, имею право подчиняться их чертежу и указанию — как мне положено жить, работать, спать с бабою, рожать, встречаться с друзьями и так далее, и так далее!..

Хрестоматийные фараоны: уложили — каждый, каждый уложил в своем поколении миллионы и миллионы русских парней, оставя их святые кости Венгрии и Румынии, Польше и Болгарии, Чехословакии и Югославии, Финляндии и Корею, Афганистану и Китаю, Египту и Конго, а Германии, а Германии, Господи, сохрани нас, неразумных и законопослушных, хотя законы — драконы: они выжгли огненными, лозунговыми и плакатными языками Россию, выжгли и дораскидали русских по СНГ, а теперь и Алиев с Шеварднадзе в НАТО лезут, ну, через забор, ну, через ограду, а лезут, а за брючные их ремни ухватились прибалты и узбеки, молдаване и украинцы, эх, на кого же нам, русским, надеяться? На партию Ленина — Сталина? На КПРФ?

Мы — народ подопытный для Саланы и Олбрайт, для Клинтон и для Ельцина. Безграмотный и жестокий Лохнесс распоряжается нами. А Чернобырдин — посредник. И Горбачев — посредник. Посредники между нами, приготовленными к уничтожению, и между натовскими палачами. Наши доморощенные убийцы — наши посредники, предатели СССР, блатяги и грабители, банковские и министерские жулики.

Не плачь, поэт, о России — ее оплакали великие пророки наши, не кручинься, поэт, о народе кровном, его истреби-



ли обожатели интернациональных побед!.. Ты, ты, русский поэт, кулик, чибис, ты, русский поэт, выпь, кричащая на кровавом болоте русском, развороченном и до краев налитом кровью русской, которую никогда и никто не щадил, не жалел никто, из названных мною лидеров, действующих или уже опочивших, никто, ты прокляни их, поэт!..

Зачем появились на белый свет мы, русские? Европу и Азию дивить обжитыми пространствами, реками и озерами, морями и океанами, зачем? Поезд мчит и мчит тебя, стоеросового наследника непобедимых предков, мчит от Москвы до Владивостока, две недели тебя мчит. А ты, наследник, ты, строитель державы, давно ее потерял, Россию потерял, ястребиную, орлиную, журавлиную, соловьиною, ой, ой!..

Магнитогорский металлургический комбинат за ваучеры подарили рабочим и инженерам русским, а ваучеры оказались прахом, пылью могил, расположенных между двумя холмиками — пусто в натруженных ладонях рабочего и инженера, пусто. Но заехал на Урал — через Москву, центр, станцию негодяев интернациональных, заехал на Урал из Швеции плюгавый портной Абель Богуславович Вольф — и гигантский комбинат, дитя Ленинского комсомола и всей славной молодежи СССР, очутился у него в бумажнике: доллар правит рабами, господами, избушками, дворцами и странами. Доллар рассек Россию, доллар отшвырнул от нее республики, государства, доллар замутил пороховым дымом разум Кавказа...

Иваны Ермолаичи постарели. Немцев, зарытых в землю русскую, соотечественники к себе вернули, вернули их, пропершихся до Волги, мертвых, истлевших, скелетночерепных, а мы, русские, продолжаем терять и терять Россию. Рейхстаг засверкал обновлением и реабилитационными цветами и лозунгами, а мы, русские, древний скелетный мост, мы, русские, древние останки царя переносим и переносим, уточняем и уточняем: он ли, царь ли, не жулик ли, не ваучер ли и здесь вмешался в судьбу России? А мост — новый-то уже не в силах построить, вот и переносим, как перевезли из США чучело Колумба и водрузили над рекою столицы вместо императора Петра, оставившего нам Россию, необъятной и слаженной, армиями с четырех сторон заслоненной, ну, кто же мы?!





Прости нас, царь наш гордый. Простите нас, братья и сестры. Бог мудрый, прости нас. Мы отдышимся. Мы отрезвеем. Мы изучим обманы. Мы нарожаем детей, воинов русоволосых, они и спасут Россию.

### *Часть пятая*

## **ЛОХНЕССЕ, ЕЛЬЦИН, АЛЛА ПУГАЧЕВА, КЛИНТОН**

А Моня сильно Клинтона взбесила,  
За клавишин, зажмурясь, укусила...

Далеко звенит на Урале моя пескариная речушка Ивашла, шла ива, значит, имя-то, какое редкостно-плакучее. Да и разве не заплачешь, если твоя Россия иконоглазая — под расстрелом наговских «томагавков» и бомбовозов? Вы, пожирающие наш пшеничный каравай, вы, глотающие икру осетров наших, вы, прихорашивающие мундиры на собственных плечах из нашего хлопка, вы, монтирующие космодромы из нашего дешевого, но вечного металла, вы, украшающие запястья капиталистических проституток нашими алмазами и золотом нашим, вы неторопливы: спокойно науки зубрите, спокойно поезда ведете.

А куда вам торопиться? Нашим умом и братством нашим, кровью нашей вы разбогатели, стравливая нас в распрах, битвах, соревнованиях, вы — неисправимые обжоры, вы — невменяемые выблядки всех морских и океанских Лохнессе, за вами — трава падает, деревья задыхаются, холмы скифские горят, за вами — кровавая пурга, за вами — прах погибели, но над вами, над вами, идола смерти и позора, над вами — ладонь России моей, матери моей, Богородицы моей русской, и вам не увернуться, вам не улизнуть, вам не сбежать от русского суда праведного!.. Вы — рабы негодяйства, шакалы прерий, вы — щелкающие затворы холодных железных автоматов.

Муссолини был достойнее Билла Клинтона: он женщину так любил, она его так любила, и в смерть сопровождала



его, с ним ушла в смерть, фашистом и мерзавцем, но с кем же Билла равнять? Клинтон — единственный: Моника сунулась — два года Америка не разрешала им белье постирать, два года!.. Привет гордой Хиллари, леди Америки, первой мадам кровавого сионистского ада. Клинтон — безбожник и мародер. Он расстегнул ширинку в Белом Доме и долго вынашивал планы религиозного сражения: он жжет, душит, взрывает, морит безводьем и болезнями православных сербов, он, конь, ржет с балкона Белого Дома, захмелев от юной крови жертв, он не сумел остыть и умериться от неудачи. Ширинку расстегнул — а квелый и скучный, как чехол с винтовочного ствола. Взбешенный импотент!..

Цековские и политбюровские коммунисты от коммунистов, мартеновцев и колхозников, шибко отличаются: костюмы на первых шиты в уникальных ателье и из английской шерсти, с овцы, которую не повторить и не клонировать, а работающие коммунисты — с плакатами «Слава КПСС!» и «Спасибо партии!», в курточках, натянутых на плечи, подсухшие и жилистоватые: пыль, руда и огонь не красят лица.

Но цековским и политбюровским коммунистам и впредь решать нашу судьбу и судьбу России, решили же они судьбу СССР... Еще как!

Политбюровцы съехались в Стамбуле,  
На Каспий рот разинули и скулы понадули.  
Грузинский Эдик, хитрован и педик,  
Чекист марксистский, агроном и медик,  
Кричит: «Нам не нужны российские рубли,  
Мы нефть за доллары к Нью-Йорку провели!»  
А Назарбай, цековский бай, казах,  
Стал газ глотать у турок на глазах.  
Алиев же налил бензин и сгоряча  
Тост предложил за Леонида Ильича,  
Но вовремя опомнился: Туркмен-Баши  
Из Ашхабада слал им всем шиши.  
В Кремле на троне харя пьяная качалась,  
Отнять пыталась СНГ, да вот не получалось.  
Торчали доллары из каждого кармана,  
Гайдарик полз по галстуку гурмана...



Итог:

Как дальше жить — и транспорт отменяют:

Жида Чубайса по Москве гоняют!

Жида — не еврей и не русский, но и до них добрались, ведь они, большинство их, века процветали в России за счет евреев, русских, татар и эвенков бессловесных, в снегах купающихся...

Капа, хотя и сучка, но женщина, хотя и собака, но человек, и допустить ошибку нечаянно и ей случилось... Встретила она на дачном тротуаре Аристотеля и давай вертухаться, давай вертухаться перед ним, перед аристократом, вилять и скалить зубы, дура стоеросовая, давай жаться к нему, кобелю пустомозглому, а он давай подталкивать ее, давай грудью опускаться на нее, взволнованную и желающую весенних наслаждений...

И, поуркивая, подрагивая телами, подстанывая вкусно колотящимися сердчишками, они и выдвинулись к зубчатой колее. Выдвинулись, упружась, а тут — машина, ихтиозавр, с квадратным гробом, пастью неимоверною и ужасающей. Челюсти размежевались — хап, даже не успели взвизгнуть ни Капа, ни Аристотель, оказавшись во мгле, трагической и поглощающей увлеченных ласкою любовников. Бардак на Руси всегда бедою оборачивается, как ты ни выкрутась, как ты ни старайся перехитрить беззаконие.

Пушок, не доскочив до пропавших во мгле, метнулся в сторону, завыл и упал прямо в грязную канаву колеи, но уже позади квадратного гроба, чудовища многотонного. Внезапная гибель и этих его друзей, особенно Капы, пусть даже и неверной, пусть даже и зубоскалистой, пусть даже и противной иногда, но привычной, родной, понятной и безгрешно шалавой, подкосила здоровье Пушка. Он осунулся. Перестал принимать пищу, погрузился и быстро догадался: он старый и никому, кроме Капы, не нужен, никому. А вот если бы Аристотеля заглохило чудовище, а Капу оставило, тогда Пушок бы воспрянул. Но справедливости на земле нет и не будет.

Пушок перестал узнавать и Ермолаича. А на оклики Марьи и реагировать разучился. Шерсть на нем слепилась, кольцами темными завилась, и глаза Пушка потускнели.



Слух укоротился. Обоняние затупилось. Ночью не встрепнется, не забрешет. А днем провожает шаги Марьи и скулит. Скулит и скулит — прощается, значит. И — пропал. Ермолаич и Марья обыскали квартал. Нет. Проверили обрезки газовых труб. Нет. Заглянули под мосты и мостики. Нет. Простился и пропал. В лесу ли умер или ночная непогодь засумятила скромного кобелька и заваяла, кто скажет?..

Марью, жену Ермолаича, и на пьяной козе не объедешь: она смолоду еще трудилась на оборонной овцеферме, где клонировали овец и баранов, намереваясь, в случае мировой третьей войны, через Австралию послать овечье стадо кораблями на Европу и Америку, да, овечье, начиненное нейтронными взрывными снарядами под шерстью, от которых кирпичи из вашингтонских небоскребов будут улетать до луны.

Но перестроечный Горбачев рассекретил овцеферму, и ключи от нее Раиса Максимовна подарила супруге Рейгана. Марья считает: Горбачев и Раиса — оба клонированные животные и Спартак Еремеевич — клонированное существо, бабник собачий, а Ельцин — вообще искусственно разведенный зверь с откусанными пальцами на левой руке... И у Спартака Еремеевича на левой руке пальцы откусаны, ну, какой он и какой же Ельцин солдаты? Подделанные под участников сражений жулики.

Марья уверена: лишь наше Лохнесе — не клонированное, а истинное правдолюбивое млекопитающее, остальные Лохнесе — морские хищники, вскормленные захватнической идеологией США, наговские громилы. Марья застала однажды в цековском бассейне под Москвою купающихся дам, гостящих в СССР: Тэтчер, Олбрайт, а с ними — Райка и Наина, сошлись ведь, хоть и в разных краях, и на разных континентах обитали, теперь Марья вспоминает — как резинки на рейтузиках им поправлял и натягивал Эдуард Шеварднадзе, а Миша Горбачев речи запузыривал, Ельцин пил, вот и виляли, как сучка перед бульдогом, виляли перед Шеварднадзе дамы влажными попдынями, особенно — Олбрайт, девушку тогда казалась...

Марья раскорячилась и на них: «Ф-фу-у!» И купальницы в сию секунду очутились Лохнесами: нырь в бассейн, а



из бассейна в реку, из реки в море, из моря в океан, и привет!.. Марья обстоятельно рассказала тайну мужу Ермолаичу, и Ермолаич обязал ее замолчать, мол, кремлевские сучки и не такие номера выкидывали, а тут, подумаешь, за трусы их дергал Шеварднадзе!.. Грузин бабу не упустит, свою и чужую.

Ермолаич не Еремеич. Ермолаич доподлинный, не клонированный человек и не кремлевский Лохнесс, превращающийся в моменты надобности в хитрую Лохнессу, выплевывая из кабинетов то хомяковатого Гайдара, то меднорожего Чубайса, то администрированного Коха, то виляющих влажными попдынями Немцова и Бурбулиса, спасибо генералу Макашову — перетряс он вонючую моль на министерских матрацах!..

Ермолаич не сомневается: «Марья уравнивала дачу Спартак Еремеевича с дачей цековской, на даче Еремеича заграничные суки обоюдно с нашими сверкали перед Шеварднадзе рейтузиками зазывающими. Ай, да Ельцин клонирован по секретной программе с баранами и овечками, тот Борис Николаевич, уралец, заперт в Аризоне, и Еремеич клонирован, а Спартак Еремеич забран в Кремль, подозрительно смахивает на Бориса Николаевича и водку хлещет — коллеги зубами цакают. Верблюд.

Моника же, лифчик не повесила на стацию Микояна или какого иного вождя, не повесила, а избрызгала каплями Клинтон: ясно — клонировать Билла решила, сучка контрразведская, на Израиль спроецировала президента США, барана высокоинтеллектуального. А начни Моника клонировать — вылупится мальчик чистенький, не шелудивый, засади его в клетку, и вся Америка в очередь хлынет глазеть на пупыря!.. Баб глупых нет. Не решится же Моника меня, шофера, клонировать? Хотя я и проработал десятки лет без аварии, не решится!..»

Пригорюнился Ермолаич. И вновь зазвучал в его сердце Есенин:

Вечером синим, вечером лунным  
Был я когда-то красивым и юным.  
Неудержимо, неповторимо  
Все пролетело... далече... мимо...



Сердце остыло, и выцвели очи...  
Синее счастье! Лунные ночи!

Ермолаич не меланхолик, не пессимист недотыканный, а патриот и убежденный пролетарий, солдат седой, и его, труженика и воина, ни Черт, ни Дьявол, ни Спартак Еремеич, ни Борис Николаевич, ни Лохнесе не объегорит. Русский человек внешне — лопух, а внутри — Сократ!..

Капу набаловал Аристотель, пес аристократический, она его и довертела, довертухаила: оба погибли. Но, искренне признаваясь, у Капы начались заскоки. Сядет на солнышке и зажмурится. А зажмурится — задремлет. Задремлет, да вдруг ни с того и ни с сего мотнет башкою, взбрыкнется, словно ее в живот укололи вязальной спицею, бодается харею в харю быку али корове и с хрипом, с улюлюком — лаять и приседать, как дикторша Арина Шарапова на экране. Но дикторшу в Америке несколько месяцев имиджу обучали, а Капа, не имея спонсора, — самоучка...

Марье и Ермолаичу сдается в минуты философских открытий и обобщений, что моторное чудовище с квадратной гробовой башкою — Лохнесе, и все три Лохнесе, и все четыре Лохнесе, американские, наши ли, — единое Лохнесе,сланное будоражить животный мир в России, людей русских сокрушать психологически, даже членов партии, как, допустим, Спартак Еремеевич, брать на испуг и подчинять их, зомбированных кроликов, компьютерной беспощадной логике капитализма. КПСС гнут.

С Марьи взятки гладки: и во сне, продолжительном и одиноком, Марья и в помыслах ни разу не изменила Ивану Ермолаевичу. Дачу не записала себе чужую. Жердей чужих из забора забытого не выдергивала на лучину или на прясло. А Иван Ермолаич — чист, как солдат перед старшиною, и перед Марьей, и перед Родиною. Кроме Марьиных сисек, данных ему законом в обиход, кроме баранки, ложки и хлеба, он, советский честный шофер, ничего в руках и не держал, не согревал работающими ладонями, не цапал, не хватал у государства и у народа: пролетарий — есть пролетарий!..

Лохнесе хитрит. Припугнет Спартака Еремеевича, за правду вроде она борется — и в океан. А глупый народ басни



и легенды о ней, о Лохнесе, разносит по белу свету, мол, справедливая, мол, наша, советская, а шарахнет Лохнесс или Лохнесе, черт ее подери или его черт подери, шарахнет по нам, народу русскому и нищему, мы вопить, мол, он, Лохнесс, капиталистический, сволочной, а Лохнесс — единый, Лохнесе, он или она, одно. США и похлеще пакость изобретали, может быть, и Арина Шарапова с Капой — компьютерные сексуальные паскудницы?!

Лохнесс не согласен, нет, Лохнесс не будет кастрировать Лохнесса, не будет!.. Билл Клинтон мог и от рождения случиться импотентом или малоустойчивым на матрасе с двуновою кокетливою Капою. Не сумел же Билл удовлетворить с поэтической лихвою Монику. Симпатичная еврейка надулась и книжку про него и про себя написала. Ездит и торгует, ездит и торгует по Европе и по Азии. Уже — мультимиллиардерша, а он? И он не прогорел. Тоже с Хиллари наваляли роман — несколько десятков серий. Книги их, Моники и Билла с Хиллари, мутными помоями текут по цивилизованным народам, текут и наших русских олухов и шалав тонко организовывают в длинные скандальные очереди, как при советской власти — в очереди за водкой или за колбасою!.. Экая у нас энергия.

Ради истины скажу: очередь, в две и три колонны, в основном — из дур, вертухающих задницами на экране, и — партийных ортодоксов, не принимающих западный образ существования в России. Но покупают вертухайки и ортодоксы не по экземпляру, а несколько — дарят родственникам, близким, знакомым, словом, ведут антиимпериалистическую пропаганду партийцы, а русские эротические шалавы — дарят подругам, друзьям, стремящимся прорваться на жидовский экран и повертухать на миллионы зрителей задницами: работы нет — оборонка на боку лежит!..

Я вот хихикал над толстым писателем, корешом Спартака Еремеевича Воротилова, а он при Борисе Николаевиче Ельцине возглавил в Кремле комиссию по отменам смертного приговора преступникам пригвожденным. Защищал демократию. И так ежевечерне за ужином смеялся над вертухайками экранными, так хватался за брюхо, наблюдая их конкурирующие задницы, восторгаясь ими и свободою бес-



цензурною, так гоготал, балбес, аж кусок говяжины заткнул в рот, да не в ту сторону: пискнул, сгорбился, выпал из кресла и подавился. Привезли траурную домовину, оркестр зарыдал — закрыли и отнесли. А на его место нашли типичного толстяка, шустрого, оптимистичного, верткого в определениях решений и лысого, и русского, русского, как Жванецкий!.. Останкинский жид.

Воинственную Олбрайт зовут Магдалиной, но какая же она мать, какая же она Магдалина?! Маленькую ее спасли сербы и приютили, выхлыв молоком и медом, сластену, а теперь она научилась обожать пожар бомбежный, дым кровавый и слезы югославов. Мать Магдалина. Нет, не мать и не Магдалина, а сионистская Лохнесе, чудовище толстогубое, проклятая черепаха под чугунным панцирем, соучастница распятия сербов на кресте православном, кресте Иисуса Христа...

Правую руку вытянул и прижал ее к деревянной планке, повернув ладонью, прижал Билл Клинтон, рыжий американский фашист, фюрер США, бандит и магнат, банкир и юрист, палач и насильник, а левую руку сербов, потянув на себя, прижал к деревянной планке креста, повернув ладонью, Борис Ельцин, алкаш и врун, инвалид с будильниковым сердцем, вшитым в грудь негодя дратвою и лавсановыми нитями.

Держат сербский народ на кресте казнители, держат и заливаются смехом, не человеческим, а дьявольским, воем заливаются подлым. А Мадлен Олбрайт, усатая и горбоспинная, гвоздь вколачивает в солнечное сплетение сербскому народу. Обезьяньи лапы ее трясутся, но молоток не выпускает из когтей, стерва, косоебистая и вонючая!..

Многие сербы видели ее, Олбрайт, в Дунае, когда взрывы суши и воды, взвихренные и поднятые над землю «томагавки», сжигали на лицах людей кожу, испепеляли зрачки новорожденным, спрятанным испуганными юными женщинами в каменные укрытия и каменные подвалы. Мадлен мелькала, ворочалась в красном урагане, ударяла по крышам зданий чугунными ластами и седая, как мартышка, вытащенная за хвост из мучного ларя, пыркала и царапалась: «Бомбить, бомбить, бомбить!»





У ног сербского народа, истекающего кровью на кресте Христа, иудейская блудница Моника, начинающая Лохнесе... Но Олбрайт, уродица и кровавожижая Лохнесе или Лохнесса, или Лохнессеха Олбрайт, подлежит вечному проклятию триедино: проклят Билл Клинтон, проклят Борис Ельцин, проклята Мадлен Олбрайт!.. Тетка А.Н. Яковлева...

Известно, что Сорокина — лиса,  
А пялит, бестия, на реформаторов глаза:  
Явлинского почмокает, Гайдара пососет,  
Авось коту и мужу лишний доллар принесет  
Иль куру жареную украдет с останкинского бала,  
Теперь мурлом похожа на генсека Цэдэнбала,  
А в девяносто первом-то, вы помните, визжала:  
«Бей, бей красно-коричневых!..»  
И не язык, а жало  
В экране грязном извивалось, голо,  
А вот не забеременела, даже от монгола:  
Сверлит, как старая сова, зрачками темноту  
И сочиняет сказочку коту.  
Неужто этот знаменитый котик  
Домашний Чикатило и эротик?  
О, если так, моя однофамилица —  
Себя и многих мужиков кормилица!..  
Итог:  
И, слава Богу, дикторшина рожа  
На самого Сванидзе не похожа.

Космические пришельцы. Лохнесе. Чикатило. Бунич. Клинтон. Ельцин. Чубайс. Жванецкий. Киссенджер. Иван Драч. Дмитро Павлычко. Славянские поэты Украины — Драч и Павлычко, и—и—х, как семенили они, встречая Киссенджера из США на аэропортовском бетоне Киева: СССР делить и распродавать намылились, верховнорадовцы и лауреаты Госпремий великой державы!.. Чем они, кастраты, не прорабы?..

Я видел — по Каспийскому морю, вытирая носком нефть с рыла, плыла Олбрайт, Лохнесе, а за ней — Сорокина, Миткова и Шарапова, шлепая ластами-сандалиями, но, уже не



вытирая морды: грязнее их экранных морд не встретишь нефтеморды. Черное золото земли их облагораживало и вдаль приглашало, чешуистых...

ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР АСТАФЬЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО РАЗВЯЗАННАЯ НАТО ВОЙНА НА БАЛКАНАХ НАПРАВЛЕНА НЕ ТОЛЬКО ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ, НО И ПРОТИВ РОССИИ (Красноярск, 21 апреля. /Корр. РИА «Новости» Борис Иванов).

Известный российский писатель Виктор Астафьев считает, что развязанная НАТО война на Балканах направлена не только против Югославии, но и против России. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РИА «Новости». По мнению писателя «все делается с дальним закидом», чтобы Россия обязательно вязалась в этот локальный конфликт, что и приведет ее к окончательному краху.

«Не понимая того,— заметил Виктор Астафьев,— что мы сейчас, как никогда прежде, ослаблены экономически, физически и духовно, некоторые наши «защитники Отечества», не найдя себе лучшего применения, уже рвутся на войну. Мы ее просто не выдержим, в результате не будет ни народа, как такового, ни России».

Писатель считает, что наше любое военное участие в балканском конфликте не только породит новый этап «холодной войны», как это уже было во второй половине 40-х годов, но и заставит нас «сжечь последние остатки своего сырья и своего народа, который и без того выкашивает туберкулез». Если в результате и этой бессмысленной бойни человечество не поумнеет, с горечью подчеркнул писатель, «войны будут продолжены и в новом столетии».

Есть «человечество», есть «новое столетие», есть «защитники Отечества», но не очень умные, во всяком случае — с Виктором Петровичем Астафьевым, имеющим в академгородке respectable квартиру, а в Овсянках, райцентре, — замечательный дом, им, быдлу, сравниться глупо: вот и не найдут себе «лучшего применения»...

Петрович, как мой Ермолаич, на фронтах и в атаках побывал, с фашистами дрался, но мой Ермолаич проще: правителей продажных виноватит, а Петрович — лебезит перед ними!.. Лохнессей трусит.



Вот что пишет 27 апреля 1999 года в газету «Советская Россия» редактору В. Чикину американский Борис Файнберг: «Привет всем русским свиньям!»

А далее: «Теперь учтите, что наши руки длинные и достанут самых ретивых генералов даже в вашей грязной России».

И далее: «Мы вам объявляем войну. Пусть трепещут все русские сволочи от Зюганова до Примакова, от Иванова до Баркашова. В общем, Иван-дурак, думай, чтобы сберечь себя.

Россия уже давно сидит в дерьме по уши. Смотрите, как бы не утонуть в нем».

И далее: «Призываю летчиков НАТО продолжать бомбить сербских подонков».

И далее: «Смерть сербским подонкам. Смерть русским национал-патриотам. Сербия и Россия должны быть разбомблены. Сегодня Белград — завтра Москва».

Я переписал шизофренические «афоризмы» Файнберга, сохранив его орфографию и пунктуацию. Перечитал и подумал: «А ведь этот Файнберг — наш рядовой Файнберг или бывший член политбюро ЦК КПСС, как, допустим, Гейдар Алиев с Эдуардом Шеварднадзе, как, допустим, бывшие ретивые советские руководители Каримов, Кучма, Лучинский и т. д., а о прибалтийских вожаках и сказать нечего, — натовцы, файнберги, лакеи, мило бодающие двери НАТО узенькими лбами, предатели стран и народов, нарушители обязательств и договоров, ефрейторы НАТО...»

Так чего же мы, русские, дожидаемся, терпя над собою разбухшего кремлевского натовца, ненавидящего нас, людей русских, боевика, взорвавшего СССР и разбазарившего Россию?! У нас — пространства, завещанные нам предками, и — нет друзей! Но с нами Иисус Христос.

Задумался Иван Ермолаич о Лохнесе — и смачно сплюнул за изгородь садиковую. Марью, молодую, вспомнил: красавица, тяжелоцветная косища ее золотилась и у бедер покачивалась. То ли — коса покачивалась, золотом налитая, то ли — Марья покачивала ею же крупно, луково уложенные пряди волос вот в такую косищу, нет, не Марья, а Марью коса покачивала и все норовила к Ивану, к Ване поплотнее и погорячее примкнуть — целовались, оба молодые и обветрен-



ные, в травы хмельно валясь и постанывая... И вновь — целовались, целовались, целовались!..

Титьки у Марьи — юные дыни золотые: ладонь прикоснешь к ним — веют степью раздольною, а губы у Марьи — свои из них долго забирать Ивану не хочется, да и Марья, прижавшись к нему, не торопит: пей молодость и красоту ее, сколько душа захочет!..

Теперь Ермолаич и Марья — израсходованные войнами и разрухами, указами и налогами, нищетою и безнадежностью люди, рабы «ножек» Буша и кока-колы. И потому — страшные сны донимают Ермолаича, солдата старого. Пирамиды, пирамиды черные снятся. Высокие, каменные, треугольные, а за ними — песок и песок, песок и песок, раскаленный, скрипит и сеется, скрипит и сеется: от Нила аж до Волги!

И вроде Ермолаич — фараон. Мумия. Туристы русские над ним наклоняются, а он и ногою задвигаться не может, слушая вздор:

— Триста жен у идиота в шатрах парились!..

— До Марьи, поди, и очередь-то не доходила, когда?..

— Воевал, воевал, и залег под памятником погибшей цивилизации!..

У, эта цивилизация!.. Вскочил Ермолаич и пнуть их разом собрался, но глядь, а перед его носом — Мадлен Олбрайт:

— Я на тебя, сивый мерин, бомбежки обрушу, пшел вон!

И Мадлен изобразила воздушный поцелуй. Ермолаич очнулся — Марья на месте. Изгородь. Садик. Дощатая их будочка. Лучок перышками-сабельками посверкивает на грядочке, ай, прелесть неизбытная! И лишь в тумане Ермолаич заметил — гадючий хвост, рыбий, лохнессовый, черкнулся загогулиною, мол, привет, фараону!..

Сны — вещее предупреждение: не среагируешь — жалеть будешь, да поздно. Но Ермолаич и не успел среагировать, дрема связала его движения, а Марья их согрела живыми усердиями и Ермолаич провалился в следующий редкостный эпизод...

На четвереньках, значит, за изгородью пристроилась Медлен, уперлась ступнями, без носков и сандалий, в ствол ольхи, а ладонями, навозными, уперлась в шершавую жердь.



Держится, поколышиваясь и чуть ссутуливаясь. А Пушок — над нею, над нею: ушами пошевеливает и она ушами пошевеливает. Он покорчивается — она покорчивается. Он мордую кивает, кивает, быстрее, быстрее — и она, Мадлен Олбрайт, мордую кивает, кивает, быстрее и быстрее, а Пушок ей человеческим голосом:

— За сербов и за албанцев тебе, стерва! — А Марья с нейтральной полосы наблюдает за вертепом собачьим, а те мордами кивают, кивают.

За другой изгородью, тоже упершись босыми ступнями в ствол ольхи и навозными ладонями в шершавую жердь, корчится, оборачиваясь наглой мордую, сопит и подвывает Билл Клинтон и собачьей мордую целует в собачью морду Аристотеля. Хамы и паскудники бессмертны!.. Билл спиной перегнулся, а над ним Аристотель как зати-кити-кает, как зати-кити-кает и затрясся, затрясся, но и Клинтон затрясся, затрясся, громче и счастливее подвывая, бабий угодник и казнитель безоружных.

— За сербов и за албанцев тебе, стерва! — нажал на него Аристотель и, выпрямившись, поясницею оттолкнул брезгливо президента США.

«К чему бы это?» — вяло забеспокоился возле Марьи Иван Ермолаич, а Марья, жена его добрая и конституционная, потянулась, зевнула даже, и беззаботно удивила Ивана Ермолаича:

— Опять сон?..

— Опять...

— А признайся, Ваня, законный муженек мой, кому ты аплодировал, друзьям, че ли, крича: «Молодцы, так их, так их, так их мать, дерите и передышки блядям заморским не давайте!..» Псы и постарались.

Спартак Еремеевич Воротиллов — фигура неординарная и весьма даровитая: в одну и ту же минуту он может ре-воплотиться, переконструироваться, перевернуться, пред-стать, отстать и снова стать, заняв или позаимствовав чужой облик, чужой ум, чужую статью...

Многие считали его фронтовиком, а он и винтовки в руках не держал. Многие считали его руководителем строй-треста, а он в Кремле уселся и замечательно себя чувствует.



И окружение — по нему. Когда он на даче легохонько, как пробку от шампанского, покручивал голый пуп Антонины, Тони, любовницы, то Антонина почему-то сильно в данный миг походила на дикторшу Светлану Сорокину, хотя дикторша и напоминала явно собою Батмунха Цэдэнбала, Председателя Великого Народного Хурала Монголии, а когда он, перевоплотясь в Ельцина, поливал, расстегнув ширинку, авиашасси, Светлана прекращала харкаться в красно-коричневых с экрана и принимала образ и аварийную позу Наины Иосифовны, хватая Бориса Николаевича за карманы брюк — умоляла не срамить.

Но стоило Борису Николаевичу обернуться Леонидом Ильичом Брежневым — Наина превращалась в Викторию Голдберг, супругу и боевого товарища генсека... Ну, кухонные пудели, шавки сперматозудные, нигде нам от них нет покоя и равновесия. Конечно, Спартак Еремеевич Воротилов не покручивал голый пупок дикторше Светлане Сорокиной: она не из развратных особ, она работает на телестудии, накапливая в организме политическую энергию и дамский задор. Борис-то Николаич давно помер.

Ельцин же скрежещал челюстями, раздаривая по сторонам то Чечню, то Крым, то острова на Амуре, а, накачавшись хмельно, как на четвереньках Мадлен Олбрайт или Билл Клинтон, заваливался боком в кровать и принимался храпеть и ахинеить, холодея, с чего Виктория, читай, Наина Иосифовна, вздрагивала и, путая аспириин со слабительными, в рот Лохнесе совала спрессованные таблетки. Чудовище поддевало их на мокрый толстый язык и с костяным хрустом высыпало в желудок. Наина поглаживала по лапте Лохнесе и сиротливо подвсхлипывала. Умора.

Куда мы идем? Если магазины и школы, заводы и вузы, театры и лаборатории захватили жулики, ну, олигархи, и ежели завтра они скупят за бесценок землю или перепродадут ее корыстным заморцам, мы — проданные крепостные, мы — никто. Как говаривала моя соседка, поэтесса Нонна Самуиловна Петрова: «Ми посадили вас в мишок, и теперь завязать лишь осталось!..» Мы, точно она определила, в мешке. Но кто нас, кто Ивана Ермолаича и Марию завяжет: Ельцин, Степашин, Лужков, кто?



Наша работа, дело, совершенное поколениями, — вздор: даже пенсию работягам заменили на дозу выживания, почти нет разницы — ветеран ты или спившийся бомж. Выкатывайся из-под ворот и на асфальте подыхай, без жалоб и промедлений покидай территорию новых русских!..

А творчество? Когда, в какой стране, в какие времена святая тоска по истине, вдохновение и очарование, молитва и надежда так обесценивались и уничтожались, презираемы в обществе: ты творец — ты нищий.

У Федора Достоевского бесы — терпимые люди, если, да, да, если сравнить их с кремлевскими дармоедами: у кремлевских — морды поганее, когти острее, хвосты пыльнее, росомахи колымские!

Бессмертный Христос мой,  
Гляди, я на коленях стою перед тобою, прося тебя:  
«Умой материнский лик России водою живою,  
Вдохни в потухшие очи ее свет непресекаемый,  
Вложи в мудрые уста ее слово огненно-громовое,  
А в руки — меч обоюдозаточенный,  
Пусть крикнет, пусть соберет она народы свои  
И с площадей, с полей кровных и с небес твоих  
Грянет на растлителей детства безгрешного,  
На убийц любви и материнства русского —  
За верность и долю русскую!

Иисус Христос мой, защитник неукротимый, болью и думами наградивший меня, помоги мне, поэту русскому, пророк наш и Спаситель!

В Москве Лужков, жиды, Олбрайт, Лохнесе,  
Кто говорит, что нет свободы в прессе?..

При Сталине Иосифе Виссарионовиче Ермолаич воевал и воевал, а при Никитке помогал колхозам кукурузой землю увечить, шоферил по осени в спецбригадах, при Брежневе возил Спартака Еремеевича к соцгероям совхозным на банкету, теперь Ермолаич наблюдает, вспоминая.



Вон Капа вертухаила, вертухаила, сучка, и Аристотель вскочил ей на спину. А Пушок на сурну, довертухаилась, проститутка дачная.

Ее вместе с кобелями в экран показали, и какой-то телебейтаровец картаво экскурсоводил: «Анальный и агальный секс!.. Анальный и агальный секс!..» Капу сменила Моника с Биллом Клинтоном: тоже вертухайкою кочевряжится, а президент тянется щекотнуть студентку, а телебейтаровец задыхается, поясняя: «Прокугог США возбуждается и уголовное дело на Билла офогмляет, уга-а!..» Эр не выговаривает, шпана.

Ермолаич все знает и слышит. Вон дочка, незаконнорожденная от Еремеича и Тони, в ФРГ замок старинный укупила... Залезла в бассейн, а лифчик не на кого натянуть: возле бассейна башки Микояна нет. Анастас Иванович вдосталь проторговался сокровищами русского народа, музейными и хранилищными, мраморный экзекут!.. Конфискатор активный.

И Анатоль Борисыч Чубайс электричеством в России занят: включит лампочки Ильича — доллары считает, выключит — алмазы гребет, некогда ему снять около бассейна германские трусы и на Анастаса повесить... Неинтересно чадо Еремеича в эмиграции. Родина обратно зовет. И бассейн домашний нисколько не хуже немецкого, хваленого и дорогого.

Иван Ермолаевич давнехонько отвык и от Спартака Еремеевича Воротилова: тот в гору поднялся по лестнице перестроечной такую, что в октябре 1993 забрался на броню танка у Дворца Советов и, набрякший коньяком, главкомил: «Огонь по коммунистам!.. Огонь по коммунистам!..» Позже его вскрыли и свиное сердце вшили — надорвался. Педики.

Теперь за Дворцом Советов — черные кресты павших. Да иногда наша Лохнесси пролетит в облаках, красным флажовым заревом их осеняя. Сон. И Ермолаич возвращается в далекое: в стройтрест, в огородик, к Пушку.

Но легковесно ошибается красавчик Билл, а еще легчевеснее ошибается обвислобрюхий Гарант. Их собачья чехарда с Моньками и Тоньками, прятки по кабинетным закоулкам в Белом Доме и в Кремле регулярно и скрупулезно изучает Джемс, здоровенный негр в подзорную армейскую трубу, покачивая ее на коленях и разворачивая поудобнее...





Джемс, гражданин США, борец за права человека, тайно заполучил летающую тарелку под Ижевском за две бутылки виски. Русский конструктор Гришка Шарадов и удмуртский слесарь Савелий Пентюхов крепко тяпнули, а заместитель по хозяйству директора номерного завода Натан Львович Малиновский от рюмки наотрез отказался, но все трое вместе сражаются против расизма и стремятся утверждать в быту интернационализм аж двадцать первого века!.. Не кивать же на марксизм.

Сидит Джемс, здоровенный негр, на Марсе и покачивает в ладонях знойную подзорную трубу по следам голодранцев Гаранта и Тони, Билла и Мони. А рядом с Джемсом, во впадине вулканической, замаскирован тарелковый звездолет, кнопку нажал — ты-ы-р-р-р!.. И стрекозою, стрекозою — по ледяной пустыне. Кабина загерметизирована, и черный негр страшит непуганых европейцев белыми зубами: «Держитесь, поросычьи шкуры!..» И поросычьи шкуры держатся.

Да, человечеством скоро будут править русский, еврей и удмурт, а негра они оформят охранником экологии — следить за сексуальными вывихами разнагишенных руководителей великих держав. И Джемс мучается, разгадывая: «Ежели я киллер — хлопну их из аккумулятивного, бесшумного пистолета, а ежели я диллер — ошарашу по кумполу подзорною трубою, и никакая Лохнесе не предотвратит возмездья!..»

Эх, окажись Борис Ельцин и Альберт Салана, Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт не гремучей смесью, а настоящими евреями — давно бы добрососедство шагало по городам и селам Земли!

Но везде земля, земляца, как птица, как птица,  
Кружится, кружится,  
А из раны кровь струится, струится!..

А Ермолаич подкис. Мелькнул в памяти Спартак Еремеевич, сынишка его, нидерландец. Мелькнула родная дочка — кубинка...

Осыпанная лепестками, вознесенная бело-туманной красотой в небо, яблоня радовалась, цвела. Красные, оран-



жевые, белые и желтые тюльпаны набегали на домик. Плескалась и пенилась черемуха. Веяло детством, юностью, любовью. Почему-то Иван Ермолаевич представил сейчас бабушку, деда. Мать вспомнил. Вспомнил отца. Как хорошо, что он знает, где их могилы. Как хорошо, что он не так редко бывает там. И как хорошо, что цветет его маленький сад. Цветет и до звезд доколышивается...

Посвистывая обеими ноздрями, на него ринулся Пушок. Лаял, приплясывая вокруг, скулил и задыхался от счастья видеть родного человека, хозяина. Иван Ермолаевич поглаживал Пушка по шее, тербил шерсть:

— Вот наскучал, натосковался!

Когда же хозяин поднял голубой шланг, то удивился: шланг был весь искусан, порван. Из него мелкими брызгами сочилась вода, а колпачок шланга — завинчен. Закаракумили песика.

Иван Ермолаевич посмотрел на Пушка. Пушок на Ивана Ермолаевича. Русские экстрасенсы!.. Ветеран и ветеран.

— Бедный? — завиноватился Иван Ермолаевич. — Еды тебе оставил до отвала, а кран завернул. Лишил душу живой воды. Живой воды лишил душу. У, эти Горбачевы, Рейганы, Рекъявтики, ракеты!..

А Лохнесе тем временем рассекало коварными ластами гремучие волны океана, перепутав Бориса Николаевича Ельцина со Спартаком Еремеевичем Воротиловым, рассекало и возмущалось:

«Ну и чудовище!.. И нас клонируют!.. И нас клонируют!..»

И слышит Лохнесе — на острове стоит одиноко Билл Клинтон, не уволенный с должности президента США в связи с требованиями поклонников Моника перевести его на другую работу, и грустно, грустно для самого себя напевает:

Что моя Моня,  
Что твоя Тоня,  
Что твоя Тоня,  
Что моя Моня!..

## СОДЕРЖАНИЕ

### С ПЯТНОМ НА ЛБУ

Митька-Ручей .....	7
Три круга .....	14
Сторублевая курица .....	20
Петя и Эмма .....	27
Коршун .....	35
Гад .....	42
Ежонок и НЛО .....	52
Дядя Андрей .....	60
Стамбульская тарелка .....	70
Пропали мы, пропали!.. .....	84
Первая леди .....	90
Взаимонепонимание .....	99
Бабаев бассейн .....	106
Часы Горбачева .....	112
Банное хобби .....	121
У воды .....	127

### КУДРЯВЫЕ НЕВЕСТЫ

Верба одинокая .....	137
Последний обелиск .....	152
Горстка пепла .....	165
Не могу молчать .....	176
Столичный мошенник .....	183
Валет и Акулина .....	189



Боролась и напоролась .....	198
Черный Барсик .....	208
Беда .....	220
Издательство .....	250
Пустая бутылка .....	256
Бабка Власиха .....	268
Карлушиха .....	276
Сиротство демократки .....	281
А-я-яй!.. .....	296
Ты была .....	303

### ПЫЛЬ ДА ТУМАН

Степа Колотун .....	315
Брошенные .....	326
Адам и Люся .....	337
Ее нигде нет .....	344
Лю-лю .....	352
Странный сосед .....	357
Борец за свободу .....	364
Возбужденный Герасимыч .....	380
Марфа .....	388
Турчонок .....	404
Философ .....	416
Сновидение .....	423
Ох, уж эти мне ученые!.. .....	432
Березка .....	443
Набалдашник Дмитрича .....	449
Дедушка мой .....	463

### СТАРТ ЧУДОВИЩ

Сказание о Лохнесе .....	471
--------------------------	-----

